

Борис Климычев

ПОЦЕЛУЙ ДАЗДРАПЕРМЫ

роман

ТОМСК – 2008

ББК 84(2Рос=Рус) 6-44
К49

Борис Климычев

К49 Поцелуй Даздрапермы. — Томск: «Водолей +», 2008. — 366 с.

Роман «Поцелуй Даздрапермы» исторический и приключенческий. Здесь показана смена эпох. И герои, и сам город меняются соответственно с переменами системы жизнеустройства. Рушится великое тысячелетнее государство, пал Советский Союз. По-разному встречают эти события сибиряки. Герои романа – бывшие партийные чиновники, интеллигенты, писатели, члены литературного объединения. В него вошли и электронщики, спортсмены, ботаники, и юристы, и разного рода рабочие и служащие.

Перестройка. Смена вех. Великие потрясения. Почти все действующие лица вынуждены менять свои прежние взгляды, занятия. В романе сильна юмористическая линия. Когда речь идет об интеллигенции, трагедия нередко обретает черты фарса.

В странных юмористических положениях, в которые попадают герои романа в свою очередь немало трагического. Автор попытался написать о грустном смешно. Потому, что смех всегда помогает глубже понять суть вещей и явлений. Особенно если это смех сквозь слезы. Главная мысль: российская культура должна жить и помогать социальным и экономическим преобразованиям.

ББК 84(2Рос=Рус) 6-44

1. ПИССУАР

Этот год принес мне три важных события, связанных между собой. Первое: меня приняли в члены СП. Второе: меня, как члена, лечили в обкомовской больнице, где все так чисто и вежливо, что мне удалось заглотнуть резиновый шланг. Давно кололо в боку, я думал — аппендицит. Теперь врачи написали в бумажке: «Описторхисы во множестве». Я видел описторхисов на картинке: колючие мохнатые червяки, каждый с двумя ртами. Двуустка сибирская! У нас ею вся рыба заражена, а я еще пацаном начал рыбачить. Теперь мне пятый десяток пошел. И столько лет эти сволочи мою печень грызли! Ой! Она же теперь вся в дырках!

Врачиха сказала:

— Они паразитируют в желчных ходах.

Через два дня в больнице мне дали порошок с ядом хлорсилом и кружку молока, запить этот яд. Я сказал:

— Ну, описторх, погоди!

Конечно, пострадала моя печень, но я остался жив, а описторхисы сошли.

Третье: став писателем, я оставил муторную должность журналиста районной газеты и получил должность руководителя литературного кружка в престижном институте. Пусть — больная печень, изношены сердце и нервы, но я — писатель, мэтр, других буду учить писать. Жизнь меня потрепала, но мои черно-седые волосы, карие глаза, прямой нос и рост, будем считать, что он средний, еще позволяют надеяться на внимание женщин. К тому же, я теперь имею статус и непыльную должность.

— Я устроился на работу в ПИССУАР! — хвастал я, встречая родных и знакомых.

И все, кому я сообщал это, хлопали меня по плечу:

— Молодец! Передовой институт, у них даже есть секретная военная кафедра! Полутехнический институт слогом свисткового укрепления апробации режима, это тебе не хрен собачий.

Я думал сначала, что на вывеске ошибка. Нет. Полутехнический, правильно! Потому что предмет обучения лишь наполовину — техника, а другая половина — полуфантастические исследования. И пресса намекала, что институт этот — мировой. Насчет работы я говорил с проректором по науке Гением Философовичем Кулебякиным. Я смот-

рел на него с великим вниманием: сам он — Гений, а отец его был Философ. Это — что-то... Я хоть и стал писателем-профессионалом, с писательским билетом в кармане, но перед профессорами, академиками поначалу, пока не познакомился с ними поближе, испытывал некое благоговение.

Ничего... Потолковали. По штату ПИССУАРу не положено иметь руководителя литературного кружка. Гений сказал, что меня оформят техником лаборатории синтеза. И вскоре у меня уже было удостоверение в кармане. Что такое синтез — я не знал и знать не хотел. Что-то такое связанное с симпеляцией дистрибуных гентронов. Пусть их кто другой симпелирует! Но каждую пятницу вечером в институтской многотиражке «Режимщик» я мог собирать молодых поэтов и прозаиков ПИССУАРа. Мог... Да попробуй, найди в таком сугубо техническом вузе хоть пяток начинающих писателей! Я уж в аудиториях выступил, объявления в холле развесил, а на первое заседание явилось всего три худосочных студента. И то один из них оказался не писсуаровским кадром, а кандидатом в студенты университета. А ведь Гений грозился проверить массовость моего кружка.

Проводя заседание кружка, я почувствовал, что за дверью кто-то есть. Я двинулся к двери, рывком распахнул ее и увидел женщину лет пятидесяти с лишком. Щечки ее пунцовели, как перезрелые яблочки, зеленые глаза, в сеточке мелких преждевременных морщинок, смущались:

— Извините меня, ради бога, Петр Сергеевич! Я из-за Васи переживаю. Я его в ваш кружок привела. У меня ваша книга, я на нее каждый раз перед сном молюсь, как на икону. И знаете, вся тяжесть с души спадает, и впереди свет брезжит, золотистый такой...

Она вынула из своего ридикюля мою книжку «Золотистый свет», паршиво изданную главновосибирским издательством два года назад. Причем этот «Свет» главновосибирцы мариновали в своем издательстве лет десять. Раз а три меня вызывали в мегаполис, и в каморке на задах театра курящие дамы-редакторши терзали меня, как злые гарпии.

— А почему у вашего колхозника имя, как у одного из членов политбюро?

— Обыкновенное русское имя.

— Нельзя! Надо заменить!

— Но как же? У меня это имя несколько раз рифмуется.

— А лучше пусть вовсе без рифмы будет.

Они еще и почище придирались к моим стихам:

— Что это у вас все зима, лед, морозы? И все ночь да ночь.

— Ну, холодно же в Сибири! И ночь — время раздумий.

— Да? А получается, что страна наша находится в состоянии вечной зимы и тьмы, а это уже знаете, как называется?..

В одном стихотворении они, по непонятным для меня причинам, тополя велели заменить березами, тучи — облаками. И подобным заменам конца не было. А когда я наконец получил книжку, я своих стихов вообще не узнал. Все там было поставлено с ног на голову. Но в местной газете появилась рецензия, перекликавшаяся с заголовком книжки и называвшаяся: «Истинный свет таланта». И вскоре меня приняли в писатели.

И вот теперь незнакомка взасос целовала грязноватую, в каких-то пунцовых пятнах, обложку моей позорной книжки. И с придыханием говорила:

— Она озаряет, вдыхает жизнь. Спасибо! Спасибо! Вот почему я привела к вам Васю. Помогите ему, он талант!

— Что ж, будем рады видеть и вас на нашем заседании. Ваше присутствие Васю приободрит.

Я был ей действительно рад. Эта дама плюс я и три студента составим уже боевую пятерку. И уже можно будет сказать, что в кружке занимается несколько человек.

— Нет! Не смею! — отказывалась для приличия дама.

Но я видел, что ей очень хочется принять участие в нашем заседании. И она все-таки зашла в комнату:

— Если только послушать краем уха, поглядеть одним глазком!..

Ее высокая и, видимо, давно обмякшая грудь часто и неровно вздымалась. Тина Даниловна, так ее звали, принялась уговаривать Васю, чтобы он не волновался, приговаривала при этом:

— Петр Сергеевич! Вы не думайте! Вася очень талантлив. Его не приняли на биолого-почвенный, но я его устроила лаборантом в гербарий. За год я его хорошо подготовлю, на будущий год обязательно его примут. Он в ботаническом саду такое свое стихотворение прочитал про пальму! Мы все плакали, рыдали даже! Ну, Вася, ну, пожалуйста.

Кандидат в университетские студенты был лохмат, и один глаз у него подозрительно поворачивался в одну сторону, а другой в другую. Пытаясь прочесть свои самодельные стихи, он разволновался, притопывал дрожащей ногой, прищелкивал пальцами. Съежился, словно хотел залезть под стол, крикнул, как утка, и неожиданно хрипло выкрикнул:

— Так, значит!

— Как, значит? — пытался я его воодушевить.

Длинный и тощий, согнувшийся от страха, он что-то пришептывал, оглядывался на дверь, словно намеревался сбежать. Только раз он поднял глаза, когда я обратился к нему. Он наморщил лоб, запыхтел, опять один глаз у него закрутился в левую сторону, а другой в правую. Было страшно: вдруг его глаз раскрутится до космической скорости, и он выстрелит этим своим глазом. А он еще и коленкой задрывал. И вдруг сказал:

— В туалет хочу, извините.

— Это у нас сразу напротив нашей двери, — сообщил я.

Тина Даниловна сказала:

— Я знаю, вы написали такие стихи! Я даже сидеть рядом не смею, в лицо ваше смотреть не могу.

— Такой страшный?

— Что вы, нет! Просто вы — как солнце.

— Ну уж и солнце.

— Ах, Петр Сергеевич, эта ваша книжка на вес золота, ее теперь нигде не сыщешь, а то бы я подарила одной подруге на день рождения.

— Зачем же днем — с огнем? — сказал я. — Она в книжном магазине уж пятый год лежит, скоро в макулатуру отправят...

— Что вы говорите? В каком магазине?

— В «Искорке».

В этот момент вернулся Вася.

— Вы знаете, в туалете на стене надпись: «Твое будущее в твоих руках!» Я не понял, какое будущее?

— Этот вопрос мы обсудим позже, а сейчас, может, стихи прочитаете?

— Нет, сейчас кто-нибудь другой...

— Ну, писсуаровцы, давайте! — пригласил я.

— Да мы пока еще ничего не написали, мы просто послушать зашли, — ответили писсуаровцы, чем повергли меня в глубокую скорбь.

В это время постучали, и в дверь вошел брюнет, с широко поставленными, несколько удлинненными глазами, в черноте которых было нечто магнетическое. Брюнет сказал, что принес заметку в газету. Я тут же решил сагитировать его писать стихи. Прочел заметку. Она была о том, чем занимаются студенты на лекциях. Я понял, что его и агитировать не надо. В отличие от Васи, он был поэтом. И заметка была — не заметка, а стихотворение в прозе, причем афористичное,

юморное, емкое. А особо меня удивила подпись под стихотворением. Брюнет расписывался не слева направо, как все люди, а наоборот.

Звали студента Рафисом Габдрахмановым и учился он на пятом курсе ПИССУАРа. Это был ценный кадр для моего кружка, я обрадовался.

— Ходите в наш кружок обязательно, я вас сделаю поэтом, — пообещал я Рафису. — Вы, кстати, очень оригинально расписываетесь. Покажите, как вы это делаете.

Рафис взял лист бумаги и расписался справа налево левой рукой, потом проделал то же самое правой рукой. Потом расписался сразу двумя руками, и обе росписи были сделаны справа налево.

— Да вы просто фокусник! Долго тренировались? — спросил я.

— Почти не тренировался, — ответил Рафис. — Оно как-то самой собой вдруг стало получаться.

— Хорошо, приходите на следующее занятие, приносите новые стихи, вас только чуть-чуть подучить стихосложению, и вы — готовый поэт!

— Ладно, спасибо, — отвечал пятикурсник. — А сейчас побегу, уже опаздываю.

Он исчез. Я попросил кружковцев прочесть стихи, пусть не свои, кто какие помнит. Никто читать не хотел. Памятуя, что дурной пример заразителен, я сам стал читать стихи, не те, что в книжке, но другие, озорные, веселые. Потом объявил наше историческое первое заседание закрытым и каждому студенту велел на следующее заседание привести, как минимум, по два молодых таланта.

— Они же есть, их не может не быть! — сказал я строго.

Студенты промолчали. А Тина Даниловна заявила, что знает одного очень талантливого, а может быть, и вообще гениального человека. Но он не поэт, а прозаик. И он не студент, а начальник. И спросила: можно ли его привести на следующее занятие?

Я с тоской подумал, что на следующее заседание может вообще никто не прийти: Вася перепуган, писсуаровцы, кажется, моих стихов не поняли. Никто не придет, и я лишусь должности и своего замечательного удостоверения, и в конечном счете — лаборантской зарплаты. Я попросил Тину Даниловну, чтобы она обязательно привела на следующее заседание своего удивительного прозаика и вообще всех своих знакомых, которые интересуются стихами или прозой.

— Ничего страшного, если это будут не студенты ПИССУАРа. Пусть только они, если на занятия заглянет проректор, назовут себя работни-

ками института. Ну, техниками там, вахтерами, кем угодно. Тут почти две тысячи человек работников, что он их всех помнит, что ли?

2. КОПЧЕНЫЙ ОМУЛЬ

На чердаке писорга, где я ютился в маленькой комнатухе, сохранилась еще дореволюционная печь с выюшками.

В среднем этаже, в кабинете ответственного секретаря писорга был слышен звон стаканов. Там наш писательский начальник Авдей Громыхалов принимал гостей. Член обкома, ездит на казенной черной «Волге» с хромированным «оленем» не только по городу Пимску, но и по многим другим городам. Получает паяк в партийном распределителе. Главный его роман «Дикое семя» переиздан двенадцать раз. Трижды Авдей был за границей. Я видел фотографию: Авдей сидит на слоне в Индии, словно магараджа какой. У него жена профессор, у него любовницы. Всего достиг!

Начинал с малого. Окончил автодорожный техникум. Попал в Нижне-Амурск. Строил дороги в тайге, писал в газеты. В его рассказах бродили медведи, были волки, таились на деревьях коварные рыси, горели костры первопроходцев, падали с кедров шишки, и всякая таежная ягода наполняла рот читателя терпким соком.

Пригласили работать в газете. Издал первые книжки. Столичный журнал «Соотечественник» принял его в редколлегию. Вот тогда он напечатал в журнале повесть, посвященную секретарю обкома Пимской области Кузьме Тягачеву. А опытный политик сразу понял, что такого писателя ему обязательно надо иметь в своей области...

Я спустился с чердака, ведомый звоном стаканов. Выпивка мне не так уж нужна, но теперь был праздник и захотелось общения. В среднем этаже старого купеческого дома писатели занимали три комнаты. В одной из комнат была приемная, где обычно стучала на машинке черно-седая с угольными бровями и глазами дама, жена полковника КГБ. Случайно ли она стала секретарем-машинисткой писательской организации? Об этом никто здесь не говорил. Азалия Львовна почти всегда держала в уголке рта папиросу. Дело свое знала, кого попало в кабинет к Авдею не впускала, печатала чисто. А когда у Авдея затевалась выпивка, то и Азалию обязательно приглашали.

Увидев эту даму я невольно вспоминал историю дома, приютившего ныне писательскую организацию и меня лично.

До революции здесь жил купец второй гильдии Виктор Чердынцев. В Пимск он прибыл из заштатного городка Мариинска, имел пивоварню. Жил он в этом доме вольготно, полуподвальный и второй этаж имели много залов и комнат. А наверху, в мезонине, жила прислуга. Вот в одной из мезонинных комнатух я и поселился.

Из окон нашего дома видна бывшая городская тюрьма, говорят, особо опасных заключенных приковывали толстыми цепями к стенам. Теперь там — типография и бухгалтерия редакции, где я в разные годы получил немало гонораров. А чуть поодаль от этого здания — бывшая женская тюрьма, которая в наши дни стала роддомом. Получается, что нынешние тамички рожают своих младенчиков в бывших тюремных камерах. Впрочем, у нас мало кто знает историю городских зданий. А ведь иные дома повидали много любопытного.

В той самой обширной зале, где теперь кабинет Авдея, отдыхал когда-то сам министр госбезопасности Лаврентий Павлович Берия. Впервые он появился в Пимске в 1942-м году. И сразу посетил загородный минный завод НКВД в поселке Чекист. Предприятие это находилось в живописной местности, неподалеку от полноводной реки Тами. Мой дядя работал на том заводе, как вольнонаемный, и своими глазами видел пикник в сосняке, когда Лаврентия Павловича угощали жаренной на прутиках нельмой высокопоставленные чины НКВД. Но министр не только любовался природой и вкушал дары великой реки, он вместе с зятем, полковником Любым, и генералом Царевским приглядывал место для важного объекта. Вскоре в Пимск приехала семья Берии и поселилась в профессорских апартаментах при химическом корпусе. Квартиры эти строго охранялись, ибо жили там сотрудники тайной лаборатории.

В 1943-м году Сталин подписал указ об атомном проекте. Берия стал очень часто наезжать в Пимск. А резиденция его как раз и разместилась в бывшем особняке Чердынцева. В полуподвале и на чердаке находилась охрана. Кабинет и жилые комнаты министра были в среднем этаже. От того времени осталось рядом с домом Чердынцева странное жилище: прямоугольная яма, прикрытая земляной крышей, с окнами-щелями. Два старых маньчжура до сих пор живут в этой удивительной избе. Один из них пьет только чай из огромного термоса с изображением танцующих журавлей, другой — не отказывается от более крепких напитков. Один раз он пришел в кабинет к Авдею, истово перекрестился и сказал:

— Я не китаец, я маньчжур, вот тебе крест святой! Займи трешку до завтра! Башка трещит, а похмелиться не на что.

Понять старика было можно. Не так давно страна была потрясена событиями на острове Даманском. В Приморье на реке Уссури начался вооруженный советско-китайский конфликт. Дружба с Китаем превратилась почти во вражду.

Авдей, конечно, дал маньчжuru трешку. Он удивил Авдея своим чисто русским произношением. Авдей мне об этом как-то сказал, а я не удивился, я знал от своих родичей, что это за маньчжуры. Сейчас они в теплые дни садятся неподалеку от своего жилища и предлагают проходим прочинить обувь либо почистить ее. Появились же они здесь вскоре после приезда в Пимск Берии. Тогда же было сооружено их жилище. Оно было сделано как укрепленный блиндаж, из которого можно отразить атаку целого полка, находясь в надежном укрытии. Два маньчжура могли стрелять с обеих рук из пистолетов ТТ без промаха. НКВД их поселило здесь для наружной охраны специального объекта.

Летом маньчжуры сидели возле своего «жилища» с ящиками для чистки обуви, в ящиках были не только баночки с кремом, но и гранаты, и заряженные и взведенные пистолеты. Зимой маньчжуры вели наблюдение из блиндажа. И неизвестная, восточного вида женщина приносила им жаровни с пылающими углями.

Теперь эти маньчжуры — просто старики, и иногда можно слышать, как старший из них, непьющий, ругает того, кто помоложе:

— Алкаш позорный!

Откуда мне известно их подлинное лицо — я Авдею и Азалии не скажу, у спецслужб свои тайны, у меня свои.

В тот предновогодний вечер в кабинете у Авдея Даниловича сидел художник Сергей Мешалкин, голубоглазый русак, академик. Он любил рисовать северные пейзажи и северных людей. Я в живописи — профан. И когда бываю в музеях, любуюсь только старыми картинами. Не верю я, что репинские куски краски на полотне — это то, что нужно мне, зрителю. Из современников я ценю лишь Шилова. Он пишет гладко, соблюдая старые русские академические традиции. А вот когда я увидел картину Мешалкина «Северный дебаркадер», то подумал, что это полотно кто-то обстрелял из дробовика. Но оказалось, это техника такая. Художник тычет кистью, создавая точки. И из этих точек составлены и пейзаж, и люди. Такая рябая живопись. У французов это называется пуантилизм, идею такого письма, говорят, завезли из дикой тропической Африки. Но критики в восторге от картин Мешалкина. За свои «точки»

Сергей получил не меньше премий, чем Авдей за свое «Семя». Оба они — великие и благополучные.

Приторный запах копченой рыбы пропитал все вокруг. Раскрытые ящики с омулем помещались на огромном письменном столе. Ухватив омулька за хвост, Авдей постучал рыбиной по столу, содрал с нее шкуру и впилился в хребет крепкими зубами. Лобастый крепкий Авдей фигурой напоминал борца и выпить мог чрезвычайно много. Роман его «Дикое семя» описывает, как он с младшим братом, Викентием, подростками попали в детдом на севере нашей области. Отец их погиб на фронте, мать умерла.

Строптивому и гордому Авдею детдомовские вожакИ решили устроить «темную», накинули на него одеяло и навалились, стали бить, душить. Авдей как-то исхитрился достать из кармана перочинник и сквозь одеяло вонзил лезвие в одного из напавших. Им оказался вожак. Авдею удалось разогнать обидчиков. Так он стал в детдоме авторитетом.

Среди гостей в комнате был и брат Авдея — Викентий. Он был не таким могучим, был худым, но тоже сильным. Принимал участие в банкете и секретарь парторганизации Кузьма Феденякин, лобастый и кряжистый, как Авдей, но пониже и в телескопических очках, что вкупе с залысинами на лбу придавало ему сугубо интеллигентский вид.

Был в компании и молодой писатель по фамилии Крокусов. У него папа был директором прибайкальского заповедника. Паша Крокусов написал роман, мечтал о приеме в писательский союз. Ящики с омулем начали прибывать в нашу организацию еще осенью. Когда Феденякин и Громыхалов дали мне роман Паши Крокусова на рецензию, я там ничего понять не смог. Запомнились слова: «Бабынька, дедынька, мамынька». Слова эти повторялись на тысяче страниц. В чем там было дело — я так и не понял. Догадался, что какая-то деревенская семья жила плохо, пока не вступила в колхоз. Стала жить лучше, а какие-то сволочи этой семье мешали наслаждаться жизнью. Я написал обтекаемую рецензию, мол, что-то есть, чего-то нет, но скоро будет, если автор постарается. Громыхалов велел написать, что в рукописи есть все, автора нужно готовить в союз. Я выразил сомнение: примут ли? Громыхалов пояснил: нельзя лишать человека надежды, это негуманно. К тому же, пиво закусывать лучше всего байкальским копченым омулем.

И Авдей, и Феденякин пытались заставить меня выпить водки и обижались:

— Не уважаешь?

— Манкируешь?

— Чего там манкирует, — прокуренным хриплым и ядовитым голосом сказала Азалия. — Он настучит, падла, в обком, вот увидите!

— Да никогда в жизни! — воскликнул я.

— От семьи сбежал, один живешь, с сотрудниками выпить брезгуешь. Падла ты последняя, и больше никто! — сказала Азалия, морща красивые губы.

Я уже знал, что пьяная она бывает грубой, несносной даже. Матерится, как извозчик. У нее дочь, юная красавица, закончив десятилетку и поступив в университет, погибла в автокатастрофе. Это было лет десять назад. С тех пор у Азалии характер испортился. Впрочем, на трезвую голову она грубостей не допускает.

Крокусов и художник говорили что-то о красотах Байкала. Азалия хлопнула дверью и ушла, сказав на прощание:

— Ну вас всех на...

— Ке-ге-бе-е! — сказал Авдей. — Они меня самого чуть не завербовали.

— Как? — заинтересовался художник.

— Случай. Я был в Нижне-Амурске собкором радио. Сидим в ресторане, поем. Возник мильтоша, тощий такой, замечание сделал. Я его послал. Он револьвер из кобуры достал: «Вы арестованы!» Ну, вышли на лестницу, я ему плюху дал, револьвер отобрал, пошел на главпочту, купил посылочный ящик, тайком упаковал револьвер и отправил почтой начальнику милиции... На другой день, едва проспался, меня арестовали и в КГБ увезли. Их начальник втолковал мне. Они бывших детдомовских любят в службу брать: родни нет, тайны выбалтывать некому. Им нужны такие лихие и спортивные, как я. Если я откажусь у них служить, то мне срок за нападение на мильтошу светит. Я ему сказал, что их люблю и уважаю, но у меня другой путь, мне надо дар писательский развивать. Еле отвязался.

— Так тебе за нападение ничего и не сделали? — поинтересовался Феденякин.

— Радиокomiteт меня спас, я у них на добром счету был. Да и тюрьги ничуть не боялся, молодой был. Я и сейчас ничего не боюсь, я свое еще в детстве отбоился! — сказал Авдей. — Выпьем!

Мы выпили. Омуль был великолепен. За окном писорга падали крупные снежинки.

— У меня в романе, — сказал Крокусов, — мамынька, бабынька и дедынька постигают всю силу колхозного строя как раз в новогодье,

когда с колхозной риги везут мимо их избы мешки с зерном. Трудодень! Великое слово! Выпьем за трудодень! За русский народ!

— На хрен трудодень! — сказал Феденякин. — А за народ — выпьем!

— Нет, извиняюсь, — заартачился Крокусов. — Народ без трудодня — ничто!

— Будет вам, — примирительно сказал Авдей Данилович. — Ты, Крокусов, конечно, описал трудодень, а сам-то много ли трудодней выработал?

— Я с детства тружусь, то есть я выполняю свой умственный трудодень.

— Умственный — не то, ты бы попробовал пердячим паром зарабатывать. Да ладно! И Русь не та, и мы не те! — подвел итог Авдей Данилович, ощупывая на вешалке шляпу и кожаное пальто Крокусова. — Ты вот, Паша, даже в сорокаградусный мороз в шляпе ходишь, а я эти шляпы и теперь терпеть не могу.

— Что шляпа? — вмешался в разговор художник. — Ты посмотри, у него портфель из настоящей крокодиловой кожи. Это, может, единственный такой портфель в азиатской части России. Ты где его достал, Паша?

— Папа в Москве в «Березке» на валюту купил.

— Хорошо иметь такого папу, — вздохнул Феденякин.

— Папа простым колхозником работу начинал, трудодни зарабатывал. Он хорошо работал, он в партию вступил, его послали на учебу.

— Просто замечательно иметь такого папу! — Феденякин поцеловал Пашу Крокусова в щеку.

— Эй, вы что, гомосеки? — воскликнул Авдей Данилович.

— Ничуть не бывало, — отвечал Феденякин. — Просто приятно иметь дело с великим талантом...

Банкет кончился под утро. Крокусов наблевал возле вешалки и уснул в собственной блевотине, подложив под себя портфель крокодиловой кожи.

— Слабак! — обозвал его Авдей.

Братья Громыхаловы и Феденякин мимо сонного вахтера вышли на улицу, там их ждала выделенная писателям обкомом новенькая черная «Волга». За рулем дремал молодой мусульманин Ромка. Татарское имя Рамазан писатели обратили в русское Роман, а затем еще и сделали уменьшительным. Пацан ведь еще! Пацан-то пацан, но успел отсидеть четыре года за какую-то поножовщину. Авдей Данилович принял его на

работу. Мало ли что сидел, зато пойдет за Авдея в огонь и воду. Запчасти, если не достанет, так украдет. И начальник ГАИ — татарин, никогда не забирает его за нарушение правил. Ромка гонит машину по главному проспекту, не обращая ни малейшего внимания на регулировщиков и светофоры. Авдей Данилович сам лихой и любит лихих людей.

Я запер за уехавшими писателями дверь писорга. И поднялся к себе в чердачную комнату. Опять навалилась тоска одиночества. Вот я — член. И что? Всюду опоздал, всегда один. За окном крупный снег. В голове пустота. Ветер воет во вьюшке.

3. КТО ТАМ ЛЕЖАЛ?

Тина Даниловна регулярно приходила на занятия моего кружка. Когда кто-нибудь выступал, читал стихи или прозу, она слушала, впиваясь взглядом в лицо каждого автора, охала, вскрикивала, делала какие-то пометки в записной книжке. Стремилась переписать ту или иную графоманскую безделицу, записывала — имя, отчество, фамилию, год рождения и должность автора.

Записывала, оказалось, не зря. И после к чьему-нибудь дню рождения приносила книжки и коврижки: «Ах! Ах!» И дарила альбом, сувенир и обязательно открытку, в которой щедро раздавала эпитеты: «Гениальному, талантливейшему...»

Такой восторг, такое упоение от чужих самодельных стихов, порой отчаянно бездарных! Значит, есть в душе тяга, магнит. Он сделан из золота воображения и тянет, тянет. Сама она не пишет стихов, никогда не писала и не будет их писать, а струна поэтическая в ней позванивает.

До Нового года Тина Даниловна успела обеспечить трех именинников подарками. Успела поплакать над якобы трогательными строчками наших поэтов не менее сорока раз. Точного учета ее слез никто не вел, потому я и называю эту цифру. Сорок — приятное число. Говорят же: сорок сороков — то есть много.

На первое же посленовогоднее занятие она принесла бутылку шампанского и всех поздравила с Новым годом. Когда наговорились, начитались, все мы пошли в университетскую рощу. О чем-то цыганским хором порассуждали у невзрачного памятника-бюста великому Потанину. Бюст был густо покрашен черным, великий путешественник и областник из-за этой черной краски походил на папуаса, хотя на самом деле был родом из казаков.

Холод и легкость одежды быстро заставили многих ретироваться.

Мы с Тиной Даниловной пошли вдоль университета, я говорил о Потанине, о пьесе «Университетская роща», которая когда-то шла в местном театре. Напевал вполголоса и песню из этого спектакля: «Роща моя золотая, в блеске осеннего дня».

Шли мы в полутьме холодного вечера. Сели в трамвай. Протарахтели до переулка с длинным и странным названием «Совпаршкольный».

— Тут он лежал! — сказала Тина Даниловна, глядя на рельсы.

Я не понял, кто лежал, зачем лежал. Спросил ее, но Тина Даниловна заговорила о другом:

— Это дико! Глупо! Такого человека вести в мои трущобы! Писателя! Члена СП!

Зная уже некоторую заполошность Тины Даниловны, я сказал:

— Ничего, ничего. Очень даже симпатичный дом! Старинный!

— Картонажная фабрика была, — почему-то шепотом сообщила Тина Даниловна. — Через двор идите быстро, ни с кем не заговаривайте. Не дай Бог! — добавила она, пригибаясь и оглядываясь.

Я знал это место. Начало Октябрьского, или же Воскресенского, взвоза, как кому лучше нравится. Здесь перекресток Взвоза и кривоватой, поросшей тревожными деревьями и кустами, улицы Подгорной. С наступлением сумерек место это весьма опасное. Это здесь зверским ударом сшибли с ног и пинали бедного Бамбино, моего бывшего сотрудника по редакции. Он им крикнул:

— За трешку убиваете! — и вытянул трояк из кармана.

А они ему мудро и спокойно сказали:

— А у тебя еще есть... — и продолжали пинать.

Проходные дворы с дырами в заборах. Сарай и сарайчики, поленицы дров и всякогохлама. О, тут мало фонарей. Такой закон. Зато фонарей много на Арбате, на Невском, на Кутузовском, в других таких местах. А тут — мало.

В полутьме пустоватого двора тянулось приземистое грязное здание с квадратными окнами. Не было во дворе ни деревца, ни скамеечки. Помоечный хлам. Обломки кирпичей. И все. Тина Даниловна подскочила к окошку с осколками стекол, за которыми виднелся щит из грубо сколоченных плах. Она застучала в щит и запричитала:

— Рина, Лина, отоприте, но как только трижды стукну в дверь! Лина, Рина! Со мной Петр Сергеевич! Который поэт, я говорила! Лина, Рина, открывайте осторожненько, сами знаете!

Мы с Тиной Даниловной прошли в темный коридор. Долго стояли возле двери, за которой слышалась возня, лязгали щеколды, крючки. Наконец дверь скрипнула, приотворилась, я шагнул в темную комнату вслед за хозяйкой, но пол здесь был так покат, что я не смог удержать равновесие, качнулся к стене, и на голову мне посыпались какие-то тяжелые предметы.

— Это книги упали, — поспешила объяснить Тина Даниловна. — Тут у нас книжная полка, там Плутарх, Ленин, Каутский, переписка с Плехановым, Сталин, жил тут один учащийся высшей партийной школы. Книги нам оставил...

Я огляделся. Мы были в комнате с одним квадратным окном, русской печью, колченогим столом, двухъярусной кроватью и раскладушкой. Тина Даниловна торопливо захлопнула дверь и стала поспешно задвигать засовы, вдевать в петли крючки.

На печи что-то закряхтело, застонало, зашевелилось.

— Отдыхайте, мама! — сказала Тина Даниловна. — Это Петр Сергеевич, я про него говорила, не волнуйтесь, пожалуйста.

Она отвела меня к окну и зашептала в ухо:

— Мама совсем плоха, ничего не видит. Она с печи почти не слезает. Туда ей и кушать даем, и судно больничное. В нашей комнате температура выше двенадцати градусов не поднимается, как бы мы печь ни топили. Вам это кажется дико, да?

— Отчего же? Сам на чердаке живу. Сколько у вас запоров дверных и какой мощный щит на окне...

Она шепотом пояснила:

— Тут же, в этом каменном бараке, бандиты живут.

— Так уж и бандиты? Можно в милицию заявить.

— Что вы, что вы! У меня девочки маленькие, отомстят, что-нибудь сделают с ними. Эти типы уж и окна у нас ломали, и двери. Потому и щит на окне, потому и столько запоров. Видите кольца в косяках? На ночь в них лом продаваем.

Я осматривался, впечатление было странное. Две хороших картины на стене и стеллаж с редкими книгами в золотых переплетах никак не гармонировали с колченогим столом и двухъярусной кроватью. И еще я думал: почему там, на остановке, она сказала «тут он лежал»? Кто лежал? Почему? Странная все-таки женщина!

Тина Даниловна достала из своей объемистой сумки альбом для фотографий и несколько яблок.

— Лина, Рина! Петр Сергеевич вам фотоальбом подарил! Он сейчас

в нем памятную запись сделает. Подарок поэта, девочки мои. Будете всегда им гордиться, не у всякого есть фотоальбом с дарственной надписью писателя. И еще он яблочки вам купил.

Я хотел сказать, что не покупал ни альбома, ни яблок, но понял, что это будет не педагогично. Взял альбом, на внутренней стороне обложки начертил фломастером: «На добрую память Лине и Рине от Пимского писателя». Фломастеры тогда только появились в продаже, были диковинкой. Я подарил фломастер девочкам, они ему обрадовались даже больше, чем альбому. Но все же я чувствовал неловкость оттого, что Тина Даниловна от моего имени дарит дочкам купленное ею, а не мной.

— Мы устроим праздник! — воскликнула Тина Даниловна. — Сейчас, только в печку дров подбросим, я вот эти березовые полешки для такого случая и берегла!.. Вы пальто не снимайте, — обернулась она ко мне, — не нужно! Мы дома в пальто зимой ходим.

Я все же снял пальто. Да, без него было свежо, но я джентльмен.

Погасили свет, зажгли свечу и пили чай, вода для которого вскипела на углях в чреве русской печки.

Наконец Тина Даниловна уложила дочек спать. Наши стулья были рядом, свеча догорела. Мы говорили шепотом. Я решился и спросил Тину Даниловну: кто же там лежал на рельсах? Она рассказала, что ее муж погиб на глазах у нее и двух ее дочек. Его защемило трамвайной дверью, он вырвался, упал и покатился под колеса.

— Тина, младшенькая моя, ничего, а Рина с тех пор болеет.

Тина Даниловна тихонько заплакала. Я не знал, как поступить. Приобнял ее. Так вот в картине «Тихий дон» помещик приобнял плачущую Аксиныю, а с этих утешительных объятий и к любовным перешел. Только я не помещик, и Тина Даниловна донской красотой не блещет. В фильме утешитель Аксиныи зашел достаточно далеко. Но я же не какой-нибудь гад, чтобы использовать слезы женщины в своих интересах!

С другой стороны, для чего же она меня на ночь глядя привела к себе домой? Ясно, что мне здесь ночевать придется, домой в такое время через весь город не пойдешь. Но есть ли у меня интерес? О! Я не молод, не молод! Ах, какие девочки в противосолнечных очках прошли в далеком южном городе по моей жизни! Как говорится: где вы теперь, кто вам целует пальцы? Пузцо выросло, черт бы его взял, мешает обниматься. А все — работа сидячая.

Тина Даниловна шепчет:

— Не надо, не надо! Это вредно для организма, я же биолог, знаю...

Еще не легче! Такого мне никогда никто не говорил. Пощечины давали, матом ругали, но чтобы насчет биологии?..

Пояснил свою позицию: вредно для организма, если он не получает разрядки.

— Ах, нет, нет!

Тяжелые, как дыни, груди, которые я успел ощупать, расстегнув пальто, Тина Даниловна защищала, как воин твердыню. Ну, не очень-то и хотелось. Просто любопытство проклятое, мужское. А так-то неудобно, конечно, две девочки в этой же комнате спят. Да я ни на что не претендовал именно теперь, только — поцелуи, как аванс в счет будущего удобного случая. Ладно. Я сказал, что прикорну до утра на раскладушке, если она не возражает. Она постелила мне матрасик, дала и подушку, и одеяльце, и сказала:

— Спите спокойно, я еще посуду буду мыть. А четырнадцатого пойдем с вами старый Новый год встречать к одной моей знакомой. Вот вам будет достойная жена. Она у нас в университете работает.

— Преподаватель?

— Нет, секретарь-машинистка, но такая умная, такая начитанная. Она моложе и красивее меня. Вы сразу влюбитесь. Женитесь, будет перепечатывать ваши рукописи. Она очень быстро и чисто печатает.

— Слушайте, почему вы новые стекла не вставьте вместо разбитых? Теплее будет.

— Так ведь сразу же снова разобьют. Внутренние стекла целые, а наружные пусть так и будут.

Сквозь дрему ко мне пришел образ Незнакомки Блока. Шелка, духи, туманы. Звон уключин над озером. И почему это Тина Даниловна выступает в роли свахи? Фригидная? Себя не ценит? Или наоборот — имеет завышенную самооценку?

4. НЕ НИЖЕ ПОДПОЛКОВНИКА

В старый Новый год мы с Тиной Даниловной уселись в автобус, я держал в руках кошелку, в которой были упрятаны две бутылки шампанского, кольцо колбасы и пара батонов. В конце Иркутского тракта сияли огни пятиэтажек, которые народ прозвал «хрущевками».

Знакомая Тины Даниловны жила на пятом этаже, я еле успевал за

спутницей и пятого этажа достиг с перебоями сердца. Тина Даниловна нажала кнопку звонка. Дверь открыла женщина в мини-юбочке, в туфлях «на платформе», с пышной прической, причем половина прически была соломенного цвета, а другая половина — черного. Я понял, что это «писк моды». Это меня насторожило. Начитанная? Чего же она в сорок с лишним лет модничает, как шестнадцатилетняя? Да и молодые девчонки не все так ходят, а только самые глупенькие.

Меня как бы оглушила меблировка квартиры. Хрустальные люстры, румынский гарнитур с угловыми диванами, торшеры, вазоны, ковры, нарядная елка возле балконного окна. Но во всем великолепии нигде не видно ни книжного шкафа, ни даже полочки с книгами. Кудрявая болонка соскочила с дивана и весело засуежилась у наших ног.

После того, как Тина Даниловна познакомила меня с полубрюнеткой-полублондинкой, хозяйка дома пригласила нас за стол:

— Вы припозднились с визитом, уже без пятнадцати двенадцать.

— Это мы так и рассчитали, чтобы не скучать, а сразу начать праздник! — пояснила Тина Даниловна. По дороге она мне открыла свой коварный план. После того, как она меня познакомит с Элеонорой Викторовной, и мы выпьем за старый Новый год, Тина Даниловна скажет, что у нее болеет дочка, я должен буду по телефону вызвать такси. Тина Даниловна оставит нас вдвоем. И тогда уж все будет зависеть от меня.

Мужчина во всяком застолье обязан раскупоривать шампанское. Я эту обязанность принимаю со страхом. В южном городе мой товарищ однажды в большой компании откупоривал шампанское. Холодильников тогда не было, а юг есть юг — шампанское было теплым. И пробка выстрелила прямо в глаз юной красавице. Скандал был невероятный!

Я осторожно взял бутылку, направил ее горлышком в сторону от моих дам. Прижимая пробку большим пальцем, я тихонько открутил и снял проволоку. Затем стал раскачивать пробку в горлышке, одновременно подавая вверх по миллиметру, еще, еще. Наконец раздался глухой хлопок, и вино с торжественным шипеньем полилось в бокалы. Не пролилось ни капли.

— Чувствуется опыт, — заметила Элеонора Викторовна.

— Что есть, то есть, — скромно согласился я.

— Мне еще не приходилось общаться с писателями, — сказала Элеонора Викторовна. — У нас декан что-то пишет, но он не член Союза писателей.

— Петр Сергеевич — член! — явно гордясь мною, подтвердила мой статус Тина Даниловна.

Хрустальные бокалы приятно зазвенели. Шампанское покупал я сам, оно было полусухое. Сухого не нашлось. Крепленое вино я терпеть не могу. Я вообще сторонник сухих вин. На юге к ним приучился. До этого, читая в книге про сухое вино, я представлял себе бурый порошок, который надо разводить водой. Но в Ашхабаде тамошняя молодежь разъяснила мне что почем. Хемингуэй писал, что лучший способ потратить деньги — это купить шампанское. Я предпочитаю марочный рислинг. В Пимске его не продают, кроме того, в Новый год полагается пить шампанское. А так хорошо цедить потихонечку рислинг, закусывая его подсахаренными пластиками лимона!

Элеонора Викторовна нажала наманикюренным ногтем золоченую кнопку, из тумбочки выдвинулся проигрыватель, игла сама опустилась на диск. Зазвучало танго.

— Дамское танго! — объявила Тина Даниловна и многозначительно посмотрела на свою знакомую.

И вот мы с университетской машинисткой уже танцуем. Танго — мой любимый танец. Еще в армии я приобщился к танцевальному искусству, занимаясь в кружке. Мы там изучали разные народные танцы: краковяк, молдовеняску, гопака, русскую и, конечно, знойное аргентинское танго. Моими партнершами были офицерские жены, это немножко сковывало, но танго заставляло забыть все. Длинные скользящие шаги, сменяющиеся короткими, неожиданные повороты и наклоны... Причем преподаватель говорил, что каждый может творить свое танго по-своему. Тут допустима импровизация, если она, разумеется, талантливая.

Машинистка танцевала танго примитивно. Я пытался придать танцу должный шарм, но не получалось: Элеонора Викторовна была тяжела на ходу, как комод.

— Я еще не была знакома с настоящим писателем, — сказала она, — я мало об этом знаю: каков месячный доход писателя?

— Разве в доходе дело? — парировал я.

— Я была замужем за майором, — сообщила Элеонора Викторовна, — он получал четыреста, плюс все, что положено по аттестату, плюс командировочные.

— Куда же девался товарищ майор?

— У нас вышли разногласия. Мы только получили в Пимске квартиру, я заняла интересную должность в университете, и тут моего майора

решили перевести в далекий таежный гарнизон, с присвоением ему звания подполковника. Но я не поехала с ним, мне надоело мотаться по таежным углам, там и людей культурных мало, и жилищные условия не те. Я развелась с ним. Осталась вот в этой двухкомнатной квартире одна. У меня, между прочим, хорошая мебель.

— Мебель я вижу. Хорошая действительно. У вас не было детей?

— Не было, — подтвердила она. — Но вы не ответили на вопрос: какой оклад у писателя?

— А какой бы вы хотели?

— Если бы я не развелась с майором, я бы сейчас была женой подполковника. Он вполне может дослужиться в своей тайге и до полковника. Я так и сказала себе: если выйду снова замуж, то муж должен быть чином не ниже подполковника. Я думаю, теперь меня устроил бы муж с окладом в шестьсот рублей, но ведь писатели, наверное, получают значительно больше?

— Конечно, больше! — заверил я ее, хотя и знал, что по статистике доход российского писателя составлял в то время семьдесят рублей в месяц. Конечно, были писатели, которые получали и шестьсот в месяц, и тысячу, но большинство перебивалось с воды на хлеб. Может, они зря открыли дверь в литературу, но выходить в эту дверь обратно никто не желал. Почетно же быть писателем.

Игла совершила по черной дорожке пластинки последний круг. Музыка кончилась. Тина Даниловна показывала мне глазами на телефон: мол, сейчас скажу про больную дочь, и вы мне такси вызовете. Но я ее опередил:

— Спасибо вам, Элеонора Викторовна, за гостеприимство. Славно мы старый Новый год встретили. Очень рад был познакомиться. Мне надо Тину Даниловну до дома проводить да и самому домой подаваться. Завтра утром на работу надо.

— Да, я понимаю. Вот моя визитная карточка, можете позвонить...

Тина Даниловна была несколько озадачена нарушившимся сценарием наших действий. На улице она спросила:

— Не понравилась? Она, по-моему, очень даже ничего.

— Ничего, но почему-то двухцветная.

— Это сейчас модно.

— И ей нужен муж с окладом в шестьсот рублей в месяц. Увы, я зарабатываю в шесть раз меньше. Не смог ей признаться в этом, она бы упала в обморок. Ага! Вон и такси!

Я поднял руку. Шофер затормозил. Вскоре мы были уже в захламленном дворе бывшей картонажной фабрики. Я рассчитался с таксистом.

Тина Даниловна сказала:

— Зачем же вы его отпустили?

— А у меня больше денег нет. Я же не подполковник. И вообще, сначала я должен доставить вас прямо в ваше жилище, а уж потом потихоньку побреду до своего писательского чердака.

— Ну нет, у меня переночуете, а то в такое время и убить могут.

Опять Тина Даниловна стучала в ставень. Девочки спали крепко, и стучать пришлось долго. Потом мы прошли в коридор, ждали, когда девочки отстегнут все щеколды и крючки. Быстро заскочили в комнату, заперлись, и я привычно расположился на раскладушке, не помышляя о поцелуях и прочих глупостях. Человек с моим доходом должен об этом думать как можно меньше.

5. ПИСОРГ ПЕРВОМАЙСКИЙ

Первого мая я решил посмотреть, как наш Авдей стоит на правительственной трибуне.

Я в демонстрациях обычно не участвую. Мне это в армии надоело. Поднимали в два ночи и гнали в какой-то закоулок. Выдавали учебные автоматы, усаживали в кузова «Студебеккеров». До самого утра добивались ровной линии голов и стволов.

Теперь я пристроился к колонне работников сельского хозяйства и прошел мимо трибуны. Да! Смотрится Авдей на трибуне! У него и плащ, и шляпа, и кашне точно такие, как у партийных начальников. Здорово!

Я отделился от колонны и встал под деревом в сквере Революции. Сквер пока что был оцеплен милиционерами. Граждане должны были рассасываться в улицы и переулки подальше от трибуны. На площади все еще стоял невообразимый гул от праздничных оркестров и приветствий.

Я невольно вспомнил, что вот здесь, на площади, прежде действовал фонтан под названием «Дружба народов». Огромный «земной шар» поддерживали черный негр, белый человек, желтый человек и красный — вероятно, индеец. Из шара вырывался фонтан. Осенью проливные дожди промочили алебастр, ударили страшные морозы, и «Дружба народов» развалилась. Первым почему-то упал «негр».

Обком приказал экстренно убрать развалину и возвести новый фонтан. Теперь был изваян из алебаstra мальчик, обнимающий огромную оскалившуюся рыбу. На хребте у нее располагались пилообразные наросты, а из пасти над чашей била струя фонтана. Глядя на эту рыбу, я сам не раз испытывал некоторый страх. А дети и подавно не могли понять замысла неизвестного ваятеля. Им казалось, что эта ужасная рыба поймала маленького мальчика, обливает его водой и вот-вот начнет пилить хребтом и кусать острыми зубами. Малыши ревмя ревели, убегая от фонтана. И мальчик с рыбой исчез. Я до сих пор не знаю, какой породы была «рыба».

После этого начальство решило больше не экспериментировать с фонтанами и велело сделать здесь большую клумбу.

Авдей подошел ко мне, сказал:

— Айда в писорг!

— Милиция не пропустит, — сказал я.

— Айда! — повторил Авдей и зашагал впереди меня, склонив голову, как упрямый бык, ноздри его раздувались, от него припахивало одеколоном и коньяком.

Милиционеры не только не остановили нас, но и взяли под козырек.

Вот мы и в писорге. В уголке возле книжного стеллажа пил чай мусульманин Ромка. Он, хотя и отсидел срок в тюрьме, спиртное не употреблял ни при какой погоде. Да ему и как шоферу выпивать не полагалось.

Азалия Львовна со знанием дела сняла шкуру с нескольких копченых омулей, порезала треугольными ломтями хлеб, в центре стола поставила четыре бутылки столичной.

Пока она хлопотала, в писорге появились импозантный художник Сергей Мешалкин, крепыш Фома Феденякин, вертлявый Паша Крокусов, брат Авдея Викентий и ветеран организации ширококоротый, женоподобный Иван Осотов. У него были зачесанные назад длинные густые волосы. Хотя это было Первое мая, когда в Пимске еще не жарко, пиджак Осотова под мышками был мокр от пота. Но это ветерана не смущало, он был доволен собой и важен.

— Выпьем за пролетариев всего мира! — поднял бокал Авдей Данилович. — Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Наши стаканы, соединяясь, радостно звякнули. Им пришлось соединяться и звенеть еще не раз. За моей спиной был стеллаж с книгами. Я выразил восторг по поводу того, что в нашей писательской библиотеке

много редких изданий, справочников и словарей. Но Азалия Львовна тотчас охладила мой пыл:

— Нашу библиотеку Петрушка кастрировал.

— Какой Петрушка?

— Который до Авдея Даниловича был ответственным секретарем.

Я уже знал, что десять лет назад в Пимске было всего два писателя: Петя Тызарачев и Иван Осотов. Для создания организации нужно не менее трех писарчуков. И наш земляк, столичный писательский бог Михей Маркин, мигом принял в СП одного университетского литературоведа. Так в Пимске возник писорг в составе трех человек.

Тогда Маркин призвал писателей СССР создать при Пимском писорге библиотеку. Подхалимы всей страны слали для этой библиотеки книги. Библиотека имела раритеты: старинные тома энциклопедий, словарей, исторических и географических редкостей. Были в ней книги Фишера и Палласа, Ломоносова и Державина, изданные в дремучие времена Елизаветы и Екатерины книги Карамзина, Соловьева, Костомарова.

Азалия Львовна сказала:

— Как Петрушка узнал, что его снимают, так стал грузить в писательскую «Волгу» дорогие книжки. Отвез домой тысячу книг. И тысячу привез. Он, гад, припер расхристанные старые учебники по всем предметам с третьего по десятый класс, устаревшие партийные и профсоюзные справочники, пособия для доярок. Ну и сука!

Авдей со стуком поставил свой стакан на стол:

— У-у, остяк проклятый! Я его за эту библиотеку убил бы. Засужу, засажу!

— Он только наполовину остяк, а наполовину русский, — сообщила Азалия Львовна.

— А вы-то куда смотрели? — спросил я ее.

— Куда, куда! На говенные пруда! Я не материально ответственное лицо. Я что, его в сортир должна была за руку водить? У него ключи от писорга. Я уйду домой, он придет на казенной «Волге» и грузит в нее, что хочет. Кто ему что скажет, если он хозяин организации?.. Авдюше он книги по списку передал. В списке книг пять тысяч, и в наличии — столько же.

— Посажу! — повторил Авдей свирепо.

— Остынь, — сказала Азалия. — Обкомпарт это дело раскрутить не даст. Не хватало еще, чтобы у нас писателей за воровство судили.

— Ну, морду набью!

— А это уже другое дело.

Я еще раз оглядел книжный стеллаж. Несмотря на ограбление, библиотека была солидная. Кроме книг разных классиков, на полках были книги и Пимских писателей. Только я свою книжку туда не решился поместить, уж больно тощая.

Потный Иван Осотов достал блокнотик и стал что-то торопливо черкать. «Вот каналья, на ходу романы кропает!» — подумалось мне.

Роман Осотова «Бремя судьбы» был так толст, что под ним прогнулась полка стеллажа. Я косил глазом на золоченые буквы «Иван Осотов» и зеленел от зависти. Если мою стихотворную книжонку поместить на эту полку, она там просто испарится, как капельная лужица. И как это люди умудряются такие толстенные книги писать?

Недавно я прочел «Бремя судьбы», хотел понять технологию. В романе юный колхозник Упорнов мечтал вступить в партию. Его в партию не принимали, ибо прабабушка Упорнова двести лет назад была замужем за мельником, владельцем частного производства. Получалось, что Упорнов социально неблагонадежен. Но он работал, как зверь, в восемьдесят раз перекрывал нормы пахоты. С лемехов валились черные пласты земли. И под одним из пластов лежал новенький партбилет. И вот уже наш герой — секретарь парткома, вот уже возглавляет райком. И жена от него ушла, и было персональное дело. Но наш герой был упорным и все преодолел. Бремя своей судьбы он нес достойно.

Я такой роман, конечно, не смог бы написать, события романа были так далеки от моей жизни, как некая неведомая галактика. То ли от водки, то ли от зависти у меня разболелась голова.

Авдей Данилович сказал:

— Друзья мои! Водка кончилась. Едем на природу, в Ромашово, там у лесничего, ну, совершенно убийственный самогон! Выпьешь стакан — словно кувалдой по балде дали. От трех стаканов даже я отрубаясь. Но, что характерно, утром голова абсолютно не болит. Самогон с дымком, прямо из аппарата, как вспомню, так слюнки текут. Ромка, запрягай!

Мусульманин Ромка, тихо сидевший в своем углу, вскочил:

— Бусделано, Авдей Данилович!

В машину мы влезли ввосьмером, набились, как сельди в бочку. Я сидел на коленях у Феденякина, притиснутый жарким плечом Авдея к не менее горячему плечу романиста Осотова. Только Ромка разместился свободно на шоферском месте. Он гнал машину со страшной

скоростью и руль крутил локтями. Мне это казалось опасным: вдруг баранка крутанется, вырвавшись из-под локтей? Рюмка мои сомнения отметал односложно:

— Не бзди!

Мы умчались в пригородные места, где пахло треснувшими почками, из которых вылупились новенькие зеленые листья. Зацветали сирень и черемуха, их молочные кисти особенно торжественно смотрелись на фоне черных пихт и холмов, по которым спускались к дороге сибирские кедры. Невидимый волшебник нагрел воздух предместья и напоил дивными ароматами.

— Горовой — это действительно гора! — сказал Авдей. — Сейчас приедем, убедитесь. Это ходячий материал для повести или романа. Выполз из самой темной глубины народа.

— Из попы, что ли? — сострил Феденякин.

Авдей Данилович не обратил на это внимания. И продолжал:

— Вырос он в северной тайге на лесоучастке. Охотник, травник и вообще знаток леса. Он мне близок по духу. Приедем, покажу травку «манжетку», по ней ходим и в городе, и в деревне. А это — двигатель для усталого сердца. Вытянешь корешок, кожуру сдерешь — он красный. Заваривай, пей. Мертвого поднимет. Лучше, чем женьшень какой или золотой корень. Гоша Горовой мне ту травку показал.

— Да, — сказал Феденякин, — спасибо тебе и ему. Я отвар красного корешка теще дал, так она чуть коньки не отбросила. Сердце заколотилось со страшной силой. Еле врачи отводились.

— Дозировал неверно! — изрек Авдей. — А вообще Горовой знахарь, каких поискать... Пацана в кедраче убили. А кто? Концов не найти. Гоша сказал, что с убитым мальчиком потолкует, выяснит. Все думали: рехнулся лесничий! А он пошел на Мишину могилку, приложил к ней ухо, и Миша сквозь землю все рассказал. На другой день убийц повязали. Вот! Но Гоше некогда с ментами путаться. Он ведь круглый год весь световой день в работе: пасека, теплицы, деготь, живица, кедровое масло, березовый сок. Какие у Гоши ягодники! Какой кедровый эликсир делает! Ореховую скорлупу на спирту настаивает, людей от бронхита лечит.

Я где-то читал, что кедровые скорлупки на спирту — отличное средство для удаления волос с рук, с ног и так далее. Горовой полечит мне бронхит — и голова моя станет голой, как колено! Но я не сказал ничего Авдею, он человек увлеченный, не стоит его разочаровывать.

Дом лесника был построен поодаль от поселка, близ пруда. Майский вечер укутал всю округу синевой, могучие кедры, холмы и водоем

едва угадывались в вечернем сумраке. Но возле дома на столбе из двух сращенных лесин ликующе сияла лампа никак не менее пятьсот ватт. Горовой, человек нескладный, мосластый, неопределенного возраста, с кустистыми демоническими бровями, сутулился в полукруге электрического света. Вокруг него, как торжественный эскорт, мельтешили мотыльки и прочие мелкие авиаторы.

— Ну, молодец! — воскликнул Авдей Данилович, вылезая из машины. — Встречает, учуял сразу!

— Машина гудит, далеко слышно, — сказал Горовой. — Раз в эту сторону едут — понятно, что ко мне, других домов тут нет.

Ах, Ромашово, ах, пригород Пимска! Холмы, увалы, кедрачи, среди которых затерялась старейшая здравница области. И заповедная зона с особенно пышными кедрачами, отражающимися в зеркале обширного пруда. На границе этой заповедной зоны и располагалось имение лесничего Георгия Георгиевича Горового. Именно — имение. Дом под остроконечной крышей крыт сияющей жестью. Он — как бы паровоз, тянущий за собой вагоны. К нему примыкают избы, избышки, сараи, сараюшки, тянущиеся вглубь громадного двора. Все срублено и пригнано добротнo. Проведи ладонью хоть по стене баньки, хоть по перилам крылечка — не ощутишь ни сучка, ни задоринки.

— Уже, поди, гнус донимает? — спросил лесного человека Авдей.

— Ну, ты же знаешь, что в кедраче гнуса почти нет. Профессор-ботаник Крылов не зря ведь шкафы для своего гербария сделал из кедра. Никакая гля коллекции не тронет. Я в своих амбарах, в складах, да и в баньке тоже полки из кедра делаю. Ласковое дерево, мягкое, обрабатывается, полируется хорошо. А ведь еще кедр и кормит нас, лечит. Это уж Господь наградил сибиряков таким деревом... Ну, ладно, соловьев баснями не кормят, праздник нынче. Скажу старухе, чтобы на стол накрывала.

— Да уж скажи, а нам пока разреши твою механику поглядеть, писателям это видеть полезно.

— Да что уж там за механика! У вас в городе вон какие заводы наворочены, разве вас нашими деревенскими побрякушками удивишь?

Авдей Данилович поманил нас в одно из строений. Включил свет. Мы увидели нечто, напоминавшее фантастический космический аппарат. Перед нами сверкал металлический никелированный цилиндр, никак не меньше трех метров в диаметре. Он имел яйцеобразную вершину и множество ручек, трубок, тумблеров и глазков с лампочками. Аппарат излучал тепло, и внутри него слышалось какое-то шевеление.

— Наутилус Помпилиус! — сказал Георгий Георгиевич Горовой.
— Я в телевизоре это услышал, так и машинку свою окрестил.

— Покажи в действии, — предложил Авдей.

Георгий Георгиевич нажал одну кнопку, другую. Машина забулькала, зашептала. Внизу поворотный круг сделал оборот, и тотчас под краник подкатила пузатая лабораторная колба. Краник сочно чмокнул и выдал зеленоватую струйку, которая текла точно в горлышко сосуда. Когда колба наполнилась, струйка исчезла. А внутри машины магнитофон голосом лесника произнес:

— Перва-тч! Зер гут!

Авдей взял колбу и стал наливать в стаканы. Аппарат запел голосом певца Михайлова:

«Выьем, ей-богу, еще

Последний в дорогу стакан!..»

Мелодия застольной была торжественная, и в то же время пьяный кураж в ней слышался. Я эту застольную считаю вредительской, у нас и без нее пьют избыточно.

Феденякин спросил:

— А почему вы из нутра машины говорите с немецким прононсом?

— Ну, как бы это сказать... — засмутился Георгий Георгиевич.
— Своим голосом говорить неудобно как-то. А слова у немца взял. Гостил у меня тут по обмену опытом лесник из демократической Германии — Вилли Штрубель.

— А первач в самом деле ничего, — сказал, причмокнув, романист Осотов, доставая из кармана блокнот и карандаш.

— Что это вы пишете? — насторожился Горовой.

— Он писатель, вот и пишет, — пояснил Феденякин. — Впечатления записывает, чтоб не забыть.

— Такой первач забыть невозможно! — усмехнулся Авдей.

Мы выпили по две стопки «перватча», потом Георгий Георгиевич показывал нам свое хозяйство. В одном домике у него была столярная мастерская, причем самые разнообразные инструменты были размещены в строгом порядке по стенам и стеллажам. Такой же порядок был в слесарной мастерской. Мы посмотрели омшаник, площадку для обработки кедровых шишек. Все процессы были механизированы и моторизованы.

Вокруг усадьбы лесника был сварен двойной металлический забор, в пространстве между заборами бегали две огромные овчарки.

— На отшибе живу, нельзя без охраны, — пояснил Горовой.

— О, это хозяин! Я ему поручил мою дачу охранять.

— А где она? — любопытствовал я.

— А вон, — указал Авдей на уложенный штабелями тес и брус. Сверху эта египетская пирамида была укрыта толем. — Я купил этот дом на лесозаводе в Тасино, привез и сложил во дворе у Горового. Строить буду вон там, в кедрачах, возле пруда, — пояснил Авдей. — Заповедная зона, никому там строить не разрешают, но Кузьма Фомич Тягачев понимает мой талант, скомандовал, чтобы не чинили препон. Прошлым летом мы с Викентием при помощи Георгия Георгиевича фундамент залили, а нынче и сам дом возведем, прорабом у нас будет Георгий Георгиевич. Будет готова дача, стану строчить там романы, а белочки и бурундуки будут в окна заглядывать. Шишек с кедров нападёт столько, что успевай подбирать да шелушить. Вы же знаете, что кедровый орех мужскую силу в десять раз увеличивает. Горовой тут за десять лет двадцать кроватей сломал!

— Преувеличиваешь, — потупился лесник.

— Может, немножко и загнул, — согласился Авдей, — по-литературному это гиперболой называется. Но вообще ты, Гоша, молодец!

Горовой пригласил всех пойти поужинать. В доме на стол накрывали две юных красавицы украинского типа. Я думал, это сестры, старшая и младшая. Но оказалось, что одна из них — жена лесника, а другая — его дочь.

А лесник говорил:

— Медвежатинки вяленой, лосятинки отварной, брусничку в меду пробуйте, клюковку. Прошлогодняя, сохранилась в погребе. Ложки у меня деревянные, сам режу. Ягодку ими кушать хорошо, пища не окисляется.

— Я тоже деревянными ложками пользуюсь, — сказал Авдей Данилович. — Русичи жили здоровой жизнью, ели деревом с бересты. Жили в дереве, и — никаких гвоздей! Спасибо Георгию Георгиевичу, он мне ложек нарезал на всю семью. А мухоморы-то есть у тебя, Гоша?

— А то как же! Луша! Мухоморов Данилычу!

Старшая красotka принесла в деревянном расписном блюде сушеные грибы. Авдей Данилович каждую стопку самогона закусывал горстью сушеных мухоморов. Он предлагал их всем нам. Но рискнул лишь один Крокусов. Он самоотверженно принялся жевать и глотать грибы. Чувствовалось, что ему противно, но он не хотел отставать от писательского начальника.

Неожиданно глаза у Крокусова полезли из орбит, он запрокинул голову и сказал:

— Вижу!

— Чего видишь? — поинтересовался художник Сергей Мешалкин.

— Америку!

— И что там?

— Бегают, маленькие, как мураши.

— Кто?

— Машинки и человечки. Домищи стоят большие, и баба с факелом над морем расшиперилась.

Феденякин взял Крокусова под мышку:

— Положу его под кедрами на раскладушечку, авось продышит-ся.

— Слабак! — сказал Авдей Данилович. — Я этих мухоморов — чем больше съем, тем бодрее делаюсь. В прошлый раз на мухоморном топливе гирей работал. Тридцать раз выжал.

— В три раза преувеличил, — сказал Феденякин. — Я же видел: десять раз было.

— Тридцать!

— Десять!

— Ах ты... Я тебя сейчас самого выжму!

Авдей хотел поднять Феденякина, тот не дался. Завязалась борьба, оба повалились на обеденный стол, он крикнул и развалился. Противники пожали друг другу руки и пообещали Горовому наутро отремонтировать стол.

Я заметил, что дочка лесника смотрит на Авдея во все глаза. Мне стало завидно. Но кто я такой, чтобы на меня смотрели юные красавицы? Авдей несколько романов написал, в Индии на слонах ездил, в Цейлоне был на чайных плантациях, чайный лист прямо с дерева зубами рвал. Амбал. Двухпудовку выжимает.

Спать нас уложили во дворе на раскладушках и топчанах. В кедраче было торжественно, как в храме. Я видел, как у подножия кедра складывал лапки бурундучок, словно молился. Скорее всего, ел что-нибудь. Его спинка была украшена черными полосами. Маленькое забавное существо... Вдруг гигантским прыжком из кустов на бурундука кинулся лохматый сибирский кот. Бурундучок полез вверх по стволу, но сорвался. Котище его поймал, утащил в кусты, стал жрать с чавканьем и хрустом. «Гадина!» — мысленно ругал я кота. И на душе

было скверно... Все же свежий лесной воздух вскоре сделал свое дело: нервы успокоились, я уснул.

Ночью я проснулся и услышал, что Авдей зовет кого-то в сарай, а ему отвечает молодой, женский, прерывающийся голос. И холодная игла зависти пронзила мое сердце.

6. КУСОК МАТЕРИНСКОЙ ГРУДИ

Мой кружок в ПИССУАРе постепенно пополнялся слушателями. Я этим гордился. Наверное, меня можно считать деятельным человеком. Преодолевая застенчивость, я пошел в редакцию областной партийной газеты. Ее читает вся область, если там поместят заметку о моем кружке — слушатели валом повалят.

В одном кабинете мне сказали, что в ПИССУАРе есть своя газета под названием «Режимщик», вот там-то моей заметке самое место. Я не сдался, кабинетов в редакции много, стал обходить их один за другим. Мне отвечали: мол, мы заняты, отдайте заметку в приемную, а уж там разберутся. Я отлично помнил, сколько моих стихов завязло в папках этой самой приемной. Обычно там отвечали: подождите, придет литературный консультант, предадим ему, посмотрит, может, что-нибудь порекомендует к печати, если подойдет по теме. Годы шли, а никто и не думал разбираться с моими стихами и печатать их. То же будет и с заметкой.

Я обошел все кабинеты, к главному редактору меня не пустили. Пришлось пойти в секретариат. Тех сотрудников, которые раньше отвергали мои статьи и заметки, там уже не было, а сидела среднего роста и средних лет женщина, которая хоть и насмешливо, но все же заинтересованно со мной поговорила:

— О!.. Поэты? Местные?.. А из какого места?.. Из разных? Всем славы хочется. А что слава? Яркая заплатка на ветхом рубище певца... А вы уверены, что в вашем кружке вырастут новые Пушкины и Лермонтовы, или хотя бы Блоки и Пастернаки?

Она вроде бы и посмеивалась надо мной, но все же пообещала напечатать заметку и отыскать в папках мои стихи; если ей какое-нибудь стихотворение понравится, то она и его опубликует.

Прошло какое-то время, и заметка моя действительно появилась в партийной газете. А публикации своих стихов я так и не дождался: то ли они этой незнакомой мне даме не понравились, то ли редактор не пропустил.

Заметка помогла, и кружок мой стал понемногу расти. Жаль только, что на заседания не являлся Рафис, умеющий необыкновенно расписываться сразу двумя руками. Я тогда даже не спросил его, на каком факультете он учится.

Зато на очередное заседание Тина Даниловна привела давно обещанного прозаика. Звали его Иваном Карамовым. На вид он был мужчина в возрасте, приземист, крепок, суров. Выступать он отказался, сказав, что не в голосе, выступит в следующий раз, а сейчас других послушает.

Заседание пошло своим чередом. Сначала выступил Вася Важенкин. Он уже вполне освоился в кружке, но еще не перестал дрыгать ногой и щелкать пальцами во время чтения стихов. Вот он щелкнул пальцами и выкрикнул:

— Так, значит!

Вася вспотел, отер лоб грязным платком, потом протер полкой пиджака очки, еще раз щелкнул пальцами и стал подвывать:

*Венера, с пленера, была для примера,
Врата, позлота украшала Венера,
Была изумрудна Венера глазами,
Такое вы вечером видели сами,
Какие бы ни были мы пионеры,
Врата позлота украшали Венеры,
Позлите, позлаты, позлюни, позляги,
Побольше позлаты добавьте в бумаги!*

Я хотел объяснить Важенкину, что его словотворчество носит весьма приблизительный характер. К примеру, что означает слово «позлота»? Чем оно лучше давно известного слова «позолота», разве не для размера изобрел новое слово автор?

Вася Важенкин покраснел и стал утверждать: именно так он и хотел написать, что именно в этой приблизительности и зарыта собака.

— В поэзии собак зарывать не надо! — заразился я бациллой спора, хотя козе ясно, что руководитель с учениками не должен спорить, ничего из этого хорошего не получится.

Вася Важенкин стал уже краснее кумача, с его носа срывались капли пота, очки запотели, он хрипел:

— Так именно я хотел, именно так вот, приблизительно — позлота! И никто не может запретить мне выразить себя, как я хочу, никогда, вот!..

Я успокоил Васю, сказав, что он прав, но не совсем. Вообще я давно уж заметил, что эта формула подходит ко многим случаям жиз-

ни. Стоит только людям сказать: «Вы правы, но не совсем» — и они успокаиваются.

За Васей выступила высококоньякая худоватая женщина, лицо ее было бы даже красивым, если бы не было таким изможденным. Глядя на нее, невольно вспоминались поликлиники, хамки, достающие иголки для шприцов из кипящей кастрюли, касторка, валидол и прочие не очень приятные вещи. Женщину звали Светланой Киянкиной. Прежде чем читать стихи, она сообщила:

— Образование у меня хотя и заушное, но высшее, а работаю я библиотекарем в воинской части.

Затем она прочла стихи:

*Теремки, теремки,
Теремки резные,
А на крышах петушки
Поют жестяные.
Все избушечки глядят
Синими глазами,
А на лавочках сидят
Бабушки с вязаньем.*

Мне стихи понравились. Была в них душевность. Но какой же я ментор, если не посоветую что-либо ученику? Я сказал, что в слове «поют» ударение падает на первый слог, а это неправильно, кроме того, глазами и вязаньем — рифма очень приблизительная.

И черт меня дернул за язык. Лицо Светланы Киянкиной покрылось багровыми пятнами, она метнулась к двери.

— Если у меня образование заушное, то, думаете, можно мне всякое такое говорить? Приблизительная! Сами вы тут все приблизительные! Ударение! Сами вы все тут мешком из-за угла ударенные!

Я выскочил за ней в коридор и стал объяснять, что вовсе не хотел ее обидеть, я ведь всем делаю замечания. У нее хорошие стихи, а я хочу, чтобы они стали еще лучше.

— Думаете, если я окончила пединститут заочно, то у меня и ума совсем нет? Надсмехаетесь надо мной? — она посмотрела на меня подозрительно.

Я приложил руку к сердцу:

— Клянусь! Я и не думал надсмехаться.

Ох, как мне не хотелось терять слушателя! Что же это такое? С таким трудом нахожу людей, и вот, пожалуйста, сразу же теряю. Я ухватил Светлану Киянкину за костлявую руку и поволок за собой. Я сказал кружковцам, что Киянкина еще не привыкла к критике, но

сейчас она послушает, как критикуют других, сама кого-нибудь критикует и поймет, что мы все делаем для быстрого профессионального роста наших авторов.

— Ага! Так я вам и поверила! — сказала Светлана Киянкина, но все же уселась на свое место.

Время заседания уже истекало, когда Иван Карамов, грузный, с седоватым, но густым ежиком волос, с черными сумрачными глазами, вдруг заявил о своем желании выступить. Сидел он, спрятав руки под столом, поочередно вглядывался то в одного, то в другого кружковца. Казалось, этот Карамов какой-то гипнотизер или естествоиспытатель.

Я поглядел Карамову в глаза, словно в какую-то бездну заглянул, и невольно вспомнил объявление в зоологическом магазине. Оно предупреждало: не смотрите обезьяне в глаза, она это воспринимает как вызов к бою, это ее нервирует.

— Могу я прочитать рассказ из жизни? — спросил Иван Карамов.

— Можете, но соблюдайте регламент, нам вахтеры разрешают здесь находиться до девяти вечера, в нашем распоряжении пятнадцать минут, постарайтесь уложиться.

— Неправомерно меня ограничивать! — заявил Иван Карамов. — Я читаю не какие-нибудь там «врата-позлата», «петушки-гребешки», я читаю из гущи жизни.

Вася Важенкин побагровел, Светлана Киянкина позеленела, а Иван Карамов принялся читать:

«В одной среднестатистической неблагополучной семье существовал юноша Ваня Караморский. Он был добрый сердцем, но постепенно его засасывала уголовная тряпина. Он чувствовал, что гибнет, но его родная мама Анна Петровна говорила: «Ваня! Я поднимаю на ноги твоих сестер, ты старший, на тебя у меня уже не хватает сил!»

Сердце Вани закаменело, и он совершил уголовное преступление по статье тридцать два, пункт двадцать. Ваню заковали в наручники, посадили в камеру предварительного заключения, где среди уголовного мира он испытал ужасные мучения. И вот повели его в суд. Ваня был отгорожен от зала решетками, возле которых стояли два здоровенных милиционера. В зале в первом ряду сидела средних лет женщина в добротной одежде, которая внимательно смотрела то на Ваню, то на прокурора.

Тот представитель юстиции имел безжизненный холодный взгляд, он потребовал для Вани девять лет строгого режима. Ваня сказал:

— Граждане судьи, позвольте мне попрощаться с моей милой мамочкой, вон она сидит в первом ряду!

Суд разрешил Ване попрощаться с мамой. Ваня подошел к ней в сопровождении милиционеров. Ваня сказал:

— Мама! Ты меня родила, позволь мне поцеловать на прощание твою материнскую грудь!

Мать встала и обнажила грудь. Ваня припал к ней. Вдруг мать вскрикнула, а Ваня сплюнул. На полу суда лежал и дымился большой окровавленный кусок материнской груди. Суд удалился на совещание...»

Закончив чтение, Иван Карамов обвел всех своими мрачными глазами.

— Жуть какая-то! — сказал побледневший Вася Важенкин. — Этого не может быть, потому что не может быть никогда.

— Ты еще сосунок, — грубо сказал Иван Карамов. — Это было. Я, может, сам свидетель.

— Но — простите! — сказал я. — Для чего же суду удаляться на совещание, если преступник откусил у матери кусок груди?

— Вот для того и надо ему удаляться, чтобы решить: правильно откусил преступник или же неправильно! — отвечал суровый Иван Карамов. — Вы, видно, в суде сроду не бывали.

— Это натурализм! — сказал я.

Иван Карамов тут же послал мяч обратно:

— Я писал с натуры.

Мне захотелось спросить: не он ли и был тем самым парнем, который откусил большой кусок материнской груди? Но я ничего не спросил. И кружковцы стали разбирать рассказ Карамова довольно остро. Они склонялись к тому, что писатель никак не доказал вину матери в том, что бедного Ваню упрятали в кутузку. Надо было убедительно показать, что эта мать заслуживает, чтобы ей откусывали грудь.

Тина Даниловна неожиданно приняла сторону Ивана Карамова. Она сказала:

— Рассказ написан чрезвычайно волнительно, я даже заплакала, так жалко мне Ваню и его маму. Не каждый писатель способен вызвать у слушателя слезы сопереживания своим рассказом.

Я объявил заседание закрытым, когда ко мне обратился «испанский красавец» с блестящими маслянистыми глазами, тонкими кистями рук,

барственно сбивавший щелчком указательного пальца пепел сигареты. Что-то мне помешало сказать ему, что в нашем кабинете не курят.

— Посмотрите мои стихи. Может, и есть шероховатости, вам видней. Что касается филологической культуры, то тут нет сомнений! — говорил он.

Я сказал, что стихи лучше обсудить на очередном заседании кружка.

— Да не хочу я! — капризно заявил идадьго.

Я попробовал его уговорить:

— Вы бы приходили на кружок, слушали бы, что другие пишут.

Из уговоров ничего не вышло.

— Да не хочу я! — со странной интонацией повторил он.

— Не хочу, не могу, наконец не желаю! — пропел я ему фразу из песни Вертинского.

— У меня папа с мамой известные филологи, я сам филологический заканчиваю, чему мне тут у вас в кружке учиться?

— Ну, учиться можно где угодно. А у народа любому ученому не грех поучиться. Ведь вся литература, весь фольклор идет из глубин народных, разве не так?

— В принципе — да! — сказал он, сшибая пепел с сигареты длинным отращенным ногтем. — Но не в этом дело. У меня высокая филологическая культура.

Я не стал с ним спорить. Я взял его стихи для прочтения. И в тот же вечер на своем чердаке принялся листать подборку Юры Феофанова, так звали испаноподобного.

*Чернил! Теперь уж зарыдаю,
Авто разбрасывают грязь.
Теперь апрель, я точно знаю,
Что наша юность пронеслась.
Она неслась неутомимо,
Опять терзают вратаря,
Он мяч хватает: мимо, мимо!
И жизнь моя проходит зря.*

Похоже на стихи Пастернака. И что значит — мимо? Или нападающий пробил мимо, или вратарь не смог остановить мяч? Накручено. Вот так лежат в коробке юрки ниток, иголки, все запутается, отрывки не вытащишь из обрывков.

Да! Невольно заголовок хороший получился: отрывки из обрывков! Надо когда-нибудь его использовать.

7. ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВАЖЕНКИН

Пимские деревянные дома — это деревянное кружево. Это соитие Востока с Западом, Севера с Югом, луны с солнцем, грусти с радостью, гнева и страсти со стоическим спокойствием. Это песня, спетая топором, пилой и рубанком, и оставшаяся на века удивлять и восхищать людей. На века?

Лесов и сегодня много вокруг Пимска. Но не стало мастеров, умеющих сотворять чудо из дерева. Старинные дома — наши вечные собеседники, они говорят о прошлом и будущем. В их деревянных одеяниях столько тайного и неразгаданного! Солярные знаки, стихии природы, балкончики-фонари, эркеры, навесы над крылечками, поддерживаемые стропилами в виде луков и стрел. Башни, башенки, галереи, арки, переходы, балясинки, мостики. Есть узоры в виде волн и корабликов, есть узоры в виде пихт и елочек. Иной деревянный дворец так щедро украшен резьбой, что и жизни не хватит вникнуть во все узоры ее. Стой, разинув рот, смотри на эти солярные знаки, на нордических драконов, восточных горбоносых верблюдов, русских петушков, сказочных «жар-птиц» — павлинов, таежных тетеревов и глухарей, смотри на стилизованные олени и лосиные рога, на диковинных деревянных рыб, на колосья и венки из хвойных ветвей. Ни в одном из домов резьба не повторяется. Смотри, удивляйся.

Помню, водил я по Пимску профессора-русолога из Италии, жительницу города Милана Амалию Монтичелли. Она не успевала щелкать затвором фотоаппарата. Воскликала:

— Какой великолепный палаццо! Но почему такой разрушаемый? Кто хозяин палаццо? Почему нет ремонт?

Я не мог объяснить Амалии, что в этом палаццо живет десять семей. Что дощатые сортиры, стоявшие в ограде, эти люди давно разобрали на дрова. Какают и писают жильцы в своих квартирах в жестяные поганые ведра, а потом все это добро валят в ограде к забору. Туда же бросают всякий ненужный хлам. Зимой в этом палаццо, украшенном великолепной резьбой, холодно, летом — душно, и нет никакого хозяина палаццо, который бы его реставрировал, ремонтировал.

Нет, я не мог ей это объяснить! Она сказала, что все палаццо нужно отремонтировать, и город Пимск сможет зарабатывать огромные деньги на туристах. Сказала и уехала. А я все свободное время посвящал прогулкам по городу, уставленному домами-картинами.

Гуляя по своему родному городу, я не мог не заметить, что величественные деревянные дома медленно, но верно уходят в небытие. Разрушали их разными способами. Случалось, что жилищное управление решало реставрировать тот или иной дом. Первым делом с дома снимали крышу. Потом выяснялось, что финансирование временно прекращено, и дом этот уходил в зиму без крыши. Охранять его было не на что, и к весне оказывалось, что из него выломали все оконные и дверные рамы, отодрали все деревянные детали, которые смогли отодрать. И тут уже жилищное управление заявляло, что теперь этот дом ремонту не подлежит. Подъезжали бульдозеры, экскаваторы и сгребали в кучу все, что осталось от бывшего деревянного дворца.

Мысленно я материл жилищных начальников, думал: куда же смотрит товарищ Балаба? Ведь он ведает всем городом! А куда смотрит товарищ Тягачев? Ведь он же ведает всеми коммунистами области!

Впрочем, из газет, радио и телевидения я знал, что Балаба и Тягачев поставили задачу в этой пятилетке переселить всех, кто живет в подвалах, полуподвалах и в ветхом деревянном жилье, в новые благоустроенные квартиры. Панельные дома ровными рядами выстраивались на горе Баштак, там не было ни прутика, ни деревца, но в домах были отдельные квартиры с унитазами, ваннами, горячей и холодной водой. Люди рвались туда из своих деревянных коммуналок. И как-то так стало получаться, что по ночам загорался то один, то другой деревянный дом. И поджигателей никто не мог найти и арестовать. Особенно много деревянных дворцов сгорало перед Новым годом, ведь именно к Новому году заселяли жильцов в новые дома на горе Баштак.

Предновогодние пожары стали бичом Пимска. И однажды один мой знакомый, с которым мы когда-то вместе учились в школе рабочей молодежи, открыл мне секрет Пимской геенны огненной.

— Чувак! — сказал мне школьный товарищ. — Все просто, как огурец. Договариваются. Втихаря рассовывают ценные вещи по родственникам и знакомым. В ночь «икс» ложатся спать только для блезира, на самом деле все готовы одеться и выскочить с узлами на улицу. А некоторые и в кровать ложатся уже одетые. Вот и все.

— Так ведь дома-то старинные жалко!

— Это ты говоришь, потому что у тебя ни жены, ни детей; а вот когда у тебя станет семеро по лавкам, тогда и поговорим...

Я понимал, что мой друг был по-своему прав, но ведь и я был по-своему прав, и Балаба и Тягачев были по-своему правы, и жилищное управление было право.

Я не знал, что делать. Но старинные дома надо было как-то спасать. И я вспомнил про свой фотоаппарат «Зенит», про свою немалую журналистскую практику и решил заснять для истории красивые деревянные дома.

Не думайте, что это было легким делом. Иногда нужно было зайти во двор, чтобы выбрать позицию, позволяющую сделать наиболее удачный кадр. И тут начиналось:

— Куда прешь, ядрена вошь!

— Один такой снимал, а потом квартиру ограбили.

— Если ты из комиссии, так документ покажи!

Иногда просто к дому не подпускали. Многие в таких деревьях жили без прописки и считали: если кто-то тут снимает — значит, следом явятся их выселять.

Идея пришла ко мне, когда я рассматривал старинные снимки Пимска. Я обратил внимание, что на большинстве снимков Пимских зданий можно было заметить подростка в белой матроске. Фотограф как бы фотографировал этого мальчика, а на самом деле он запечатлевал здания. Тогда я вспомнил, что неподалеку от писорга живет Вася Важенкин. Он давно приглашал к себе в гости, но у меня как-то не выдавалось времени.

Теперь я направился к нему. Вася жил на восьмом этаже большого дома, с мамой, крупной глазастрой женщиной, которая передвигалась по комнате, почему-то опираясь на табуретку. Я рассказал о фотографe прошлого века, который бродил по Пимску в сопровождении мальчика. И добавил, что у меня эту роль будет исполнять Вася. Нужно же спасти исчезающий Пимск!

Леокадия Зотеевна наморщила лоб, как бы мучительно думая, а потом, растягивая слова, сказала:

— Вася не мальчик, и как это получается, что просто так для кого-то будет стараться, отрывать время от отдыха?

— Не для кого-то, — уточнил я, — а для руководителя литературного кружка.

— Я в институте тоже вела кружок, — капризно поднимая брови, проговорила Леокадия Зотеевна, — но я студентов в своих интересах не использовала.

Во взгляде мамы Важенкина читалась смесь недоверия, любопытства и некоторого превосходства над собеседником.

Мне ее разговоры не слишком понравились.

— А я считаю, что Васе было бы полезно познакомиться с прекрасным творчеством Пимских зодчих, заодно я расскажу ему историю этих

зданий. Это поможет ему писать стихи, расширит его кругозор. Кроме того, ваш Вася будет мною увековечен. Но если ему так уж некогда, я поищу себе в спутники кого-нибудь другого.

— А сколько вы дадите фотокарточек Васе? — поинтересовалась Леокадия Зотеевна.

— Сколько будет лишних отпечатков, — сказал я уже несколько сердитым тоном. Я знал, что напечатать сразу хорошее фото редко удастся, пробные буду отдавать Васе.

— Я помогу Петру Сергеевичу, — согласился Вася, — дело-то хорошее.

— Да ты уж такой простой парень, что всегда готов лететь всем помогать, всем что-то делать; нам-то не шибко кто помогает, сам знаешь, — плаксиво недовольным тоном произнесла Леокадия Зотеевна.

Мы с Васей отправились в первую экспедицию. Важенкину нравилось позировать. Мы ходили с ним от дома к дому. Я обратил внимание, что он всегда идет вслед за мной: я сделаю шаг — и он шагнет, остановлюсь — он остановится. Я понял, что в детстве он привык быть маминым хвостиком, и детство из него еще до конца не выветрилось.

В Васе я нашел благодарного слушателя. Он с интересом внимал моим рассказам о том, что в давние времена происходило в том или ином здании. А я, рассказывая ему разные истории, оживлял в своей памяти слышанные когда-то легенды и предания. После каждой такой экспедиции Вася звонил мне и спрашивал, напечатал ли я фотокарточки.

Если я не приходил к Важенкиным, Вася сам дозванивался до меня и говорил:

— Петр Сергеевич, идемте фотографировать исчезающий Пимск?

Я знал, что он больше всего озабочен желанием иметь новые фотокарточки. И если мне было некогда, отвечал:

— Нет, сегодня мы не будем фотографировать исчезающего Васю Важенкина.

Однажды Вася пригласил меня на именины своей мамы. Я принес в подарок несколько книжек. Стол был обильным, но все было жирное, а это плохо для моей больной печени. За жирными мясными салатами была подана утка, плавающая в жиру, потом — не менее жирные котлеты.

Когда я попросил пельмени мне дать в бульоне, Леокадия Зотеевна сказала:

— Петя! Мы не халдеи какие-нибудь, чтобы пельмени с водой хлебать. Мы сибиряки, когда морозы настанут — вода застынет, а жир согреет, — с этими словами она положила в мою тарелку огромный кусок масла, он лег на горячие пельмени и мгновенно растаял.

За столом были одни пожилые, очень полные женщины, а мужскую часть рода человеческого символизировали мы с Васей. Женщины пили небольшими рюмками водку и говорили ужасно громко о каких-то своих общих знакомых, мне неизвестных и потому совсем неинтересных. Они даже и не говорили, а кричали. Разговоры больше были кулинарные. О том, что какая-то Анна совсем не умеет делать селедку «под шубой».

Я не вытерпел и спросил:

— Чего это вы все кричите, как на перевозе, когда парома долго нет?

— Мы не кричим, — отвечала Леокадия Зотеевна, — мы громко говорим, потому что у нас Наталья глухая.

— А чего тогда Наталья кричит, ведь вы-то не глухие?

— Она кричит по привычке...

— А Петя это кто? — спросила про меня одна из женщин.

Леокадия Зотеевна пояснила:

— Руководитель литературного кружка из ПИССУАРА. Мой Вася дурью мается, стихи пишет. Какой из него поэт, и кто поэтам платит? И еще Вася ходит в студию «Арлекин», они там в подвале на гитарах играют и поют. Ему надо к зачетам готовиться, чтобы специальность получить, а он черт-те чем занимается.

Я сказал, что и биолог, и инженер не должен замыкаться в специальности. Напомнил об ученом Обручеве, который создал замечательные романы.

— Вася не Обручев, а Важенкин! — сказала Леокадия Зотеевна.

Потом они стали просить Васю спеть под гитару. Он пел с удовольствием, старательно, громко, и они слушали его с восторгом. А мне казалось, что кто-то скребет ржавыми терками мои уши. Вася начинал каждый куплет песни низким звуком, выдавливая из горла некое «кхгееэ!» Затем срывался на фальцет. О том, какую именно песню он пытается спеть, можно было только догадываться. Это было чистой воды инквизиторской пыткой, но было как-то неловко покинуть компанию.

Меня тогда так и не отпустили домой. Я ночевал у Важенкиных, причем большие старинные настенные часы громко отбивали каждые

четверть часа, полчаса и час. Уснуть совершенно невозможно. Измученный, утром я сказал Леокадии Зотеевне, что можно на ночь часы отключать.

— Петя! Как же я их отключать буду? Я под их звон родилась, под их звон выросла.

Во время визитов к Важенкиным я обнаружил, что дверные ручки почти у всех дверей в их квартире отваливаются, тумбочка, на которой стоит телевизор, подперта доской. Леокадия Зотеевна пояснила, что убрать доску нельзя, тумбочка упадет.

Я не смог смириться со всем этим безобразием и однажды пришел к Важенкиным с инструментом.

— Не-а! — сказала Леокадия Зотеевна. — Ручки к этим дверям не привернешь, эти двери пустотелые. Вася гвоздем ручку прибивал, так этот гвоздь насквозь пролез.

И она отыскала в комодке огромный ржавый гвоздь, который, по моему предположению, использовался еще в 1604 году при строительстве Пимской крепости. Такими гвоздями только бревна скреплять.

А двери нынешних Пимских квартир мне были знакомы. Там на реечный каркас набита древесноволокнистая плита толщиной с картон. Хлипкое сооружение. Но ручки закрепить можно, накрутив на сквозные винты гайки и контргайки. Что я и сделал.

Леокадия Зотеевна стонала:

— Ой, что же ты делаешь, ты же все двери мне расковыряешь, а ручки все равно держаться не будут, я знаю.

— Это вы их расковыряли, а я ручки закреплю, дыры замажу шпаклевкой, останется только подкрасить эти места, и все.

Двери я им наладил, теперь нужно было починить тумбочку. Я сказал, что нужно снять с нее телевизор. Леокадия Зотеевна тотчас принялась страдать:

— Мы его никогда не снимаем. Его снимешь — он показывать перестанет. Его даже передвигать нельзя, изображение ухудшится.

Я сказал, что все это глупости. Антенну потом можно настроить. А как я буду ножку тумбочки налаживать, если телевизор с нее не убрать? Мне надо тумбочку перевернуть вверх дном.

— Нет, тумбочка тяжелая, у меня в ней вещи лежат, я не дам ее переворачивать.

Все уговоры были бесполезны. Сошлись на том, что мы с Васей отодвинем тумбочку от стены.

Стали отодвигать. Я приподнял свой край, а Вася, высокий и уже

достаточно тяжелый, прилег на свой край полненьким животом. Получалось, что мне нужно было уже тащить не только тумбочку, но еще и Васю.

— Ты что же на тумбочку лег? Ты ее двигай!

Он страдальчески кряхтел, громко сопел и ничего не отвечал.

Когда я чинил тумбочку, то обнаружил, что забыл с собой захватить большую отвертку. Спросил у Важенкиных. Леокадия Зотеевна сказала:

— Мы никогда отвертку чужим людям не даем, она у нас еще от деда осталась, вдруг ты, Петя, испортишь ее?

— Давайте, давайте! Как можно отвертку испортить?

Вася долго искал отвертку, наконец нашел. Она была искривлена, и лезвие зазубрено. Я попросил напильник и молоток, чтобы исправить древнюю отвертку.

Леокадия Зотеевна категорически запретила мне:

— Это дедовская, а ты ее испортишь.

Я этому не удивлялся. Муж-полковник оставил Леокадию Зотеевну, когда Вася был еще грудным младенцем. Выросший в матриархате Вася совершенно ничего не умел делать по хозяйству и, как я успел заметить, ничему такому учиться не хотел.

Фотокарточки после наших походов он помещал с особенный альбом и ворчал при этом, что их качество могло бы быть и получше.

8. ЗНАЙ, КТО ТВОЙ ДРУГ...

Я начинал свою жизнь давно, еще при Сталине — папанинцы на льдине, летчик Чкалов, война в Испании... Я был любопытен, мой мир расширяли граммофон, черная тарелка радио на оштукатуренной стене, разговоры соседей на лавочке возле дома, разговоры родителей с гостями во время застолий и после, в спальне, — все это было моими источниками информации. Но родители ругали за то, что их подслушивал, тарелка радио хрипела, и только встав на стул и прислонив к ней ухо, можно было что-либо разобрать.

Так я разучил и запел новую песню, бодрую, возбуждающую:

Шагай вперед, комсомольское племя,

Пути и пой, чтоб улыбки цвели!

Мы покоряем пространство еврея,

Мы молодые хозяева страны!

Мать услышала, принялась мне крутить ухо, обращаясь к отцу:

— Слышишь, что этот сволочный ребенок на весь двор орет? Под статью подведет!.. Замолчи сейчас же!

— Че ты? — возмущался я. — Эту песню я из радио взял. Они там поют, им можно, а мне нельзя?

— Они не так поют, они поют: мы покоряем пространство и время!

А еще было так, что в школе много говорили о врагах народа, мы брали учебники, выкалывали глаза портретам Тухачевского и Коссиора. Учительница тихо и спокойно сказала:

— Выкалывать никому ничего не надо. Вы дети, а не палачи.

— Разве они не враги? Может, вырвать эти страницы?

— И вырывать ничего не надо. Заклейте аккуратно портреты и все, что под ними написано, белой бумагой, только очень аккуратно, чтобы учебники выглядели прилично...

А вскоре увели моего отца. Ему, часовщику, рабочему человеку, предъявили обвинение в том, что он является казначеем подпольной монархистской организации. Дело в том, что отец дружил с монахом Ширинским-Шихматовым, мы к Ширинскому домой ходили, слушать, как его тетушка играет на рояле. А потом монах этот и окрестил меня уже в четырехлетнем возрасте. Я еще боялся вставать в купель, думал, что вода в ней горячая. А Ширинский сказал:

— Не в бане! Я лишь подогрел воду чуть-чуть, чтобы ты не простудился.

А в церкви, где Ширинский был настоятелем, молился ссыльный поэт Клюев. Мать с отцом любили стихи Есенина. А Клюев-то был его наставником. Потому он и был приглашен к нам в гости.

В подвале отцу все и припомнили. Ширинский — глава подпольной организации, Клюев — главный идеолог, мой отец — казначей. И быть бы отцу расстрелянным, как Клюев и Ширинский, но приехал проверять местных чекистов начальник из Новосибирска. Увидел среди арестованных отца и своей властью освободил его. Они в детстве были большими друзьями. С тех пор отца словно подменили. Он боялся нового ареста. И в начале войны добровольно ушел на фронт и погиб.

Всякий раз, когда я видел секретаршу писорга Азалию Львовну с вечной «беломориной» во рту, мне вспоминалось о чекистах. Муж Азалии, полковник КГБ, никогда не заходил к нам, более того, он никогда не звонил ей в писорг. Маскируется? Не хочет нам напоминать, что его жена следит за писателями? И следит ли? Не может быть, чтобы не

следила! Ведь это такие органы! Но Азалия Львовна вела себя естественно, любила посплетничать про семейные дела наших писателей, про любовные похождения. Иногда и скандалила, выпив на нашей писательской пирушке лишнюю рюмку. Шпионы так себя не ведут.

В писорге должно было состояться собрание, я пришел туда раньше времени, Азалия сказала:

— Явился, не запылел! Чего так рано? Или кто празднику рад, тот накануне пьян?

— Ну уж и праздник! Сидеть тут, париться два часа на собрании.

— А ты как думал? Назвался груздем — полезай в кузов! Феденякин говорил, что сделает тебя заместителем секретаря парторганизации, а то ему самому взносы относить в райком надоело.

— Ну, меня не выберут, — сказал я, в душе надеясь, что все будет наоборот. Заместитель секретаря партийной организации писателей — звучит! Можно будет сообщить об этом знакомым, пусть завидуют.

Мои мечты прервал Иван Осотов. Он внимательно оглядел приемную, меня, Азалию Львовну. Неопределенно сказал:

— М-да...

Снял пальто, барашковый пирожок. Присел на диван, стал причесываться. С его длинных волос на воротник пиджака сыпалась перхоть.

— М-да! — повторил он. Поманил меня пальцем, зашептал в ухо: — Вы, как молодой член, покритикуйте Авдея и Феденякина. Тут получился крепко споенный коллектив. Пора положить этому конец. Молодого автора Крокусова развращают. Я больше скажу... — Осотов свернул ладонь трубкой, приставил к моему уху и прошипел в этот самодельный рупор: — Авдей член обкома, а его моральный облик не соответствует. Есть признаки разложения.

Я тоже шепотом ответил:

— Увы, я ж только вступил, мне еще оглядеться надо.

— Приходите ко мне в воскресенье в гости, — пригласил Осотов, — вот вам телефон и адрес, — подал мне бумажку, — жду к обеду, я вам глаза открою.

Нашу беседу прервали Феденякин и Громыхалов. Их лица были подозрительно розовы. От них пахло одеколоном и чем-то спиртным. Но вообще они были бодры и дело знали. Авдей Данилович обратился ко мне:

— Ты, Петр, как вновь вступивший, поддержи нашу инициативу. Тут есть крепкий писатель, наш северянин, хороший парень — Вуллим Тихеев. Почему Вуллим? А черт его знает, так родители назвали. Он

сиротой рос, его судьба и на мою, и на твою похожа. Ты его рассказы читал? Нет? Ну, все равно поддержи. Скажи в общих чертах, что тебе нравится его стиль и северная тематика. Да что тебя учить? Сам не маленький!

Осотов мимикой мне показывал: маразм, дескать, не поддерживай Тихеева ни в коем случае.

А мне что было делать? Я и Тихеева толком не знал, и Осотова. Зато знал, что Громыхалов и Феденякин помогли мне вступить в союз, теперь они просят оказать им совсем пустяковую услугу. Как я могу отказаться? В конце концов, не для себя же они стараются, а стремятся помочь обездоленному хорошему человеку.

Между тем Феденякин, Громыхалов и Азалия Львовна засуетились. Они вынесли из кабинета все пустые бутылки, выпросили в соседней комнате, где располагалось хоровое общество, несколько хороших стульев, принесли хрустальный графин с водой и десяток сверкающих стаканов. Феденякин откуда-то приволок бумажную ленту с лозунгом «Партия — наш рулевой!» Он стряхнул с лозунга пыль и прикнутил его над председательским столом.

Писатели тихо переговаривались, поглядывая в окно. И что-то свершилось, потому что лица Феденякина и Громыхалова стали напряженными, как у охотников в засаде. Под окном, а затем и в коридоре уверенно простучали каблуки, дверь отворилась, и влетел в комнату сгусток энергии. Чернявый ладный крепыш с ходу занялся ритуалом рукопожатий, да так, что у меня даже ладонь хрустнула, что, видимо, доставило обкомовцу удовольствие.

Он присел на стул рядом с Авдеем, сказал ему вполголоса:

— Времени в обрез, вы не затянете? Комкать тоже не стоит, но держите темп.

Я этого крепыша знал. Он вырос в детдоме. Работал в «молодежке». В те времена я пил с ним в подворотне водку из горлышка бутылки. Я тогда даже подумать не мог, что Семка станет заведовать идеологическим отделом обкома. А он — стал. И теперь он всегда первым называл меня по имени-отчеству, с тем чтобы я сдуру не назвал его по-старому — Семкой.

Авдей Данилович «взял быка за рога»:

— Товарищи! Под руководством КПСС наша организация растет. Мы принимаем в ряды замечательного Вуллима Тихеева. Вырос он сиротой на нашем Севере. В тринадцать — учетчик колхоза, затем работник «районки». А нынче ведет сельхозотдел главной газеты области.

Творчество Вуллима стоит на партийных позициях. Меня потрясает его рассказ о председателе колхоза, который, как только кончилась война и стало чуть полегче жить, построил для ребят-тружеников качели. И дети, познавшие всю тяжесть мужского труда, вновь стали детьми. Как это емко написано, как страстно! Такое не придумаешь, это надо пережить.

Феденякин поддержал Авдея:

— Мы ведем правильную политику, принимая в писатели людей из гущи народа. Деревня-матушка уже делегировала к нам замечательного прозаика Луку Балдонина. От каждой его страницы идет запах свежего сена! Или взять поэта Дмитрия Дербышева: фронтовик, музыкант, художник, он более чем в зрелом возрасте начал писать стихи, а его уже и Москва заметила! А теперь вот — Тихеев. Конечно, со всеми этими людьми нам пришлось работать. Но результат — налицо!

Проголосовали. Урной послужила чья-то шляпа. Подсчитали голоса. Двенадцать было — за, один — против. Я догадался, что не поддержал Тихеева Осотов. Но это погоды не делало.

Обкомовец поздравил Тихеева, пожелал всем творческих успехов и исчез, как сквозь землю провалился. Тотчас, как из-под земли, появились коньяк, водка, пиво и закуски. Тут уж пошли другие речи.

Стаканы звякнули, появился Крокусов с байкальским омулем. Азалия Львовна выпила, крикнула, показательно занюхала первую стопку рукавом, чем вызвала великое одобрение Авдея Даниловича.

Лука Балдонин — высокий, с огромным горбатым носом, сутулый, плечи выше головы — мало походил на русского крестьянина, скорее напоминал не то древнего еврея, не то жителя давно исчезнувшего государства Урарту. Мне вспомнились слова из оперы моего детства: «Какой я мельник? Я здешний ворон!» Не помню, что за оперный театр давал «Русалку» в довоенном Пимске, но сумасшедший бородатый мельник запал в мою память навсегда. Балдонин был чем-то похож на того мельника. Ему бы тоже рубаху порвать — была бы копия. Казалось, Балдонин гаркнет: «Какой я мельник? Я здешний ворон!..» Но Лука не стал изображать из себя ворона, крикнул, выпив стакан коньяка, попросил передать ему омуля. Рыбина вся уместилась во рту талантливому деревенщику.

От Авдея я знал, что лет семь назад Лука, после окончания средней школы, приехал из своего таежного района в Новосибирск. Сибирская столица встретила деревенщину с прохладцей, поступить в вуз не удалось. Тогда высокий костлявый юноша отправился на юг. Мечтал он

добраться до Молдавии, работать на виноградниках, а если получится, то вступить в цыганский табор, петь, как Сличенко, под гитару, гадать на картах.

Вскоре он оказался в Одессе. Пошел работать грузчиком в порту, чтобы на следующий год поступить в Одесский университет. И он поступил в вуз. И не куда-нибудь, а на юридический факультет. Лука писал плохие стихи, читал их на студенческих собраниях, но это не приносило успеха. Тогда он написал несколько рассказов о своей деревне, а затем о своих мытарствах в Новосибирске и Одессе. Отослал рассказы знаменитому писателю-деревенщику. Тот пристроил рассказы Луки в столичный журнал.

Лука решил после окончания вуза вернуться в родную область. Он мечтал о той сладостной минуте, когда въедет в Новосибирск на белом коне, причем роль белого коня будет исполнять столичный журнал с опубликованными его рассказами. Но в Новосибирске к блудному сыну Балдонино отнеслись черство, даже мерзко. Несмотря на центральный журнал с публикацией, никто не спешил обнимать Луку и приветствовать. Ему советовали устроиться на работу и получить место в общежитии.

— Мне — в общежитие? — негодовал Лука. — Мне, известному писателю, — работать?

Ему отвечали:

— Пока что вы не писатель. По одной публикации в журнале в Союз писателей мы вас принять не можем. Езжайте в Колывань, работать в газете, там вам на первый случай и жилье какое-нибудь подыщут. Пару книжек издадите, тогда и будем ставить вопрос о вашем приеме в творческий союз.

Балдонин вскипел. Какое-нибудь жилье! Ему? В Колывани? Работать в газете?

Лука от кого-то слышал, что в Пимске руководит организацией писатель-деревенщик. Уж этот поймет! Он написал длинное письмо Авдею Даниловичу Громыхалову. Указал, что его творчество высоко оценено классиком и центральным журналом, и он может поселиться в Пимске, если ко дню его прибытия будет приготовлена квартира.

Авдей Данилович пошел в обком к самому Тягачеву. Первый секретарь к писателям относился уважительно. Он понимал, что присутствие в Пимске известных писателей придаст вес области, привлечет к ней внимание. А уж Авдей постарался расписать Балдонина как потенциального лауреата Государственной премии, а может быть, даже и

Нобелевской. Тягачев сам был родом из деревни, потому относился ко всем выходцам из деревни благожелательно. Писатели-деревенщики пользовались его симпатией.

Первый сказал решительно:

— Вызывайте! Будет ему квартира. Мы много строим, стали из подвалов в новые квартиры расселять даже и некоторых бездельников, а тут — писатель такого масштаба!

Прибыв в Пимск, Балдонин отказался поселяться в выделенную ему однокомнатную квартиру. Он заявил, что скоро будет жениться, а раз так, то могут у него появиться дети, и пусть ему сразу дадут трехкомнатную. Он человек занятой, ему некогда с квартиры на квартиру бегать. Это уже, по мнению Авдея, было некоторое нахальство. Но Луке пошли навстречу. Поселился он в трех комнатах в новом доме неподалеку от озера, именуемого Белым, рядом с деревянной старообрядческой церковью. Вскоре Авдей помог издать Луке книжку, и мы его приняли в Союз писателей.

Теперь этот загадочный писатель с аппетитом пил и ел, но молчал, словно был в комнате один. Он не смеялся, когда хохотали все после какой-либо удачной шутки. Он не отвечал, даже если к нему обращались. Можно даже было подумать, что он глухой.

Молчаливость Балдолина в полной мере возмещал другой писатель-деревенщик — Дмитрий Дербышев. Уж этого-то я знал давно. Сам он, уроженец живописной деревеньки Дербышево, в конце войны был мобилизован в армию. Успел и повоевать, да так, что полгода отхаживали в госпитале.

Демобилизовался, с год поучился в училище живописи в Палехе, но стосковался по родным просторам, вернулся в Сибирь. Я помню его совершенно юным, когда он был баянистом в клубе шпалопропиточного завода. Клубом заведовал мой двоюродный брат Гурий. И я хорошо помню, как Дмитрий читал в концертах стихи собственного сочинения. Девушки готовы были складываться перед ним в штабеля. Еще бы! Фронтовик, раненный, имеет медали, баянист, гитарист, певец, да еще стихи сочиняет! После войны мужчин вообще было мало, а тут такой кадр!

Молодость Дербышева прошла в бесчисленных сладостных победах над шпалозаводскими и другими окрестными красотками. Но в конце концов и мед приедается. Дмитрий женился, у него появились дети. Много ли баяном зарабатываешь? Дербышев устроился в городе-спутнике на секретный завод. Работа там была вредная, но деньги платили

хорошие. Музыкой занимался в свободное время. Так прошли годы.

Когда Дербышеву подвалило уже под шестьдесят, в секретный городок приехали столичные писатели. Один из приезжих был Виктор Боков с балалайкой, второй поэт был без балалайки, но он был секретарем Союза писателей. И вот выступили гости в клубе секретного города, а им говорят:

— У нас собственный поэт имеется!

Вывели Диму на сцену, он и выдал с десяток стихов.

Гости спрашивают:

— Давно пишете?

— Да нет, — отвечает Дмитрий Дмитриевич, — с год как начал.

— О, талантище! — восхитились гости. Взяли у Дим Димыча стихи, и вскоре два столичных журнала напечатали Дербышева с комментариями литературных начальников. Необычный случай! Дожил человек до пенсии. Сроду стихов не писал, и вдруг полилось из него, как из рога изобилия. И стихи отличные. Ну, вскоре и книжки вышли, и в писательский союз Дим Димыча приняли.

Теперь он сверкал, звенел и пенился. Как шампанское. Сыграет, споет и объясняет:

— Многие думают, что я свои гитары за границей заказываю. А я беру в магазине самую дешевую гитару, полирую мелкой шкуркой, а затем наношу несколько слоев лака снаружи и внутри. Звук от лака отражается, летит волной. И еще важно — под струны подставки костяные выточить, и сами струны хорошие металлические подобрать. Бывают с серебряной обмоткой, я их по всей стране ищу. Директоров фабрик и магазинов письмами мучаю... Эх, а сколько у меня гитар в автобусе раздавили! Втиснешься и думаешь: что же я сделал? Пусть лучше меня раздавят, чем гитару. Да получается всегда наоборот. А концерты у меня по три часа идут. Слушайте, вот еще песню вспомнил...

Он пел собственные песни про женщин, про любовь. Потом читал стихи про деревеньку Дербышево.

— Ты, Димка, гений! — сказал Авдей Данилович. — Я вот тоже свое село все время вспоминаю. Мало было хорошего в детстве, а по деревне ностальгия мучает. Я всех деревенских люблю, они — проще, добрее. В городах народ балованный. Вот почему я за вас хлопотал, чтобы в союз приняли и тебя, и Луку, и Вуллима. А города... Чем больше город, тем хуже в нем народ. Я в Москву еду, мешок кедрового ореха везу. Нател! Берут писательские начальники! Это так положено. Дар божий. Говорю им: не стесняйтесь, это вам природы сибирской

ломоть. Так ведь, сволочи, они кедровый орех орешками называют! Я им говорю: орех! Они толкуют: дескать, зернышки мелкие — орешки это. Я говорю: тупаки вы, этот орех от всех болезней эликсир! В деревнях бабы стакан зернышек нащелкивают и мужикам скармливают. Каждый день — стакан зернышек. И бабам зубами работать никогда не лень, с восторгом грызут, ни одна ни одного зернышка не проглотит, все в стакан складывает. Зато после этих зернышек и мужики за ночь по десять раз своих баб обрабатывают. Это орешек? Нет, это — орех! Дар царицы тайги Синильги!

Я не вытерпел, сказал Авдею, чтобы он всех городских дерьмом не обмазывал. Я вот в городе родился, но и в кедровом орехе понимаю, и вообще человек честный. Среди деревенских тоже сволочей немало.

Авдей Данилович похлопал меня по плечу:

— Я потому тебя в писатели и принял, что ты честный. Я в людях разбираюсь. Сталин писателей инженерами человеческих душ называл. Я, может, не инженер, но уж техник — точно! Я какую-нибудь скотину в свой отряд не запишу. У меня даже секретарь-машинистка — родной человечище, водку пьет, как мужик. Надо знать, кто тебе друг, а кто нет!..

Собрание наше закончилось за полночь, и даже непьющий Вуллим напился. Видно, хотел доказать Авдею, что он его истинный друг.

9. ВОДЯНАЯ БАБА

Авдей пригласил меня к себе на дачу отдохнуть от городского шума, подышать лесным воздухом. Громыхаловская дача в заповедном бору возле пруда была великолепна. Она состояла из кухни со столами и лавками, обширной залы с четырьмя окнами, из которых были видны великолепные окрестные пейзажи, спальни с двумя лежанками и устроенными под самым потолком полатами, и просторной веранды.

В огороде Авдей посадил полный набор овощей. Отвел немалое место для крыжовника, смородины, облепихи. Не забыл разбить цветники. Во дворе устроил приспособление для давки шишек и отсеивания шелухи от орехов. Выкопал колодец рядом с банькой, в которой предбанник изнутри оббил свежими осиновыми стволами. Под потолком в этом предбаннике повесил веники на любой вкус: березовые, хвойные, крапивные.

В это лето в жизни Авдея произошли некоторые изменения. А именно: он разошелся с белокурой сорокалетней женой, преподава-

тельницей университета, и женился на чернявой двадцатитрехлетней библиотекарше. Ее звали Вале́й, и она была уже на последнем месяце беременности.

— Я должен был на ней жениться, как честный человек, — пояснил мне Авдей, знакомя с новой женой.

Валёя молча мыла в колодезной воде первую карт ошку нового урожая.

— Вкуснятина! — сказал Авдей. — Молодая картошка, словно молодая бабенка!

— Ну и сравнение. А еще писатель! — сказала библиотекарша.

— А что? Нормальное сравнение. Картошка, она тоже мыслит, только до тех пор, пока ее не сварят.

— Да ну тебя! — сказала Валёя.

Вскоре мы уже сидели за столом, поедая дымящуюся картошку, приправленную постным маслом, петрушкой и укропом. Авдей выпил стакан самогона и заставлял меня сделать то же, чтобы мы с ним были «на одной ноге».

— Ты пей! — говорил Авдей Данилович. — Ты знаешь, что знаменитый хирург Савиных сказал? Не знаешь? Он сказал: «Кто водку не пьет, тот человек подо-о-зрительный».

Авдей постарался передать интонацию академика. Рассказал о том, какие настойки на спирту изготавлял собственноручно великий хирург. Мне не хотелось быть человеком подозрительным.

Валёя вышла, я спросил Авдея:

— А твоя первая жена на дачу не претендует?

— Нет! Я, как честный человек, не стал делить трехкомнатную квартиру. Отдал ей. Дача-чача — мне отошла. Так ведь этот лесовик хренов так мне дачу построил, что в ней уже теперь ночами холодно спать, а что будет зимой? Этот леший болотный, пенё трухлявый, у меня половину пиломатериала разбазарил, да шифера и бруса я не досчитался.

— Ну? А ты в прошлый раз Горового хвалил.

— Видишь фото над столом? Собачка, овчарочка, Дружок! Ее этот фашист отравил.

— Да как же он смог?

— Как, как! Он же мне ее щеночком подарил. Я ее вскормил, а он воспользовался, что она его знает, угостил ее колбаской, а внутри — стрихнин. У-у, живоглот!

— Да зачем ему?

— Зачем, зачем... Напакостить! Но я его через забор перекинул.

— Когда?

— А вчера. Мириться он пришел. Ну, я ему покажу мир! Со света сживу, сожгу зверя! Да какого там зверя! Зверем его назвать — это для него награда. Звери по совести живут, по своей, звериной. А у него — и такой нет! Айда, прогуляемся!

Валя вскинулась:

— Куда ты, Авдюша, пьяный, не вытвори что-нибудь.

— Да мы просто кедровым воздухом подышим, ты не волнуйся, воздух лесной в равновесие приводит.

Мы с Авдеем вышли в торжественное молчание ночи. Силуэты величественных кедров нависали над нами, свет окошек дачи казался сиротливым и заброшенным в крошечной мгле.

— Вам не страшно тут жить, на отшибе? — невольно спросил я.

— Мне? — удивился Авдей Данилович. — Попробуй кто сунься. Я один на медведя ходил. Я хоть и писатель, но любого ухаря уделаю. Мне здесь нравится. Под кедрами ни мошка, ни комар, никакая зараза не водится, и мух почти нет. А шишки нынче будет много. Вот уж напльно закрома. Смотри, давальная машинка. Сам сделал из дерева и металла. И столлярничать могу, и кузнечить. Вон туда шишку сунешь, ручку повернешь, и машинка мигом орехи вышелушит, останется только от шелухи отвеять и через калибровое сито просеять. Ну-ка сунь в машинку свою шишку, а я ручку поверну.

— Сам сунь, твоя шишка больше.

— Ну, это еще спорный вопрос. Айда к пруду. Смотри, там в низине, словно кто молоко разлил. Не видишь? Темно? А ты моркови побольше ешь, да вот когда черника пойдет, не ленись собирать. Да... А я тут однажды в полночь на Ивана Купала прохладиться к пруду пошел. Вот так же темно было. Смотрю, кто-то в пруду купается. Подошел ближе, различил: женщина! Одна! Вот, думаю, отчаянная. Откуда она? Из Дома отдыха, так до него километров пять лесом, а до деревни — так и все семь километров. А она меня увидела и говорит:

«Чего стоишь, раздевайся и — в воду. Теплая водичка, прямо благодать. Эх, поплаваем!»

И тут луна из тучи выглянула, и заметил я, что у бабочки этой волос русский, длинный, вьющийся, и личико вроде приятное, и бюстик ничего себе. Эх, думаю, везет дуракам! Сапоги мигом снял, штаны расстегиваю. Тут она нырнула, и заметил я, как она хвостом вильнула, а чешуя на нем голубоватая. Я скорее штаны обратно застегиваю, сапоги обуваю, готовлюсь деру дать.

А она смеется:

«Куда же вы, кавалер? Разве благородно так даме на приглашение отвечать?»

Я от пруда кинулся бежать. Так наддал, аж кедры замелькали. Бегу, а мне все ее смех слышен:

«Ха-ха-ха! Кавалер, куда же вы?..»

И тут заметил я, что зря силы трачу, хочу от пруда подальше убежать, а получается, что я вокруг пруда бегаяю. А она все хохочет. И манит. И меня к ней, как магнитом тянет. И я вдруг против своей воли начал раздеваться.

Уже почти все одежду снял, но вспомнилось мне детство мое сиротское, отец погибший вспомнился. И тогда я все же сообразил: что-то не то я делаю. Опять штаны натянул, да в этом переполохе на левую ногу правый сапог надел, а на правую — левый. И что же? Тут же меня словно отвязали. Чесанул от пруда, и смех ее все тише, тише. Так и убежал.

— Врешь, поди? Зачем же мы тогда к этому пруду с тобой идем?

— Так ведь нынче не праздник Ивана Купалы. Да и мы теперь знаем: стоит нам переобуться — и кранты, никакая русалка нас не остановит.

— Ну, ты эту историю сочинил.

— Да?.. Тогда так: на следующий год на Ивана Купала ровно в полночь ты должен быть у этого пруда. Вот и проверишь.

— Один не пойду.

— Тогда зря мы тебя в писатели приняли.

— В уставе союза ничего про водяных баб не сказано. А на будущий год мы примем в писорг Крокусова, вот пусть он тогда сюда в полночь и приходит. Его папа прибайкальским заповедником заведует, с леши-ми и водяными знается, Крокусову с русалками купаться в самый раз будет...

10. ТРИ ОГРОМНЫХ ЧЕБУРЕКА

Вася Важенкин опять позвонил мне в воскресенье:

— Ну что, Петр Сергеевич, пойдем фотографировать исчезающий Пимск?

У меня на этот день был запланирован поход за грибами. Соби-рать их лучше всего в одиночку, никто не отвлекает. И вообще, зачем конкуренция?

Но все же я спросил Васю, ходил ли он когда-нибудь за грибами? Он ответил, что ходил, когда мама была еще здорова. В одиночку он в лес не ходит, можно заблудиться. У него ориентация нарушена.

Мне стало его жаль, и я сказал:

— Айда со мной, я тебя научу в лесу ориентироваться.

— Ничего не найдем, — скептически отвечал Вася, — только ноги намозолим.

— Давай-давай, бери корзину побольше и подходи к остановке возле рынка. Жду!

На остановке было полно грибников. Были среди них в основном девочки и женщины. Вася, оглядываясь на них, довольно громко зачем-то начал говорить о некоем наглom мужике:

— Тут он схватил ее за грудь, тут он снял с нее все, и он ее — того, ши-ши! — ораторствовал Вася.

— Ты что? Офонарел? — пытался я остановить его. — Какие шиши? Зачем ты это рассказываешь? Умолкни!

Когда мы втиснулись в автобус, Вася опять принялся за свое. Он вроде бы говорил мне в ухо, но в то же время так громко, чтобы было слышно стоявшей рядом женщине, на которую Вася то и дело оглядывался:

*Когда я сплю, то муж не будит,
А потихоньку подойдет,
И осторожно нежно всунет...
Конфетку в рот, а сам уйдет!*

Я догадался: сублимация! Мне вспомнились строки Есенина:

*Ах, люблю я поэтов,
Забавный народ.
В них всегда нахожу я
Историю сердцу знакомую,
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою.*

Да! У Васи и прыщи на лице, и глаза закрутились в разные стороны, и от жирной пищи животик образовался уже, хотя фигура еще полностью не избавилась от подростковой угловатости. Ногой дрыгает, слюна в уголках губ закипает. Еще не смеет тронуть женщину руками, так он ее нехорошими словами достает, чувствуется, что получает от этого удовольствие. Но если бы он говорил о мирах! А то ведь всякую

непотребную похабщину вываливает на головы бедных женщин. Этот словесный эксгибиционизм.

— Прекрати! — прошипел я Васе в ухо.

— А чего? Я же про конфетку. В рот... А сам уйдет...

Он замолчал. А когда вышли на остановке, он не удержался и сказал вслед женщине:

Лучше нет влагалища,

Чем очко товарища!

— Ну, молодец! — похвалил я его. — Заборно-туалетный интеллект! Нечего сказать.

— Ладно. У вас, что ли, интеллект большой? — набычился он.

Я понял, что уступить должен более умный, перевел разговор в другое русло:

— Смотри! Мы заходим в бор, солнце нам светит в левое ухо. Будем грибы искать, будем кружить по лесу. Проходим не меньше пяти часов. За такое время я как раз корзину белых грибов набираю. Так что уже вечереть будет, как станем из леса выходить. И тогда солнце должно будет светить в правое ухо.

— А если не будет солнца?

— Тогда надо обращать внимание на ветки деревьев. На повернутой к югу стороне дерева — ветви длиннее, и — наоборот. Нам надо выходить в сторону севера, усек? Найдешь гриб, не уходи сразу с этого места, покрутись, поползай на четвереньках, еще найдешь, грибы кольцами растут.

Долго ходили мы по буграм и увалам, покрытым зелеными, коричневыми и серебристыми мхами. Темнохвойные леса менялись лиственными, редколесье сменялось густым урманом. Там и сям виднелись зеркальца небольших озер, встречались болота, поросшие иван-чаем. От красоты захватывало дух.

Вася сперва почти не находил грибов, потом стал наполнять свою корзину. Иногда пытался срезать найденный мною гриб. Тогда я пугал его:

— Будешь наглеть, брошу здесь одного, и тебя съедят волки или медведи; я даже и не знаю — что лучше.

Я видел, что он в самом деле боится потеряться. Он то и дело вскрикивал:

— Ау!

Я пел. В лесу петь так же хорошо, как в церкви, звук катится легко, свободно, торжественно. Я пел, и сердце у меня пело. Воздух

пропитывал меня хвойным ароматом, исцелял мою больную голову, облегчал работу моего поношенного сердца. Я пел. Все подряд: русские и цыганские романсы, отрывки из опер и оперетт, клочки симфоний, непонятно где и когда слышанные мелодии. В лесу все звучало без всякого аккомпанемента. Никто, кроме Васи, разумеется, меня не слышал, пелось свободно, для себя, для неба, для сосен.

На каком-то холме мы сделали короткий привал, пожевали прихваченные с собой ломти хлеба, у нас была бутылка воды с вареньем, Важенкин не поспешил со мной поделиться этим напитком. Пришлось мне сказать:

— Ты мне-то немножко оставь.

И он оставил. Действительно немножко, меньше просто невозможно было оставить.

Он оглянулся по сторонам, хотя мы были в глухом лесу одни, еле слышным шепотом спросил:

— Петр Сергеевич, а вот если я буду с женщиной, так мне сначала завернуть, а потом вставить или же сначала вставить, а потом завернуть?

Я понял. Живет без отца. С матерью советоваться стыдно. С товарищами советоваться не хочет, боится в своей некомпетентности признаться. Да и советуется-то из чистого любопытства, в предвкушении будущих подвигов.

— Будешь с женщиной — все само собой получится.

— Ага, получится! У меня фимоз. Может, мне к хирургу сходить?

Я на всякий случай сказал:

— Не надо. Поди, все само собой растянется. Да тебе ведь еще, пожалуй, не скоро придется жениться.

— Это я так, на всякий случай спросил.

— А отец-то у тебя где живет?

— Во Владивостоке. Бросил нас, когда я еще маленький был. Большой любитель женщин.

— А мама твоя, почему прихрамывает?

— Переживала, инсульт получился, а там уж стало накладываться одно другое.

— Да уж, это так называемый принцип домино.

В город мы возвратились, еле передвигая ноги. Две огромные корзины были полны отборными белыми грибами. Очень хотелось есть.

Шли центром города мимо чебуречной. Я сказал Важенкину:

— Может, перекусим, зайдем?

Он поставил корзину и принялся шарить в карманах, повторяя:

— Вот черт, вот черт!

— Да ладно, — сказал я, — вот, возьми деньги, купи чебуреки, я пока покурю на крылечке.

Пуская сигаретный дымок, я заглядывал внутрь чебуречной. Очередь не больше пяти человек... Ага! Пора! Важенкин уже купил чебуреки, нашел свободный столик, поставил на него тарелки. Я щелчком отправил недокуренную сигарету в мусорную урну и поспешил к столу. Уселся напротив Васи.

Но что это? Перед Васей на тарелке лежала гора из трех огромных чебуреков, а на моей сиротливо расположился - один-единственный. Вася плотоядно склонился над своей тарелкой, большие желтоватые зубы уже оросились слюной, язык всеми пупырышками был готов осязать горячий и ароматный жир.

Я протянул руку и переместил один из чебуреков с Васиной тарелки на свою.

— Вот так будет ровно, — сказал я.

Что тут стало с Васей! Он побледнел, потом покраснел, его щеку передернул нервный тик:

— Вы... если думаете... ваши деньги, так...

— Вместе ходили, вместе устали, вместе проголодались. Хлеба горбушку и ту пополам. Слышал такую песню? Тебя бы в армию, там бы порядку научили.

— На хрен песню! На хрен армию! Дерьмо, дерьмо, дерьмо!.. — со слезами на глазах взвизгнул Вася.

Я сжевал свои чебуреки, взял корзину, пошел. Понятно. Однажды я обедал у Важенкиных, мама ему наваливает полную с верхом тарелку котлет, а себе кладет одну и побольше гарнира. У него сложилась стойкая привычка. Но я-то тут при чем?..

С той поры я перестал отвечать на Васиные звонки. В кружке тоже с ним не разговаривал. Тина Даниловна недоумевала, я о причине разговки ей не сообщал. Мне позвонила Леокадия Зотеевна и сказала:

— Отчего вы Василия третируете? Он мне все рассказал. Я тоже бывала с подругой в ресторане, она заказывала себе, что она хочет, а я себе брала то, что мне по душе. И не важно на чьи это были деньги.

Я сказал, что я плохой человек, мне с хорошим Васей дружить не с руки, тем более что он меня обматерил...

Прошло некоторое время, и три больших чебурека на одной тарелке как-то стерлись и стусевались в моей памяти. И однажды я сам при-

гласил Васю фотографировать исчезающего Важенкина. А в том, что он исчезал, не было никакого сомнения. Каждый день исчезал один Вася и появлялся другой. Все мы пусть очень незаметно, но ежедневно меняемся, так происходит до самой смерти. Конечно, и после нее мы меняемся, но это уже совсем другой разговор.

11. ОСЕТРИНА И КРАБОВЫЕ КОНСЕРВЫ

Моя должность в ПИССУАРе, видимо, придала мне некоторую респектабельность, ибо меня стали приглашать в гости очень непростые люди, чего раньше никогда не случалось. Осотов уже раза два звонил. Ему интересно узнать, как мне удастся руководить литературной студией в сугубо техническом вузе.

— А нас не студия, а кружок, — сказал я в трубку.

Но Осотов голосом, идущим из самой глубины желудка, густо возразил:

— Знаем, знаем, это даже не студия, а можно сказать и модно сказать: академия поэзии! Вы — академик!

Осотов звонил мне в мою комнатуху на писательский чердак. Я протянул туда телефонный проводок от приемной и пользовался телефоном нелегально. Звонили-то, собственно, в приемную, а я снимал трубку, и если кто-то спрашивал меня, то откликался. Дело это было склочное. Азалия Львовна считала, что я подслушиваю ее разговоры. Я покупал ей раз в месяц плитку шоколада, убеждал, что когда звонят не мне, сразу же кладу трубку. А еще свирепствовали монтеры. Они как-то определяли мою линию и зверски обрывали мой проводок:

— Организация платит за два аппарата, третий — не положено, будем штрафовать.

Они уходили, я снова подключался. Так повторялось уже не раз.

Постепенно многие писатели и все члены кружка узнали о том, что в мою комнатуху можно позвонить, и нередко звонили в неурочное время. Я предупреждал их, что звонить нужно лишь поздно вечером, когда в писательской организации уже никого нет.

И вот не успел мне позвонить Осотов, как у меня снова затрещал телефон, я снял трубку и услышал аристократическую картавинку Феофанова. Он говорил совершенно безапелляционно:

— Через десять минут вы должны быть у нас, тут ведь рядом. Предки будут рады вас видеть, будет хороший стол, мамаша все заку-

пила. Предки обидятся, если вы опоздаете, да и шашлыки осетровые заклеknут.

Феофанов назвал номер дома и квартиру. Это рядом с писоргом. Лучший жилой дом в Пимске, построенный для самых значительных людей города.

В первом этаже Юриного дома размещается крупнейший в городе комиссионный магазин. А самое главное — этот дом известен тем, что там живет председатель горисполкома Балаба. Говорили, что у Балабы на кухне три крана. Из одного течет пиво, из другого молоко, а из третьего простая вода. Называли даже имя и фамилию сантехника, который чинил эти краны и напился там пива под самую завязку. Я бы на его месте лучше попил бы молока.

И вот через десять минут после Юриного звонка я уже входил в подъезд этого дома. Все здесь было масштабнее, чем в прочих жилых домах. Просторный вестибюль, широченные лестничные марши. Невольно вспоминались строки Маяковского: *«Хочется идти, приветствовать, рапортовать»*.

Двери на всех этажах были солидные, обитые кожей, оборудованные телескопическими глазками, медные ручки дверей были начищены. Я поднялся на третий этаж и осторожно позвонил.

Мне открыл Юра Феофанов, его кудри и усы пахли хорошим табаком и духами.

— Проходите прямо в залу! Мама, папа, знакомьтесь, это тот самый руководитель кружка, о котором я вам говорил.

Я увидел мужчину средних лет с одутловатым лицом. Он был одет в роскошный домашний халат, словно только что снятый с какого-нибудь сверхбогатого восточного повелителя. На левой руке мужчины почему-то была черная кожаная перчатка.

— Разрешите представиться: Леопольд Сергеевич Феофанов. Я извиняюсь, одет по домашнему, мне это прощает мой возраст, да и, знаете, целый день в университете — в костюме, в галстукe, как лошадь в сбруе. Хочется хоть дома расслабиться. Об этом можно даже в древней литературе прочесть. Тогда не было университетов, но был свой этикет, служить князю полагалось в особом костюме. Да! Знакомьтесь: моя супруга Ксения Никитична Глазастова.

Взглянув на аккуратную женщину с огромными загадочными глазами, я замешкался. Какие глаза! В мозгу всплывали слова: ланиты, очи, очеса... Вот на кого Юра похож! Уж никак не на папу. Везет же людям! Ну, чего в нем, в Феофанове, хорошего? Она даже фамилию его не взяла,

свою девичью оставила. И хотелось как-то особенно поприветствовать эту женщину, но я не умею, не способен. Не смогу щелкнуть каблуками, ручку поцеловать. В том, что у нее не руки, а именно ручки, — нет сомнения, маленькие, нежные, но видно, несмотря на маникюр, эти пальчики немало делают домашней работы, все-таки видны мелкие царапинки на пальцах, которые никаким кремом не зашпаклевать. Я поклонился, сказал, что очень рад познакомиться.

Феофанов предложил:

— Сейчас Ксения закончит последние приготовления к обеду, а я вам покажу квартиру. Вот это мой кабинет, две стены — стеллажи с книгами, но это не вся библиотека, книги у меня размещены еще в двух комнатах, там у нас — комната Юры, тут — спальня. Ну, а тут вот — ванная, и вот — туалет, в общем, будьте у нас всегда как дома. Знаете анекдот? Один джентльмен показывал гостям квартиру: вот столовая, вот гостиная, вот моя дочь сидит на диване, книгу читает, а это спальня, это под одеялом моя жена лежит, ну и... видите волосатые ноги? Это я с нею лежу...

— Лео! Как тебе не стыдно! — сказала Ксения Глазастова. — Что за пошлости ты говоришь.

— Ну почему же пошлости, юмор не бывает пошлым. Он бывает или плохим, или хорошим. В этом анекдоте все же изюминка есть. Да, Ксения у меня строга. Но она хранит мой очаг, эта женщина в моей жизни играет такую же роль, какую играла в жизни Достоевского Сниткина, и даже саму жизнь мне подарила она. Да... Я рад вашему визиту, потому что вы тоже связаны с литературой. Ага! Ксюша уже подала салатик!

Профессор Феофанов сделал приглашающий жест. Он вынул пробку из графина и наполнил хрустальные бокалы:

— Ну-с, за знакомство и древнюю русскую литературу!

— Папа читает студентам древнюю литературу, он в этом дока, — пояснил Юра, — потому даже дома выдает фрагменты лекций по любому поводу и без повода. А мама наша — идейная коммунистка и преподает советскую литературу. На войне она моего папу увидела молоденьким лейтенантом на нейтральной полосе. Лежит весь в крови, вокруг снаряды рвутся, мины. Мама была санитарочкой фронтовой. Решила: спасу! Рисковала жизнью. Видите перчатку на папиной руке? Протез... После войны вместе поступили в МГУ. Окончили и распределились в Пимск, мама ведь родом из сибирской деревни. И все в их жизни происходило лишь для того, чтобы я родился здесь,

в Сибири. А ведь могли бы остаться в Москве или распределиться в Сочи, в Крым.

— А тебе, Юрок, рюмочка противопоказана, тебе надо творчеством заниматься, — заметил Феофанов-старший.

— Ну, почему же? Можно привести немало примеров, когда великие писатели стимулировали себя крепкими напитками, — ответил сын.

— Ты еще не великий писатель, хотя, не отрицаю, способности у тебя есть. Но ты еще не написал свои «Белые ночи».

Старинная мебель. Рояль «Беккер». Тополя за окнами. Звонки трамвая, блеск электрических искр. Болгарское вино «Гымза» в оплетенных соломой бутылках. Раскрытый альбом картин Павла Корина, на развороте — «Русь уходящая».

Мы изрядно выпили, появились шашлыки из осетрины. Феофанов опьянел, он подсел ко мне, дохнув застарелым перегаром пополам с запахом жареной осетрины:

— Доверительно скажу: у Юры высокая филологическая культура. Мы даже перевели его на заочное отделение. Зачем ему торчать на лекциях, если дома два именитых филолога-преподавателя? Нет, он должен беречь драгоценное время. Вы читали его стихи? Ну вот. Диплом он так или иначе получит, но мы же знаем нынешнюю буквалистику. Им не важен талант, важна партийность, идейность. Вы ведь партийный?.. Вот, не зря же вам доверили вести литературный кружок. А Юра имеет талант, но не имеет статуса. Такие люди, как он, никогда не могут иметь никакого отношения к партийности, вообще к стадности. Он — человек-одиночка. Можно ведь принять человека в Союз писателей не за партийность, а за талант?

Подтекст в речи Феофанова был ясно ощутим, и мне этот подтекст не понравился. Кроме того, я ведь уже читал Юрины стихи. Я мог ответить соответственно, но на меня были устремлены большие глаза Ксении. В них были надежда и страдание. Ну да! Я знаю, почти все филологи получили эту специальность, в тайне мечтая о писательстве. Но чем больше они углублялись в сложности языка, чем больше эстетствовали, тем меньше у них оставалось возможностей преуспеть в писательстве. Так вот сороконожка думает, с какой ноги шагнуть, и не может сдвинуться с места. Можно изучить все свойства глины, знать во всех подробностях ее структурный срез, химический состав, но вылепить из этой глины образ — не у каждого получится.

Видя звездную ночь в увлажнившихся глазах Ксении Глазастовой, я ответил по возможности мягко:

— Для вступления в союз нужно издать, как минимум, пару книжек.

— Вот-вот! — сказал Феофанов. — Книжки! Читали мы эти книжки, сплошной марксизм-ленинизм!

— Ну, идейность приветствуется, однако же издаются и чистые лирики.

— Помогите Юре издать книжки! Помогите занять статус, — умоляюще сказала Глазастова.

О, ради нее все сделаю! Но надежд на ее симпатию нет никаких, не для того она своего героя выволокла из крошечного ада, чтобы после изменять ему. К тому же, их соединяет испаноподобный красавец Юра.

Тамичу издать книжку в Новосибирском издательстве было трудней, чем верблюду пролезть через игольное ушко. Я знал, что кудрявому красавцу пришлось бы провести немало бессонных ночей над рукописями, прежде чем у него получилась бы книжка. И я видел, что он вовсе не собирается корпеть над писаниной. Он убежден, что каждое написанное им слово — шедевр! Я мог бы сказать им горькую правду. Но на меня с великой надеждой были устремлены глаза Ксении, кроме того, и салат, и шашлыки из осетрины были так вкусны, кресло, в котором я сидел, было таким мягким. Уют, чистота — это так редко встречается в жизни одинокого человека. Я сказал:

— Мы поработаем с Юрой, отберем стихи, составим книжку. Я напишу рецензию. Все возможно...

— Я так и знала! Я знала, что Юру поймут и оценят, всегда верила, — сказала взволнованная Ксения.

Супруги влюбленно глядели на свое чадо. Юра был их прекрасным и единственным произведением.

Я попрощался с ними. И когда уже за мною закрылась дверь подъезда, я хлопнул себя по лбу. Вот, черт возьми, я же так и не узнал у них: действительно ли в квартире Балабы из кранов текут молоко и пиво? Но утешился тем, что меня пригласили сюда заходить еще, будет возможность все выяснить.

А на другой день меня вызвонил Осотов.

— Ну совсем зазнался, — говорил он нутряным голосом в трубку. — Сегодня жду к обеду. Всенепременно!

Я шел к Осотову окрыленный. Я как-то читал автобиографический очерк Маяковского. Тот обедал у знакомых знаменитостей по очереди, распределив все дни недели. Да, хорошо! Вчера я объел Феофанова,

сегодня объем Осотова. А там, глядишь, появятся новые обедодатели, и у меня установится Маяковская система.

За время моего пребывания в писательской организации я кое-что узнал о каждом ее члене, в том числе и об Осотове.

Несколько лет назад в Пимске было создано областное книжное издательство, а Иван Игнатьевич Осотов был назначен директором данного издателя. Коллекция у него истинно директорская. Первой книгой, которую выдало на-гора новое издательство, была первая часть Осотовского романа «Бремя судьбы». Начала говориться к выходу вторая книга эпохального произведения, но издательство закрылось. Оно, кстати (или некстати), на издании книги Осотова обанкротилось.

Осотов хлопотал о восстановлении финансирования издательства. Надо же было ему издать продолжение романа? Но тут его первую книгу разругал в пух и прах рецензент областной газеты.

Осотов взбеленился. Он бегал по Пимску, собирая хвалебные отклики на первый том своего «Бремении». И недруги ударили Ивана Игнатьевича в самое темечко. Во всесоюзном журнале «Крокодил» появился фельетон. Там, между прочим, говорилось: *«По Пимску бегал плотный пожилой гражданин в барашковом пирожке, хватал за полы знакомых, мало знакомых и совсем незнакомых людей. «Вы мой роман читали? Не читали? Ну, все равно, распишитесь, что он хороший...»*

Надо ли говорить, что после всех этих событий Пимское издательство было окончательно похоронено.

И что удивительно? Я бы на месте Осотова после этого фельетона выбросил бы на помойку барашковый пирожок или даже сжег бы его, носил бы шапку другого фасона. Но, как я заметил, Иван Игнатьевич до сих пор ходит в том самом пирожке. То ли из принципа, то ли не хочет тратить на новый головной убор.

Я приехал на автобусе в новый микрорайон, где Осотов жил в кирпичном новом доме среди березовой рощи. С душевным трепетом нажал я кнопку звонка. Мне отворили не сразу, я чувствовал за дверью тихую возню. Я постарался встать так, чтобы меня было видно в дверной глазок. За дверью был слышен сдавленный кашель, хрип. Я уж решил, что ошибся дверью, но тут она отворилась, и передо мной предстал Иван Игнатьевич Осотов. Он был в знакомом мне потертом костюме с сопревшими подмышками, в галстук и в синих спортивных тапочках.

— Так, значит, пришел! — сказал он, пожимая мне руку влажными пальцами. — Удостоил, снизошел...

— Почему же, я — с радостью.

— Да я знаю: тебе лучше у начальника на даче гостить, а Осотов нынче не у власти, Осотов тьфу!

— Напрасно вы так. Ваши книги людям известны. Вас знают. Вы непростой человек.

— Не буду отрицать, народ меня любит. Читают, цитируют. А вот братья-писатели... Лучше промолчать, да ведь и сам все видишь. Ну, проходи, проходи в мою скромную келью.

Келья Осотова состояла из четырех комнат. Он меня провел по трем из них, как экскурсию провел. Получалось, что у интеллигентных людей это особый шарм такой: квартиры свои показывать. У меня такой привычки просто не может быть, потому что жил до сих пор в бараках, казармах, развалюхах, каморках. Да и теперь на чердаке живу. Что показывать-то, чем хвалиться?

В прихожей Осотова меня поразил особой ручной выделки буфет, высотой до самого потолка и занимавший всю стену. По стенам буфета была набросана искусная резьба, изображавшая плоды винограда, яблонь, орлов и глухарей, ветви кедров в отблеске солнца. За толстым стеклом в буфете этом поблескивали бутылки легендарных вин. Иван Игнатьевич сообщил их марки, похвастал, что именно эти вина любил пить товарищ Сталин. Еще поразила меня в этом буфете пирамида, составленная из банок с консервами «Снатка». Мне доводилось есть крабовые консервы в далеком детстве, когда мы пели песни о своем изобилии. Да, был в песне именно такой рефрен: *«Мы поем о своем изобилии»*. Сладковатый вкус нежного крабового мяса у меня возникает во рту до сих пор, когда приходится вспоминать детство. Все это было: парашютные вышки, авиамodelи, милиционеры в белых перчатках и шлемах, регулировавшие уличное движение, спортсменки с ослепительными зубами на фоне их загорелых лиц. Это было изобилие нашей молодости, это было наше бедное, но честное богатство. Где оно теперь? Ушло, провалилось в тартарары.

Неужто Осотов будет угощать меня крабовыми консервами?.. Еще я заметил за стеклами буфета здоровенные шары колбас. Я не видел таких колбас с самого тридцать восьмого года. Лежали рядом с колбасами и шары сыров. Что это за чудо? Их изготовили по особому заказу Осотова, в выставочном исполнении? Или это вообще не колбасы, а искусный муляж? Но зачем, с какой целью? Этого я, видимо, никогда в точности не узнаю.

Из одной комнаты выглянула молодая женщина, тоже миниатюрная, как и Ксения Глазастова-Феофанова, и тоже красивая. Что их там, на

филфаке, какая-то особенная машина выпускает? Я слышал, что Осотов свою жену поколачивает. Да как же ему, бугаю, не стыдно такое эфирное создание колотить? Впрочем, вполне возможно, что это сплетни. Говорили еще, что роман «Бремя судьбы» написал вовсе не Осотов, а сама его молчаливая жена.

Да, я встречал таких женщин и в деловой, и в художественной среде. Они молча, сурово, скрытно работали на авторитет мужа, выдвигали его вперед, считая, что в этом случае создается их собственная комфортная гавань, в которой они, как элегантные шхуны, будут нежно покачиваться на волнах, закрытые от всех бурь и штормов жизни. Благополучие мужа было их благополучием, и они создавали его с выдумкой и страстью, терпя порой неистовые страдания. Мне такой самоотверженной женщиной обзавестись не довелось. Я себя делал сам, и получалось коряво.

Наконец Осотов провел меня в свой кабинет, где все стены были заставлены первыми томами его романа. Осотов стал угощать меня здесь, перед лицом «Бремени судьбы».

— Вот тут у нас изрядно засохла копченая скумбрия, но у тебя зубы здоровые — сгрызешь. Вот еще остатки вчерашнего хлеба, между прочим, черствый хлеб полезен для желудка. Запивай все домашним квасом, он создан по старинному рецепту, Наташа знает его и никому не говорит. Я?.. Ну, я недавно покушал, а вот кваску с тобой выпью. Настоящие русские люди — трезвенники, это они создали целебный квас и пьют его веками.

При этих словах Осотова мне вспомнился Маяковский: «Ну а класс-то жажду заливает квасом? Класс он тоже выпить не дурак». Но я не стал цитировать Маяковского, не счел возможным разрушать правильную концепцию Ивана Игнатьевича. Я давился остекленевшей и покрытой плесенью скумбрией и пил квас, который, по-моему, давно прогорк. Так началась наша трапеза.

На тумбе перед книжными шкафами стояли два гипсовых бюста. Я никак не мог понять, на каких известных деятелей они похожи. Осотов проследил за моим взглядом, сказал:

— Слева — Мольер, его мне подарил директор драматического театра после того, как меня назначили директором издательства. А справа — ваш покорный слуга. Ваял меня подающий надежды Пимский художник, ему очень нравится мое творчество.

Я сравнил бюст с Осотовым. Художник не смог уловить нюансов,

он отобразил лишь массивность Осотова. В Мольере тоже было мало чего мольеровского. Оба бюста стояли друг друга.

Осотов как-то особенно вглядывался в меня. Уж чем я его заинтересовал? Он потер переносицу и спросил:

— Значит, Авдей этого лесника перебросил через забор? При тебе было?

— Да нет. Хотя был разговор о том, что лесник у него стройматериал украл.

— А ты знаешь, что он дочку лесника совратил?

— Откуда же мне знать?

— Ты теперь в организации пребываешь и все, что в ней происходит, знать должен. Что-нибудь про своих женщин Авдей говорил?

— Про женщин? Говорил про водяную бабу, которая его чуть в пруд не затащила.

— Ага, значит, уже до чертиков допился...

Я понял, что Осотов копает под Авдея. Но не понял, зачем ему это нужно. Иван Игнатьевич продолжал расспросы. Он говорил:

— А с новой женщиной (как ее там, Валентина, что ли?) он собирается в брак вступать? Ему же придется прежней супруге платить большие алименты.

Я отвечал так:

— У Авдея Даниловича почему деревенская проза хорошо получается? Он знает все травы, деревья, повадки зверей и птиц.

— Я тебя не про птиц спрашиваю.

— Ну да! Не про птиц. Но ведь и образы женщин в его повестях достоверны. Вот эта Авдотья из его романа «Дикое семя» — ну, просто как живая!

Осотов покраснел, долго отирал шею платком, потом сказал:

— Попал под влияние? На плохую дорожку ступил. Ты знай, с кем тебе надо водиться. Как бы не пожалел потом.

— Да я же и ваши романы высоко ценю. Образ бабки Амнеподистовны... Она же у меня перед глазами стоит, я ее осязать могу.

— Не надо моих бабок осязать. Ты, я вижу, гусь! Я ему про Фому, а он мне про Ярему. Не ожидал, что ты такой...

Я пожал плечами. Я тоже не ожидал, что Осотов меня заплесневелым огрызком скумбрии угощать будет, тогда как у него в шикарном шкафу лежат всякие вкусности. Ишь ты, разведчик Рихард Зорге! Я-то на бедную Азалию Львовну грешил, а тут, оказывается, есть любители, которые ловчее профессионалов.

12. ВЕСЬ ОПУТАН ПРОВОДАМИ

Предчувствие зимы, жажда совершенства. Это привело меня в обкомпарт. Я вообще-то там прежде был всего раз в жизни, на пленуме каком-то, как представитель газеты. Теперь же я пошел к своему давнему знакомцу Семену Семеновичу Семенову, который недавно из заведующего отделом обкома превратился в секретаря обкома по идеологии. Вот до каких высот детдомовец бывший добрался!

Секретарь — это чин. Огромный отдельный кабинет. Ты стучишь, заходишь, он встает из-за стола, чтобы встретить тебя как раз на середине кабинета рукопожатием. На нем хороший костюм, тщательно подобранный галстук, а ботинки новейшие, чистейшие, сверкающие. От сведущих людей я знал, почему у всех обкомовских начальников так здорово выглядят ботинки. На работу они приходят в других ботинках, в кабинете переобуваются в специальные «кабинетные».

Семен Семенов показал мне в улыбке свои хорошие зубы, указал кресло возле его стола, чтобы я присел. И мы поговорили с минуту о делах нашей организации, о писателях. Я доложил бывшему другу, а ныне вышестоящему товарищу секретарю, о том, что писатели повышают свой политический и моральный уровень, заняты творческими поисками, стремятся прославить родную область в стихах и прозе, все хорошо, но... одно не совсем хорошо.

— Что же именно? — сразу посуровев, спросил секретарь.

Не знаю, почему он встревожился, но я ему напомнил о своей не совсем сложившейся личной жизни, о том, что в моем не юном возрасте я не имею собственного угла, а ведь я уроженец этого города, и отец мой погиб на войне, и я с двенадцати лет начал работать.

Он выслушал меня, помолчал, потом положил ладонь на стол:

— Квартира вам будет. Есть еще какие-то просьбы?

— Нет! Больше никаких...

— Тогда позвольте вам пожелать успехов, — он встал, давая понять, что аудиенция окончена.

Я был в экстазе. Так тяжело просить у кого-либо что-либо. А идти с просьбой в начальственный кабинет — просто невозможное дело. А тут я преодолел себя, пошел. И — такой великолепный результат!

Через две недели на заседании моего кружка я не удержался и пригласил Тину Даниловну на новоселье. Она сказала:

— О! Я поздравляю вас с получением квартиры! А смогу ли прийти на ваш праздник — позднее скажу. А когда новоселье?

Я пожалел, что похвастал. Я слышал, что писателям квартиры выделяют из обкомовской очереди. И месяца не пройдет... А может, два пройдет? Три? Скорее всего, мне квартиру к Новому году выделят. На всякий случай сказал Тине Даниловне:

— Дату я сообщу дополнительно, пока квартира не вполне готова. Устраняю некоторые строительные недоделки. А почему вы два заседания пропустили? Раньше с вами такого не случалось.

Тина Даниловна стала пунцовой, потупилась, после долгой паузы сказала:

— Я вышла замуж.

Меня это сообщение задело. Мне она вообще-то не нужна, но... Со мной целоваться не хотела, к двухцветной дуре меня свела, говорила, что устарела, что ее жизнь позади. И — на тебе!

— За кого же вышли, если не секрет?

— Вообще-то вы его знаете.

— Знаю? Кто же это? Что за ребусы? Ну, не молчите, ей-богу, это очень интересно.

Я и в самом деле недоумевал: кто же из известных мне людей мог жениться на Тине Даниловне? Перебирал в памяти всех знакомых — и не находил никого.

— Ну, не томите. Что же это такое? Заинтриговали и не говорите.

— Иван Карамов, — шепнула она.

— О! — только и смог выдохнуть я.

Иван Карамов! Творец повести о бедном юноше, откусившем большой кусок материнской груди. Я бы не спешил стать его другом! Отчаянная все-таки эта Тина Даниловна.

Она как-то прочитала мои мысли и стала убеждать:

— Он очень хороший и очень одинокий. У него благоустроенная двухкомнатная квартира.

— Так что же, вы вместе с Линой и Риной к нему переехали?

— Нет, Рина и Лина пока живут с бабушкой. Этот Карамов такой одинокий, такой беспомощный. Я неделю мела, скребла, мыла его квартиру. Ванна была вся покрыта ржавым налетом. Я отчистила ее, так что сияет, как солнышко. Унитаз тоже стал бело-голубоватым. Море и солнце! И еще надо белить потолки, отдирать старые и наклеивать новые обои, окрашивать рамы, двери. Ваня поражен изменениями в интерьере. То ли еще будет! Вот уж закончу ремонт, тогда и девочек в новое жилье перевезу, и бабушку. Заживем дружной семьей.

Я уже знал стоицизм и фанатизм Тины Даниловны. Сделает! В каком-то смысле Ивану Карамову повезло. Ах, скорее бы мне получить новую квартиру!..

Новый год подошел вплотную, и в очередной визит в нашу организацию я сказал Авдею Даниловичу:

— Обещали дать квартиру из обкомовской очереди, ты не мог бы как руководитель узнать, когда именно дадут?

Мы сидели в кабинете Авдея. Окна были все в куржаке. Крокусов принес в своем крокодиловом портфеле две бутылки коньяка. Авдей распечатал одну, разлил по стаканам и сказал:

— Сначала вздрогнем!

Мы выпили. Правда, вздрогнул лишь я один, а Громыхалов и Крокусов выпили каждый свою порцию в два глотка. Авдей распечатал вторую бутылку, снова налил в стаканы и сказал:

— Тут дело такое. Я еще раньше тебя к Семенову ходил. У меня жена на сносях. Ну, осенью на даче еще ничего было. А теперь она у меня на полатах под потолком сидит, но и там, вверху, температура выше двенадцати градусов не поднимается, хоть сколько печи топи. А каково ей туда влезать с пузом-то? Каждый раз лестницу приходится приставлять. Я на эти полаты тоже по лестнице взбираюсь. Так не подтянешься, высоко. Правда, раз пьяный как скакнул, сразу на полатах очутился. А трезвый потом часа два скакал, и заскочить не мог. Так что, думаю, сначала мне дадут. А там видно будет...

Я понимал. Ребенка ждут. Понятно.

И в Новый год отгремело у Громыхалова новоселье. Авдей остановил толпу гостей на лестничной площадке и, перед тем как отпереть дверь в новую квартиру, громко прочел особенное заклинание:

— Чур меня, Авдея, пьяного добра молодца! Оборони, Создатель, от дубовой скалки, от лыжной палки, от вострого ножика, от черствого коржика. Позабудь, где был, не забудь, с кем пил. В чистом поле выпивать, а домой ночевать! Дай мне мягкую подушку, а утром — рассола кадушку!

Затем мать Валентины и, соответственно, свекровь Авдея вынула из-под шубейки пушистого сибирского кота, он побегал по комнатам и пописал на один из косяков. Авдей сказал, что именно в этом месте им следует поставить супружескую кровать. Это место волшебное, и тут спать просто замечательно.

Были, конечно, тосты и подарки на новоселье, писатели в основном дарили свои авторские книги, которые никак не продавались в мага-

знах, обкомовцы и другие начальники дарили денежки в конвертах, дескать, это будущий чайный сервиз, а это будущая радиола. Были и затейливые и простые тосты с пожеланием счастливого житья молодоженам в новой квартире.

Пьяный Крокусов вышел на балкон седьмого этажа продышаться, а кто-то закрыл балконную дверь на шпингалет. Крокусов замерз, стал стучать, а гости под баян ревели известную сибирскую песню «По диким степям Забайкалья». Громыхаловский брат потом захотел поблевать с семиэтажной высоты, открыл балконную дверь и нашел Крокусова почти бездыханным. Хотели вызвать «скорую помощь», но Авдей сказал:

— На хрена?

Он облил салфетку водкой и принялся растирать ею Крокусова. Потом дал принять Крокусову полстакана водки и намазал его обмороженные уши и пальцы медвежьим салом.

Новоселье закончилось успешно. А я на своем чердаке все поджидал обещанную мне Семеновым квартиру. Авдей в обкоме бывал в месяц раза три, не меньше. Вызывали его на различные совещания и заседания. И я его просил: мол, напомни Семенову обо мне. И он, вроде, напоминал. Но квартиру мне все не давали. И тогда я догадался: дадут к Первому мая! К праздникам дают. Авдею к Новому году дали, а мне будет квартира к Первомаю.

В связи с тем, что обещанная Семеном Семеновым квартира по-прежнему оставалась лишь моей светлой мечтой, мне казалось, что время остановилось, все часы наших писателей стоят, да это и понятно: обращаются писатели с часами неумело, а на ремонт у них денег нет. Но что удивительно — часы-бочонок у главного почтамта тоже встали. На них теперь всегда было шесть часов вечера, тогда как известно, что все свидания назначаются на семь. Влюбленные возле почтамта перестали встречаться. Сколько любовных драм не состоялось, сколько сердец остались не разбитыми.

Я понял так, что жизнь вообще остановилась. Но это была иллюзия. Новая жена Валя родила Авдею дочку, которую тоже нарекли Валей.

Жизнь приносила все новые сюрпризы. Однажды вечером жена Авдея пошла в соседний новый дом проводить библиотечную сотрудницу и не вернулась ни к ужину, ни позже. Она пришла лишь наутро с расцарапанным лицом и с кругами под глазами. Авдей немедленно дал ей плюху и добавил еще две. Для хрупкой женщины это слишком много. Тщетно кричала Валентина о том, что она ничуть не виновата. Авдей слушать не хотел.

А дело было в том, что Валентина загостилась у сотрудницы часов до десяти вечера, а когда спускалась с девятого этажа на лифте, кабинка застряла между пятым и четвертым этажами. Валентина стучала и кричала, но в это время по телевизору показывали «Семнадцать мгновений весны», на лестнице не было людей. И просидела бедная женщина в темной и глухой кабине лифта всю ночь. Чуть не задохнулась там, покорежила пальцы, пытаясь раздвинуть дверцы. Утром пришли ремонтники и освободили ее, но дома Валентину ждали новые испытания. Получалось так, что не все благополучно в датском королевстве, то бишь в Авдеевой семье. Но все же это была семья новоселов. Вот и Тина Даниловна приглашала меня на новоселье. А я только зря похвастался в разговоре с ней.

Однажды, когда я уже засыпал в своей каморке на чердаке, в дверь ко мне постучали. Я знал, что в здании дежурят вахтеры, если они кого-то ко мне пропустили — значит, это знакомый человек. Но кто мог прийти так поздно? Я удивился, увидев Тину Даниловну. Чего это она, замужняя женщина, на ночь глядя ко мне явилась?

— Ради Бога, побыстрее закройте дверь! — шепотом сказала Тина Даниловна, сама запирая дверь на задвижку. — Скорее просуньте швабру в дверную ручку! — попросила она.

— Зачем же?

— Чтобы он проникнуть сюда не смог!

— Кто — он?

— Иван Карамов!

— Его вахтеры не пустят. Даже если пустят, не станет же он срывать дверь с крючка.

— Вы его не знаете. Он везде пройдет. И, ради Бога, говорите шепотом. Вы его не знаете, он весь опутан проводами.

— Какими такими проводами?

Она вся дрожала, прижимаясь ко мне.

— Тонюсенькими проводочками, они у него проходят везде: под рубахой, под пиджаком. Ой, я так боюсь! Ой-ой-ой!

Я засомневался: а не свел ли этот Иван Тину Даниловну с ума? Раньше я таких странностей за ней не замечал.

— Да шут с ним, что опутан проводочками. Плевать! Я крикну вахтеров, и они его вместе с проводочками спустят с крыльца. У нас два вахтера, и оба старики здоровенные, бывшие футболисты, они ему пенделей в зад навешают.

— Ой-ой! Вы не знаете, может, он уже ваши слова записал.

— Как это записал?

— А у него к проводочкам микрофончики приделаны.

— Ну записал, и что?

— А то. Это страшный человек. Он, знаете, как себе двухкомнатную квартиру получил? Ходил к Балабе на прием через день и говорил: я писатель, я начальник, а ты мне двухкомнатную квартиру не даешь? А у самого из водопроводных кранов молоко и пиво течет? Да я в Кремль бумагу накатаю, я мастер рассказа, вот и расскажу про твои дела. Балаба не вытерпел и обматерил его, как хотел, длинно и фигурно. А Карамов преспокойно так попрощался, дескать, мы еще встретимся... Он пришел домой, размножил пленку и один экземпляр Балабиной ругани отправил ему самому. И написал: если тот ему не даст, что Иван у него просил, то завтра пленка будет в партийной комиссии, а послезавтра в самом Кремле!.. Ну, Балаба и выделил Карамову квартиру. Вот, а вы говорите. Да он, Карамов, что захочет, то и сделает, он говорит, что может стать малюсеньким, в унитаз в своем туалете нырнуть, а в Балабином туалете вынырнуть, и при этом вернется его нормальный рост. Он может и в туалете секретаря обкома вынырнуть.

— Экая смешная телепортация — через унитаз. Такое только Карамов и может выдумать. А какой Карамов начальник, чем командует?

— Он на автобазе в кабинете возле ворот сидит. Кого хочет — впускает, кого хочет — выпускает. Ни одна машина не выедет со двора, пока Карамов не нажмет в своем кабинете кнопку, и ни одна машина не заедет без его разрешения. Вот такой начальник.

— Ну, это вахтер.

— Да нет же. Диспетчер или как-то там еще, я точно не знаю, но начальник. Он столько моих слов записал. Я теперь навек в его руках, ведь он может меня в университете скомпрометировать. Я же преподаватель, у меня должен быть облик.

Она все еще говорила шепотом, то и дело оглядываясь на дверь. Да, крепко нажал на ее психику писатель Карамов! В моей комнатухе помещались только узкая кровать и колченогий табурет. Предложить Тине Даниловне присесть рядом со мной на кровать? Как бы не приняла это за ухаживание. Женщина нервная. Оставил ее сидеть на неудобном табурете, предложил почитать стихи. Она согласилась.

Читал я вполголоса. В доме была тишина, вахтеры, видимо, спали. Что ж, декламация — дело полезное, стихи лучше запомнятся, меньше буду ошибаться на выступлениях. Так мы скоротали ночь.

Когда утром я провожал Тину Даниловну, то заметил, что вахтеры весело переглянулись. Зря, мужики. Это совсем не то, что вы подумали.

13. ТЕХНИЧЕСКИЙ ГЛАЗ

Клейкие листочки трепыхались на ветру обновления. Главный корпус, дверь напротив туалета, комната № 201. Может, место занятий было определено некоей мистикой? Не знаю. Но весной и мой кружок тоже обновлялся, пополнялся.

Юра Феофанов, считавший себя выше наших занятий в кружке, в тот майский вечер тоже явился на заседание, да не один, с ним был крепкого сложения парень с зеленоватыми глазами, смотревшими настороженно и, кажется, надменно.

— Гениальный поэт Андрей Дресвянин! — представил парня Юра.
— Может быть, он согласится почитать свои стихи.

— Я лучше других послушаю, — сказал Дресвянин.

Я видел, что он немного стесняется, но старается скрыть это.

Пришел на занятия и Рафис. Этому я был особенно рад. Вот уж поучу его рифмам!

А Рафис подал мне листки, испещренные мелким каллиграфическим почерком. Это были совсем неплохие стихи, и почти все рифмы были на месте, не верилось даже, что стихи написал начинающий.

— Чьи это стихи?

— Как чьи? Мои!

— А почему так долго не приходил?

Он вздохнул:

— Можно, я потом объясню?

Тина Даниловна, увидев прозаика Ивана Карамова, съежилась, побледнела, глядела на меня, как бы ища поддержки. Светлана Киянкина пихнула Карамова мосластым коленом и сказала:

— Отодвинься! Табачищем прет, дышать нечем.

Карамов не счел нужным вступать в перепалку с Киянкиной и немного от нее отодвинулся, при этом лицо его оставалось бесстрастным, он всем своим видом показывал, что Киянкину в упор не видит и ни во что не ставит. Конечно же, был на занятии Вася Важенкин, уже освоившийся здесь вполне, почти переставший вращать глазами и щелкать пальцами.

Занятие у нас началось и шло как обычно. В шесть вечера редактор многотиражки Люда Ашукина передала мне ключ от кабинета редакции, взяв с меня слово, что я ровно в восемь закончу занятие и не забуду

передать ключ вахтерам. В очередной раз она предупредила меня, чтобы никто не пользовался редакционной машинкой, чтобы кружковцы не трогали редакционные журналы, фотографии и бумаги на столах.

Едва она ушла, Вася Важенкин уселся за машинку и принялся печатать на редакционной бумаге свое новое стихотворение.

— Василий! Ты слышал, что Ашукина сказала? Лишит она нас помещения, где собираться будем?

— А че машинке сделается? Она и так у них сломанная, две клавиши западают...

Пришлось мне подойти и выдернуть листок из машинки. Затем я попросил Киянкину положить на место фотографии институтских спортсменов.

— Че попало! — сказала она. — Девки почти голые, а они хотят их в газету помещать, фу, срамники!

— Это спортивная форма.

— Ну да, как же...

И тут, как обычно, дверь в редакцию приотворилась, и в ней возник глаз.

Я уж стал привыкать к тому, что во время занятий дверь чуть приоткрывается, и в щелку смотрит чей-то глаз. Порой в щели вместо глаза видно было ухо, но чаще все же там был глаз.

Я говорил:

— Заходите, пожалуйста!

Дверь моментально прикрывалась. Выгляну в коридор — пусто!

Я думал: может, это глаз Гения Философовича Кулебякина? Или даже самого ректора? Решил: будем считать, что это технический глаз. Техническое око! Глаз этот и представить не мог, какие в двести первой комнате пылают страсти, какие проливаются слезы, иногда и не фигуральные! Гнев, надежда, отчаянье, восторг! Можно ли их проверить, оценить, вставить в отчетность?

Не обращая более внимания на соглядатая, я начал заседание. Почитал свои любимые стихи Дмитрия Кедрина, Ярослава Смелякова, кое-что из Павла Васильева и Бориса Корнилова. Оказалось, что мои питомцы больше знакомы с Пастернаком, Ахматовой. Юра Феофанов ставил их во главу колонны, вслед за ними, по мнению Юры, шагал Андрей Дресвянин, а на полшага от него двигался к читателю и сам Юра.

Я попросил Дресвянина прочесть что-нибудь свое, он вновь отказался.

В это время в дверь постучали, и вошел крепкий детина неопределенного возраста, с рыжеватыми кудрями, одетый в простенький спортивный костюм и обутый в кеды.

— Скажите, кто имеет допуск в ваш кружок? — осведомился он.

— Любой талантливый человек! — ответил я.

— А если я не из этого вуза?

— Таланты не растут, как опята — на одном пеньке сотнями. Костяк у нас состоит из писсуаровцев, — сказал я, — но чем больше будет в кружке талантов, тем лучше. Таланту нужна среда.

Я так ответил на всякий случай, вообще-то писсуаровцев у нас пока что было всего трое, вместе с добавившимся сегодня Гордых. И эти имевшиеся в наличии писсуаровцы пока себя никак не проявили. Может, они приходили в кружок просто из любопытства?

— А как производится регистрация членов кружка? Нужно платить взносы? И сколько?

— Взносов нет. Работу кружка оплачивает начальство ПИССУАРа. А что вы хотели?

— Я бы хотел, чтобы вы дали оценку моим стихам.

— А вы из какого вуза?

— Учусь в университете на биолого-почвенном. Зовут меня Виктором Деминым.

Я обрадовался: кружок расширяется.

— Хорошо, давайте ваши стихи, мы их обсудим.

Он передал мне тетрадку и присел на свободный стул рядом с Карамовым.

Я развернул тетрадку и стал читать:

Когда вещают нам генсеки:

На оборонные дела —

Вы поскребите все сусеки,

Все, что природа вам дала.

А нам бы надо благородно

И жить зажиточно при том,

И чтобы бомбой водородной

Нам не взорвали родный дом...

Я дочитал стихи и решил сразу задать нужный тон обсуждению. Я сказал:

— Во-первых — не очень грамотно, во-вторых — политически неверно.

— Чего же неверно? Напрягаемся в гонке ядерных вооружений. Очередь за колбасой, ширпотреб мало, все денежки — на оружие. А не

лучше ли открыть железную занавеску, подружиться? Из Америки хлынут дешевые продукты. А то мы в этой гонке с голода передохнем.

Мне не хотелось втягиваться в дискуссию с этим рыжим в кабинете, где, возможно, в телефоны встроены «жучки», но пришлось.

— Ну, по тебе Виктор не видно, что ты сильно изголодался. И не думай, что тетя Америка поспешит накормить тебя дешевой колбасой. Тетя Америка вовсе не такая уж добрая. Ведь это она ковравыми бомбардировками сравнивала с землей исторический Дрезден, не имевший военных объектов, сожгла атомным огнем в Хиросиме и Нагасаки многие тысячи женщин, детей и стариков. Не было никакой военной необходимости для такой бомбардировки. Это была заявка на мировое господство. Америка испытала бактериологическое оружие в Корее. Жгла напалмом вьетнамцев. А ты разинул рот на дармовую еду. И что же ты пишешь в другом стихотворении?

Говорят, в стране у нас свобода,

Мы поем за печкой, как сверчки.

И поем все тише год от года,

Потому что мучимся с тоски.

— Во-первых, нет такого слова — мучимся, это у тебя так, для размера, во-вторых, чего же это мы мучаемся?

— Как чего? Цензура, писатели все продажные.

— Цензура у нас имеет место. Но цензура и в Америке есть.

— Там — нету! — сказал упрямый Витя.

— Такой, как у нас, нет, верно, зато там есть цензура денежно-го мешка. И еще неизвестно, что хуже. Наша цензура не помешала Твардовскому написать гениальную поэму про русского солдата, не помешала Симонову завораживать население страны проникновенной и мужественной лирикой, не помешала она Кедрину создать поэму «Приданное», живопись словом, горькое раздумье о жизни, смех сквозь слезы... А Алексей Толстой? Во всех детских театрах дети каждый год с восторгом скандируют: «Бу-ра-ти-но!» И будут кричать до скончания веков! А еще граф написал бессмертного «Петра Первого», «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлиту», великолепную трилогию «Хождение по мукам». Алексей Толстой в условиях цензуры создал шедевры во всех литературных жанрах!

Мы поговорили еще по другим стихам. Потом слово попросил Иван Карамов и прочел рассказ о коварной женщине Анне, которая хотела прописаться у честного холостяка Антона. Она имела планы отравить его путем добавления ядов в суп и компот. Анна была био-

лого-почвенником и потому знала разные травы, собирала их, сушила. Уже не раз Антон ощущал странный привкус в салатах, в борщах, в кашах. У Антона участился стул, а кал стал красноватым и синеватым. Бдительный Антон обнаружил у Анны в мешочке вех ядовитый, после чего удалил Анну из дома.

— Вот какие бывают женщины! Мужчины, будьте бдительны!

Так пафосно Иван Карамов закончил читать свой рассказ, при этом исподлобья взглянул на Тину Даниловну.

В конце заседания я сказал Виктору Демину, чтобы он мне оставил свою тетрадку. Я ее почитаю, сделаю пометки возле неудачных строк, ему легче будет дорабатывать стихи.

— Не оставлю! — сказал Виктор и выдернул тетрадь у меня из руки.

Я подумал: понаписал всего и сам боится. И объявил заседание закрытым. Мы вышли на воздух. Вася Важенкин сказал:

— Друзья мои! Пойдемте в университетскую рощу, теперь там так красиво!

На фоне темно-зеленых елей и пихт бело-розовое цветение черемухи и сирени волновало до слез. Мы стояли на старинном, оштукатуренном под камень железобетонном мостике. Каменные чаши на перилах — в виде дамских шляп «серебряного века». К воде Еланки склонялись завезенные из Канады серебристые тополя. С этого мостика во время свиданий студенты бросали в речку монетки на счастье.

Как-то незаметно мы остались вчетвером: Тина Даниловна, Вася Важенкин, Светлана Киянкина и я.

— Ну, что Иван Карамов исчез — неудивительно, — сказал я, — но куда делись Феофанов, Дресвянин и Гордых?

— Козлы! — сказала Светлана Киянкина. — Природу не ценят.

— А почему же ваш коллега из биолого-почвенного не пошел гулять в рощу? — обратился я к Тине Даниловне.

— Он не коллега, — ответила Тина Даниловна.

— У нас на факультете такого нет, — подтвердил Вася.

— Может, заочник? — предположил я.

— Исключено, — сказала Тина Даниловна, — я всех наших заочников знаю. Зачем он соврал?

Я вдруг понял, что это был человек с улицы Кирова, дом 18. То-то он так поспешно выдернул из руки тетрадку. Он ведь взял ее из какого-то дела, и ему надо вернуть ее обратно. Конечно! Кружок начинающих писателей! Как же не проверить его на предмет крамолы? Понятно.

При Хрущеве была оттепель. Он хоть чудил, но разрешил молодежные литературные объединения. До него ведь было как: больше трех не собираться! Когда Никиту турнули с поста, пришел Леонид Ильич. При нем особых изменений вроде не произошло, но с годами стали понемножку закручивать резьбу. И Сталин стал промелькивать на экране. Состарившийся, густобровый Леня привычно жевал свою челюсть, пытаясь произнести какое-то мудреное слово. Многочисленные комментаторы потом донесут смысл, до кого надо и как надо. Главное, шевелить губами и моргать глазами... Интеллигентов тошнило. Поэтому такие ведомства, как на улице Кирова, дом 18, стали настойчиво приглядывать за гнилой интеллигенцией.

— Задумались, Петр Сергеевич? — услышал я голос Тины Даниловны. — В такую славную пору одинокие люди невольно задумываются.

Я не понял, что она этим хотела сказать, но кивнул.

14. ТЕЧЕТ ЛИ ПИВО ИЗ КРАНА?

Это было в начале июня. Я пришел в писорг и увидел там веселую компанию. Пили коньяк и вино. На столе благородно поблескивали кучи копченого омуля, куски копченного дикого кабана и целый жареный поросенок с голубыми цветочками во рту. За столом были Авдей и Викентий Громыхаловы, Фома Феденякин, Паша Крокусов, художник Сергей Мешалкин, Азалия Львовна, писатели-деревенщики — Лука Балдонин и Дмитрий Дербышев, Иван Осотов. Два незнакомых мне журналиста успевали не только пить и глотать омульков вместе со шкурой, но и одновременно брали интервью для газеты. Один задавал вопросы Громыхалову и Крокусову, а другой фотографировал их обоих, то влезая на стул, то сядя на пол — искал нестандартный ракурс.

— Да! — говорил Громыхалов. — Самый молодой наш автор и самый способный. Отразил социалистическое становление деревни от и до. Конечно, писательской организации пришлось с ним много работать, о-очень много! А как же? Помогли напечатать отрывок из его романа «Отцы и деды» в Пимском «Юном ленинце», отослали это эпохальное произведение в столичный журнал.

Фома Феденякин перебил Громыхалова:

— Ты забыл сказать о роли партийной организации, а она ведь играет решающую роль в работе с молодыми!

— Играет! — согласился Авдей.

Фотожурналист на всякий случай заснял Фому.

Громыхалов продолжал:

— Вы можете понять мою заботу о молодых на таком факте: сам я не имею квартиры, ючусь на даче, а для молодого автора квартиру выбил! Это уже самоотверженность!

Мне, как опоздавшему, налили полстакана коньяка, Авдей сказал:

— Пей! Не отлынивай! Раздели радость товарища!

Я разделил. Меня словно поленом по голове стукнули. Зачем Авдей лжет журналистам? Как же он без квартиры, если мы в Новый год у него новоселье справили? Квартиру Крокусову? Он еще не член союза. Я — член. Был первый на очереди. Сам Семенов обещал!

Азалия Львовна, видя мое помраченное состояние, налила еще полстакана коньяка, сказав:

— Раздели радость!

Я разделил. И сам разделился на две половины. Одна кричала: «Как же так? Почему Крокусов?» Другая возражала: «Ты сам недавно читал статью психолога. Там ясно написано: завидуешь другому или радуешься его промахам — ты неудачник. Человек с правильной психикой не завидует, он ищет путей к успеху, работает, стремится оказаться в нужный момент в нужном месте». Первая половина возопила: «Крокусов работает? Он глуп, как пуп!»

Из транса меня вывел Авдей, громогласно объявивший:

— Автобус подан! Выходите, братцы, расслаивайтесь!

Мы вышли во двор, стали садиться в автобус. Сам Авдей с Крокусовым и Феденякиным сел в черную «Волгу». Через десять минут мы были в новой квартире Крокусова. Там мебели пока что мало: кровать, стол, стулья. Зато там нас ждали телевизионщики с телекамерами и какие-то люди в дорогих костюмах.

Телевизионщики стали снимать. Один дорожокостюмщик, высокий, угрюмый, густым басом сказал:

— Генеральный секретарь цека кепеесес товарищ Леонид Ильич Брежнев указывал, что коммунистическая партия делает все, чтобы расцветали молодые таланты. В этом разрезе от имени обкома и горисполкома я вручаю ордер молодому таланту Крикусову!

Он пожал Крокусову руку, И тотчас другие дорожокостюмщики стали вручать Крокусову конвертики, говоря:

— Это будущий сервант!

— Это будущая стиральная машина!

— Холодильник!

Затем дали сказать Крокусову. Он возопил:

— Спасибо родной коммунистической партии! Я ей кровь отдам по капле! Спасибо товарищу Балабе, вручившему мне ордер! Клянусь, что не посрамлю...

«Балабе? Балабе?» — засветилось у меня в голове. Я протолкнулся к высокому, тронул его за рукав и неожиданно для себя спросил:

— Это правда, что у тебя из одного крана течет вода, из другого — пиво, а из третьего — молоко? Скажи, правда?

Высокий поднял брови, побагровел и гаркнул:

— Убрать!.. Алкоголик! Псих! Лечить!..

Так прямо с крокусовского новоселья я попал в старейшую психлечебницу Сибири.

В сосновом бору разместились корпуса лечебницы, построенные задолго до Октябрьской революции и выполненные в готическом стиле. Чуть поодаль были видны дома персонала. Они тоже были оригинальные, такие рыцарские замки, только построенные не из камня, а из дерева, которого в Сибири завалились. Интересно, что фасад больницы украшает лепнина в виде перекрещенных серпа и молота с надписью «Добро пожаловать!»

Лечился я, к счастью, в нервном отделении, хотя мог бы попасть и в буйное. В нервном — народ был приличный. Со мной в палате лежали еще двое: начальник водной инспекции, бывший моряк Георгий Адамович Пташкин, и начальник горПимскторга Виталий Прокопьевич Горкин. Они легли лечиться добровольно. У Пташкина была редкая болезнь — боязнь пространства, Горкин лег лечить стресс: в его торге обнаружилась большая недостача.

Пташкин, видя мое угнетенное состояние, сказал:

— Не трусь, здесь вообще-то очень прилично. Ты заметил, что мужские палаты расположены напротив женских? Вот! А ведь могли бы баб разместить в отдельном корпусе. Нам дают с противоположным полом пообщаться, чтобы не скучали, быстрее поправлялись.

Я сказал, что не трушу. И тут меня пригласили к психиатру. Это была здоровенная бабища, она смотрела на меня, как удав на кролика. Я слышал, что она гипнотизирует больных, и мне было не по себе.

— Тэ-экс! — сказала она. — Петр Сергеевич Мамичев?

Придвинула к себе тетрадку с надписью «История болезни» и принялась задавать глупые вопросы. Спрашивала: был ли я лидером в детстве, люблю ли я цветы, какого цвета обои подобрал бы для своей квартиры?

Она запутала меня совсем. Потом передала молоденьким практиканткам, те дали мне тетрадь и карандаш. Меня просили графически изобразить счастье, угрозу, тревогу. Я не умею рисовать, выводил какие-то каракули, они смотрели, перешептывались, чему-то радовались, говорили мне одобрительно:

— Ну, вы молодец, молодец!

Я, конечно, понимал, что они себя считают умными, а меня совершеннейшим дураком. Хотя на самом деле, по моему глубочайшему убеждению, все было совсем наоборот.

В обед меня посадили за один столик с двумя женщинами. Обе были примерно моего возраста, не красавицы, но и не дурнушки. Одна из них сказала:

— Зачем так мрачно? Мы хоть пациенты психлечебницы, но не кусаемся. В вашем стихотворении написано: *«И эта яма может стать горой, ее лишь нужно вывернуть наружу»*. Ну так и не злитесь на весь мир, выворачивайте яму!

Я вздрогнул. Изумительно! Кто-то знает мои стихи, цитирует. Вот уж не ожидал встретить любителей моей поэзии в таком заведении. Я так и сказал этой женщине. Она меня несколько охладила:

— Сильно-то не радуйтесь. Я познакомилась с вашими стихами, исполняя свой служебный долг, так же как со стихами и рассказами прочих членов Пимской писательской организации. Вы ведь — член?

Я ответил, что, безусловно, член.

— А чего тогда вы так разнервничались, что на психу угодили?

— Я вообще нервный. А кто вы такая, что стихи по должности читаете? И как вы сами на психу попали?

Она оглянулась, наклонилась к моему уху и прошептала:

— До недавней поры я была цензором газеты «Алое пламя», остальное расскажу, когда мы пойдем на прогулку после «сонного часа». Ладно? А имя мое — Софья Сеславина. А подруга моя — Лора, преподаватель-филолог.

Я был польщен таким соседством. Суп на психе был вкусным, котлеты тоже. Жить здесь, оказывается, можно.

Перед сончасом я сходил в процедурный кабинет, и медсестра уколола меня иглой шприца в попу. Мне сразу захотелось спать. Да, жить было можно.

Проснувшись, я поспешил в старый дендрарий. Реликтовые сосны, извилистые тропинки вели к серебрившейся среди бора речке Алеутке.

Софья и Лора уже прогуливались у реки. Мы прошли в самую гущу деревьев, и Софья мне рассказала свою историю.

Сеславина, кроме того что была цензором, была еще внучкой писателя и журналиста, редактировавшего до революции в Пимске либеральную газету. В первые годы советской власти сей редактор был расстрелян за то, что в те далекие героические годы не приветствовал наступление в городе власти большевиков. Но об этом мало кто теперь знал. Сеславина была членом КПСС (или «членкой», как она себя называла), иначе бы не могла занимать высокую должность. Она честно вымарывала из всех газет все, что партия и народ запрещали публиковать. На ее столе лежали увесистые фолианты, в которых было по пунктам расписано все, о чем запрещено упоминать.

Были всякие казусы. Например, ей приходилось с особым тщанием следить за тем, чтобы слово Бог писалось только с маленькой буквы. Работала она нередко до поздней ночи. И однажды, то ли в полудреме, то ли по рассеянности, подписала в печать областную газету, в которой в одной статье было напечатано: «Девять членов ЦК КПСС принимали участие в расправах над китайским народом». Вообще-то участвовали в расправах члены ЦК КПК, но наборщица привыкла к тому, что если ЦК, то, естественно, КПСС. Она так и набрала. А Сеславина машинально это пропустила. Конечно, она сразу поняла, что после такой ошибки органы могут вспомнить о ее родстве с писателем-антисоветчиком. Сама подала заявление об увольнении и поехала в психлечебницу. Известно, что психиатры любого человека считают душевнобольным, а уж если он сам обратился на психу — то и подавно.

Мы долго бродили по парку. Я видел, что Сеславина и ее подруга филологиня несколько иронически относятся ко всем Пимским писателям. Лора даже сказала:

— Ну какие могут быть писатели в провинции?

И все-таки это были люди, с которыми можно было поговорить о литературе, о стихах...

Первой меня навестила, конечно же, Тина Даниловна. Она принесла испеченные ею пирожки с ливером и говорила:

— Знаю, знаю! Это все Иван Карамов устроил. Он на последнем заседании записал вас потайным микрофоном, когда вы антисоветские стихи читали. Ну, про генсеков там, про то, что колбасы мало, а бомб много.

— Но я же не свои стихи читал, а этого агента, или черт знает чьи. Карамов тут совершенно не при чем, не при чем и заседание. Просто я переутомился.

— Ну да, как бы не так! Карамов. У нас все его возненавидели, а вас жалеют и желают скорейшего выздоровления.

Из писателей ко мне пришел только Иван Осотов. Он пирожков не принес, зато рассказал многое такое, чего я не знал. Оказывается, Авдей Данилович Громыхалов вновь претендует на получение квартиры. Прежней он лишился оригинальным образом. Приехала поступать в университет дальняя родственница Громыхалова — Зинаида. Ей семнадцать лет и она красавица. Не поступила, решила год пропустить, потом повторить попытку. Устроилась на работу машинисткой, стала жить у Громыхаловых. И однажды библиотekarша Валентина, возвратясь из женской консультации, куда носила недавно родившуюся дочку, застала Авдея в постели с прекрасной Зинаидой. Последовал развод, и Громыхалов с новой, уже третьей по счету, супругой переместился обратно на дачу. Валентина с дочкой осталась в его квартире. Зинаида уже была беременна, ей еще не исполнилось восемнадцати, но брак зарегистрировали именно по причине беременности. Теперь уже Зинаиде предстояло спать на полатах под потолком до получения супругом квартиры.

— Такой ужасающий разврат в нашей писательской организации! — закончил свое повествование Иван Осотов.

— Ну какой же разврат, если зарегистрирован брак?

— Ты это брось! Что же, сто раз регистрироваться? Сирот плодить?

— Писатель плодовитый, вот и плодит.

— За такие плоды его надо из партии гнать и из руководства. Как может нами руководить аморальный человек? Какой из него писатель? Чему он людей научит?.. И ты тоже хорош: Балабу, государственного человека, грязно оскорбил.

— Я его не оскорблял.

— Как же не оскорблял? Я сам слышал. Глупые антисоветские слухи поддерживаешь!

— Да я не поддерживаю. Просто пьяный был, неловко пошутил.

— Ну вот, пьяный, а тебя еще хотели избрать заместителем секретаря парторганизации. Да, ты тот еще гусь... Ну, ладно, все-таки побыстрее поправляйся, возвращайся в строй. Я тебе помогу избавиться от дурных влияний.

Он ушел. Я долго думал о его сообщении. Ну что же, в статье психолога было написано, что завидовать никому не надо, а надо самому действовать.

15. ПОКУПКА СТИРМАШИНЫ

Два месяца на психе прошли благополучно, даже комфортно. Я полюбил спать в специальном шлеме на процедуре «электросон», мне нравилась кормежка: к празднику пекли даже сдобные булочки.

Но однажды в ночь на воскресенье начальник водной инспекции и начальник горторга напились и устроили дебош. В больнице была только молоденькая дежурная. Когда она прибежала на женские крики, то увидела в коридоре совершенно голых мужиков, рвущихся в женскую палату.

Утром в разбойном нудизме обвинили и меня, хотя я в нем не участвовал. Тщетно я оправдывался, выписали нас всех троих, с сообщением о нашем гадком поведении по месту работы. Главврач не знал, что я работаю в ПИССУАРе, и «телегу» направил в писательскую организацию. Я был рад. Ну, получит Авдей бумагу, посмеется вместе со мной, а из ПИССУАРа меня могли бы уволить.

Конечно, когда мы вышли из ворот лечебницы и направились к автобусной остановке, я высказал свое недовольство Георгию Адамовичу Пташкину и Виталию Прокопьевичу Горкину. Они ночью бегали по коридору пьяные, ломились в женские палаты, я в это время мирно спал, но наказан вместе с ними. За что?

— Судьба! — сказал Георгий Адамович. — Но я тебе компенсирую ущерб. Пойдем ко мне, у меня в ванне живая стерлядь плавает.

— Как это? Тебя столько времени дома не было, откуда же стерлядь в ванне взялась?

— Сама приплыла, она же понимает, что это ванна начальника водной инспекции.

А Виталий Прокопьевич пообещал мне зимой продать дефицитную ондатровую шапку. Я его поблагодарил, а сам подумал: зачем мне ондатровая? Еще стукнут ночью по башке гирькой и шапку снимут, я лучше в своей цигейковой ходить буду.

К Георгию Адамовичу я зашел и увидел чудо. У него в ванне, полной воды, метались живые стерляди. Моряк со знанием дела сварил уху. Мы поели. Я выпросил у него десять стерлядей. Две потом отдал Азалии Львовне, две Авдею, две Феденякину, по две подарил Тине Даниловне и Светлане Киянкиной. Я раздавал стерлядей не потому, что получил их почти бесплатно. Плата, конечно, была — эта самая

«телега», посланная в писорг главврачом больницы. Пока что я не знал цены этой платы. Стерлядь же раздал по той простой причине, что у меня не было домашнего очага, на котором я мог бы эту благородную рыбу сварить или зажарить.

На другой день Светлана Киянкина позвонила мне по телефону, пригласила зайти вечером к ней в гости, есть уху из подаренной мною стерляди, и продиктовала адрес. Я не знал из каких соображений она меня пригласила. Может, она одинокая и хочет закрутить любовь? Но она совсем не в моем вкусе. Может быть и так, что у нее есть муж и куча детей, и ей просто хочется подмазаться к руководителю кружка, чтобы он побольше поместил ее стихотворений в намечающуюся подборку.

Построенный на обширном и пустынном плоскогорье новый микрорайон Баштак состоял из пятиэтажных и девятиэтажных безликих зданий. Конечно, надо было побыстрее переселять людей из подвалов и бараков, повод для спешки был. Но, говорят, побывавший в Пимске Косыгин, увидев новостройку, произнес традиционное русское ругательство, сочетающееся со словом мать. Ему сказали об экономии средств. Он ответил: «Те же самые панели можно повернуть и так, и так, а тут даже попытки нет пошевелить извилиной!»

В безликом царстве нашел я улицу Интернационалистов. Называ-
н-и-це! Замучаешься таблички писать. Можно было назвать короче: Националистов, например, или — еще короче — Нацистов. А можно еще короче: Цистов! Это будет в самый раз: и букв мало, и никому не обидно, пусть себе думают, что это за цисты такие!

И вот нужный мне номер дома. Сейчас все узнаю про Киянкину: какая у нее семья, кто муж. Он — интернационалист или цист?.. На двери квартиры Киянкиной не было ни номера, ни кнопки звонка. Пришлось стучать кулаком, не ногой же стучать.

За дверью что-то загремело, похоже, кто-то пнул ведро. Послышались приглушенные ругательства. После долгой паузы дверь отворилась, и я увидел Светлану Киянкину. В коридоре на полу действительно лежало на боку пустое ведро.

— Во, блин! — сказала Светлана Киянкина вместо приветствия. — Я об него чуть ногу не сломала.

Я огляделся. Коридор был пуст, как пустыня Каракумы, не было даже обычной тумбочки для телефона, аппарат связи стоял на окрашенной олифой табуретке.

— У меня все просто, — сказала Киянкина. — Чего смеяться? Я хлам в квартиру не тащу, некогда мне, да и желания нет.

В комнате были: стул, стол, кровать. Над кроватью висела единственная фотокарточка без рамочки, попросту приклеенная к обоям. На фото был запечатлен голый младенец неизвестного пола.

— Внучка! — кивнула мимоходом Киянкина.

— Нянчиться часто приходится?

— Ага, понянчишься тут. Недостойной считают.

— Кто?

— Да дочь родная. У нее обида, что мать не принцесса. Стихи мои тоже дурью считает.

— А она кто?

— Да кто, тоже учительница. Только образованная не заушно, как я училась. Университет с красным дипломом закончила. Ну, в обиде: в неполной семье росла, у матери полудурочной. Теперь, чтобы внучку поддержать на руках, унижаться приходится. Денег требует. А я гордая. Ты — так? Ну и так. Пошли вы все подальше от меня. Родила, и живите!.. Счас уху будем есть. Видите, где живу? Ну вот. Я стих сочинила: *«Моя квартира — на крыше мира, бряцает лира, эх, майна-вира!»*

— Стих — это строка, по-гречески. Ты не стих сочинила, а стихи, то есть строки.

Киянкина вспыхнула, как костер, в который неразумный пионервожатый плеснул струю бензина.

— Ну да! Тупая, как обух топора. С суконным рылом — в калашный ряд. Сразу бы и сказали: мол, не хрен тебе в кружке нашем делать! А то заходите, приносите...

Она подошла к окну, распахнула форточку и долго стояла ко мне спиной. Я сказал:

— Что ты, Света, по литературным вопросам я многим кружковцам подсказываю. Просто у меня опыта больше. Чего ж тут обижаться?

— Знаю, со мной неинтересно. Да разве такому интеллипу, как вы, с такой тупицей может быть интересно?

— А ты вспомни Евтушенко: *«Людей не интересных в мире нет»*.

— Дерьмо на палочке этот Евтушенко! Все у него придумано, рифмует здорово, а души нет, не сердцем пишет.

Я еще раз подивился особенности моих слушателей: сами не напишут, но у известных поэтов недостатки определяют с удивительной точностью. Действительно, Евтушенко душевностью стихов похвастать не может, все нарочито сделанное какое-то.

— Ладно, лучше будем уху кушать! — сказала Светлана, водружая на стол кастрюлю. — Хлебушек у меня, правда, засох, но это ничего, черствятина для желудка полезна.

Я стал есть уху, стерлядь была безвкусной, как мыло. Киянкина сказала:

— Холодильник чертов. Не холодит. Мастер приходил, ставь, говорит, бутылку. Поставила. Он в холодильнике ковыряется и все про какой-то фреон твердит. Потом ко мне с объятиями полез, я его шваброй огрела. Похабники мужики, у них одно на уме. А холодильник так и не холодит. Рыбка подпортилась, я ее с уксусом помыла, потом вот уху сделала...

Поели. Киянкина стала читать свои новые стихи:

*Лавочки, скамеечки,
Бабушки, бабулечки,
Дождик, как из леечки,
Поливает улочки.*

Я опять не удержался от замечаний. Ментор чертов. Сказал ей, что слишком часто пользуется уменьшительными словами, сюсюканье получается.

Киянкина обычно смотрит на людей или с некоторым недоверием, или с некоторой иронией. Теперь в ее взгляде читалась уже явная ирония:

— Сюсюканье, да? — сказала она. — Это мое сюсюканье «Алое пламя» опубликовало, вот газета!

— Сама ты алое пламя. Мало ли что газета опубликовала. Я же не говорю, что твои стихи плохие, я тебя предостерегаю, чтобы в крайности не впадала.

Киянкина опять подышала через форточку, успокоилась. И неожиданно предложила:

— Купите у меня стиральную машинку «Малютку»? Она мне на хрен не нужна. Машина разве так выстирает, как я руками стираю? При такой стирке белье быстро изнашивается. А вам, как одиночке, машинка в самый раз будет. Вон, у вас и рубаха грязная. Да и глаза ваши черные не мешало бы промыть.

— У меня сейчас денег нет. Да и куда я ее на своем чердаке поставлю? Опять же, тащиться с ней через весь город не хочется.

— Деньги потом отдадите. Я за полцены отдаю и сама машинку вам до дома дотащу. Она не шибко тяжелая...

Киянкина тащила машину по городу легко, вышагивала, как лось. Мы толковали о стихах, о красотах нашего города. Несколько раз я пытался отнять у Светы машину, чтобы нести ее собственноручно. Но она не отдавала.

Когда поднимали машину на чердак, в коридоре появилась Азалия, посмотрела на нас задумчиво и произнесла:

— Так-так!

Киянкина, доставив мне машину, сразу стала прощаться. Я так и не понял, зачем она меня приглашала на уху. Неужто только для того, чтобы машину продать?

Но через день уже вся писательская организация поздравляла меня с женитьбой. Особенно заинтересовался эпизодом Осотов, он спрашивал:

— Вы брак зарегистрировали? Кем работает супруга?

С большим трудом удалось всех убедить, что я пока еще не женился. А где работает Киянкина, я и сам не знал, в нашем кружке она представилась как библиотекарь.

Прошел месяц. Я отдал Светлане деньги за машину. Вернувшись на чердак, решил испытать стиралку. Поместил в бак все свои грязные кальсоны и трусы, залил холодной водой, ибо греть было негде. Развел в воде стиральный порошок, плюнул в раствор на счастье. Машина начала гудеть, причем ее диск задевал за что-то и ритмично взвизгивал. Вскоре я различил в этих взвизгах песенку:

Вжики-вжики! У Балабы —

В кране пиво, в ванне крабы.

Вжики-вжики! У Авдея

Бродят бабы, молодея.

А я — старый холостяк —

Не найду жену никак!

Диск спел эту песенку раз десять, потом скрипнул и затих. Я выгрузил белье, но и без нагрузки диск не хотел вращаться. Я понял, почему продала мне машинку Света Киянкина. Но, конечно, я не мог предъявить ей никаких претензий. Претензию надо было предъявлять самому себе. Не мог понять, зачем тебя пригласили на уху из подаренной тобой же стерляди? Ну вот. Теперь понял.

16. ИСТЕРИЧЕСКИ-ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ

Сначала в моей чердачной каморке я передвигался почти свободно. В моей собственности были только семиструнная гитара и электрический чайник. Но со временем вещи стали возникать как бы из ничего, сами собой. Так у меня появились лыжи и коньки, аккорде-

он-четвертушка, фотоаппарат «ФЭД», фотоувеличитель, фотофонарь и кюветы. Книги я сперва складывал стопками на подоконнике и на столе, а потом уже на полу у стены. Вскоре я стал продираться сквозь вещи, как прорастают бразильцы сквозь заросли в сельве. А тут еще появилась поломанная стирмашина, которую и помещать было негде, и выбрасывать жалко. Все-таки техника!

Задумавшись о своем положении, я решил опять пробиваться на прием к секретарю обкома по идеологии Семену Семенову. Он же мой старый знакомец!

Семенов встретил меня не столь приветливо, как при первом визите. Встал из-за стола как бы нехотя, брови были насуплены. Может, работы было у него много, может, взбучку от Тягачева получил. Известно, что первый секретарь — человек крутой.

Как бы там ни было, Семенов все-таки пригласил меня присесть и сказал:

— Слушаю.

Я завел речь о квартире.

Семен Семенов удивился:

— Как? Этот вопрос был решен, вашему писоргу была выделена квартира из обкомовской очереди.

— Писоргу выделена, но я до сих пор без квартиры.

Он и так был похож на тучу, а при этих словах превратился в тучу грозовую:

— Детский сад! Им дали, а они ходят... Ладно, вы свободны. Буду на очередном вашем писательском собрании, там разберемся.

Я ушел от Семенова в плохом настроении. Получится, что я вроде бы на Авдея жаловался, хотя я просто хотел иметь квартиру. Вон — Лука Балдонин, только в Пимск приехал, живет один в трехкомнатной, в доме-башне, окна смотрят на живописное озеро и старообрядческую церквушку. А кто такой Лука? Деревенщик. Он и книгу свою назвал: «Дрова». Язык под деревню стилизует, хотя сам юрфак окончил. А я — лирический поэт, я молодых талантов выращиваю. И вообще, я старше Луки, страдал больше.

Еле дождался собрания. Все собрания писорга были партийными, иногда беспартийных просили подождать в предбаннике, пока коммунисты обсудят присланные сверху секретные партийные документы. На сей раз пригласили сразу всех писателей в кабинет Авдея, где уже сидел Семен Семенов со строгим непроницаемым лицом.

Писатели в этот день приоделись в костюмы поновее, все были

при галстуках, только Лука Балдонин пришел в широкой хламиде из дерюжного материала и в узких брюках-дудочках, именовавшихся джинсами. На шею Балдонин зачем-то повязал бабью косынку в мелкий горошек.

Многие писатели были при значках и медалях. Больше всего наград было у поэта-фронтовика Михаила Дербышева. Медаль за участие в войне с Японией была на груди Осотова, он был корреспондентом дивизионной газеты в Чите, даже отдаленно грохота пушек не слышал, это не мешало ему считать себя фронтовиком. На пиджаке Авдея сиял значок лауреата премии имени Николая Островского. Крокусов был украшен значком «Отличный эколог». Я прикрепил к своему дешевому пиджачку значок «Участник третьего областного совещания мелиораторов». Я приобрел его на толкучке за рубль и десять копеек. Надпись издали разобрать трудно, а значок солидный.

Собрание началось с доклада Семена Семенова. В уши случайно проникали отдельные слова:

— Развитой... как указывал Леонид Ильич... верные помощники партии...

Уши несколько прочистились, когда Семенов перешел к персоналиям. Были отмечены заслуги Авдея в поисках молодых талантов. Он их выявляет, он их направляет...

Я ерзал на стуле. Неужто про мой кружок ничего не скажет?.. Он не сказал.

Семенов закончил свой доклад, и собравшиеся перешли к прениям. Все шло обычно. Руководитель организации доложил о достижениях, парторг — о вкладе коммунистов.

Дали слово Осотову, и он заявил:

— Обращаю внимание обкома на антипартийное поведение Громыхалова и Феденякина. При молчании запуганных членов писорга под личиной коммунистов скрываются пьяницы и развратники. Громыхалов сменил уже третью жену, в последний раз он растлил малолетку и прикрыл свой грех браком.

Авдей побагровел и воскликнул:

— Умолкни, бездарность! Ты не издал за последние десять лет ни одной новой строчки, перепечатаешь перепечатанное! А я свой живот не ем! Я натуральный писатель. А ты клеветник. Вот бумага, копию которой мне дали в КГБ, ты написал в органы, что я антисоветчик! Ты даже непьющего Мамичева в этой бумаге изобразил пьяницей...

— Хорош непьющий! До белой горячки допился. На психе лечили! — вскричал Осотов, тыча в меня пальцем. — Мамичев из-за тебя и

запил! Ты ему квартиру не дал, все женишься и для новых жен новые квартиры получаешь. Мамичев — жертва твоего произвола! А в КГБ я не писал, в бумаге моей подписи нет, и ты ничего не докажешь.

— Подписи нет, анонимка, но стиль твой и почерк твой. Можно графологическую экспертизу сделать. Что до Мамичева, то у него прекрасная квартира в самом озелененном месте города, с видом на горсад. Мамичев холостяк. А я квартиру выделил молодому, скажу, не боясь этого слова, талантливому писателю Крокусову, который только что женился, а его жена ждет ребенка.

— Ты — бандит. Все знают, что ты лесничего перекинул через забор, грозился вообще убить. И дочку его соблазнил.

— Лесничий этот — кулак недорезанный, самогонщик, вор. Он у меня стройматериал разворовал. А дочке я лишь указал на его кондовую куркульскую сущность. Как писатель, я должен был вмешаться. Пояснил ей, что в доме этого мерзавца понапрасну увядает ее молодость. Это — готовый сюжет. Погоди, я еще роман напишу.

— Если тебя прежде не уведут под конвоем.

Лука Балдонин вполголоса сказал:

— Пауки в банке!

Феденякин, поглаживая бородку, резюмировал:

— Такие вот типы, как Осотов, способствовали террору, осужденному двадцатым съездом партии. Думается, у нас есть основания на следующем собрании поставить вопрос об исключении из организации Осотова, как склочника и бюзотера.

Семенов встал:

— К сожалению, товарищи, у обкома есть серьезные основания полагать, что партийно-воспитательная работа у вас находится в загоне. У меня срочные дела, я должен идти, но мы к этому вопросу вернемся.

Я сидел возле самой двери, и, остановившись возле меня, Семенов нагнулся к моему уху и свистящим шепотом спросил:

— Оказывается, у вас есть шикарная квартира. Как могли вы морочить мне голову?

Я выскочил за ним в коридор.

— Минуточку, Семен Семенович, я покажу вам свою шикарную квартиру. Нет-нет, это займет не больше минуты, квартира тут же, в этом доме.

Я поднялся по узенькой лесенке, оглядываясь, идет ли за мной Семенов. Он шел, сердито набычась. Наверху я распахнул дверцу моей каморки.

— Вот она, шикарная!

Семенов поглядел ошарашено:

— Разве об этом говорил Громыхалов? У вас нет другой квартиры?

— Нет! Можете проверить.

— Хорошо, проверим.

Понизив голос, он добавил:

— Это ваша ошибка, что вы лечились в психиатрической больнице. Это повлияет на всю вашу карьеру.

— Так я же просто нервы лечил.

— Нервы надо было лечить у невропатолога. Это ваша стратегическая ошибка. Нервы даже у невропатолога не надо лечить, если не хотите портить себе биографию. Нервы можно лечить самому — трезвым образом жизни, физзарядкой, холодным душем. Но это — между нами.

Он простучал ботинками вниз по лестнке и исчез.

17. СЛАВА — ЯРКАЯ ЗАПЛАТА?

Сеславину я увидел вечером на главном почтамте, у окошечка, где обычно получал письма и бандероли. Она меня не сразу заметила, была занята рассматриванием только что выпущенных почтовым ведомством коллекционных марок. Я поздоровался. Она оторвалась от своего занятия.

— Гора с горой не сходится...

— Да, действительно. А вы, видимо, марки собираете?

— Коллекционирую.

— Я тоже этим увлекаюсь, только марок у меня пока маловато, долго жил в селах, переезды, то, се...

— А обменные есть?

— А то как же!

Сеславина купила несколько марок с изображением полетов советских космонавтов. Достала записную книжечку, черкнула свой адрес и телефон, подала мне:

— Завтра выходной, приходите ко мне, марками меняться будем, чайку попьем. Только позвоните сначала, я вас возле дома встречу, чтобы в поисках квартиры не блуждали.

Она ушла. Я проверил почту, купил несколько космических марок,

пошел в раздумье. Киянкина меня тоже приглашала, и что вышло? А идти к Сеславиной придется. Это все же работник редакции! С цензоров ее сняли, но на работе оставили.

На следующий день я ей позвонил. Услышал подтверждение приглашения. Взял засаленный, с порвавшимися корками альбом. Шел, размышлял. То ли взять чего к чаю, то ли не брать? Решил, что лучше ничего не брать. Мне ее вкусы и пристрастия не известны, возьмешь, да не то.

Сеславина жила не очень далеко от нашего писорга, в так называемом «профессорском квартале». Встретила меня в сквере у своего дома. Предупредила:

— Не обращайтесь внимания, если отец ругаться будет. Он не любит, когда ко мне мужчины приходят.

Я шел за ней, представляя, как сейчас будет ругаться ее отец.

Просторная прихожая, высокие потолки. Мы прошли в комнату Сеславиной, из соседней комнаты выглянул грузный пожилой мужчина, но не заругался. Я поглядел на Сеслаvinу вопросительно.

— Ну да, отец, — подтвердила она. — Пока воздержался. Но еще может сорваться... Располагайтесь, посмотрите книжные шкафы, а я пойду чай поставлю.

Да! Библиотека у Сеславиной была замечательная. Здесь были редкие книги. И антика, и современность. Были старинные фолианты с живописными иллюстрациями, дореволюционные энциклопедии и словари. И книжные шкафы и кресла были старинной работы. С окантованных фотографий на стенах смотрели дамы в огромных шляпах, украшенных матерчатыми цветами, мужчины в так называемых котелках. На гвозде висела старинная гитара с алым бантом.

С кухни послышался раздраженный бас:

— Софья, опять?

— Ну чего ты нервничаешь, давление себе поднимаешь? Это писатель, поэт, мы с ним на психе вместе лежали, — отвечал голос Сеславиной.

— Вот именно: на психе! Не квартира, а бедлам!

Сеславина отворила дверь ногой, в руках у нее был цветастый поднос, на котором разместились маленький самоварчик, заварной чайник, баночки с вареньями, хлеб, масло, пастила.

— Сейчас чай будем пить.

Я отхлебнул из чашки. Чай был замечательный, индийский.

— Абрикосовое варенье попробуйте, — посоветовала Сеславина.

Я попробовал, мысленно стараясь объять ситуацию. Да, отец очень любит дочку, все мужчины ему кажутся недостойными, даже теперь, когда она уже фрукт не первой свежести, практически не подлежащий сбыту. А Софа Сеславина, конечно, и сама по молодости была слишком разборчива. Девочка из профессорской семьи черт знает в каком поколении. Учась в университете, она, конечно, писала изысканные стихи, но не печатала их, не смела.

А я и прочие местные писатели в ее представлении — графоманы, публикующиеся лишь за счет пробивной силы, не стесняющиеся всякий хлам выставлять на свет божий. Она знает о литературе большего любого из наших писателей, у нее утонченный вкус. В ней живут книги замечательных поэтов многих веков. По ее мнению, безнравственно называть себя Пимским поэтом. Какие могут быть в Пимске писатели? Истинные поэты все помещены в тома энциклопедий. И ничего там ни добавить, ни убавить.

С детства слыша умные речи родни и многочисленных гостей, впитывая краски дорогих полотен и звуки замечательных произведений в исполнении опытных музыкантов, она стала эстеткой до мозга костей. И в мечтах ей грезился не только высокий, красивый, стройный, но и обязательно умный и талантливый. Но такие качества редко соединяются в одном человеке. Красивые, стройные не обделены вниманием женщин. А если у вас чего-то много, то оно обесценивается. Те, на кого обращала в юности внимание Сеславина, равнодушно прошли мимо нее. А тут еще неразумный папочка с его эгоистической любовью. Неужто не понимает он, что сам себя лишил потомства? Ему бы покаяться, приветствовать запоздалых женихов, но он упрямо стоит на своем.

Мы попили чаю. Меня заинтересовал маленький столик возле одного из окон. К столу тисками был прикреплен миниатюрный токарный станок. На нем были разложены миниатюрные никелированные бокорезы, плоскогубцы, отвертки. Сеславина проследила за моим взглядом, сказала:

— В свободное время старинные часы реставрирую.

Потом мы поговорили о марках, я отдал десять своих японских марок за несколько африканских. Наговорил гору комплиментов по поводу прекрасной библиотеки, великолепного варенья и вообще прекрасного вкуса Сеславиной, который ощущается во всем. Поразился ее способностям в точной механике.

Она пошла меня провожать. Совершенно неожиданно предложила:

— Приносите мне в редакцию побольше новых стихов, попробую опубликовать вашу подборку...

Я был в восторге. И решил в свою очередь проводить Сеславину до дома. Но она сказала:

— Не надо, он наверняка с балкона смотрит, психовать будет...

Я верил и не верил в свое счастье. Но день настал, и подборка из семи моих стихотворений появилась в областной газете «Алое пламя».

Я с волнением перечитывал подборку. Мои стихи в газете смотрелись совсем по-другому, нежели в рукописи. Солидно! Достоинно! Тираж «Алого пламени» двести тысяч экземпляров, подборка не останется незамеченной.

В этом же номере я представил стихи молодого поэта Рафиса Габдрахманова, написав к ним маленькое предисловие. Упомянул, что сей молодой человек даже расписывается необычно.

На другой день пошли звонки-отклики. Первой позвонила, естественно, Тина Даниловна. Она захлебывалась от восторга:

— Я так и знала! Ваше имя останется в истории на века! И так здорово про кондуктора трамвая написали! И про реку Тамь потрясающе! Я уж плакала, плакала и смеялась! Вам надо при жизни поставить памятник!.. А как хорошо вы представили стихи этого загадочного Рафиса! Как хорошо! Боже ты мой!.. — в таком духе она говорила, пока совсем не охрипла.

Я был доволен. Народ меня слышал. Люди потрясены. А что, в самом деле? Хорошо бы — при жизни! Но Тина Даниловна разве может быть объективной? Она слишком восторженный человек.

И еще я сомневался: вдруг этот Рафис свои стихи списал у какого-нибудь другого поэта, такие случаи в моей газетной практике бывали. Если так, то вход в эту газету мне будет навеки закрыт.

После звонка Тины Даниловны в телефонной трубке возник голос Светланы Киянкиной:

— Ну что, напечатала вас эта дамочка?

— Какая дамочка?

— Такая самая, с которой вы на улице ворковали, как голубочек. Я вас видела, когда вы прогуливались до писорга и обратно. Я ж эту Софку знаю! Она в «Алом пламени» работает. Я у нее в кабинете была. Она мне толкует: дескать, мы газета не литературная, чего вы свои стихи к нам все время прете, у нас все папки ими забиты, у нас на полосе места нет! Теперь понимаю: для кого-то нет, а для кого-то есть... И Рафиса этого тиснула. Вот сволота интеллипупская!

— Кто — сволота?

— Да кто? Софка, конечно! Я когда-нибудь в шары ей плюну и пошлю куда подальше! И чем она лучше меня?

В трубке что-то звякнуло, и голос Светланы Киянкиной исчез.

Я задумался. Чего это Киянкина спрашивает, чем Софья лучше нее? Она лучше уже тем, что не продает стиральные машины. И вообще, Киянкина говорила мне, что все мужики козлы, и она их в упор не видит. Так откуда ревность? Или это не ревность, а дурость? Скорее всего, так. Обиделась, что в «Алом пламени» опубликовано только одно ее стихотворение, а моих — целых семь!..

Позвонили мне в этот день все члены моего литобъединения, кроме Ивана Карамова. Он почему-то не позвонил.

А последний звонок был от незнакомки. Голос молодой, звонкий, я бы сказал: лучистый. Девушка говорила:

— Я очень извиняюсь, как-то неловко вам звонить, мы не знакомы. Но я не могла удержаться. Узнала ваш телефон в редакции и вот звоню. Ваши стихи такие необыкновенные, такие проникновенные. У меня слов нет, чтобы передать. Мне очень хотелось бы побеседовать с вами, если это возможно. В удобное для вас время. Вы могли бы прийти к нам в гости? Запишите, пожалуйста, адрес, назовите дату, время.

Я был ошеломлен. Вот это успех! Приглашают в гости. Хотят лицезреть автора. Голос красивый, и сама, наверное, недурна. Только, может быть, слишком молодая... Да ведь если звонит — значит, ей надо?.. Я стал думать, какую дату назвать. Если сказать, что приду сегодня же, скажет: вот, обрадовался. Несolidно. Я решил назначить randevу через неделю.

Она сказала:

— Очень хорошо. Буду ждать с нетерпением. Я вообще-то по образованию математик, но с тех пор, как поступила в университет, всегда грезила поэзией. У нас в университете выступал тогда поэт, я не помню теперь его фамилию. Стихи у того поэта были неплохие, я как сейчас помню его в тысяча девятьсот тридцать восьмом году. Но ваши стихи в сто раз лучше!

Сердце у меня упало. Сколько же ей лет, дуре? Девяносто? Или все сто?

Да, я читал где-то о том, что с годами у человека меняется все: лицо, фигура, осанка, походка, неизменным остается только голос. Я читал об этом, но забыл, теперь вот вспомнил.

Больше звонков не было. Но вечером, когда я подумывал о сне, в дверь постучали. Я отворил. На пороге стоял невысокий, скорее, даже

маленький человек, но с выпуклой грудью, мощными руками. Голова его была украшена лысиной, чувствовалась уверенность в себе. Он говорил неожиданным для такого малыша густым громким голосом.

— Ну и церберы у тебя! Вахтеры! Отпад!.. Меня, Пастуха, не пускать? Не в такие места проходили. Я им говорю: мол, друг детства. А они: поздно, то, се. Не знают Толю Пастухова!.. Забыл? Я с твоей двоюродной сеструхой Светкой за одной партой сидел. Вспомни улицу Красного Огнетушителя, дом тридцать девять. Вспомнил? Дядю Котю вспомни, как он во двор выходил без майки, бицепсы, трицепсы казал. Брал руки в замок, титьками шевелил. Вспомнил? Нет?

Незнакомец вдруг снял пиджак, сорвал с себя рубаху, майку, завел руки за голову, сцепил их пальцами на затылке. У малыша стала шевелиться то одна, то другая титька.

— Вот видишь? — вскричал восторженно малыш. — Подпрыгивают! У дяди Коти перенял. И еще много чего перенял. Через эту дуду я опосля в спортфак пошел. Правда, сперва в армии отслужил. Были там люди, Пастуха гнобили, но Пастух в люди вышел! Ну? Ты меня вспомнил?

Он стал одеваться. Я смутно вспомнил маленького пацана. В детстве раз пришел я с родителями в гости к брату отца, дяде Коте, на эту самую улицу Красного Огнетушителя. Вышел в ограду, там меня начал дразнить мальчик меньше меня ростом. Хотел его отвалтузить, а другие пацаны отговорили, дескать, он хоть маленький, но на турнике упражняется.

Толя Пастухов достал из внутреннего кармана пиджака плоскую фляжку, покрутил головой:

— Стаканы у тебя где?

— Нет. И зачем? Я вообще не пью, тем более, на ночь глядя.

— Мамич! Ты мульку не гони! Столько лет не виделись, и не выпить? Да ведь это не водка, а чистейший самогон, сам делаю, никакой химии. Для желудка польза. Ну, давай чисто символически — по стакану примем? Я счас у вахтеров стаканы выпрошу, у них-то наверняка есть, чай же пьют.

— Ради бога, не беспокой вахтеров, они и так заявляют, что я незаконно здесь живу, и требуют, чтобы после восьми вечера никто ко мне не приходил.

— Ну, Мамич, ты даешь, ей-богу! Писатель каких-то вахтеришек боится. Я бы на твоём месте их всех раком поставил. Ну, ладно, будем из горла. На, первый пей!

Он протянул мне фляжку. Я ее не взял. Пастухов стал пить сам. Потом спрятал фляжку в карман, задумался и сказал:

— Давай, я тебе свою поэму прочитаю?

— Только если она не слишком длинная.

— Не слишком. Слушай!

Он встал в позу Ленина на броневику.

На Пастухова катят стервы

Своих неправд за валом вал.

Для олимпийского резерва

Спортсменов я тренировал...

Далее в поэме рассказывалось, как Пастухов из Калинина, где работал в школе олимпийского резерва, решил возвратиться в родной Пимск. И что же? На родине он, прославленный мастер спорта, получил лишь должность директора детско-юношеской школы. А месяц назад его, опытного тренера, освободили даже от этой должности. Теперь он ругал в стихах председателя областного спорткомитета и тренерский совет. Стихи были корявые, многословные, длинные, называться поэмой они могли только по огромному количеству строк.

— Слушай, помоги поэму в «Алом пламени» тиснуть!

— Не возьмут. Это мало похоже на поэму. Ты бы лучше свои претензии в статье или заметке изложил.

— Не! Твои ж стихи напечатали. А мои разве хуже? Картины сплошь:

Я нынче видел в это лето,

Когда пора идти домой,

Дергач, комспорт, из туалета

Шел в раскоряку, боже мой!

— Разве это картина? Невнятица. Какой-то Дергач, в раскоряку... Боже мой — только для рифмы поставлено.

— Ничего не для рифмы. Я ребятам читал, лопались от смеха. Дергачев — это председатель комитета. Помоги тиснуть.

— Да не могу я помочь. У тебя не стихи, а черт знает что. Не возьмут. Ты приходи ко мне в литературный кружок, почитай, там тебе мнение выскажут, ты поймешь. Стихи — это не заметка в стенгазету. Походишь в мой кружок, будешь к слову относиться иначе. Чувство ритма у тебя есть, поучишься у нас, потренируешься, глядишь, стоящее что-то напишешь.

Он выпил еще, бережно спрятал фляжку в карман, сказал:

— Кому там на лапу дать, чтобы напечатали?

— Да не напечатают все равно, нельзя в газете такое печатать.

Он махнул рукой:

— Я к тебе, как к другу детства. Твой дядя Котя человек был, а ты... Не напечатают? Еще как напечатают, смотря сколько дать. Если много дать — тут же тиснут, — он сморщился, как от зубной боли: — Эх!

Пастух ушел, сильно хлопнув дверью каморки.

18. ПРАЗДНИКИ ВАЖЕНКИНА

С той поры, как мне удалось напечатать в газете «Режимщик» подборку произведений моих кружковцев, стали к нам приходить новые люди. Думаю, не случайно зачастили на занятия гордые Дресвянин и Феофанов. Они понимали, что шанс опубликоваться в многотиражке был ими упущен зря.

Однажды пришел на занятие даже один следователь прокуратуры по особо важным делам. Это был крепкий молодой мужчина. Представился:

— Юрий Заводилов.

Я его сначала немного побаивался. Может, опять проверка? Но скоро стало ясно, что он искренне увлечен стихами.

На одно из заседаний пришел и Толя Пастухов. Он опоздал. Просунул в дверь голову и сказал:

— Мамич, выйди!

Я подошел к двери.

— Заходи. Стихи принес?

— Принес! — сказал он, обдав меня струей спиртного запаха.

— Вот, возьми, а заходить не буду, вы там мою поэму обсуждайте, а я тут постою.

— Да какой же толк в обсуждении, если ты за дверью будешь стоять? И зачем ты пришел под газом?

— Ни в одном глазу! Это позавчера день рождения одного кента отмечали.

— Ладно, заходи, сядь в сторонке, на людей не дыши.

Толя прошел, присел к краю стола, положил на него голову, закрыл ее руками:

— Вы обсуждайте, я на вас смотреть не буду, я слушать буду левым ухом, правое не работает.

— Лысый, а детский сад строит! — возмутилась Светлана Ки-

янкина. — Пришел в общество, так уважай. Ты должен читать, мы — слушать, потом обсуждать.

Толя встал, взял у меня рукопись, вытянулся в струнку, стал читать громко, но слишком быстро. Слова у него насакивали одно на другое, иногда было трудно разобрать фразы.

Прочел. Началось обсуждение. Первой выступала Тина Даниловна.

— Удивительно! Впервые слышу поэму в стихах о спорте. И какое глубокое проникновение! Какие краски! И лирика есть, и нелегкий труд спортсмена, и сатирическая струйка проглядывается. Мне очень, очень понравилось.

Иван Карамов сказал:

— Понятно: его пнули, он бочку на начальника катит.

Вася Важенкин вступился за Пастухова:

— А что, в самом деле, Тина Даниловна права, стихи о спорте, это же редкое, уникальное явление. У нас уже есть стихи следовательно, и вот появились стихи спортсмена. Друзья мои, будем терпимее, внимательнее. Конечно, кое-что надо доработать, но в общем и целом — недурственно, очень даже недурственно!

Вася Важенкин теперь был студентом, изжил свою былую худобу, глаза у него теперь не крутились в разные стороны. Вообще, на наших обсуждениях он хвалил всех обсуждавшихся; если делал замечания, то незначительные, очень доброжелательные. Слова «друзья мои» он использовал в качестве междометия.

В конце заседания Вася Важенкин объявил, что в жизни очень мало праздников. И теперь он предлагает отмечать вступление в кружок каждого нового члена.

— Друзья мои! Мы будем голосовать и принимать. Чтобы было празднично! И в регламент мы уложимся. Кто за прием в кружок Пастухова, прошу голосовать!

«За» проголосовали все, кроме Ивана Карамова.

Надо сказать, Вася очень любил праздновать. По его инициативе мы уже отпраздновали его вступление в студенты, десятилетний юбилей поимки им первой бабочки для коллекции насекомых, его первый в жизни поход к стоматологу, публикацию подборки в «Режимщике» и многое другое. В принципе, работе кружка это не мешало, ибо свои празднества Вася начинал по окончании заседания, и после первых тостов переносил их либо в соседнюю рощу, либо в мастерскую к знакомому художнику.

Каждый праздник Вася Важенкин начинал с того, что лез в большую холщовую сумку и доставал оттуда бутылку с яркой наклейкой, украшенной нерусской надписью. Что там было написано — никто не знал. И всякий раз, откупорив эту бутылку, понюхав ее содержимое, Вася морщился и говорил:

— Друзья мои! Хотел вас угостить, но холодильник у нас не освещается, не ту бутылку взял. Это мама развела в кипяченой воде клубничное варенье. Напиток такой она делает, а я имел в виду другое.

Конечно находился кто-нибудь, кто предлагал обеспечить праздник более крепким напитком. Затевали складчину. Вася лихорадочно шарил в карманах, но ничего не находил. Как же будет сегодня?

Вася Важенкин вытащил на сей раз две бутылки: одну уже знакомую, и какую-то другую. Он погрустнел:

— Вот не везет, взял вишневую наливку, пробка отомкнулась, вся наливка вытекла, испачкала мне сумку. А этот ягодный компот остался цел... Вот беда-то!

— Важенчик! — воскликнул Толя Пастухов — Нет проблем!

На свет появилась уже знакомая мне плоская фляжка с самогонном.

— Во! — сказал Толя. — Бальзам! Всякую козу с ног сшибает!

Тина Даниловна извлекла из своей хозяйственной сумки большой кусок колбасы и белый батон. Я сказал, что негоже превращать кружок в распивочную. Вася Важенкин приложил руку к сердцу:

— Милые мои! Пятнадцать минут до конца занятий, по плоточку за дружбу.

В редакции было всего три стакана, из них пили по очереди. Фляжка Пастухова быстро опустела.

— Мамич! — сказал он. — Я сбегаю, гастроном еще открыт.

— Нельзя!

Вася Важенкин пошарил у себя в карманах, он сопел и вздыхал.

— В кармане дырка! — вдруг воскликнул он. — Было рубля два мелочью, все в дырку провалилось. Вот растяпа, двадцать копеек только осталось, скинемся, кто может, добавим Пастухову.

Вася взял со стеллажа фотографическую кювету, положил в нее свои двадцать копеек. В нее клали: кто рубль, а кто и пять. Теперь я уже не мог запретить выпивку. Люди проголосовали за нее рублем.

— Иван Карамов взнос не сделал! — воскликнул вдруг Вася. — Где же он? Ведь никто из помещения не выходил?

Все стали оглядываться. Побледневшая Тина Даниловна сказала:

— Он сквозь стену прошел.

— Этого не может быть, — строго сказал я. — Чудес не бывает.

— Сама видела! — воскликнула Тина Даниловна. — Прижался к стене и исчез.

— Ну и хрен с ним! — подала голос Киянкина. — Нам больше достанется.

Очень скоро Пастухов появился в редакции, как бы неожиданно растолстевший. Он стал доставать из разреза рубахи бутылки, батоны и кольца ливерной колбасы.

— Мамич! — громко приговаривал он при этом. — Я всю страну объехал на десять раз. Спортсменам дают талоны на питание. Питались, но обмыть святое братство никогда не забывали. Это закон!

— Спортсменам, наверное, пить нельзя, — усомнился я, — иначе какие же это будут спортсмены?

— Жрут! Еще как! Чемпионы лопают! И побеждают на спартакиадах, олимпиадах! Ты плохо спорт знаешь! — закричал Пастухов. — Ты, Мамич, бюрократ пузатый.

Я подумал, что, видимо, зря пригласил Толю Пастухова в кружок. Ничему он тут не научится, только моих кружковцев будет спаивать. И говорит слишком громко, у меня от этого голова болит.

— Ты, Толя, говори потише, мы тут не глухие, все слышим.

— Вы-то слышите, а я нет! — прокричал он. — Я же пять лет назад на соревновании калганом об пол треснулся. Как? Очень просто. Я же акробат-сальтоморталист. Ну вот, кручу я тройное сальто, а где мне приземляться, хмырь стоит.

— Какой хмырь?

— Ну, я его имя теперь не называю. Друзьями были. А тут Машку не поделили одну. Ну, я сальто делаю, он страхует и одновременно мне позицию обозначает, куда приземляться. Ну, этот гад взял, в сторону сдвинулся. Я не ожидал и приземлился на калган.

— И что?

— Сотрясение. Позвонки сломал. С тех пор на тренерской работе. У меня, считай, позвоночника нет. Врачиха удивлялась: как вы ходите? А как? У меня же мышцы, как корсет! Ну... потом мне штырь в позвонки вставили. А ухо одно не восстановилось. Да чего говорить, лучше выпьем!..

Пастухов в продолжение всей пирушки не давал никому слова вставить, чем больше он напивался, тем громче говорил. В дверь заглянул вахтер, сказал:

— Непорядок! В восемь вы должны были закрыть помещение, уже девять.

— Иди! — грубо отфутболил его Толя Пастухов. — Тут писатели заседают!

Вахтер ушел. Я знал, что завтра он подаст докладную проректору и, возможно, я лишусь должности. Но уговорить Толю не было никакой возможности.

— Мамич! — кричал он. — Я же столько повидал! всю жизнь на гастролях: то сам по соревнованиям сальто крутил, то учеников возил. Побывали на севере и на юге. Питался по талонам, случались деньги — шел в ресторан. А из всех городов больше понравилась Рига. Знаешь, народ такой солидный, тихий. Прихожу в Риге в ресторан. Официанты все, как один, мужики и все с проборами, и волосы блестят. Европа! Никакого хамства, как у нас. Ну, принял дозу, глазами по сторонам лупаю. Подсаживается одна: голова прямо из ног растет циркуль! Я ей едва до пояса, промеж циркуля, не сгибаясь, пройти смог бы. Такие в Риге девки высокие. Но красавицы все до одной... Так. Предлагаю коньяк. Пьет. По-русски она слабо чирикает, однако щебечет: «Натолли, Натолли!» Так. Провожая. Возникают в каком-то тупичке три амбала. Двое со спины заходят, а один — спереди и большим таким кулаком размахивается: «Ты с мой супруга ходил! Я тебя бить!» А она все щебечет: «Натолли, Натолли!» Я у нее промеж ног прошмыгнул и сразу сальто через забор скрутил. Нате-ка, выкусите! Я ж сальтоморталист! А куртка моя кожаная у них осталась. Хороший этот город Рига!.. А вот еще мы ездили раз на юга...

— Все! Все! — закричал я, стараясь заглушить Толин бас. — Заседание окончено!

— Люди! — воскликнул Вася Важенкин. — Вы такие все замечательные!

Я разнервничался.

— Из-за вас меня из ПИССУАРа уволят. Вы меня подвели. Молчи, Пастух! Знал бы, ни за какие шиши тебя в кружок не записал бы!

Тина Даниловна вздыхала. Светлана Киянкина почему-то плакала. Юрий Заводилов сказал:

— Я, как работник прокуратуры, могу вашему начальству засвидетельствовать, что на сегодняшнем заседании все вели себя достойно.

— Не бзди, Мамич! — кричал Толя. — Мы за тебя в огонь и в воду!

В конце заседания появился Рафис. На улице он пошел рядом со мной.

— Петр Сергеевич, огромное спасибо вам за публикацию в газете! Я купил много газет, теперь на электричке еду в Айжурку, надо раздать газеты моим учителям, знакомым, родственникам. Петр Сергеевич, поедem со мной! Мои родители будут так рады вас видеть! Правда, едем! Хотя подышите свежим воздухом. Развеетесь! Переночуете у нас, с моими предками познакомитесь. А утром рванем обратно в Пимск!

В электричке я спросил:

— У тебя синяки и ссадины под глазами. Подрался?

— Что вы! Это танцы в мединституте.

— А что, там толкаются?

— Да нет. Свет вырубился, я вскрыл щиток, стал в темноте провода соединять. Шарахнуло, аж искры из глаз. И теперь в голове такое просветление чувствую!

— А зачем к щитку лез? Ты электрик?

— Я не электрик. Там, на танцах, Равиля была.

— Знакомая?

— И даже больше...

За окном мелькали ели, пихты, кедры. Пролетали редкие полустанки. Наконец впереди показались терриконы, поезд стал тормозить. Айжурка была типичным шахтерским городком. Она состояла из поселков, отстоявших друг от друга иногда километров на десять и больше. Мы вышли из вагона. Воздух был спертым, словно мы влезли в топку огромной печи. Рафис воскликнул:

— А вон Мария Васильевна идет! Преподаватель литературы. Мария Васильевна! Я школе хочу пару газет подарить! С моими стихами! А со мной писатель Пимский, самый настоящий, он там кружок ведет.

Пожилая женщина с кошелкой взяла газеты, развернула страницу, прочла стихи Рафиса. Заулыбалась:

— Я всегда в Рафиса верила, у него такое природное чувство слова! Спасибо вам, товарищ писатель!

Женщина пошла в одну сторону, мы в другую. Я спросил:

— Твои родители кто?

— Мать асфальтировщица дорог, всю жизнь с лопатой, безграмотная. Отец шахтер, выпивает сильно и даже расписываться не умеет.

Мы пришли в дом на самом краю поселка. Родители Рафиса встретили нас приветливо. Мать захлопотала у плиты, отец курил, расспрашивал сына о жите-бытье в Пимске. Что там почем стоит.

После ужина стали укладываться спать. Мне постелили на огромной деревянной кровати. Я обратил внимание на то, что все окна открыты настежь.

— Свежий воздух! — пояснил Рафис.

В окна несло копотью. Из соседнего болота налетели огромные черные комары. Прямо мутанты угольные! Кусались, как звери. Габдрамановы все давно уже мирно спали...

19. КУЛТУР-МУЛТУР

Меня, как писателя, пригласили выступить в университете культуры. По легкому морозцу прошел я к зданию бывшего дворянского и купеческого собрания, в котором еще многое сохранилось от давней дореволюционной роскоши.

На второй этаж ведет широченный, устланный коврами марш. Вы поднимаетесь по нему в праздничной толпе и видите перед собой стену, состоящую сплошь из зеркала, множащего фонтанные струи. Тут, на лестничной площадке, вы можете передохнуть, полюбоваться на себя, поправить костюм и прическу.

На лестничной площадке я подумал о том, что когда-то в гигантское зеркало-стену смотрелись чиновники, дворяне и купцы. Тут поправляли свои прически хорошенькие юные дворяночки и купеческие дочки, одетые по последней французской моде и благоухающие духами. Они трепетали от предвкушения бальных удовольствий, первых близких встреч с противоположным полом. Они были так нежны и так милы. А теперь от них даже и праха не осталось, так как мы не сохраняем могил своих умерших. Ничего не осталось и от могучих когда-то и великих почетных граждан Пимска, руководивших городом и губернией, построивших тут многие дворцы, в том числе и это здание. Ах, мы не китайцы, у которых культ предков священен!

Полюбовавшись танцевальной залой и повздыхав о своей молодости, я прошел в зрительный зал, пробрался поближе к сцене.

У стены стояла группа студентов восточного типа, они разглядывали сидевших в зале студенток, среди которых было много хорошеньких, и один из них восхищенно сказал другому:

— А-ай, какой култур-мултур!

Где-то должен быть обкомовский куратор, который и представит меня публике. В первом ряду с краю сидел Юра Феофанов. Он встал, пожал мне руку. Я с гордостью сообщил ему, что буду сегодня здесь выступать. Юра показал мне в первом ряду двух длинноносых чернокудрых парней, принял к моему уху, зашептал:

— Это философы Бакрановский и Саградовский. Пимская философская школа. О них даже «Голос Америки» сообщал. Оба пишут стихи, издали самиздатовскую книгу. Они будут вам задавать каверзные вопросы. Берегитесь!

— Какая может быть в Пимске философская школа? К тому же, они еще пацаны.

— Не скажите! Они Маркса критикуют. Всякое выдаваемое за непреложную истину учение — ложно. Вот! А что молоды, так ведь и Маркс начал философствовать в студенческом возрасте...

Мне некогда было дискутировать. Внутренне я готовился к выступлению. Огромный зал, в котором находятся студенты всех Пимских вузов. Тут надо выступать убедительно. Но где же куратор? Юра занял свое место в первом ряду. Я видел, что к Бакрановскому и Саградовскому то и дело подбегают хорошенькие девицы с блокнотиками в руках и просят дать автограф. «Вот, сволочи! — думалось мне. — Тут пишешь не графоманские, добрые стихи, ума палата, а никто не просит автографа. А если кто затеет скандал, так сразу аплодисменты, фанфары, девицы».

Невесть откуда вывернулся куратор, плотный, лысоватый обкомовский инструктор. Я обрадовался:

— Уже семь часов, пора начинать выступление.

— Да-да! Сейчас должен подойти Павел Степанович Крокусов, он, как самый известный Пимский писатель, и откроет выступление.

Очевидно, на моем лице куратор прочел некоторое неудовольствие, потому что сказал:

— Вы, конечно, тоже известный, но у Павла Степановича роман издан в столичном издательстве «Красная гвардия» тиражом в четыреста тысяч. Была хорошая критика в центральных газетах, творчество товарища Крокусова высоко ценит Кузьма Фомич Тягачев.

О! Я знал, как обхаживал редакторов «Красной гвардии» Паша Крокусов. Он подарил их соболями, вяленным омулем, старинными иконами, добытыми его отцом в старообрядческих прибайкальских скитах. Впрочем, иконы Крокусов не сам придумал, он перенял опыт у Авдея, который добывал иконы у старообрядцев и с помощью этой святой силы отворял двери столичных издательств. У московских редакторов вошло в моду украшать жилища старинными иконами. Говорят, один из редакторов журнала, живущий на тридцатом этаже высотного дома, приказал одну из комнат оформить в виде бревенчатой курной избы. Кому какое дело?

Зал уже устал ждать, начал потихоньку гудеть, когда появился Крокусов, и мы прошли на сцену. На Крокусове был твидовый пиджак, модные брюки-дудочки, лаковые штиблеты. Чуб его был завит и напомажен.

Инструктор поведал публике о достижениях замечательного писателя-деревенщика, о глубине, трагизме и одновременно оптимизме его произведений. Затем выступил сам Паша, он долго и нудно говорил о том, как он отразил эпоху в персонажах мымыньки, папыньки, дедоньки, бабаньки.

Из отведенных нам для выступления двух часов Паша занял час и пятьдесят пять минут, оставив мне всего пять минуток. Совестьливый инструктор сказал, что добавит мне минут восемь. Я отказался, так как видел и слышал: зал храпит, сморкается, кашляет, ржет, хихикает, бубнит.

Во втором ряду сидела с блокнотиком Сеславина и что-то быстро черкала карандашом. Теперь она узнала, какую ступеньку занимаю я в таблице писательских рангов. Сидели в зале и многие члены моего литературного кружка, некоторые другие знакомые. Моему авторитету сейчас был нанесен непоправимый ущерб.

Я встал и сказал, что прочту всего одно стихотворение. И форсировал голос:

— Из Пимска?.. Да что-то такое:

*Слыхали. Там климат сырой,
И нет от медведей покоя,
По улицам бродят порой...
— Ага, — говорю, — на проспекты
И то забредают они,
Сожрут у студента конспекты,
Попробуй зачеты столкни.
А то заплутают в метели,
Когда месяцами пуржит,
Проснешься, — а рядом в постели
Медведица важно лежит.
Певцы и поэты — без слуха:
Ступил им на ухо медведь.
В Дом быта пойдешь, там услуга
Медвежья. И в пору реветь.
Я стану там скоро горбатым;
Топтыгины, немудрено.*

*А вот бы гулял я Арбатом,
Издав бы трехтомник давно!
А так — ни уменья, ни слога,
Оброс я и шерстью, и мхом.
Вот, правда, досталась берлога
В районе совсем неплохом.*

Зал очнулся и одарил меня овациями. Все здесь были патриотами Пимска, даже те, которые родились в других городах. Так я немножко отомстил Крокусову, ему-то почти не хлопали. И все же я был расстроен, что Крокусов выступал первым, что его, а не меня любит Кузьма Фомич.

Я вышел на морозную улицу в глубокой задумчивости. Меня окликнула Тина Даниловна:

— Петр Сергеевич! Великолепно! Но почему же так мало? Другой-то писатель очень много говорил.

— Я сегодня не в голосе, — сообщил я Тине Даниловне.

Кто-то взял меня под руку, я обернулся, передо мной опять возник Юрий Феофанов.

— Морозец, не хотите ли доброго грузинского винца выпить?

Вообще-то мне хотелось не просто выпить, а надраться до чертиков, но надо же соблюдать приличия:

— Не имею особого желания. Да и где? В подворотне? Ко мне теперь вахтеры никого не пустят, к вам идти поздно и неудобно.

— Я знаю место.

Юра увлек меня за собой. Куда мы шли? В центре города свернули вдруг в сторону Татарской слободы. Кучи угля, снег, тишина, тьма египетская. Только в глубине одного двора сиротливо и тускло светило окошко.

Юра подвел меня к странному строению, напоминавшему недостроенный самолетный ангар. Условный стук. И вдруг — тепло, субтропики, белые и алые цветы, молодые лица. Девушки. Мужчины, некоторые в трико, иные в рабочих комбинезонах.

Один, театрально преклонив колена, преподнес юной девице огромный букет белых лилий:

*Бессилен тут и Игорь Северянин —
Наш признанный король поэтов всех времен,
Не передать в словах, как я тобою ранен,
Не уронив при том поэзии знамен...*

Мне показалось, что этот кавалер все же опозорил знамена поэзии. «Плохо, брат», — подумалось мне. В ярком свете тепличных ламп ис-

крились чаши с вином, индийский чай в цветастом заварном чайнике. Гитара. Дым индийских ароматических палочек. Песня Окуджавы «Виноградную косточку в землю зарюю».

— Это он! — указал на меня Юра.

И неизвестный мне бородач продекламировал:

— *«Это он, это он, ленинградский почтальон!»*

— Пимский почтальон, — возразил я. — А вы кто?

— А мы кочегары, — ответил бородач, — сторожа, истопники. Что будете? Вино или чай?

— Мы вино будем, — ответил за меня Юра и пояснил мне, что вино эти люди приносят с железнодорожной станции, берут у грузин прямо из цистерны, еще не разведенное.

Вино было розовое, с великолепным ароматом. После первых стаканов завязался всеобщий разговор.

— Мы пришли на станцию брать у грузин «Кинзмараули». И что же? Ваню и прочие «швили» и «дзе» валяются в вагоне смертельно пьяные. Не могли их разбудить. Что делать? Нашли шланг, пошли к цистерне, вскрыли люк, нацедили вина в канистры. Опять зашли в вагон и сунули Ваню в карман деньги за сорок литров вина.

— Да, нам к ним еще придется приткнуться.

— Что сегодня читать будем?

— О! Распечатали целую кучу литературы. «Русская мысль», «Посев» и «Грани» из Мюнхена. «Протоколы сионских мудрецов», «Майн кампф», «Миф двадцатого века» Альфреда Розенберга, областнические сочинения Григория Потанина, роман княгини Шабельской-Борк «Сатанисты двадцатого века», сочинения Фердинанда Оссендовского «Откровения Шамбалы».

— Я бы предпочла «Камасутру», — сказала черноокая красавица, темные волосы которой были украшены ослепительно белыми цветами.

Букеты таких же белых цветов все девушки держали в руках. Блондинка сказала:

— Чтение — хорошо. Но, ребята, не лучше ли сегодня хорошо попеть Галича, Высоцкого и Дмитриевича? Я бы их всю ночь слушала.

— У нее в руке — каллы, — пояснил Юра Феофанов. — Эти цветы выращивают в теплице по указанию Кузьмы Фомича Тягачева для украшения партийных форумов.

Я отставил стакан. Вот так литература, вот так песни! Странные тут сторожа и кочегары. Цветы по указанию Тягачева. Белый лотос, гла-

диолусы, лилии, огромные охапки цветов. Экзальтированные девицы. Вольдемар, с желтыми прокуренными пальцами, постоянно щелкающий огромной зажигалкой и вспоминающий Колыму, где он провел в лагере целых пять лет. Все это, конечно, интересно, но...

В этот миг раздался стук в дверь и послышалось:

— Откройте! Милиция!

— Вряд ли это милиция, — шепнул бородач. — Суйте в печку литературу, быстрее!

— Жалко жечь. Столько работали. Может, спрятать?

Лохматый мужик кинулся снимать со стены портрет Потанина. С треском лопнуло стекло в одной из рам. Гитарист опять запел «Виноградную косточку». Многие тепличники, невзирая ни на что, тоже стали петь Окуджаву.

— Мы подпевать не станем, — шепнул Юра. — Вон в том углу есть люк для угля, через него можно выбраться в угольный бункер и бежать.

— А что же эти не выбираются?

— Они гордые, а мы нет...

Что-то еще треснуло, в теплице погас свет. Песня звучала все громче. Мы с Юрой протиснулись в какую-то дыру. Я думал, что нас могут схватить и во дворе. Но там было пустынно, с неба валил густой снег. Мы перемахнули через забор и побежали кривыми улочками Татарской слободы.

— Хватит! — сказал Юра. — Оторвались. Не догонят.

Мы пошли шагом.

— Ребят повязали, как пить дать, — вздохнул Юра Феофанов, — вот тебе и первое апреля, день смеха!

— А кто они такие?

— Студенты, аспиранты. Даже кандидат наук есть. Ну, Вольдемар-то вроде убежал, ему после отсидки попадаться никак нельзя.

— Зачем же ученые кочегарами, сторожами работают?

— Заработок. Возможность в тепле и уюте мирно беседовать. Хотят свободно говорить, петь, что хочется, читать, что хочется.

— Странные вкусы у них, однако, как сказал бы чукча.

— Мало ли что! В Америке «Майн кампф» в свободной продаже. И вообще там люди лучше живут.

— Лучше? Богаче, согласен. Но эти аспиранты и кандидаты взвоят, когда не станет бесплатных образования и медицины, копеечных лекарств, практически бесплатных квартир. Мы не будем богаты, как американцы, увы.

У меня отца в тридцать восьмом брали. Меня тошнит, когда таскают по улицам портреты членов политбюро. Я, служа в армии, писал в «Комсомольскую правду», чтобы она назвалась «Комсомольской неправдой». Меня допрашивали. И после демобилизации долго за мной следили. Увидели, что я увлекаюсь лишь стихами, музыкой, танцами, и отстали.

— Тридцать седьмой не повторится. Хрущев этот год осудил. Эволюция не минует нас. А копать яму под избу, в которой живешь? Себе дороже обойдется.

— Вы так думаете? — спросил Юра Феофанов. Я понял, что он со мной не согласен.

— А где они такую редкую литературу берут?

— Питерцы получают через Выборг из Парижа и Америки. Из Питера самиздат поступает в новосибирский Академгородок. Оттуда Вольдемар привозит Платонова, Солженицына, Набокова, Хайдеггера... Книги карманного формата, чтобы легко прятать, многое напечатано на тонкой папиросной бумаге...

Через какое-то время в писорге Вуллим Тихеев рассказал нам о деле тепличников. Тягачев возмущен. Ему принесли найденные в теплице образцы эзотерической литературы, «Магию» Папюса, еврейский талмуд в переводе Переферковича, «Теософию» Блаватской и «Антропософию» Рудольфа Штейнера, сочинения средневекового сапожника Якова Беме. Протоколы сионских мудрецов. Он все это пролистал — ничего такого в партийных школах не преподавали.

Кузьма Фомич вызвал Вуллима, дал ему почитать и велел высказать свое мнение. Вуллим прочитал, высказал.

— Сионизм был осужден Организацией объединенных наций в тысяча девятьсот семьдесят пятом году как международная фашистская организация! — сказал Вуллиму Тягачев. — Почему молодые люди этого не понимают?..

Тепличников сослали — кого куда — в районы, в райцентры, поработать на свежем воздухе, проветрить мозги. Некоторых из университета отчислили, некоторых только перевели на заочное отделение.

Вуллим закончил свое сообщение призывом гневно осудить тепличных отщепенцев.

— Не за то боролись дедынька, бабынька, папынька и мамынька! — возопил Паша Крокусов. — Долой тепличников с телеги социализма! Ишь, пристроились возле земли-матушки и цветов ея!

— Я бы их сослал на Новую землю, пусть бы там белым медведям Папюса читали, — заявил Иван Осотов. — Они в своей теплице перегрелись, пусть охлаждаются.

Авдей Громыхалов сказал:

— Это у них от постоянного недопивания. Разве может русский человек жить на грузинской бормотухе? Был бы у них хороший деревенский самогон и добрая закуска, разве стали бы они всякую дрянь читать?

Высказались все, кроме Луки Балдонина, который загадочно улыбался.

20. ГРОМЫХАЛОВ ЗАГРЕМЕЛ

Золотая листва на черном асфальте. Утрами свежо. И вдруг приплыли темные тучи, сразу потеплело, и пошел крупный, вовсе не осенний дождь. Он залил мостовые и тротуары. Бурные потоки воды бежали в кюветах по обочинам дорог.

А утром, проснувшись, я выглянул в окно и увидел феерическую картину: вся округа была залита блистающим хрусталем. Ударил мороз.

Я спустился со своего чердака на второй этаж и пошел в приемную писорга. Там я обычно просматривал подшивки газет. Азалия Львовна была уже на рабочем месте. В ее зубах дымилась «беломорина». Азалия перепечатывала на стареньком «Ундервуде» новый роман Авдея Громыхалова.

— По двадцать копеек за лист платит, — сказала она. — Сиди тут, мучайся. И слова-то какие, послушай! *«Дождь мурчит, шевурчит, тербенькает, аж шендрявится!»* Черт ногу сломает в таких словах! Да и когда же это деревенские люди так говорили? Выдумывают же попало!

— Он классик, — сказал я, — а с классика какой спрос?

— Ты ничего не слышал? — спросила Азалия.

— Да нет, а что?

— Ничего. Скоро сам узнаешь. На улице гололед, гулять пойдешь, на подошву медицинский лейкопластырь наклеи. А то копчик сломаешь. Я в гололед всегда на подошву пластырь клею.

— А что все же случилось?

— В четыре собрание, там все скажут.

Я пошел гулять заинтригованный, забыл наклеить на подошву лейкопластырь и как раз возле землянки маньчжура грохнулся на копчик.

Я лежал в позе лягушки и стонал. Маньчжур вылез из своего убежища, сказал:

— Хлопчик сломал копчик!

Опираясь о плечо маньчжура, я прошел в его фанзу. Он усадил меня на кровать. За моей спиной на дряхлом коврикe драконы вежливо молчали о прошлом хозяина землянки. На столике стоял невиданных размеров термос. Не термос — вулкан! На нем расположились изображения топей, склонов гор, водопада и чеков рисовых полей.

Маньчжур велел мне обнажить зад, осторожно ощупал копчик. Подумал, сказал:

— Знаю, вы живете рядом. Писатель. Громыхалова тоже знаю, всех знаю, вы мимо тут ходите. Позвонки копчика разошлись. Болеть будет долго. Дам особую мазь, какой в аптеке не бывает, бальзам. Будете мазать, все-таки боль притупит. Но сейчас падать не надо. Тихо-тихо, мало-мало, осторожно гулять.

— Что я должен?

— Ничего не должен.

— Хорошо по-русски говорите. Вы случайно не медик? Вам, наверное, скучно быть совсем одному? Больше в Пимске маньчжуров нет.

В глазах его был полный мрак. Он аккуратно завернул мазь в газету, написав на ней авторучкой: «Втирать утром и вечером». Засунул сверток в карман моего пальто. И сказал:

— Ночью в фанзе черного кота не ловят, до свидания...

С ушибленным копчиком сидеть на собрании мне было не очень комфортно. Но и пропустить такой случай было нельзя. На собрание опять пришел Семен Семенович Семенов. Секретарь обкома - не частый гость.

Я обратил внимание, что нынче Семенов при параде, на лацкане пиджака у него значок в виде алого флажка с серпом и молотом. Мысли мои неслись галопом. Серп - жнёт, молот - молотит, Молотов Вячеслав не молод, не удержит в руке молот. Славьте молот и стих землю молодости...

Собрание начал Феденякин:

- Руководствуясь решениями... как указывал дорогой Леонид Ильич Брежнев... следуя указаниям обкомпарта и лично Кузьмы Фомича Тягачева...

Слушать это было невыносимо скучно, в копчике боль была как бы зубная, но помноженная на сто. И у меня в голове в правой части вдруг включился самопереводчик, и я услышал:

*Бедный Феденяка,
Он - большая кака,
Что же он вещает,
Приходя в азарт?
На уме лишь водка,
Колбаса, селедка,
А язык вещает:
Парт и обкомпарт!*

Феденякин закончил свою речь, изобиловавшую общими словами, суть речи была в том, что наши писатели трудятся хорошо, но могли бы - еще лучше.

Семенов тоже начал с заслуг организации. Потом он осветил несомненные заслуги нашего руководителя. Семен Семенович отметил, что Авдей Громыхалов много сделал для становления организации, для воспитания в коммунистическом духе молодых авторов. Он сделал некоторую паузу и добавил: обкомпарт понимает, что такой крупный прозаик вынужден отрываться от творчества для организационной работы. Поэтому обкомпарт решил, что будет правильнее рекомендовать на руководство писоргом писателя Вуллима Тихеева, а Громыхалову дать возможность творить в полную силу.

В этот момент у меня опять включился переводчик и я услышал, как этот переводчик сказал голосом Семенова:

*Громыхалов гремел,
Как пустое ведро,
Громыхал, громыхал
Громыхально,
А теперь мы Авдею
Вставляем перо
Чтоб не вел себя
Слишком нахально!*

Авдей побагровел, вскочил, закричал:

- А знает ли о вашем решении Кузьма Фомич?

Семен Семенов пожал плечами и ничего не ответил. Громыхав кинулся к Осотову, схватил за лацканы пиджака, и принялся трясти, как грушу:

- Это всё твои доносы бездарность, дубина стоеросовая!

- Извините товарищи, я спешу! - сказал Семен Семенович, - я убежден, что все вы согласны с мнением обкома, и проголосуете все, как один за Вуллима Александровича Тихеева.

Он взял в руки свою папочку и удалился.

Громыхалов бушевал:

- А вы, писатели? Скоты безгласные? Меня шельмуют, а вы молчите? Крокусов я тебя в союз принял? Квартиру дал? Почему молчишь? Лука! Ты тоже деревенщик, если бы не я, ты бы сдох в своей области под забором. Мамичев! Тебя я в союз принял? Ты тоже воды в рот набрал?

Мой переводчик тут же включился в работу. К моему удивлению мой собственный переводчик ругал от лица Авдея меня любимого:

*Негодяй ты - не иначе,
Был со мной не раз на даче,
Жрал ты омуля в писорге
Выражал ты мне восторги,
И заглядывал мне в рот,
А теперь молчишь, урод!*

Я нажал на правом виске невидимую кнопку, переводчик умолк. И я мысленно ответил и переводчику, и Авдею:

*Жрал я омуля от пуза
Твой кедрач мне был, как Муза.
Но писорговский чердак,
Опостылел мне - вот так!*

Я мысленно провел ладонью по горлу. А Громыхалов продолжал ругаться:

- Тихеев! Я тебя из деревни с севера вызволил, я тебя в газету устроил, потом в писорг принял, а ты? Как ты мог?

Тихеев очень тихо, с вежливой улыбочкой отвечал:

- Я отказывался, но же поделать? Воля партии.

Громыхалов схватился за сердце, потом схватил со стола графин с водой и стал пить из горлышка. В правом виске у меня опять включился нахальный переводчик, на сей раз он перевел движения и жесты Громыхалова. Я увидел то, чего на самом деле не было, но что по мнению Громыхалова должно было сейчас быть. Я увидел, как Авдей стащил с Осотова штаны и воткнул Крокусова головой в зад Осотову. Голова у Крокусова была маленькая, тыковкой, а зад у Осотова был большой и жирный, потому молодой прозаик и воткнулся в зад старому - по самые плечи.

Крокусов что-то глухо верещал в зад, а Осотов кричал:
- Ой! Больно! Ой, вытащи назад, мучитель!
Я отключил переводчика.

21. ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

После избрания Тихеева на высокий пост он повесил в кабинете главы писорга огромный портрет «бровеносца в потемках» — Леонида Ильича Брежнева, которого я в уме, про себя называл просто Кустобровом. Вуллим по делу и без дела цитировал слова из докладов и книг Брежнева, при этом всегда мягко улыбался, в его карих притатаренных глазах прыгали лукавые искорки, а в уголках губ образовывались симпатичные ямочки.

Новый наш начальник уволил шофера Ромку и принял на работу шофера Ивана. Какая в этом была политика — неясно, но Тихеев чуть не каждый день ездил в обком, а возвращался оттуда с большими пакетами, что в них было — я сначала не знал.

Азалия Львовна однажды сказала мне, оторвавшись от машинки и оглядываясь на дверь кабинета:

— Из обкомовского буфета колбасу, сыр, шоколад таскает. Там все стоит гроши, и все есть. И хоть бы, сука, раз предложил шоколадку или еще чего. И заставляет бесплатно перепечатывать его рукописи; вы, говорит, зарплату получаете. Авдей хоть по двадцать копеек за лист, но платил. Авдей был грубый, но добрый. А этот вежливый, улыбается, хрен бы ему в горло...

Тихеев цитировал Брежнева и спрашивал всех приходивших к нему в кабинет писателей: умеют ли они играть в шахматы? Каждому он предлагал сыграть партию. Я тоже с ним сыграл, но я умел только переставлять фигуры, Вуллиму со мной играть было неинтересно.

Постепенно из писорга выветрился запах вяленого омуля. Не раздавался здесь больше звон стаканов. Не слышался смех молодых поэтесс и всяких любительниц литературы. Зато тут шли бесконечные шахматные баталии. Если приходил какой-либо молодой автор с рукописью, Тихеев тут же отфутболивал его:

— Вы еще нигде не печатались? И сразу идете в союз? — спрашивал он со своей всегдашней вежливой улыбкой. — Начинать надо с районной газеты, как я начинал. Когда будет у вас много публикаций, тогда придете к нам...

Авдей однажды сказал Вуллиму, мол, ты совсем с молодыми авто-рами не работаешь. На что Вуллим ответил:

— А зачем графоманов плодить?

Вообще жизнь писорга текла теперь тихо, незаметно и благостно. Мы узнавали от Тихеева о том, как воевал Леонид Ильич на Малой земле, какой он вообще хороший человек. По радио часто звучала трогательная песня «Малая земля». Но однажды в репродукторах зазвучали траурные мелодии.

С мрачным любопытством люди вглядывались в экраны телевизоров: кто же первым станет соболезновать семье усопшего? Кто преемник?

И когда, одновременно с залпом салюта, гроб с Кустобровом нелепо застрял в могильной щели, а затем сорвался и брякнулся — то ли это к добру, то ли к худу — нельзя было понять. Зато преемник уже был известен. Им оказался бывший начальник КГБ. Странно незаметный до сих пор, угрюмый человек. Но хоть шепелявить не будет.

Наивные интеллигенты! Им тогда казалось так. Приди человек с грамотной речью и прекрасной внешностью — и дела пойдут в стране прекрасно. Никто не думал о том, что в системе, где все раз и навсегда определено, пробиться наверх мог только самый-самый. Это во времена переворотов, революций, в море анархии наверх может всплыть все, любое дерьмо в полосочку. Пробиться к вершине через железобетон — иное дело. И пробившийся не станет ничего кардинально менять, если только хочет усидеть на троне подольше. А кто же этого не хочет?

В писательской организации Пимска, как и во всех организациях города, области и всей страны, проходили траурные собрания. На нашем писательском собрании Вуллим Тихеев говорил:

— Жили мы при нем достойно, надежно!

Я удивился. Видно, Тихеева загипнотизировал Кустобров, глядевший на писателя-деревенщика с огромного портрета, уголок которого был схвачен черным крепом. Хвалить усопшего генсека? Разве не ясно, что новый хозяин, пусть и не сразу, скоро начнет попинывать предшественника? Но вообще, это было не мое дело. Я считал, что все перемены ведут к лучшему...

Однажды после обеда я надел пальто и шапку, спустился со своего чердака и вышел на улицу прогуляться. Ко мне подошли двое в штатском, с красными повязками на рукавах и осведомились:

— Гуляете?

Я ответил утвердительно.

— Так! Сейчас рабочее время. Вы где работаете?

— Я писатель.

— А когда у вас начинается рабочий день и когда заканчивается?

— Рабочий день у меня может начаться и ночью, когда придет вдохновение, а закончиться может утром, когда вдохновение меня покинет.

— Вы нам сказки тут не рассказывайте, всякий труд должен быть нормирован. Пройдемте!

Они провели меня в райсовет, там в большой комнате уже было полно мужчин и женщин. Все они попали в облаву. Оказывается, новый руководитель страны приказал ловить всех, кто в рабочее время ушел с работы, и всех строго наказывать — кого рублем, а кого и арестом, судом. Ловили людей в магазинах, кинотеатрах, ресторанах и просто на улице. Мне это дело не очень понравилось. Я только думал: поймают ли Авдея на даче? И хорошо бы еще поймали где-нибудь Крокусова и Осотова.

Под арестом я просидел часа два. Облавщики дозвонились до писорга и узнали у Вуллима, что у писателей нет строгого нормирования труда. Они, конечно, были огорчены, но им пришлось меня выпустить. Один из них сказал:

— Вы в рабочее время не болтайте по улице. Не подавайте труженикам дурной пример. Сидите в своей организации или же дома, ждите, когда к вам придет вдохновение.

А я подумал, что хорошо быть писателем. Все прогульщики будут наказаны, а мы, писатели, нет. Да, Авдей молодец. Он принял меня в касту неприкасаемых лодырей. А этот большеголовый человек в больших очках, который теперь правит страной, хоть и пролез наверх сквозь железобетон, но что-то круто завернул. А может, это и к лучшему? Я не мог решить этот вопрос, пошел в писорг, сел играть с Тихеевым в шахматы.

Он сделал три хода и говорит:

— Тебе мат!

А я говорю:

— Ты, Вуллим, квартиру мне дай, тогда я быстрее в шахматы играть научусь.

Он отвечает:

— Авдей молодым квартиры давал, да и сам все время женится. Мы все квартиры из обкомовской очереди выбрали на пять лет вперед, сейчас нам не дадут. Потерпи, над тобой не каплет.

Я сказал, что ждать надоело. От этого я морщу лоб, а когда его морщу, у меня вдохновение уходит в атмосферу, а это плохо.

— Терпи! — повторил Вуллим.

Сидеть в писорге мне было скучно, а на улицу выйти нельзя — опять поймают, опять куда-нибудь уволокут. Да и копчик ужасно ныл. Но в окошко было видно, как медленно с небес на землю опускаются крупные хлопья снега, теперь на улице так приятно дышать озонированным воздухом. Я решил, оделся, вышел. Постою возле крыльца, появятся люди с повязками — мигом шмыгну в дверь.

Тополя были все в белых пелеринах, улицы и дорожки сада покрыты белыми коврами. Так хорошо дышалось!

Вдруг из-за угла вывернулась женщина. Она бежала скачками, оглядываясь и матерясь. Вот она миновала землянку маньчжура, вот сейчас со мной поравняется. Она кинулась ко мне:

— Скорей к вам! Козлы, поганки вонючие!

Я узнал Светлану Киянкину.

— Ты чего?

— Скорей! — скакнула она в дверь писорга.

Я — за ней.

— Что с тобой?

Она, приотворив дверь, глядела в щелку:

— Вон бегут, паскудники! Подошли, и меня — под руки, пройдемте, мол, гуляете в рабочее время. Ну, я одному пенделя наладила, другому в шары харкнула, и — бежать. Оторвалась.

— А зачем ты ходишь в рабочее время? Кстати, где ты работаешь? Я знаю, что ты библиотекарь, но где, в какой библиотеке?

— В какой, в какой! В военном училище.

— А почему в военном?

— Платят больше.

— Что ж, это хорошо.

— Хорошо, хорошо! Бабы надоели!

— Да какие же в военном училище бабы? Наоборот, там полно парней.

— Какие бабы? Библиотекари. Суки поганые, сидят целый день, хвалятся: мой муж майор, а мой подполковник. Корчат из себя. Особенно заведующая библиотекой.

— Пусть. Тебе-то что?

— Ага, послушай-ка такое каждый день с утра до вечера! Сегодня майорша возникать стала: ты при нас выражаешься, мы жены офи-

церов. Ну, я им сказала: вы не жены офицеров, а курвы обозные! В майоршу я чашку с чаем бросила и ушла. Иду по улице, вся в гневе, а тут еще эти козлы привязались. Очкарик этот придумал тоже людей на улицах хватать. Че смеяться? До конца рабочего дня у вас побуду, потом домой пойду.

Я не мог не дать прибежище женщине из моего кружка. Спросил Киянкину, умеет ли она печатать на машинке? Киянкина ответила утвердительно. Мы пошли в предбанник писорга.

Нашей секретарши на месте не было. Нередко в отсутствие Азалии Львовны я перепечатывал на ее раздолбанном «Ундервуде» рукопись своей новой стихотворной книги. Это должна была быть очень толстая книга. Если первые мои две книжки прошли незаметно, то эта произведет фурор. Страна содрогнется от восторга и умиления. Я буду лететь над нею, как ангел, со своей книгой в руках. А женщины Новосибирска, Омска, Нижнего, Москвы будут падать, сами складываться в штабеля, простирают ко мне руки и молят: «О, Мамич!..» Но нет! Я им помашу ручкой и полечу на север. Там я спланирую над ярангами, чумами или какими-то еще жилищами, и северянки начнут расстилать передо мной лежа из оленьих шкур, а я им улыбнусь, вырву листок из книги на память и двину через вечные льды в Америку. Над Штатами я только пописаю, а снижусь где-то над Бразилией, там я приму участие в красочном многодневном карнавале. И в этой стране потом родится множество похожих на меня прелестных девочек и мальчиков.

Да. Но прежде надо перепечатать рукопись. Я столько уже печатал в своей жизни на машинке, что мозг мой изболелся. Каждый удар пальцем по клавише отдается в мозгу, как удар молотом. Вот поэтому я попросил Светлану немножко попечатать. Она покорно уселась за «Ундервуд». Она печатала и ухитрялась делать в каждом слове по три ошибки. Она ставила тире и запятые, где хотела.

Я был огорчен. Я пожурил ее. Сказал, что она имеет высшее образование, а пишет, как отстающая пятиклассница. Я тут же пожалел о том, что сказал. Киянкина вдруг засмеялась. Потом глаза у нее закатились, и она повалилась набок; если бы я не подхватил ее — она бы упала на пол.

Я тряс ее:

— Света, что ты, Света?

Если бы в этот момент зашла Азалия Львовна, я знаю, что она подумала бы. Но Азалии не было. Киянкина наконец открыла глаза, сказала:

— Че смеяться? Эпилепсию я залечила, но не до конца.

— Давно болеешь или врожденное?

— Какое там врожденное. Отчим проклятый породил.

— Плохой был?

— Хороший. Скушай, деточка, шоколадочку. Ну и изнасиловал, а деточке девять годиков было.

— Извини, я не знал.

— А если бы и знал, так че? Все вы, мужики, деточки-конфеточки. Пойду я. Образование у меня заушное, стихи писать я не умею, печатаю с ошибками. Вся моя жизнь — ошибка.

— погоди, я сейчас тебя провожу.

— К хренам всяких провожатых.

Она ушла в крупный снег, в свежесть зимнего дня. Я собрал рукопись и повесил ее на гвоздик в туалете. Говорят, Гоголь сжег свою рукопись. Я решил действовать более рационально. Бумага пригодится для подтирки. Может, кто-то прочитает мои строки, прежде чем использовать бумагу по назначению? Мы стремимся попасть в душу спереди, а ведь можно проникать в нее и сзади?

22. ЕСЛИ ЧЕРНЫЕ КОЛГОТКИ...

Известно, что все на свете проходит: боль, грусть, любовь. Вот и зима как-то незаметно прошла. На улице вовсю заулыбалось солнце, на ветках вспыхнули листочки. Уличные и прочие облавы прекратились сами собой. Про нового правителя было мало что известно; если его и показывали по телевизору, то чаще — сидящим в кабинете. Ну, ладно, поугубил облавами и отстал.

Гулять можно было теперь почти без опаски. Но, боясь повредить свой травмированный копчик, гулял я редко. Писал стихи, пытался написать повесть.

И когда мне принесли вызов на телефонные переговоры с Москвой, я решил: отправленные мной в журналы рассказы и стихи понравились, вот и вызывают меня.

Долго маялся на переговорном пункте. Наконец, усиленный микрофоном голос телефонистки сказал:

— Ожидающий Москву, пройдите в седьмую кабину!

Прошел, схватил трубку:

— Але, але!..

В трубке кто-то далекий еле слышно напевал песню «Хороши весной в саду цветочки...» Потом чей-то визгливый голос сообщил: «У нас здесь овощи в два раза дешевле ваших». Я дунул в трубку, постучал ею о ладонь, и трубка сказала: «Центральная! Сорок шестой загулял в дупель!»

Я хотел уже повесить трубку, когда в ней что-то щелкнуло, и голос телефонистки сердито прокричал:

— Москва на проводе. Говорите!

Трубка сказала:

— Петя, привет! Это я, Виктор Владленович!

Я стал сообщать: какой Владленович? Может, редактор «Нового мира»? На всякий случай спросил:

— Это какая редакция?

Москва ответила:

— Никакая не редакция. Твой двоюродный брат Виктор Владленович, в сорок пятом году я к твоей маме в ресторан «Север» приходил, помнишь?

В мозгу щелкнуло. Вспомнил. В победный год вечером ресторан «Север» был переполнен. Никого не впускали. Вдруг к моей маме, заведующей залом, подошел швейцар и, вытянув руки по швам, доложил:

— Вас спрашивает родственник, еще очень молодой, но уже очень, очень заслуженный!

Мне тогда шел пятнадцатый год, я сидел на стуле в раздевалке, спрятавшись за одеждой, ел манную кашу и ждал, когда у мамы закончится смена, чтобы проводить ее домой. Мама вышла в вестибюль, и с улицы вошел стройный красивый подполковник, которому было не больше двадцати пяти лет. Его китель представлял собой, как тогда говорили, иконостас. Медали и ордена на его груди были не только советские, но и иностранные. Подполковник поговорил с мамой, выпил с ней коньяку и, щелкнув каблуками, удалился.

Так он исчез из моей жизни много-много лет назад и теперь вот появился в качестве голоса в телефонной трубке.

— Заеду на недельку в Пимск, встретимся. Тебя нашел по писательскому справочнику. Ты только пишешь или где-то работаешь?

— Работаю. Вождь графоманов.

— Как? — изумилась трубка. — Вождь граммофонов?

— Графоманов, — прокричал я в трубку, — хотя в каком-то смысле они еще и граммофоны.

Трубка заливисто захохотала:

— Вот это мне нравится! До встречи!..

Буквально через день в мою каморку вошел грузный седой полковник. У него были глубокие бульдожьи складки у рта, но глаза молодые, черные, с искрами в зрачках, а волосы густые и вьющиеся.

— Быстро! — сказал я.

Все мои знакомые уезжали и приезжали поездами, а Владленович прилетел самолетом. Это был другой масштаб времени. У полковника была необычная фуражка, и на боку висел кортик — это поражало.

— Ты что, моряк? — спросил я его.

— Нет, это парадная форма военного атташе Советского Союза, я ведь почти всю жизнь прослужил в дипломатическом корпусе. Меня с этим кортиком в самолет не хотели пускать; да пока к тебе шел, дважды милиция останавливала, проверяла документы. Но, как говорят, форс мороза не боится. Должен же я Пимск проведать? Я же здесь родился, вырос, здесь технологический чуть не окончил. С последнего курса меня призвали, на фронт отправили.

— Я не знал, что ты атташе. В газетах не было.

— А о нас в газетах не пишут. И сам я родичам писать о работе не мог. Должность такая. Теперь вот в отставке.

— Да, с кортиком ты смотришься.

— Не говори. Когда я к Хрущеву шел орден получать, меня еще на проходной затормозили, требовали кортик сдать. Пояснил: это форма. Прошел, обрадовался. А у них на каждом этаже посты. В коридоре двое преградили дорогу: «Кортик сдайте! Форма? Все равно сдайте!» Ну, я рывкнул, берите, мол, я же его резать не собираюсь!

— Да, вон с какими ты людьми общался. А ты знаешь, что в этом самом доме резиденция Берии была?

Владленович предложил:

— Идем, прогуляемся? В каморке у тебя душно, а погода нынче хорошая.

На дворе в самом деле было хорошо. В ближайшем ларьке мы купили две бутылки портвейна, четыре плавленых сырка и присели на скамье в горсаду.

— Ну вот, — сказал Владленович, — теперь и поговорить можно, а то я не доверяю казенным зданиям, там «жучки» могут быть. Вас, писателей, наверняка прослушивают.

— Ты думаешь? А у нас жена полковника КГБ машинисткой служит. Это, видимо, нарочно?

— Ну, необязательно. А прослушка — обязательно.

— А мы-то материмся иногда, похабщину разную говорим.

— Похабщина мало кого волнует.

— Слушай! А ты ведь в конце войны уже был молоденьким подполковником. Почему же до генерала не дослужился?

— Служил в Югославии, там атташе по статусу должен быть полковником, не выше. Обидно было, конечно. Бирюзов прилетал, я поплакал в жилетку. Все, с кем академию кончал, уже генералы, а я... Маршал сказал: «Прилечу в Москву, переведу служить в столицу, будет тебе генерал». Ну и была — авиакатастрофа. Потом Жуков прилетел. И тоже мне помочь обещал. Вернулся он в Москву, а его самого с работы сняли. Вот так мне не везло.

— А как ты в Югославию попал?

— Во время войны был десантирован, помогал партизанам. После войны начальство решило: раз я у югославов в чести, быть мне там атташе. Тито мужик интересный. У него был такой остров, куда завезли кенгуру, жирафов, прочих диких животных. Там в пещере у него собрание вин всех времен и народов. В каменной стене дыры насверлены, из каждой дыры торчит горлышко бутылки. И этикетка есть: какого года вино. Вот зашли мы в пещеру, Иосиф говорит: «А теперь пусть каждый гость возьмет себе бутылку вина того года, в котором он родился!» Ты понял юмор? А вообще Тито мог вечером в любое белградское кафе просто с семьей зайти, и никого это не удивляло. Если охрана и была, то ее никто не видел.

— Да, пожил ты, Владленович!

— Да нет! Молодость пропала. Всю жизнь как по лезвию бритвы ходил. Атташе — это ведь аккредитованный шпион. Всегда спать ложишься, а ключ от сейфа в кулаке держишь. Жена в Москве жила, я в Белграде. И по бабам не пойдешь, у всех на виду. Не дай бог, какая морщинка на мундире будет... Раз мне в селе, которое я когда-то с боем освобождал, благодарные югославы ягненка подарили. Отказаться нельзя. Привез ягненка в посольство, привязал к колышку в сарае. Он ночью блеял. Через день западные газеты написали, что в Белграде в советском посольстве мучают ребенка. Посол меня чуть не съел. Пришлось ягненка заколоть и шашлык сделать... Но ты лучше о себе Расскажи, ты-то как? Звание у тебя почетное. Почему в камерке живешь?

— Семейного счастья нет.

— Понятно: война отрыгнулась, без отца рос. Но ты бодрись. Чин у тебя большой, должны условия улучшить...

Пока мы пили портвейн, я успел рассказать Владленовичу про свою непутевую жизнь, про Берию и двух маньчжуров, и о том, что только один маньчжур теперь остался в живых. Показал его землянку.

— Зигзаги истории, — подвел итог Виктор Владленович. — Одно утешает: Россия страна, где карел может петь украинцам турецкую песню на русском языке. Это и литературному творчеству способствует.

Мы с ним уговорились в следующий раз встретиться на собрании «граммофонов» в ПИССУАРе. Владленович решил прожить в Пимске две недели: навестить родственников и институтских однокашников.

Перед очередным заседанием я встречал своих слушателей возле подъезда ПИССУАРа, разъяснял им, что вот-вот должен прибыть полковник, бывший военный атташе Советского Союза в Югославии, надо его встретить. Вечер был чудный, весь в ароматах сирени и черемухи. Слушатели сгрудились возле меня, спрашивали: каким ветром занесло к нам такую птицу? Я думал: «Погодите! Сейчас придет он в своей удивительной фуражке, с кортиком на боку, попадаете все!»

Из-за угла ПИССУАРа вывернулась черная «Волга», затормозила неподалеку от нас. Я направился к машине приветствовать высокого гостя. Дверца машины распахнулась, и передо мной возник мрачный Иван Карамов. Он то ли кивнул мне, то ли нет, и принялся тщательно запирать дверцу машины. Я был удивлен. Значит, Тина Даниловна права: Иван Карамов — начальник или вроде того. Простому человеку «Волгу» трудно купить.

А у дверей ПИССУАРа меня окликнул Владленович. Я его даже не сразу узнал, ибо был он без кортика, в штатском костюме. Я сказал:

— Зря пришел не при параде.

— Надоело милицию пугать, — отвечал Владленович.

Мы поднялись на второй этаж, прошли в комнату «Режимщика». Я выждал время, чтобы подтянулись запаздывавшие кружковцы, затем представил Владленовича:

— Военный атташе полковник Мамичев Виктор Владленович!

Все бурно зааплодировали. Вася Важенкин включил в розетку шнур громадного магнитофона и хрипло сказал в микрофон:

— Раз-раз-раз!

Владленович попросил включить магнитофон. Он сказал, что питает отвращение к магнитофонам и, пока не выключат магнитофон, не скажет больше ни слова. Вася обиженно нажал кнопку, бормоча про себя:

— Я хотел для истории...

— А я не хочу влипнуть в историю, — сказал Владленович.

И затем рассказал о том, какие югославы добрые, хорошие. Девушки все красавицы, мужчины все герои. Однажды Владленович гулял по Белграду со своим черно-седым догом, а он и сам к тому времени уже был черно-седым. И старая югославка ему сказала: «Вы так импонируете друг другу». Югославы спешат сказать каждому встречному приятное. Народ гостеприимный, щедрый на добро.

Затем Владленович прочел свои самодельные стихи. Я понял, что Владленович, хоть и полковник, но тоже «граммофон». Стихи он читал посредственные, но воодушевился, глаза сверкали, щеки пунцовели, жестикулировал, играл голосом.

Тина Даниловна все время указывала мне глазами на Ивана Карамова, дескать, он весь опутан проводами и утыкан под пиджаком микрофонами. Но я не особенно беспокоился, я понял, что Владленович так вышколен на своей бывшей работе, что никогда не скажет ни в одном общественном месте ничего лишнего, хоть его режьте на куски.

Бывшему атташе дружно похлопали. Толя Пастухов поднялся, встал по стойке смирно:

— Югославка одна. В Гродно. Год не помню, в июле было. Контакт. Интересуюсь: «Девушка, почему без лифчика?» Отвечает: «Для вентилизации сосков!» Соображаю: у них там жарко!.. Я в ихнем Белграде не был, я был в нашем Белгороде. А в нашем Белгороде девчата все сплошь в лифчиках, грудки тугие, только что не хрустят. Вот, значит, огромное спасибо атташе Мамичеву за его рассказ про Югославию.

Началась обычная пикировка. Тут не пикали, тут оттачивали пики.

— Югославия — другославия.

— Югославия — вьюгославия.

— Не ври! Там вьюги не бывают.

— Тито — титан, титаник!

— Броз Тито, брось, Тито!

— Броз Тито — гроздь, жито!

— Тито — не Тито, а ты-то — Тито?

— Тит, иди молотить! Брюхо болить.

— Мамичев-атташе давеча был в душе.

— Не городи чуши, не в душе, а в душе.

— Ладно, не буду.

— Ясно, что ты не Будда, ты этот, как его, Конфуций!

— Я не Конфуций, я — конфузный.

— А в Китае правительство заседает с фарфоровыми чайниками. У них и съезды обмывают чаем.

— А это уже политика, а Петр Сергеевич не велел.

Тут опять вскочил Толя Пастухов, вытащил из заднего кармана фляжку:

— Если черные колготки, значит, кол у девы в глотке! Товарищи спортсмены, выпьем за Югославию!

Я его осадил:

— Толя! Удалю с поля! Переходим к поэтическому кругу.

С некоторых пор мы завели обычай: каждый из кружковцев, прежде чем читать стихи или прозу, рассказывал обо всем интересном, что случилось в его жизни в последнее время. Юрий Заводилов всегда приходил при галстуке, его волнистые волосы были аккуратно зачесаны назад, миндалевидные зеленоватые глаза улыбались.

— Я ошибся дверью, когда поступил на юрфак, — заявил он. — Вот здесь я чувствую себя в своей стихии. И моя нынешняя работа меня тяготит. Ну что такое следователь? Крючок. Еще нас называют легавыми. Копание в грязи. Обидно. А душа тянется к заоблачным далям поэзии.

— Ну, зато у вас есть власть, — сказал я.

— Ну ее, такую власть! Власть поэзии — чище, выше!

— А все-таки ваша профессия очень нужная и интересная, — вступил в дискуссию Важенкин. — Вам можно детективы писать. Какие вы в этом месяце расследовали загадочные преступления?

— Преступления?.. Вы знаете, что милиция через газету предупредила Пимских женщин, чтобы не садились в незнакомые машины. Было замечено, что женщины голосовали и садились в черную «Волгу», а потом их находили на окраине города убитыми. В газете писалось не все. Женщин не просто убивали, но протыкали им ножом горло и высасывали кровь...

При этих словах Тина Даниловна стала белее лесного снега, вся сжалась в комочек, глядя исподлобья на Ивана Карамова. Тот сидел, скрестив руки на груди, мрачно глядел на Юрия Заводилова.

А мне подумалось: Тина Даниловна испугалась не зря, ведь Карамов ездит на черной «Волге»! Он вообще кровавый человек, написал рассказ о дымящемся куске материнской груди, откушенном у матери сыном. У меня пробежали мурашки по коже.

Но Юрий Заводилов неожиданно сообщил:

— Я хочу от имени прокуратуры и милиции выразить благодарность

за помощь в задержании опасного преступника члену нашего литературного кружка Светлане Киянкиной. Похлопаем, товарищи!

— Киянкиной? — всплеснула руками Тина Даниловна.

— Света, расскажи! — попросил Юрий Заводилов.

— Че рассказывать? — сказала с гримасой неудовольствия Светлана Киянкина. — Че смеяться?.. Ну, купила я эмалированную кастрюлю новокузнецкого завода. Кастрюля на двадцать литров, со всего железа сделана. Дочке в подарок. У них воду часто отключают, пусть дочка водяной запас создает. Кастрюля с крышкой, удобная. Осенью можно помидоры солить.

— Ты по делу, Света! — попросил Вася Важенкин.

— А я по делу и говорю. Дочка живет на краю Иркутского тракта. Кастрюля тяжелая. Тащить пешком неохота. Я думаю: дай-ка проголосую, может, какой козел подвезет? Я, конечно, не пионерского возраста, но еще и не старуха... Ну, он и затормозил. Я села и говорю: мол, денег-то у меня нет, довезешь так-то? Он закивал: довезу, довезу! Я ему адрес сказала. Ну, едем. Смотрю, дочкин дом проехали, а эта сволочь все газу добавляет. Опомниться не успела, он затормозил в лесу. Глядь, у него нож в руке. Че смеяться? Не знаю как, но треснула его кастрюлей по башке. Он и про нож забыл. Я из машины скок и бежать вместе со своей кастрюлей. До первого телефона добежала и в милицию позвонила. Вот и все.

— Она его так хорошо кастрюлей угостила, что мы приехали, а он еще в сознание не пришел, — сообщил Юрий Заводилов. — Думаю, начальник областного управления ей премию даст.

Потом читали стихи.

— Выпьем, спортсмены картинного слова! — канючил Толя Пастухов.

— Погода хорошая, пойдите на берег Медички. Там за мостком, у самой речки, в дупле ольхи стакан спрятан. Еще в прошлом году писатель Авдей Громыхалов, когда его сняли с поста руководителя, там выпивал. Найдите дупло, а в нем — граненый стакан, и пейте на здоровье! — посоветовал я.

Заседание кружка закончилось. Пастухов повел компанию искать стакан в дупле, а я отправился провожать Виктора Владленовича. Он похвалил моих кружковцев.

Я спросил его:

— Что за человек Андропов?

— Партия стариков! — отвечал Виктор Владленович. — Молодых к трону не подпускают. Боятся: придет молодой и всех старперов из

политбюро попрет. Ну и что? Сел на трон, а надолго ли ему дышалки хватит? Будет большая рокировка, старое станут выдавать за новое...

На остановке мы долго молча глядели друг на друга. Было грустно. А вокруг плавали оглушительные ароматы черемухи и сирени.

23. ПОСТИЖЕНИЕ ЭГРЕГОРА

*Рояль был весь раскрыт,
И струны в нем дрожали...*

Я вспомнил эти строки в гостях у профессора Феофанова. На самом деле рояль был закрыт, на крышке его, на салфеточках, разместились статуэтки разной величины и ценности. Был тут фаянсовый бюстик Рубинштейна, был чугунный черный Мефистофель. Разместились на крышке рояля несколько портретов неизвестных мне мужчин и женщин, глядевших из серебряных рамок. Духи от «Брокара и Сиу», от «Штоля и Шмидта» уже высохли на дне флакончиков, но сохранили свой аромат через девяносто лет.

Когда я шел к Феофановым, увидел на лестнице Балабу, спускавшегося с огромным портфелем в руке. Я думал, что Балаба меня узнает, заорет, затопает ногами, мне хотелось провалиться сквозь землю. И как-то вышло, что я действительно «провалился» и оказался внизу, в вестибюле. Балаба вышел на улицу, где перед ним услужливо отворил дверьцу «Волги» молодой, но уже разжиревший шофер.

Я вздохнул и стал подниматься по лестнице. Я решил на сей раз обязательно выяснить у Феофановых: есть ли все-таки у Балабы краны, из которых текут пиво и молоко? Но наш разговор с Феофановыми ушел опять куда-то в сторону, и я ничего не спросил. На сей раз мы пили болгарское вино под названием «Мельник». И я думал: если мельники в Болгарии пьют подобные вина, то, значит, им совсем неплохо живется. Хотелось уехать то ли в Болгарию, то ли еще дальше.

— Центральные газеты писали, что в Пимск прибудет для руководства литературным семинаром сам Питор Сидорович Сидоров. А с ним — критик Сидор Абрамович Питоров. И будто бы критик этот обещал опубликовать серию статей по итогам семинара. Правда ли это? — спрашивал меня профессор.

Я отвечал уклончиво, я сам еще толком не знал, кто именно приедет. Может, и Сидор Питоров, но это такая заоблачная величина, что и подумать страшно.

— Наш Юра обязательно должен участвовать в семинаре, — торжественно сказал профессор Феофанов. — Я думаю, на сей раз справедливость восторжествует. Газета писала, что по итогам семинара будут изданы книги лучших семинаристов, кроме того, талантливые стихи опубликуют в столичном альманахе. Я думаю, вы Юру поддержите?

Я кивал, мол, конечно, поддержу. Но я все-таки сообщил профессору и его прекрасной половине Ксении Глазастовой о том, что москвичи с удовольствием едят и пьют, принимают подарки, много обещают, но мало что потом выполняют. Да, они могут отобрать подборки местных авторов для публикации в столичном альманахе, но ждать этой публикации придется долго, может быть, всю оставшуюся жизнь. Недаром передача им рукописи называется пострижением в альманахи.

— Но все-таки это какой-то шанс, — мелодично произнесла Ксения, ударяя своим бокалом по моему бокалу.

Звон ее голоса и звон хрусталя меня заколдовали совершенно, я решил, что сделаю все возможное и невозможное, дабы стихи этого зазнавшегося кудрявоголового красавца были опубликованы в столичном альманахе.

Мы поговорили еще о грандиозном пожаре, случившемся недавно на фабрике карандашной дощечки. Горели огромные штабеля кедровых заготовок, из которых должны были сделать карандаши для поставки в Японию. Город был окутан дымом, который и теперь до конца не выветрился. Еще вспомнили о том, что Андропова почти перестали показывать по телевизору, но очень часто стал показываться в «телеящике» Гришин.

— Андропов тяжело болен, — полушепотом сообщил Леопольд Сергеевич Феофанов. — Говорят, он в своем кремлевском кабинете принимает членов политбюро, будучи подключенным к аппарату «искусственная почка».

— Голова профессора Доуэля! — усмехнулся Юра. — Идемте Петр Сергеевич смотреть уникальную художественную выставку.

— А что за выставка?

— По дороге расскажу. Выставка начинается после семи вечера, пойдем не торопясь, подышим воздухом, сейчас в роще такое пронзительное великолепие.

Мы прошли тайными тропами возле рва ботанического сада. Тут, на холме, в годы войны размещался эвакуированный завод «Ломо». В его цехах делали бинокли, оптические прицелы для пушек и снайперских винтовок, перископы. Во рву до сих пор все засыпано забракованными

линзами. Студенты, дети солнца, подбирают их, чтобы прикуривать от солнца, это ведь здорово — не покупать спички, а прикуривать бесплатно!

Далее мы прошли среди пожелтевших берез, лип, тополей, дубов и среди вечнозеленых пихт, елей и кедров. Разнообразие красок навало грусть и радость одновременно. Миновали группу каменных баб, когда-то привезенных сюда из «Долины царей», которая находится в Хакасии. Причем Юра сказал:

— Смотрите: девять тысяч лет назад — и у каждой в руке рюмка!

— Ученые говорят, что это ритуальные сосуды.

— Ученые ошибаются.

Мы прошли мимо здания, где подвывали собаки, которых местные жители сдавали в мединститут для ученых экспериментов. Собак в этом виварии плохо кормили, они чуяли скорую гибель и тоскливо подавали голосовые сигналы не то Богу, не то вечности.

За этим зданием размещался морг.

— Куда мы идем?

— В морг! — пояснил Юра. — Там есть как бы предбанник, где устроена выставка произведений свободных художников под названием «Бедлам».

Я подумал, что здание морга — это не теплица, тут нет угольного люка, через который можно будет выбраться в случае опасности.

— А почему выставка проходит именно здесь?

— Ну, такой шик особенный. Девушки приходят, им любопытно и страшно, они смотрят картины, вдруг гаснет свет, от страха они готовы отдаться любому, кто первый их схватит. Пикантность в том, что совокупление происходит рядом с покойницей. Мистерии Озириса!

— Но я на это не рассчитывал.

— А сегодня девчат и не будет, — сообщил Юра, — я покажу вам коллекцию конфиденциально. Там будут только философы Бакрановский и Саградовский, да еще критик Толя Перерванцев, который нынче имеет такой же авторитет, каким некогда пользовался Стасов.

— Не может быть!

— Может! Его даже в журнале «Посев» печатают.

— Опять «Посев». Неизвестно, что за семена он сеет, и непонятно, что потом вырастет. Кстати, я слышал, что многих тепличных читателей арестовали.

— Да! Некоторых сослали в отдаленные районы, перевели на заочное отделение. Для кого-то это трагедия, только не для меня, я

все равно учусь заочно. Я лично думаю устроиться рабочим в геологическую партию.

— Зачем же сыну профессора Феофанова забиваться в тайгу?

— Для познания жизни. Вот Дресвянин, например, поработал в тайге, и в его стихах такие колоритные реалии возникают.

Я слышал о странной дружбе Андрея Дресвянина и Юры Феофанова. Они были однокурсниками. Однажды подпили и отправились в общагу к знакомым девчатам, но застали у них в комнате конкурентов. Андрей и Юра схватили одного из парней за ноги и стукнули лбом об цементный пол. Парень заболел. Андрей поддался на уговоры Юриных родителей и взял всю вину на себя. Дресвянину дали три года. Он отбыл два и вышел по зачетам. Потом устроился в геологическую экспедицию. И лишь недавно вернулся в Пимск. Юра теперь учится на пятом курсе, а Дресвянин остался с образованием в два курса, пристрастился к спиртному, устроился кочегаром в котельную. Он говорит, что лучше не загружать мозг умственной работой, а оставить весь его объем для сотворения стихов.

Мы подошли к приземистому зданию, Юра нажал кнопку. В старинной дубовой двери был большой черный глазок, за дверью слышалось шевеление, очевидно, нас рассматривали. Наконец дверь распахнулась и косяглазый парень, возможно, бурят, сказал без малейшего акцента:

— Пожалуйте в чистилище.

Несколько ступенек вниз — и мы очутились в тесноватом помещении, где по стенам были развешаны большие и маленькие картины. Публика была, как говорится, разношерстная. Были тут медики в синих и белых куртках и штанах, были, вопреки словам Юры, девушки, были парни студенческого возраста. Одного из них я уже видел в теплице. Это был низкорослый пижон в пенсне с серебряной цепочкой, зацепленной за пуговицу пиджака. Юра сказал, что его зовут Джон-Гордон Митькин.

Больше всего публики было возле картины, на которой изображено ухо, из которого выглядывал мужской член, обращенный головкой к зрителю. Из отверстия в головке вылезал малюсенький человечек. Успехом пользовалось и полотно, где на белом фоне был нарисован черный треугольник.

Высокий парень с необычайно громадной копной черных волос сказал:

— Куда там Малевич со своим черным квадратом! Треугольник — это наше все!

Я этого парня немного знал. Он и зимой ходил без шапки, потому что при такой шевелюре какая может быть шапка? Нередко он стоял на центральной аллее университетской рощи в позе Наполеона, сложив руки на груди и глядя в неизвестную даль. Пробегавшие на занятия студенты давно привыкли к нему, точно так же, как к стоявшему неподалеку памятнику Валериану Куйбышеву. Знаменитый революционер тоже имел пышные волосы, но с этим парнем по волосатости соперничать не мог... Говорили, что он за что-то сослан в Пимск из Москвы. Настоящего его имени никто не знал, он всем представлялся как Саша Пушкин. В Пимске его не раз забирали в милицию, лечили на психе. Убедились в его безвредности и отстали. Вина он почти не пил, подрабатывал где-то как художник-оформитель. Теперь он со знанием дела расхваливал черный треугольник:

— Это в нашей древней традиции! Святая Троица, тридевятое царство, три богатыря, три танкиста, три веселых друга.

Публика поддержала Сашу Пушкина:

— Триколор!

— Триумвират!

— Триумф!

— Тритон!

— Тризна!

— Трибунал!

— Трихомонады, триппер! — подал голос один из медиков.

В этот момент дверь мертвецкой с грохотом распахнулась, и оттуда выскочил покойник — весь синий, в белой рубашке, белых подштанниках. На голове у него был берет с пипочкой. Девушки ойкнули, я невольно сделал шаг назад. Малыш-пижон в пенсне с цепочкой по имени Джон-Гордон Митькин объявил:

— Великий критик всех времен и народов Анатолий Перерванцев имеет слово!

Юра зашептал мне на ухо:

— Это медики его нарочно синим гримом накрасили. Он всегда так неожиданно появляется. Не только гениальный, но и очень оригинальный человек.

— Да уж...

Перерванцев с подвыванием затынул:

— Эмоциональное восприятие не есть пустое сотрясение воздуха. Все, что здесь сегодня потрясло ваше внутреннее «я», отдалось в глубинах кипящих галактик. Эгрегор. Тайнство. Облачко, сотканное

из эмоций, желаний, мечтаний, иллюзий, может стать материальным — или здесь на земле или на других планетах. Эгрегор! Жизнь в ладу с законами Вселенной, которая и есть треугольник. Вспомните представление древних о Земле, покоящейся на спинах трех китов. Войти в соприкосновение с Вселенной можно лишь в условиях свободы творчества, мысли, слова.

— Свободы, свободы! — эхом отдалось в морговском предбаннике.

— Позвольте мне сказать! — выступил вперед Юра. — Студент Гордей Кряков был отправлен на поселение в Туендет и служит теперь там на метеостанции только потому, что читал, то что ему хотелось читать. А ведь в конституции записаны свобода слова, союзов, печати, собраний. Мы хотим этого не на словах, а на деле!

— Каждому советскому человеку — ксерокс! — неожиданно провозгласил Саша Пушкин, отколупывая ножичком пробку с долгоиграющей бутылки портвейна. Он глотнул немножко из горлышка и пустил огромную бутылку по кругу.

— Свободу творить и вытворять! — закричали студенты.

— Не надо никого выдворять!

Дурной пример заразителен. Мне тоже захотелось хотя бы немного вступить за свободу, и я выкрикнул:

— Свободу Луису Корвалолу!

Маленький в пенсне сообщил:

— В Ленинграде судили одного поэта за то, что писал стихи и нигде не работал. Они стихи за работу не считают. Забыл фамилию того поэта, кажется, Бредский.

— Не Бредский, а Брадский, или Градский, не в фамилии дело, а в принципе. Он судьям правду в глаза сказал. Нам тоже надо всем говорить прямо в лицо сущую правду. Как писал поэт Твардовский: *«Лучше нету правды сущей, правды, прямо в сердце бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька!»*

— Ага! Скажешь правду! Которые в Ленинграде и Москве — им Запад помощь оказывает. Посылки шлют, деньги передают через надежных людей, литературу. А мы тут, во глубине сибирских руд, от всего мира оторваны.

— Портвейн всегда керосином пахнет, — неожиданно сказал Саша Пушкин. — Они что, в цистернах из-под керосина его возят, что ли?

— Туалетная бумага продается только в Москве, да и то не всегда бывает, — пискнула низкорослая студенточка.

Я возмутился. Вот тему нашла! Понос ее, что ли, прохватил? И я невольно подумал о том, что всю свою долгую жизнь прожил не имея даже и представления о том, что существует какая-то там специальная туалетная бумага. Мы всегда подтирались клочками газет. Очень удобная, мягкая бумага. К тому же, если учесть этот самый эгрегор, то при подтирке какая-то часть информации неизбежно переходила через задний проход в головной мозг. Таким образом приятное мы совмещали с полезным и походя расширяли свой кругозор.

И еще я вспомнил, как дорого ценились у солдат в армии эти самые газеты. Мы их использовали не только для подтирки. Если удавалось стащить в Ленинской комнате газету из подшивки, то счастливцев сворачивал ее в двадцать раз, разрезал странички, и получалась такая маленькая книжечка, которую удобно прятать в кармане гимнастерки. Старшины нам регулярно выдавали махорку. Достанешь газетную книжечку из кармана, оторвешь страничку и сворачиваешь сигарку. Газетная бумага тлеет ровно, дым получается ароматный... А вот если для сигарки оторвать клочок от тетрадки, то сам не рад будешь. Не столько накуришься, сколько намучаешься, дым от такой сигарки пахнет жженой тряпкой и какой-то пропастиной.

Юра тронул меня за рукав и шепнул:

— Может, они сегодня опять свет вырубят, так вы вон ту маленькую хватайте, не пожалеете, ей-богу! Не девка, а вулкан!

— А кто она такая?

— Непризнанная поэтесса Инна Холодникова. На самом же деле девка — огонь, очень даже теплая.

Я оглядел «предбанник» — нигде ни скамьи, ни дивана, никакой подстилки. На цементный пол натащили на подошвах ошметки грязи, осень все-таки. Обстановка — абсолютно не располагающая к извержению лавы. Какой уж тут вулкан? Какой огонь?

Я сказал Юре, что тут душно, пахнет формалином, пора бы удалиться, тем более что с выставкой мы уже достаточно ознакомились.

— Зря уходим, совершенно зря, сейчас только все интересное и начнется...

Мы с Юрой вышли на воздух. В темном здании вивария какая-то собака вскрикивала с беспредельным отчаянием. В ее вскриках явно читалась человеческая мольба: «Спасите! Помогите!» А как я мог ей помочь?

Юра понял мое настроение и сказал:

— Сторож вивария наш хороший знакомый, мы с Дресвой тут не раз пили, в виварии этом. Если получите квартиру, захотите завести

собаку, я вам организую. Тут бывают и доги, и кавказские овчарки, и сенбернары... Пару бутылок водки распить вместе со сторожем, и, как говорится, ноу проблем! Любую породистую выберем.

Ветер прошелестел в деревьях, листья посыпались с печальным шорохом, а собака в виварии опять подала жалобный голос. Сердце мое сжалось. Как плохо попасть в беду, не имея ни друзей, ни знакомых, которые бы тебя пожалели, попытались спасти...

24. ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ ПИТОРОВ

Уже стало достоверно известно, что скоро в Пимск прибывает Питор Сидоров в сопровождении Сидора Питорова. Наш предводитель Вуллим Тихеев провел собрание и сказал, что все руководство обкома и облисполкома стоит на ушах. Я не мог себе представить Тягачева стоящим на ушах, и Балабу тоже не мог. Не такие уж большие уши у Тягачева и Балабы.

Вуллим сказал, что на семинар молодых авторов будут допущены лучшие из лучших, я это должен буду довести до сведения своих кружковцев. И всех в городе и области нужно оповестить об этом. Главное — талант.

Авдей Громыхалов таинственно заметил:

— Главное — чтобы вино было не второго гона, а самый что ни на есть первач, и омуль должен быть свежего копчения. Соболь тоже соболу рознь. Есть такие соболя, что хуже дохлой кошки. Помню, однажды ректору Литературного института такую рухлядь поднесли, что...

— Это к делу не относится! — прервал Вуллим Авдея. — Товарищи должны продумать, как лучше показать гостям наш город, культурную программу разработать.

— И я про то же, — не унимался Авдей. — Ты, Вуллим, всех симпатюшек от организации шахматами отвадил. А кто будет гостей развлекать? Азалия Львовна? Так она уж от своего курева почернела вся... Нет настоящей работы с молодежью. У Петьки Мамичева в его кружке такие страхокозки обретаются, что хоть платок на морду набрасывай. Знаешь, как на Востоке бабам на рожу паранджу надевают? Впору и у нас такой порядок завести. Москвичи, небось, к Шахерезадам привыкли.

— Про шахеры и про зады на партсобрании прошу не упоминать! — вмешался парторг Феденякин.

— Коррупция сплошная и моральное разложение, — пробухтел в углу Иван Осотов. — Давно пора сигнализировать куда следует.

— Ты уж и так всю бумагу извел, блокнотов в продаже не стало, — ухмыльнулся Авдей. — Если что и можешь писать, так одни доносы.

Крокусов страстно завопил:

— Партия меня в люди вывела, помогла осмыслить, помогла талант развить! В моем новом романе бабынька и дедынька осваивают смежные профессии, а папенька, несмотря на возраст, идет в космонавты. Маменька стала депутатом Верховного Совета. Мою рукопись надо обязательно показать Питору Сидорову, опять же, с омулем будет полный порядок, сами понимаете.

— Ты, Паша, под рубрику молодой автор не подходишь, — пояснил Вуллим Тихеев, — ты у нас член союза, у тебя и так романы в Москве печатаются.

— Я по возрасту еще молодой. Разве ж я когда писательскую подводил? Опять же, гости захотят пивка, а как его без омуля пить? Пусть секретарь парторганизации скажет: я же недавно в партию вступал и полностью оправдал доверие, замечаний ко мне нет.

Феденякин закивал. Лука Балдонин ехидно улыбался. Но Вуллим Тихеев разрушил его благодушие:

— На нашем сегодняшнем собрании мы должны сказать и о неприятных вещах. К сожалению, среди нас находятся люди, имеющие не просто завышенную самооценку, но уже как бы утратившие чувство реальности. Прошу тишины. Зачитываю копию письма Луки Балдонина в Центральный Комитет генеральному секретарю и председателю Совета министров Советского Союза:

«Я, Лука Балдонин, единственный писатель в Пимске, который создает произведения, близкие к настоящим классическим. Это общепризнанно, обо мне с восторгом отзывался великий писатель Василий Серов, обо мне говорили по одесскому радио, мои рассказы Пимский космонавт Сергей Калякин брал с собой в космос. В то же время я живу в простой убогой квартирентке. Три года прошу коммунальное управление поставить мне простую финскую сантехнику. А Пимские партийные и советские бюрократы строят себе дома повышенной комфортности. Почему я, имея такой огромный талант, должен помирать под забором? Прошу выделить мне четырехкомнатную квартиру в партийном доме, чтобы я тоже мог пользоваться благами цивилизации. Только мое присутствие в Пимске создает здесь культурную ауру, которой без меня этот город совершенно лишится...»

Вуллим Тихеев оглядел аудиторию и спросил Луку:

— Тебе, Лука, не стыдно?

— Это тебе стыдно, — отвечал Лука. — Твои рассказы никому не нужны. А мои книги на толкучке из-под полы продают в десять и в двадцать раз выше номинала! А ты уже не только себе квартиру выбил в Академгородке, но сделал квартиры и одной дочке, и другой, купил одному зятю «Жигули», а другому «Волгу». А ведь ты на своем посту находишься совсем недавно. Все берешь и берешь из обкомовской очереди. И на казенной черной «Волге» по городам и весям раскатываешь. Где тебе понять настоящий талант? Где тебе понять его цену?

Я невольно подумал о том, что книги Балдолина столь же скучны, как и книги Тихеева. И насчет толкучки Лука загнул. Я был в книжных магазинах, все они завалены книгами Балдолина. Их и по номиналу-то никто покупать не хочет.

После собрания я отправился в свой кружок. Я пригласил на это заседание младшего брата Авдея — Викентия. Он был повыше и потоньше своего могучего брата, но тоже был сильным, спортивным. У него аккуратно подстриженная рыжая борода. Одевался всегда просто, но добротнo, был приветлив, доброжелателен, интеллигентен. Чувствовалась в нем некоторая аристократичность, он смахивал на молодого профессора. Даже и не верилось, что вырос он в детском доме. Я попросил Викентия Громыхалова побеседовать с моими кружковцами, им полезно общение с профессиональными писателями.

По дороге в ПИССУАР мы обсуждали тему приезда в Пимск Питора Сидорова и Сидора Питорова.

— Петечка! — сказал жизнерадостный Викентий. — Их Вуллим на черной «Волге» закатает на обкомовскую дачу. Будет там кормить-поить за казенный счет, среди местных красот выгуливать. И никого близко к ним не подпустит. И засунет им в пасть свои дурацкие рассказы для публикашек в Москве и положительной критики. Ну, может, эти питоры клонут еще и на копченого омуля Крокусова, этот тоже на ходу подметки рвет. А нас, Петечка, никто не спасет, кроме федосеевцев.

— А что это за федосеевцы? И как они нас могут спасти?

— Петечка! После заседания все объясню...

В моем кружке в тот вечер было необычайнолюдно. Слух о скором прибытии в Пимск влиятельных столичных литераторов уже облетел всю пишущую братию.

— Мамич! — кричал Толя Пастухов. — Где этот Пидор, или как его, Сидор? Я ему «крокодила» сделаю. Он сразу мои стихи в Москву

увезет. Что за «крокодил»? Ага! В позвоночнике у меня штырь, а я за счет мышц сделаю! Смотрите все!

Толя вскочил на стол, сделал стойку на одной руке вверх ногами, а затем как-то так изменил позу, что тело его расположилось параллельно крышке стола, а держался он на согнутой в локте правой руке, левая была отставлена в сторону.

— Это и есть «крокодил»! — сказал Толя, спрыгивая со стола.
— Кто хочет, пусть повторит.

И тогда встал со своего места Иван Карамов:

— Я стихи читать буду!

— Стихи? — изумилась Киянкина. — Ты же прозаик, страшилки пишешь.

— Молчи, женщина! Я все могу!

Карамов насупил смоляные брови, дико завращал глазами и стал читать с подвыванием:

*Трудовые горят миллионы,
В черный дым превратились рубли.
А начальники, как скорпионы,
На перинах пригрелись вдали.
За такие большие напасти
Нам отдать бы Балабу под суд,
Ой, не спите вы, местные власти,
К шпалпропитке китайцы ползут!
Что ж ты помер, Андропов, товарищ,
Кто порядок теперь наведет?
Посреди непонятных пожарищ
Наш народ к коммунизму бредет!*

Иван Карамов закончил чтение и победоносно оглядел слушателей. Я невольно сказал, что скорпионы на перинах не спят. И не кажется ли Карамову, что стихи излишне политизированы? И вообще, почему в этом стихотворении китайцы ползут, если инцидент с Даманским давно исчерпан? И отчего наш народ бредет среди пожарищ? Мы идем четкой поступью к построению коммунизма. Андропов помер, но его пост занял достойный человек, товарищ Черненко, наш сибиряк, он наведет порядок. Все хорошо.

— Лакировка действительности! — не согласился со мной Карамов.
— Лак в литературу пускать нельзя.

Я был поражен. Диспетчер автороты, но сносно рифмует и знает такие слова? Растут люди прямо на глазах.

Светлана Киянкина сказала:

— Нужен ты Сидору Питорову со своими стихами, как собаке пятая нога или как корове алиментный лист. Понял? Стихи должны быть простые и добрые. Например, про борьбу с алкоголизмом:

*Солнышко сияет,
Мирный небосвод,
Радость-то какая —
Человек не пьет!
Он идет цветущий
В боровой массив,
Человек непьющий
Сказочно красив!*

— А пьющий — все равно красивее! — возразил Пастухов. — По себе знаю.

— Ты себя со стороны не видишь! — сказала сердито Светлана Киянкина. — Распустите слюни и думаете: хорошо.

— Друзья мои! Не надо ссориться, — вступил в разговор Важенкин. — Иногда немножко можно и выпить для настроения. Ах, как мне хочется взять автограф у Сидора Питорова! Я собираю автографы знаменитых людей. Я стоял трое суток у Аллы Пугачевой в подъезде, меня даже милиция арестовала. Потом я на ее концерте вложил в букет свои стихи, хотел бросить букет на сцену, но оказалось, что в первом ряду сидела переодетая охрана, они у меня отобрали букет и даже по шее дали. Сказали, что я в букет кирпич спрятал или даже бомбу. Так трудно со знаменитостями в контакты вступать! Петр Сергеевич, вы, конечно, сведете меня в конфиденциальной обстановке с москвичами?

Я ничего ему не ответил. Я сам мечтал побыть с приезжими в такой обстановке. Но сколько провинциальных писателей будет крутиться вокруг них? Не хотелось превращаться в назойливую муху.

После заседания жизнерадостный Викентий Громыхалов потянул меня за руку:

— Едем, Петечка, к федосеевцам. Нам без этого никак.

— А далеко это?

— Чуть подале Авдеевой дачи. В самых заповедных кедрачах.

— На чем же поедем? Автобусы уже не ходят, а на черной «Волге» у нас только Вуллим ездит.

— Твой Вуллим еще тот налим!

— Он такой же мой, как и твой.

— Я за него не голосовал. Да ладно, мы автостопом.

— А что это такое?

— Теперь такое дело в моду входит: протянешь руку и машину на дороге останавливаешь.

— Ну, это в Европе, а у нас не остановятся; а если остановятся, морду набьют и дальше поедут.

— Не дрейфь, Петечка, Россия — родина слонов!

25. В ГОСТЯХ У ПИТИРИМА

Долго мы голосовали на окраине Пимска с Викентием Громыхаловым. Машины проносились мимо, никто не обращал внимания на наши поднятые руки. Тогда Викентий вынул из авоськи пол-литра водки и поднял над головой. Это подействовало. Грязный помятый «Москвич» притормозил, лохматый мужик приоткрыл дверцу, подозрительно спросил:

— Чего в бутылке-то?

— Она, родимая, видишь — нераспечатая, еще колпачок не снят, — отвечал Викентий.

— Мало видеть, надо слышать, — отвечал мужик.

Викентий сорвал зубом с бутылки алюминиевый колпачок и сунул горлышко сосуда мужику в губы. Мужик тотчас начал причмокивать, и кадык у него совершал равномерные движения. Почти половина содержимого бутылки исчезла на наших глазах, но Викентий выдержнул горлышко изо рта водителя:

— Пока хватит, а то живыми не довезешь.

— Да я два пузыря принимаю и еду спокойно.

— Довези до места и допивай.

— Ну и жлобы! Далеко едете?

— В Федосеево.

— Лады.

— Покашова это бывшее Федосеево, — пояснил Викентий. — Старообрядцы кондового толка, федосеевцы, до сих пор в окрестностях живут. Где кедр — там и старообрядец, лежат в избушках, замеченных снегом. Какой-нибудь столетний старец — на лежанке. Стоит мешок с кедровыми орехами и больше ничего. В таежной молельне при закатах радели, молились, детей в строгости воспитывали. Потом наладился туда писатель Вячеслав Шишков ездить, а с ним Григорий Потанин, тот даже в дальнее село Петухово забирался... Федосеевцы, один из

шестнадцати старообрядческих толков, собирались в здешних кедрачах на диспуты. Старцы раскрывали святые книги, доказывали беглопоповцам, дырочникам, что они неправые. Дырочники отвергали иконы, вырывали в землянке дырку на восток и молились на дыру, завершали свои дни, падая на свет... Когда по распоряжению царя Николая Второго тут была экстренно построена однопутная дорога, старообрядцы зашумели, загалдели, не хотели железную колесницу «Анчихриста» видеть в своих кедрачах. По-ихнему — это «шиш», демон, засевший в железе идвигающий чертову огнедышащую телегу. При Столыпине стали по этой дороге селить латгальцев, латышей, поляков. Костел построили. А папа римский для староверов — тот же «Анчихрист». Вот тогда и стали отступать старообрядцы за болота в глухую тайгу. Там по островкам тоже кедрачи есть. Трудновато нам будет в ботиночках туда пройти, надо бы высокие сапоги-бродни, но, Петечка, нужда и за подкладкой грош найдет.

— К лесным людям, глядя на ночь? — изумился водила. — Ночью не пустят.

— Психологии не знаешь, — сказал Викентий. — Они же божьи люди, заблудившихся путников в беде не оставят. Им бог не позволит.

— А че вам там нужно? Ты, парень, часом, сам не старообрядец? Бородка у тебя небольшая, но пышная.

— Нет, я не старообрядец, я стрижен, а они не стригутся. Я в архивах документы изучал, их жизнью интересовался. Теперь хочу не по документам с ними познакомиться.

— Ночью не примут, — с сомнением сказал водила.

Мы вылезли на перекрестке и пошли по тропке через болото. Уже подмораживало, но под ногами хлюпала жижа.

— За чертей нас не примут? — засомневался я. — Еще из ружья шарахнут.

— Они ружей не держат.

— А зачем нам к ним?

— Увидишь. Ты только шапку у порога сними и крестись двумя перстами.

— Я и тремя-то не умею.

— Учись! Это, Петечка, история родины и народа. Жаль, темно, не видно, тут вот слева от тропинки келья была старца Варлаама, сто пятнадцать лет прожил. У них кельи по номерам. Теперь в первой келье живет раб божий Силантий, ему под девяносто, но силен, как лось. Но

мы дальше пойдем, в пятую келью. Там один младший раб проживает. Питиримом звать, я его просто Петькой зову. Этот Петька в келье и родился. В сорок втором году чекисты в здешних скитах дезертиров ловили, которые у отшельников зимовали. Один из дезертиров у горбатой старой отшельницы Сусанны жил. Ну, чекисты его арестовали, а через год у старушки мальчик родился. Петька этот самый есть. Отшельники чем живут? Они возле келий огородики держат, кедровый орех заготавливают, туеса берестяные ладят, ложки режут. Петька из них самый молодой, так они его посылали туеса и ложки продавать. Вот он в Покашово ложки продавал, а его для смеха Авдей брагой угостил, дескать, квас такой. Ему и понравилось: ложки продаст, спиртное покупает. В келью свою стал пьяный приходить. Осерчали старцы, наказание на него наложили: поклоны бить. От кельи запретили отлучаться. Вот мы его и навестим, потряс Викентий Громыхалов сумкой, в которой звякнули бутылки.

Я изрядно устал и промочил ноги, когда мы остановились возле небольшого бугорка, который оказался кельей раба божьего Питирима. Мы постучали, нам ответил сочный басок:

— Кого Бог дает?

— Из Покашова раб божий Викентий, брат Авдея Громыхалова!

— Заходите!

Мы отворили крохотную дверцу, вошли в келью, где помещались только узкий дощатый топчан да глинобитная печурка. Окошечко кельи было не больше суповой тарелки. В углу возле темной иконы теплилась лампадка. Косматый и бородатый раб божий Питирим прибавил огня в керосиновой лампе, глядя на нас из-под руки, как богатырь на картине Васнецова.

Викентий чинно стал креститься двумя перстами и кланяться висевшим по стенам иконам. Я последовал его примеру. Раб Питирим тоже закрестился и зашептал слова молитвы.

Помолившись, Викентий сказал:

— Мы к тебе, Петя, по делу.

— Так говорьте! Ложек либо ореха продадим.

— Эх, Петя! На Руси есть обычай: прежде надо выпить за здоровье живых и поминание усопших, — Викентий достал из сумки поллитровку.

Питирим вытянул руки, защищаясь от нас мозолистыми ладонями:

— Ох, грех! Грех! Нельзя мне! Сатанинско зелье!

— Ну, Петя, ты как хочешь, а мы с твоим тезкой выпьем, правда, Петр Сергеевич?

Я кивнул. Викентий вынул из сумки пару стаканов, нацедил граммов по сто.

— Питирим, у тебя закусить нечем?

— Картоха в мундерах. Горяча ишшо.

— Давай!

Мы выпили. Я почувствовал, как по телу разлилось тепло. Хорошо! А то ноги промочил, заколел. Теперь полегчало.

Питирим жалобно глядел на нас, кадык у него дергался, он судорожно сглатывал слюну:

— Ох, бес! Силен вражина! Не могу! Плесните мне чуть на донце моей кружечки. Только старцам не говорьте.

— Не скажем, — успокоил его Викентий, — пей спокойно, ее же и монаси приемлуть.

— То иконы, а нам нельзя, — со вздохом сказал Питирим, осушая свою кружку.

Закусив картошкой, он попросил налить ему уже полную кружку водки:

— Теперя все равно я оскоромился...

Мы просидели у Питирима до рассвета, осушив две бутылки водки, причем львиная доля досталась Питириму. Он плакал, лез целовать нам руки, повторяя:

— Вы мне любы!

Викентий поцеловал его в щеку:

— Петя, дорогой, рассвет уже. Нам надо уходить, чтобы старцы не видели. Петя, я вхожу в вашу веру! Подари мне две иконки: вот эту и эту.

— Ох, да за такой привет хоть все забери!.. Нет, все нельзя. А хоть и все!

Викентий снял со стены две иконы, сунул в сумку:

— Ну, пока, Петя! Пора нам...

— Идitia, идitia, а я схожу на мамкину могилку поплачусь, слезы сами текуть...

Мы бодро зашагали по увалам, среди кедрачей и разнолесья. Теперь уже было видно, куда ступать, идти легче.

Викентий показал мне главную келью старца Силантия и вдруг шепнул:

— Пригнись!

Но пригнуться я не успел, возле кельи возник костлявый старик, похожий на сухостойную лесину, это был старец Силантий, он проскрипел:

— Вилентин, ты куда пошел?

— В Федосееву, — ответил Викентий.

— Ну, иди, иди!

Викентий увлек меня за собой: скорее, скорее, пока этот хрен моржовый не передумал, а то ведь не отпустит.

— Как не отпустит? На него дунь, он повалится.

— Э! Ты его не знаешь.

Мы побежали, не оглядываясь. Долго ломились сквозь бурелом, наконец Викентий сказал:

— Вот и поворот, сейчас проскочим болотце, и Покашово покажется.

Мы пробежали болотце, и перед нами вновь возникла келья Силантия, и старец приветствовал нас злорадным смехом:

— Вилентин! Чего забыл? Зачем вернулся?

— Я же говорил, — шепнул мне Викентий, — теперь он нас путать будет хоть сто лет, куда ни пойдем — все будем к его избушке возвращаться... Дедушка Силантий, чем мы тебе не угодили? Чего ты нас держишь? — спросил он старца.

— Вилентин! Чего в кошелке твоей — верни, да и ступайте с Богом.

— Дедушка Силантий, то иконы, я попросил у Питиримки для Авдея, ты ведь его уважаешь?

— Если лики взял для его, то ладно. Авдея уважаю. Хучь вы оба в детдоме выросли, он из староверов род считает.

— Я разве не брат ему?

— Ты — брат, у вас мать одна, а отцы разные.

— Да ты, дедушка, ты правда ясновидец. Чего Авдею передать-то?

— Мое ему благословение и привет мой!

— Ну, дай тебе Бог, дедушка!

Мы побежали по тропе, вновь оказались у поворота. Викентий опасался, что Силантий опять нас завернет, но на сей раз все прошло благополучно. На холме уже были видны уютные домики Покашова.

— А на что нам эти облупленные темные иконы? Стоило ли из-за них так рисковать? — спросил я Викентия.

— Петя! — ухмыльнулся Викентий Громыхалов. — Одна икона — мне, другая — тебе. Руководителям семинара подарим. Эти моск-

вичи от старых икон с ума сходят. Они тебя и в центральном журнале напечатают, и в прессе расхвалят. Им только бы скорее такую иконку на стенку в своей квартире приляпать. Ликам этим цены нет, это же семнадцатый век! Ну, в крайнем случае — восемнадцатый. Все равно старина...

Мне очень хотелось, чтобы в семинаре поучаствовал Рафис. Я хотел его разыскать, но он сам явился ко мне домой. Причем был с котомкой и острижен наголо.

— Петр Сергеевич! Я ухожу в армию, в стройбат!

— Ты? Как же так? Последний курс. Разве ты плохо учился?

— Да неплохо, но я ведь еще на секретном заводе ночами работал. Работа нетрудная: плазма за стеклом плавится, я в черных очках слежу за ней. Но тут еще стихи добавились. Стал отстающим. Отчислили.

— Зачем же ты с работой связался?

— А что теперь говорить? Пойдемте, сейчас сбор у военкомата. Отцу-то все равно, а вы маме что-нибудь утешительное скажите, а?

У военкомата — толпа родителей и призывников. Вот и родители Рафиса. И я сказал заплаканной маме Рафиса:

— Не плачьте! Ваш сын еще будет большим человеком. Очень болишим!

Она благодарно улыбнулась мне. Было стыдно, было грустно.

26. «КРОКОДИЛ» И ХОЛОДНИКОВА

В Доме партийного просвещения во главе огромного полированного стола сидел знаменитый столичный писатель Питор Сидоров. С ним рядом расположился не менее известный в стране критик Сидор Питоров. Оба они курили дорогие американские сигареты «Филипп-Моррис», стряхивая пепел под стол. Пепельницы не было, так как курить в партийном доме строжайше запрещалось, но великим людям можно все, и Питор с Сидором этим пользовались.

По обе стороны длиннющего стола сидели члены писорга, а также молодые авторы. Впритык к москвичам расположились Вуллим Тихеев и Фома Феденякин. Почетные места занимали Паша Крокусов, Лука Балдонин и Иван Осотов, все они ели глазами столичное литературное начальство. Чуть подальше сидел Громыхалов, прижимая под столом коленями огромный мешок с кедровыми орехами. Рядом с Авдеем уселись мы с Викентием, дальше — члены моего кружка и многие дру-

гие молодые и старые пишущие люди, мечтавшие, что случится чудо: их признают. Тина Даниловна положила на стол красивый альбом, в котором у нее хранились автографы знаменитых людей. Сегодня она намеревалась пополнить коллекцию. Рядышком сидели Саша Пушкин, Анатолий Перерванцев, Джон-Гордон Митькин, Андрей Дресвянин и Юра Феофанов. Они насмешливо оглядывали всех присутствующих. Была среди этих людей и маленькая любительница туалетной бумаги Инна Холодникова.

Авдей шептал мне на ухо:

— Вишь, Осотов и Крокусов рукописи толщиной с деревенский сундук приволокли, постараются этим питорам всучить. Не выйдет! Эти питоры — сытые, и нос в табаке. Им вчера на приеме в обкоме подарили целого копченого осетра и по большому туесу таежного меда. К ним с пустыми руками не подходи. Я вот кедровых орехов мешок приволок — это что-то. Если эти орехи каждый день щелкать, так жену всю ночь в раю содержать сможешь. Такой подарок они запомнят, вот тогда и прочистят дорожку моему роману в столичное издательство. Так вот надо жить в литературе, учись!

Я мысленно улыбался. Авдей даже не подозревает, что у меня в портфеле лежит старинная икона, которая легка в транспортировке, но стоит в сто раз дороже, чем мешок орехов. И у Викентия тоже есть чем привлечь к себе благосклонность столичных светил.

Литературный семинар открывал главный идеолог обкома Семен Семенов. Слова текли, как вода из прохудившегося крана:

— Руководствуясь решениями... идя навстречу... верные помощники партии... образ строителя коммунизма... как указывал в своем докладе генеральный секретарь коммунистической партии товарищ Черненко Константин Устинович...

В зале, где проходило действо, находилась Софья Сеславина. Прежде всего она положила перед питорами на стол маленький магнитофончик, нажала кнопку и легкими шажками отбежала с фотоаппаратом к стене. Несколько раз щелкнула вспышкой, переместилась к противоположной стене и опять несколько раз нас ослепила.

Затем началось обсуждение рукописей молодых авторов. Сидор Абрамович говорил туманно, только и слышалось:

— Теза... антитеза... сублимация... интроверт...

Питор Сидорович Сидоров говорил тоже туманно, но его речь изобиловала длинными ссылками на собственное творчество и критические работы Сидора Абрамовича Питорова. Говоря о своем романе, Питор Сидорович заявил:

— Сначала было слово!

Я не знал, кто такой интроверт, и при чем тут слово, которое было сначала, но ясно видел, что гора рукописей, отобранная Вуллимом Тихеевым для обсуждения на семинаре, визуально практически не уменьшается, хотя время идет к обеду. Семинар должен был работать два дня, и мне было непонятно: как же москвичи умудряются прочитать и обсудить такую гору рукописей за оставшиеся полтора дня? Ведь сидоры-питоры сказали, что сегодня будут обсуждать рукописи, что говорится, с колес.

Сначала автор читал отрывок из повести или стихи, затем они брали из стопки рукопись и, заглядывая в нее, начинали говорить. Питор Сидорович поглядывал на огромные настенные часы. По часам получалось, что он находится на Камчатке или даже в Сан-Франциско. Откуда ему было знать, что эти часы остановились лет пять тому назад?

Обедали мы в партпросовской столовой. Угощение было более чем обильным, но там случился скандал. Саша Пушкин, Анатолий Перерванцев, Джон-Гордон Митькин, Андрей Дресвянин и Юра Феофанов выпросили у буфетчицы весы, поставили на свой столик, и Перерванцев крикнул:

— Теперь мы будем оценивать рукописи!

На одну чашу весов Перерванцев поставил муляжную гирю, на которой были огромные буквы: «Семинар». На вторую чашу весов он положил рукописи стихов Андрея Дресвянина и Юры Феофанова. Гиря подпрыгнула вверх, как живая, упала и покатилась по полу.

— Вот это весомые рукописи! — воскликнул Перерванцев.

К нему тотчас же подошли мужики спортивного вида в штатском и взяли под руки. Мигом исчезла вся компания Юры Феофанова вместе с весомыми рукописями.

После обеда обсуждение началось снова. Питор взял чью-то рукопись и хотел дать слово автору, но в этот момент Толя Пастухов соскочил со стула и завопил:

— Айн момент! Делаю «крокодила»!

Анатолий выжал на столе стойку на правой руке, щелкнул вытянутыми вверх ступнями в щегольских ботинках и затем, по-прежнему стоя на правой руке, придал телу положение, параллельное столу.

Софа Сеславина защелкала вспышкой и с одной, и с другой стороны, затем даже легла на пол и лежа тоже щелкнула своей неожиданной журналистской молнией.

Сидоры-питоры изумились:

— Акробат? На семинаре?

— Я еще и акробат слова! — заявил Пастухов, соскочил со стола и подбежал к питорам-сидорам с громадной папкой своих стихов.

— Хорошо, хорошо, поэт-акробат — очень даже оригинально, такого еще не было, обязательно обсудим вашу рукопись, — улыбаясь, сказал Сидор Абрамович Толе и хотел, было, продолжить обсуждение, но тут к нему подбежала с еще большей, чем у Пастухова, папкой маленькая стройненькая любительница туалетной бумаги и представилась:

— Поэтесса Инна Холодникова.

— Голодникова? — переспросил туговатый на ухо Сидор.

— Холодникова, — поправила его Инна. — И мое имя давно бы гремело на весь Союз, если бы не бюрократы, которые гнобят меня в этом проклятом Пимске. Остальное я вам скажу на ушко.

Она приникла губами к волосатому уху Сидора. Мне показалось даже, что она поцеловала в ухо, а может, даже и не показалось. К горе рукописей прибавилась еще и папка Холодниковой.

Тогда встал кряжистый мужик с большим лбом и угрюмыми, глубоко запавшими глазами:

— Никодим Столбняков! — представился он. — Я из таежного Сергундата, и я написал большой роман про жизнь местных народов, я эту жизнь знаю с пеленок. Такого толстого романа тут больше нету, тут вообще в Пимске романов нету, а этот еврей Тихеев отказался принять мой роман в обсуждение.

Мужик излучал медвежью силу, глаза его были серые, упорные, а в слове роман он делал ударение на первом слоге, что придавало его речи иронический оттенок.

— Почему же вы не приняли эту рукопись, Вуллим Александрович? — спросил Тихеева Питор Сидоров. — Ведь это такой толстенный роман, да еще, вроде бы, о жизни народной? Мы, может, ради такой вещи сюда и ехали.

— Толщина рукописи еще не показатель, — отвечал Вуллим, — вы же понимаете это сами. Он начитался Фенимора Купера. У него остяки плавают в пирогах, носят в прическах орлиные перья, женщина Талгана ходит с татуировкой на лице, а главный вождь остяков оказывается внебрачным сыном русского князя, который неведомым образом за чем-то поселился на Пимском севере. В конце концов выясняется, что все герои романа — княжеской крови, они куют в деревенской кузне древнерусские мечи и шеломя и вообще черт-те что творят... Я сам всю жизнь прожил на Севере, но ничего подобного и близко не видел.

Все это в лучшем случае — бред графомана; а вообще-то, при чтении сего произведения приходит в голову мысль, что автору надо лечиться. Я уж не говорю о том, что автор вообще не знаком ни с синтаксисом, ни с грамматикой.

— А я говорю — еврей, — пробурчал Никодим, — они разве русского человека в искусство пустят?

Вуллим, ласково улыбаясь, ответил:

— Я такой же северянин, как вы, и к евреям не имею ни малейшего отношения. А вот высказывать антисемитские взгляды в общественном месте не советую, это вредно для здоровья.

— Крупная форма нужна, — сказал задумчиво Сидор Абрамович Питоров, — вы подходите, товарищ, к нам после семинара, может, прочитаем вашу рукопись сверх программы. А сейчас ее взять не можем, их у нас и так — целая гора Арарат.

Светлана Киянкина попыталась, было, возникнуть со своими стихами, возопив:

— У меня тоже стихи Вуллим к обсуждению не взял, а они у меня тоже народные! Против народа прет, гад! Граждане питоры, возьмите, почитайте, такового вы еще никогда не читали.

Светлане было отказано, она покраснела, как буряк, и покинула зал, пожелав:

— Чтоб вы все тут обделались жидкой кашницей!

Мне было до слез жаль ранимую и одинокую, а теперь еще и гонимую, Киянкину, но что мог я поделать?

Несколько раз подходили к питорам Лука Балдонин, Иван Осотов и даже суровый Иван Карамов, но питоры говорить с ними не пожелали, я только слышал обрывок фразы, произнесенной Сидором Абрамовичем:

— Это семинар молодых авторов, так чего же вы хотите?..

Вечером из Дома партпроса изрядная толпа направилась провожать питоров в гостиницу Октябрьская. Эта партийная гостиница находилась в соседстве с Домом партпроса. Рядом с питорами шли Тихеев и Феденякин, между ними пыталась всунуться Инна Холодникова, но Вуллим и Фома ей этого не позволяли. Вася Важенкин нес в каждой руке по кедровой шишке. Он хотел удивить гостей сибирским сувениром. Тина Даниловна, потрясая альбомом, просила питоров расписаться в нем. Толя Пастухов то и дело выскакивал вперед всей компании и крутил двойное и даже тройное сальто, по сути — ставил сплошные рекорды.

У входа в гостиницу нас встретила могучего телосложения обкомовская дама. Ее массивная грудь была упрятана под белой кофтой, черным пиджаком и таким же галстуком. На лацкане пиджака кровенел партийный значок.

— Размещаю товарищей из Москвы, а местным — вход без особого разрешения обкома строго воспрещен! — заявила дама.

— Мы — члены! — сообщил Авдей Громыхалов. — Нам можно!

— Я вижу, что члены, — сказала дама. — Никого, кроме руководителя писорга Тихеева и парторга Феденякина, не пушу.

— Но надо же нам подарки товарищам в номер занести! — резонно заявил Авдей.

— Бабынька, мамынька описаны в моих романах, и сам космонавт Рубашечников читал мою книгу, находясь в космосе! — заныл Крокусов, пытаясь просочиться в гостиницу. — Омуля вяленного, для пива! — тряс он тяжелой дерматиновой сумкой.

Грудь дамы стала неестественно расширяться, перекрыла весь вход в гостиницу, и казалось, грудь ее вот-вот достигнет ширины гостиничного фасада.

— Амбразура закрыта! — сказал Авдей и, понизив голос, добавил: — Идем через черный ход, я тут все знаю.

Мы завернули за угол, поднялись по пожарной лестнице на этаж. Спустились уже внутри здания в подвал и подземным ходом прошли к лестнице, которая привела нас в шикарный гостиничный номер.

— Паша, выкладывай на стол омуля! — командовал Авдей Громыхалов. — Под «Столичную» вяленный омуль пре-кра-асно идет!.. Сидор Абрамович! Питор Сидорович! Прозит! Зецен зи би! Спеть вам песню васюганской остячки? — Авдей сыпанул на стол кедровых орехов. — Питор Сидорович! Сидор Абрамович! Пошелкаете на ночь по полстакана орехов и будете как огнедышащие вулканы извергаться. Орех дает сказочную потенцию! Вы станете грозой Москвы и всех ее окрестностей!..

Мы с Викентием поджидали удобного случая, чтобы всучить питорам по иконе и таким образом застолбить себе место в раю. Вдруг в номере появились Феденякин и Тихеев. Они принесли серебряное ведро со льдом и шампанским, а также ящик коньяка.

Не успели разлить коньяк по стаканам, в номер вошла обкомовская привратница.

— Как? — вскричала она. — Они — здесь? Проникли?.. Это уже знаете что? Я гоню их в дверь, а они — в окно? Выдворю!

— Даздраперма Ивановна! — успокоительно сказал Авдей. — Зачем волноваться? Хорошие все ребята, тихие, только — подарки гостям и ничего больше.

После второго тоста Авдей попытался обнять Даздраперму, но длины его руки хватило лишь пощекотать у дамы под мышкой.

Вновь звякнули хрустальные обкомовские стаканы. Авдей сказал тост, якобы по-китайски:

— Бу ахаянь ту лиуминь, и чтоб маянь ку суалинь!

Я шепнул Викентию:

— Странное имя — Даздраперма, не находишь?

— Петичка! — ответил Викентий, проглатывая двух вяленых омулей сразу. — Вспомни строки Евтушенко: *«На свете так много странного, а в сущности странного нет»*. Ну вот! Ее идейные родители так называли. Даздраперма значит — да здравствует первое мая! Лозунг. Усек?

Вася Важенкин с удовольствием пил коньяк, десятками уплетал обкомовские бутерброды с бужениной, заедая их шоколадом и пирожными. Глаза его за стеклами очков увлажнились, иногда от удовольствия он мотал головой.

В это время Питор Сидорович поцеловал взасос поэтессу Холодникову, видимо, для того, чтобы она потеплела. Даздраперма попыталась читать мораль насчет гостиничных правил, но Авдей запустил ей руку под подол, и дама умолкла на полуслове. «Сейчас она ему треснет!» — подумалось мне. Но ничего подобного не случилось. Даздраперма положила голову Авдею на плечо и сказала:

— Что-то мне нехорошо стало, проводите меня в ванную комнату.

Через минуту за стеной загрохотало так, словно десяток сантехников принялись чинить систему...

Через час или полтора Авдей с Даздрапермой вышли к гостям. У Авдея был фингал под глазом, а у Даздрапермы порвана юбка. Они молча принялись пить шампанское.

Питор Сидорович тут же потащил в ванную Холодникову:

— Освежу, освежу!

Вслед за ними заплетающейся походкой поплелся Сидор Абрамович:

— Я тоже хочу!

Как известно, третий — лишний. В ванной раздались крики, шлепки, удары, и Сидор Абрамович вылетел из нее, как пробка.

— Хи-хи-хи! — хныкал он. — Я хочу ее, что же такого? Зачем драться и таскать меня за волосы?

И тут я увидел странную метаморфозу. Кудрявый Сидор Абрамович превратился в лысого, только с одного плеча его свисало нечто вроде девичьей косы. Оказалось, что у Сидора Абрамовича голова уже давным-давно лысая, но он отрастил на затылке эту косу и как-то ее вокруг головы обматывает, приклеивает, что ли, или скрепками сцепляет, лысину маскирует. И тут в ванной именно за эту его косу и ухватил проклятый Питор, обнажил лысину, опозорил!

Сидор Абрамович принялся беспардонно пить коньяк и водку, повторяя:

— Я Сидор! В детстве меня секли, как Сидорову козу, чтобы я был хороший, а я все равно плохой...

К нему подсел Вуллим Тихеев, попытался приладить ему косу на лысину, повторяя:

— Пить не надо, головочка будет «вава», а ведь завтра второй день семинара, сегодня вам надо прочесть гору рукописей.

— Делаю «крокодила»! — кричал пьяный Толя Пастухов, пытаясь выжать стойку на спинке гостиничной кровати. Но рухнул на пол и затих.

Паша Крокусов спал, уткнувшись носом в тарелку. Вася Важенкин с выпученными глазами все продолжал давиться обкомовскими вкусами.

— Др... мои! — вылетало у него изо рта вместе с крошками.

Холодникова выбежала из ванной, наполнила два стакана коньяком и удалилась обратно. Викентий шепнул:

— Иконы им надо будет завтра вручать, сегодня они уже того... ни уха, ни рыла. Давай тоже напьемся, чтобы стать с ними на одну ногу.

Напиваться не хотелось, но нельзя же быть в такой компании трезвым? Это сочтут за демонстрацию.

Мы выпили. Еще и еще... Даздраперма лежала в кресле и рыдала. Авдей и Феденякин уснули на полу. Только Вуллим пытался изобразить из себя вместилище разума. Но было видно, что тоже изрядно налился.

В какой-то момент возле стола образовались Холодникова и Сидоров. Он ткнул пальцем в Авдеев мешок и спросил:

— Что это?

— Орехи!

— Какие, на хрен, орехи? Разве же это орехи? Вот мы были в Закарпатье, так там орехи — действительно орехи. А это мелочь какая-то, как их сибиряки едят? Потенция! Глупость какая!

Питор Сидорович Сидоров поднял мешок, отворил окно и стал высыпать кедровые орехи с третьего этажа вниз, на заснеженный берег реки Тами.

Расправившись с орехами, он вернулся к столу и вновь осведомился у Холодниковой:

— Что это?

— Рукописи, — отвечала любительница туалетной бумаги, — вам их к утру прочитать надо.

— Не надо! — сказал Питор Сидорович и выбросил охапку рукописей в окно.

Их подхватил холодный ветер и понес куда-то за великую реку Тамь. Питор Сидорович злорадно ухмыльнулся.

Сморенные сном Даздраперма, Вуллим и Фома не видели этого кошунства. И слава Богу. Нервы целее будут.

27. ВЕЛИКАНЫ ТЕЛА И ГИГАНТЫ ДУХА

Пришла суровая сибирская зима. А отзвуки состоявшегося поздней осенью творческого семинара все еще продолжали волновать светлые умы города Пимска.

Семинар тогда вместо двухдневного получился однодневным. Придя на второй день в Дом партпроса, я увидел взволнованных Вуллима Тихеева и Даздраперму Литосову. Они мне сообщили: второй день семинарских занятий отменен.

— А на какое число перенесли? — спросил я Тихеева.

— Ни на какое! — ответил он. И сказал партийной даме: — Ну, мы с Петром Сергеевичем пойдем.

Она кивнула.

— Куда пойдем? Почему семинар закрылся?

— Пойдем выполнять задание обкома партии.

— Как?

Вуллим прошептал в мое обмороженное ухо:

— Скандал, брат! Большой скандал! Питор Сидорович и Сидор Абрамович отказались продолжать семинар. Они сегодня с самого утра запили. Потом Питор Сидорович пошел в буфет за водкой, а Сидор Абрамович закрылся в номере и уже два часа никому не открывает. Сидор почему-то там визжит и плачет, мебель передвигает и окна бьет.

— А мы что сделаем?

— Ну, я тебя почему позвал? Ты же в детстве без отца рос, был в шалманах — сам рассказывал.

— Ты тоже без родителей рос.

— Я — в деревне, а ты — в городе. Ты по вокзалам мотался, по поездкам...

— Ну и что же?

— Как что? Обком не может вызывать милицию и этим опозорить столичных писателей. А между тем, нужно срочно вскрыть дверь, потому что Сидор Абрамович угрожает покончить с собой. Запасной ключ с щитка у дежурной таинственно исчез. Ну, ты же можешь замок какой-нибудь отмычкой открыть?

— Ах, вон как? Ты в обкоме доложил, что я криминальный авторитет?

— Фу ты какой! Я просто сказал, что ты в прошлом опытный слесарь, ну и вот. Нам только дверь вскрыть. Возле гостиницы уже стоит обкомовская машина. Этих питоров увезут в обкомовскую больницу якобы с отравлением желудка, дескать, омуль был плохо проявлен. Обкомовские врачи перельют им кровь через уголек, отрезвят, и машина тут же увезет их трезвеньких и хорошеньких в аэропорт. Питоров погрузят в самолет вместе с подарками в виде меда и пары соболей. И они улетят в столицу. И все будет хорошо.

Мы вошли в гостиницу, весь персонал которой толпился в холле. Даже здесь были слышны истошные вопли Сидора Абрамовича, который вспоминал Кришну и Вишну и матерился на четырех языках, а может, и на десяти, не знаю. Я разобрал русские, армянские, татарские и цыганские матерные слова.

— Полиглот, однако! — сказал я.

— Не теряя время понапрасну! — занервничал Вуллим. — Каждая секунда дорога.

Я попросил на кухне ножик с самым тонким и гибким лезвием. Отжать этим лезвием ригель простенького гостиничного замка мне ничего не стоило. Едва мы с Вуллимом вошли в номер, Сидор Абрамович, оборванный, грязный, со свисающим на спину длинным клоком волос, кинулся под кровать с визгом:

— Зеленые, рогатые! Мама! Спасите! Ой-е-ей!

— Мы областные писатели, мы не зеленые, не рогатые, выходите, пожалуйста! — уговаривал его Вуллим.

— Зови поваров, да поздоровее, одни мы не справимся, — сказал я Вуллиму.

В этот момент из-под кровати выставилась тощая задница столичного критика, я не удержался и дал ему хорошего пинка. Это подействовало на него благотворно, он перестал визжать.

Вскоре пришли повара, взяли Сидора под руки и отвели в машину. Питор уселся в нее сам. Не знаю, что делали доктора с загулявшими руководителями семинара, но вечером того же дня оба молодца отбыли в Москву. Об этом я узнал от Вуллима. На аэродроме высоких гостей провожали только Вуллим да Даздраперма.

— Как думаешь, что теперь будет? — спросил я председателя писорга.

— А что? Все хорошо. Местные авторы послушали известных писателей, поучились, — сказал Вуллим, — это прекрасно. Мы поставим галочку в отчете.

— Прекрасно? Галочку? А ты не думаешь о том, что Иван Осотов уже накатал огромную «телегу» в Москву? Причем сразу в несколько инстанций?

— Не дойдет, на почте перехватят, есть специальная служба такая.

Вуллим испуганно прикрыл ладошкой рот, думая, что выдал мне государственную тайну. Но это был секрет Полишинеля. Я Вуллима успокоил:

— Осотов — гусь опытный, он свою бодягу не по почте пошлет, а с оказией.

Вуллим переменялся в лице. Он сжал виски руками. Открыл рот, но ничего не сказал. Ему явно было не по себе.

— Чего ты зря волнуешься? — опять утешил его я. — На чужой роток не накинешь платок, семинаристов-то вон сколько в доме партпроса было. Да в гостинице гости были. Так что, если даже Осотов ничего не напишет, все равно все выйдет наружу. А он обязательно напишет.

И я — как в лужу глядел. Вскоре стало известно, что Осотов написал три подробных отчета о пребывании питоров в Пимске: в ЦК КПСС, в Совет министров и в Союз писателей СССР. Он очень точно описал и все то, что было в гостиничном номере. Как это ему удалось? Ведь сам Осотов там не присутствовал! Вот что значит — способности!

Но этим дело не ограничилось. Питор Сидорович прислал Вуллиму отчаянное письмо. Оказывается, Инна Холодникова во время оргии в гостиничном номере украла у Сидорова писательский членский билет и партийный билет. Теперь она шантажировала его. Звонила по телефону и угрожала, что приедет и скажет его жене, что видела у

него на мошонке три огромных родимых пятна и еще на боку шрам от аппендикса видела, белесый такой. Шрам — ничего, но три родимых пятна на мошонке — это уродство. Как известно, телесное уродство ведет к уродству моральному. Вот поэтому моральный урод Питор и изнасиловал бедную Инну Холодникову. Так она и скажет его жене.

А еще настроили жалобы в Союз писателей СССР все молодые авторы, чьи рукописи Питор Сидорович выкинул в окно. Иван Карамов сообщил в КГБ, что питоры агенты мирового империализма и переговаривались с сообщниками с помощью особенного кода, произносили малопонятные советским людям слова «теза» и «антитеза», «сублимация» и «консенсус». Их сообщники устроили в столовой антисоветскую агитацию с весами и картонными гирями, намекая на то, что тамичам кроме бумаги и есть нечего. Сидор Абрамович — сионистский шпион, агент «Моссада», распылил под окном целый мешок кедровых орехов. Цель? Через несколько лет под окнами вырастет густейший кедрач. Приезжие партийно-советские работники не смогут увидеть из окон гостиницы великие стройки коммунизма нашего города.

Питоры звонили Вуллиму каждый день, молили и просили как-нибудь заставить жалобщиков отказаться от своих слов. Но что можно было сделать?.. Наконец Питор Сидорович попросил сообщить Инне Холодниковой, что он сможет издать в Москве ее книгу стихов и организовать положительные отзывы в толстых журналах, если она вернет ему партийный и писательский билеты и напишет письмо о том, что в прежних своих заявлениях клеветала на него.

Вызванная к Тихееву Инна Холодникова сказала:

— Билеты верну, как только увижу книжку. От своих слов отказываться и не подумаю. Пусть даст еще обязательство, что он примет меня в Союз писателей. А вы должны уволить вашу мегеру и сделать меня секретарем писорга.

Тихеев понял, что наглости этой девицы не будет конца, и сообщил обо всем куда следует. А куда именно сообщил — я до сих пор не знаю. Только Холодникова больше к нам не являлась, растаяла, как дым, как утренний туман.

Через несколько дней Вуллим попросил меня зайти к нему в кабинет.

— Садись, — сказал Вуллим, — слушай, будет тебе задание.

— Какое именно? Опять где-нибудь двери надо вскрыть?

— На сей раз двери вскрывать не надо. Теперь задание будет самое простое. Сходи к этому задрипанному романисту.

— К какому?

— К Столбнякову. Он из своего Сергундата в Пимск перебрался, на улице Шишкова живет.

— А на кой он тебе? Ты же его роман ругал, индейцы там бегают, то, се.

— Да мне-то он не нужен. Сидор Абрамович звонил. Им там от начальства крепко влетело. Вместо поиска талантов занялись пьянкой и развратом. Они теперь хотят доказать, что вовсе не зря в Пимск ездили, сделали открытие.

— Это Столбняков-то — открытие? Ты же говорил, что написал он ерунду.

— Ну, ерунда, конечно, но рукопись толстая, много там страниц про тайгу, про местные обычаи. Прикрепят к нему опытного правщика, подработают, пропишут эпизоды, если надо, то и допишут. И опубликуют роман в журнале «Красная гвардия». Вот вам! Говорите: гуляли мы? А мы — самородок нашли, россыпь золотую... Ладно, иди. Скажешь ему, чтобы пришел к Азалии Львовне, она ему командировку в столицу выпишет и деньги выдаст. А я лично его видеть не хочу.

— Ну вот, ты не хочешь, а я должен с ним вошкаться. Ну, ладно, так и быть, ради питоров пострадаю. Ты им сообщи, что я на них работал, пусть учтут...

Сергундатский прозаик обосновался в усадьбе, где жил всякий сброд. Гниловатые бараки подлежали сносу, и жили в них без прописки отчаянные люди — пьяницы и дебоширы. Квартира имела нехороший номер тринадцать. Я вздрогнул, увидев в полумраке в сенях подвешенное к косяку худенькое ободранное тельце, глаза ребеночка закрыты, кожа ободрана чулком. Но тут комнатная дверь отворилась, раздался уверенный голос:

— Проходите, пожалуйста, тебя черт принес или сам пришел?

Из комнаты в сенцы упало пятно света, я понял, что на палках висит не ободранный ребенок, а, скорее всего, кролик или заяц.

Я вошел. Комната романиста была обставлена более чем скромно. На кровати лежала овчинная шуба. Зацепленная ремнем за гвоздь, над кроватью висела двустволка. На полу стоял банный таз. Были еще самодельные стол и стул. Все.

Я представился. Сказал, что кролика могут спереть из сеней.

— Это не кролик, заяц, ловлю петлями для пропитания. И никто у Столбнякова ничего не тронет. Пусть попробуют, я там капкан настрожил, пальчик враз оттяпает!

— Ну, со здешним народцем тебе лучше жить мирно.

— Столбняков в одиночку на медведя ходил, это не мне их бояться надо, а им меня. Вон — ружье.

— Стрелять, что ли, будешь? Засудят.

— Мы, таежные люди, не боязливые. Это вы, городские, вечно дрожите.

Я вкратце просветил Столбнякова насчет своей прошлой жизни. О том, что прошел я и Крым, и Нарым, и большую Колыму, и маленький Ташкентик.

— А-а! Тогда садись, сейчас чай варить будем. Вот у меня таз на все случаи жизни. Умываюсь в нем, стираю в нем, шкуры выделяваю в нем, чай варю тоже в нем. Мы таежники, у нас каждая вещь за десять служит.

Он выбежал во двор, набил таз снегом и поставил на плиту.

— Сейчас вода закипит, заварим чефирчик в кружке и похлебаем.

Чефир мне пить не хотелось, от него не столько пьяный делаешься, сколько сердце стучит, но надо же поддержать свою репутацию бывшего человека. И я стал пить со Столбняковым чефир: он сделает поток, потом я, и так далее.

— Ты по делу какому? — наконец спросил Столбняков.

Я сказал, что меня Тихеев прислал.

— А-а, этот картавый Абраша? Какого ему от меня надо, пархатому?

— Да он не еврей вовсе. И к тому же, дело для тебя интересное. Тебе командировку дают в Москву. Там Сидор Абрамович поможет тебе роман доработать и напечатать в журнале, известен станешь всей стране.

Большой лысоватый череп, нависающий над глазами лоб, тонкие и длинные шнурочки бровей, упорные глаза, мерцавшие в глубоких впадинах, придавали этому кряжистому мужичку вид крайней самоуверенности. И он свой вид вполне оправдал, заявив:

— Я и без этих пархачей известен стану!

— Отказываться от поездки тебе не следует. Публикация в столичном журнале — это же такой шанс, какого, может, во всей твоей жизни больше не будет. Имей в виду.

Он возбудился и заговорил, как Трындычиха, когда слова насккивают на слова, и лишняя буква прибавляется к любому слогу:

— А с-сколько з-заплатят мне эти к-козлы?

— Не знаю. Да ты бы про это не думал. Главное — напечататься, известным стать, потом и платить будут соответственно известности.

— В-видишь, к-какие к-книги л-лежат на столе?

На столе лежало несколько размахившихся старинных фолиантов.

— Да, книги старые, и что?

— Эт-то двадцать соболей и два м-мешка ор-рехов. Этот Дружеский С-сарж не такой смешной внутри, как снаружи.

— Какой еще Дружеский Сарж?

— Ну, этот, из букинистического. Сначала лапшу на уши вешал: нет таких книг старых, не приносят, запрещено. А как я ему подмазал медвежьим салом, так сразу стало все разрешено. Я к нему домой хожу. Мне его жалко. И он меня жалкует. Я бы без этих книг роман не поднял. Мне сейчас к нему идти, пойдешь со мной?

— Ладно, сходим, в магазине-то я его сто раз видел, а вот в домашней обстановке не бывал. У него там, поди, книг полно?

— Да не так-то много, но есть, увидишь.

— Я не понимаю: что ты из старых книг можешь взять? Там же мутота одна.

Он посмотрел на меня, как на младенца.

— Там древние карты, там тайны, не каждый разглядит, тут нюх надо, как у северной лайки. В одной старой книге я нашел на карте крохотное озерко с названием Ширхан, такое имя главному герою дал, теперь оно прогремит по всей Руси. Ширхан — вождь племени, а его бабушка Маргада беседует с кедрами и березами, с духами болот. Она в нашей тайге — верховный жрец и судья. Именами моих героев будут называть корабли и звезды. Понял ты, посланец еврея? Я эти имена не сразу нашел, они являлись мне во сне.

Я подумал, что таких имен я могу выдумывать по шестьдесят штук в час, но Столбнякову об этом не сказал: такой самолюбивый мужик обязательно обидится, еще и в драку полезет. А зачем мне это?

И мы пошли к Дружескому Шаржу, который жил в центре города, неподалеку от букинистического магазина.

История сего Шаржа такова. Известный академик Владимирский, лечивший когда-то самого Верховного правителя России адмирала Колчака, в семидесятилетнем возрасте женился на сорокавосемилетней ученой женщине, профессоре медицины. И они в таком возрасте решили во что бы то ни стало занять ребенка. И они его заимели. Их уже давно нет на свете, а Кеша Владимирский пятидесятый год семенит по Пимской земле своими маленькими ножками, размахивая коротенькими детскими ручками. Голова у него непропорционально большая, и черты лица несколько искажены болезнью.

Но оказывается, что и при водянке мозга и каких-то там гипофизных сдвигах можно жить, творить и иметь успех! Конечно, мне всегда было неловко подходить к человечку, рядом с которым я при моем невысоком росте казался чуть ли не великаном. Даже когда Кеша стоял в своем букинистическом магазине за прилавком на специальной подставке, он все равно был ниже меня!

Но странное дело: Кеша из-за своей внешности ничуть не расстраивался. Во всяком случае, со всеми людьми он разговаривал вежливо, солидно, на равных, а иногда и с некоторым оттенком превосходства, с едва заметной усмешечкой. И это не было фрондой. Кеша с отличием окончил филфак местного университета, и познания его в литературе и искусстве были так глубоки, обширны и разнообразны, что этим восхищались известные литературоведы и искусствоведы. Ему прочили научную карьеру, но он устроился младшим продавцом в книжный магазин в букинистический отдел и очень скоро стал директором магазина.

Он умел раскапывать редкости. Он знал наперечет всех пожилых обладателей редких библиотек. И многие из стариков завещали свои библиотеки букинистическому магазину, именно благодаря умению Дружеского Шаржа убеждать людей. Они осознавали, что только Владимирский сможет передать их сокровища в надежные руки. Иннокентий заказывал специальные штампы-экслибрисы с надписями. Например: «Из библиотеки А.И. Иванова». Даритель чувствовал, что его увековечили.

Дружеский Шарж был вечно окружен людьми. Перед ним заискивали, ведь далеко не у каждого он принимал заказ. Но если выяснялось, что перед ним тот самый человек, которому без той или иной книги, ну, просто не жить, Кеша говорил уклончиво, что попробует поискать. Записывал заказ в тетрадь, назначал дату нового визита. И находил обязательно.

Кеше заказывали книги академики, профессора, драматические актеры и мастера эстрады, артисты цирка, инженеры, художники, архитекторы, скульпторы, музыканты, писатели, журналисты, военные. К нему приезжали книголюбы даже из Москвы и Петербурга. И каждого нового посетителя магазина он видел насквозь, словно рентгеном его просвечивал. Иным помогал без звука, а некоторым бесстрастно отвечал:

— Вам это не нужно.

Человек начинал заводиться:

— Как? Мне? Почему?

— Ничем не могу помочь, — отвечал Кеша. — Можете жаловаться! — и терял интерес к посетителю.

Городу было известно, что годам к тридцати Кеша собрал уникальную библиотеку, практически все книги и альбомы о русском балете. Его спрашивали: а почему о балете? Он только улыбался в ответ. Хотя можно было догадаться, что созерцание красивых рук и ног танцовщиц и танцовщиков действует на Кешу благотворно. Но он не просто созерцал. Он знал историю балета. И читал соответствующие лекции в школах, вузах, училищах. Голос у него был хорошо поставлен, говорил четко, красиво, без вводных слов и лишних междометий. Стоило Кеше заговорить, и публика мгновенно забывала, что ручки и ножки у него маленькие, а голова непропорциональная. И школьники готовы были его слушать два часа и не просились на перемену. Часто выступал он по радио, а в последние годы и по телевидению. Операторы так вводили Кешу в кадр, что его физический недостаток был почти незаметным.

Была у Кешы еще одна страсть. Он собирал рукописи, мемуары Пимских и иногородних режиссеров и актеров. И написал историю Пимского театра.

Я часто видел, как Кеша шел по городу с той или иной высоконькой красавицей, и она глядела на него с обожанием. Это было странно, но это какой-то одной гранью было понятно. И все-таки я мало знал его жизнь. До сих пор я чаще видел его мельком, издали.

Мы поднялись на площадку второго этажа. Вот и квартира три. Звонок тут был не электрический, торчала из двери некая рукояточка, которую я догадался покрутить. За дверью раздался мелодичный звон. Короткие шажки, дверь отворилась, на пороге стоял Дружеский Шарж в золотистом халате, перехваченном поясом с пышными кистями.

— А-а? Великий прозаик Никодим Столбняков с великим Пимским поэтом Петром Мамичевым! Проходите, проходите!

Я удивился: оказывается букинист меня знает?

— Как не знать? Ваши книжки мне на комиссию сдают, а в них есть ваши портреты, — пояснил букинист.

Мне стало не по себе: сдают, значит, не дорожат моей поэзией? А может, это принцип армейский листовки: прочитал сам, передай другому?

— У вас интересный звонок в двери, — сказал я.

— Антиквариат! — отвечал Дружеский Шарж. — Нам ведь в магазин не только старые книги приносят, некоторые старики разную древность механическую и сувенирную волокут. Я подумываю отдел создать антикварный, да начальство пока не разрешает. Вот эту штучку

для себя купил. Экономия электричества. Если в доме отрубится свет, к соседям уже никто не позвонит, а ко мне — пожалуйста! И посмотрите — прелесть какая, колокольчик напоминает церковный, только уменьшенный в тысячу раз.

Квартира букиниста состояла из небольшой прихожей, кухни и просторной комнаты, где помещалась громадная старинная кровать, застланная цветастым пледом. Письменный стол, комод, шкафы, стулья — все было доставлено в наше время чуть ли не из восемнадцатого века. На стенах было всего две картины каких-то старинных итальянцев. Морские пейзажи. А рядом, в старинной овальной рамке, загадочно улыбался известный в прошлом сибирский режиссер Гарденин, знаток изящной литературы, друг Элеоноры Дузе и Айседоры Дункан, переводчик Габриэля д'Аннуцио. Говорили, что Владимирский хранит мемуары Гарденина.

Над кроватью висел портрет стройного юноши. Я не сразу понял, что это портрет самого Владимирского. Ну да, это его голубые глаза, его нос, губы, но это не карлик. Юноша задумчиво смотрел на вечерний пейзаж, за рекой солнце садилось в леса, печально освещая лесные прогалины и заводы с кувшинками. Да! Таким красавцем он мог бы быть, если бы не ошибка каких-то там невидимых архитекторов, строящих из невидимых кирпичиков здание человеческого организма.

В квартире Дружеского Шаржа былолюдно. Иннокентий стал нам представлять гостей в свойственной ему манере, придавая каждому человеку вес и значительность. Впрочем, многих гостей я знал: видел их в газетах либо на телевизионном экране. Были здесь собиратели значков, марок, открыток, монет и бон. Один из них — Антон Сабанюк — прежде был капитаном теплохода, а теперь служил в центральной библиотеке; другой — бородатый Коля Новичков — был деканом строительного института и актером театра Дома ученых. Страстный филокартист и любитель юных истеричных актрисок. Были тут и Юра Феофанов, и Андрей Дресвянин. Была тут и Софа Сеславина, оно и понятно — собирает марки. А что же надо здесь провокаторше Холодниковой?

Разговор шел о раритетах, о найденных в подвале документах купца Кухтерина. Некоторые тут же договаривались об обмене открытками и прочими коллекционными материалами.

Я шепотом спросил Софу о том, что именно собирает хозяин квартиры: марки, открытки, монеты?

— Он собирает все, но только если это касается театра. Теперь

он пишет книгу о Пимском театре, подробнейшую историю его — от возникновения до наших дней.

— Его органы случайно не пасут? — поинтересовался я уже совсем беззвучно, Софа могла меня понять лишь по движению губ.

— Не знаю! — отмахнулась она раздраженно.

В это время хозяин пригласил всех на кухню.

На кухне мы расселись тесно, как семечки в подсолнухе. Дружеский Шарж хрустальным черпаком с длинной ручкой разлил всем по кружкам черный кофе. Он поставил на стол бутылку рома и предложил любителям добавлять в кофе ром. Затем он водрузил в центре стола антикварное блюдо с приготовленными им собственноручно печеньями.

Разговор шел о книжных новинках, о модных писателях. Никодим Столбняков встал и возгласил:

— Скоро я стану самым м-модным! Мой роман про старуху Маргаду сотрясет мир.

— Потрясет! — поправила Софа.

— Сотрясет! — не согласился Столбняков.

Потом Холодникова, Феофанов и Дресвянин читали стихи. Причем Холодникова заявила, что у нее очень скоро выйдет книжка в Москве. Феофанов и Дресвянин сказали, что этого не может быть: если уж их не печатают в Москве, то кому нужно ее претенциозное косноязычие?

Были литературные споры, анекдоты, шутки...

Ушли мы со Столбняковым за полночь. На улице пуржило. Зима намела возле оград и домов высоченные сугробы, снег таинственно искрился в свете луны.

— Вообще компания добрая, — сказал прозаик-теажник, — только я этот ихний кофий терпеть не могу, то ли дело чай или водка!

— Ты завтра за командировкой к Азалии Львовне не забудь зайти, — напомнил я ему.

— Зайду, раз такое дело. Поняли, кто такой Столбняков, спохватились! Забегали. А то этот Тихеев начал мне лапшу на уши вешать: не то, не так! Все — то, и все — так! По уму, по кумполу!

28. РОКОВАЯ ЯИЧНИЦА

Морозы миновали, задули февральские ветры. В моей жизни мало что менялось. В кружке со всех сторон обмусолили пребывание в Пимске и внезапный отъезд столичных питоров. От уехавшего в сто-

лицу Никодима Столбнякова пока что не было никаких вестей, он как в воду канул.

Столица и дела ее вновь стали такими далекими, что казалось: никакой столицы на самом деле и нет, ее просто выдумали какие-то шарлатаны. Лишь иногда мне удавалось посмотреть в писорге старенький телевизор, в котором изображение дрожало и расплывалось. Меня немножко интересовал наш новый генсек, но его как-то редко показывали.

И вот вдруг в марте по радио зазвучала печальная музыка, и стало известно, что Черненко помер. Мне тогда подумалось: теперь нам, сибирякам, надеяться совсем не на что. Черненко еще мог для нас что-либо сделать, а остальным на нас будет глубоко начхать.

Но состоялись пышные похороны престарелого генсека, и страна узнала, что нами теперь будет править человек молодой. Сам он с Кавказа, фамилия его Горбачев, с детства работал в колхозе, знает трактор и комбайн, и вообще душка.

Киянкина на очередном занятии так и сказала:

— Посмотришь его в телевизоре — душа радуется. Надоели старые морды, а этот такой хорошенький, молоденький, дай ему бог здоровья. Я вот, может, ему письмо напишу, пусть этих питоров приструнит, почему они мои стихи в столичный журнал не взяли.

Тут же Толя Пастухов возмущенно закричал:

— Не взяли и не взяли, ты ничего не потеряла! А я им «крокодила» делал, на голове для них стоял, сальто крутил! Я только за перепечатку стихов ползарплаты отдал, а они мою рукопись в окошко выкинули, по ветру развеяли! У меня даже копии нет, я свои стихи не смогу теперь по памяти восстановить.

Иван Карамов кратко сказал:

— У меня все на пленку записано, никуда не денутся.

Работник прокуратуры Юрий Заводилов пояснил:

— Никакого значения ваши жалобы не будут иметь. Вы с них расписку в получении рукописи не брали. И зарегистрированы ваши рукописи в писательской организации не были. Так что лучше себе и людям нервы не мотать.

— Аморалка была, факт! — крикнул Пастухов.

— Слыхали, — отвечал Юрий, — ты сам в пьянке участвовал вместе с Важенкиным. Но, опять же, где свидетели, и кто станет на писательских начальников показания давать? Это значит навеки закрыть себе путь в большую литературу.

А мне думалось: боже ты мой! О чем спор? Какой путь? В какую литературу? Разве можно, живя в Пимске, рассчитывать на успех в Москве?

А через неделю после этого занятия моего кружка я прочитал в местной газете «Алое пламя» ликующее сообщение. На самом верху страницы крупным шрифтом был набран заголовок:

«Громадный успех в столице Пимского прозаика Никодима Столбнякова и Пимской поэтессы Инны Холодниковой!»

В статье рассказывалось, что *«роман писателя-таежника Столбнякова «Старуха Маргада» опубликован в журнале «Красная гвардия», предполагается также его публикация миллионным тиражом в «Туман-газете» и издание отдельной книгой. В настоящее время Столбняков работает над новым романом, который будет продолжением «Старухи Маргады» и будет называться «Князь урмана». Центральное издательство выпустило также книгу стихотворений тамички Инны Холодниковой «Сибирские кандыки», которую высоко оценил в своей рецензии известный российский критик Сидор Абрамович Питоров. В проникновенных стихах Пимской поэтессы наблюдаются и теза и антитеза, а это редко бывает в книгах молодых авторов. Можно смело сказать, что Инна Холодникова это звезда, которая восходит на небосклоне российской поэзии...»*

А когда подсохла глина на взгорье, и буйно зацвела черемуха, и теплое дыхание весны врывалось в распахнутые окна писорга, в нашем здании появился незнакомец в мягкой серой шляпе и в серой тройке из заграничного сукна. Галстук незнакомца был зашпилен бриллиантовой булавкой, через левую руку был перекинут плащ с шелковой подкладкой, в правой руке он держал трость с черепаховым набалдашником, а его лакированные ботинки скрипели и сверкали.

Он вошел в «предбанник», где Азалия Львовна выколачивала рубли из клавиш старенького «Ундервуда», и швырнул свою щегольскую шляпу на журнальный столик. Азалия Львовна сделала незнакомцу замечание:

— Чего вы тут шляпами швыряетесь? Вон у нас в углу вешалка стоит. И в кабинет вас не пущу, ответственный секретарь занят.

— Начхать мне на его занятия! И начхать мне на его ответственность. И на тебя самое — тоже начхать! — сказал незнакомец и ворвался в кабинет Тихеева.

Он взял стул, придвинул его вплотную к столу Вуллима и сказал:

— Ну что, сука, отвозить тебя тростью или как?

Вуллим схватил трубку и позвонил ко мне:

— Зайди быстро, у меня в кабинете хулиганы!

Я сбежал по лестнице, вбежал в приемную, и мы вместе с Львовной заскочили в кабинет.

Незнакомец колотил тростью по столу Тихеева и страшно матерился. Вуллим стоял бледный и молчал.

— Я милицию вызову! — сказала Азалия Львовна.

— Вызывай! — сказал незнакомец. — Мне ничего не будет. Я всей стране известен, да что там стране, всему миру! Про мою старуху Маргаду уже и за границей пишут.

Тут только я понял, что незнакомец это Никодим Столбняков. Москва его совершенно преобразила. У него сзади была изрядная лысина, но в Москве ему волосы подкрасили, а на место лысины прикрепили соответствующую по цвету нашлепку. И теперь он — почти кудрявый, со своими пронзительными глазами и длинными тонкими бровями — стал почти молодым и почти красавцем. А лаковые ботинки и дорогой костюм сделали его прямо заграничным джентльменом. Вуллим Тихеев поспешил ретироваться из кабинета.

Меня, конечно, интересовали связи и контакты, которые Столбняков заимел в столице. Но он, хитро щурясь, отвечал, что никаких связей у него нет. Поговорить с глазу на глаз мне со Столбняковым почти не пришлось. Непостижимым образом Пимские писатели узнали о приезде попавшего в масть счастливирика и один за другим ринулись в писорг. Некоторые Столбнякова почти не знали, но хлопали его по плечу, восклицали:

— Мы в тебя верили!

— Помнишь, мы тебе говорили про твое великое будущее?

Иван Осотов потащил Столбнякова в сторонку, зашептал ему в ухо:

— Я ветеран организации, я четко видел, что Вуллим зажимает таланты. Я на него писал в центр. Это благодаря моим письмам тебя открыли. Ты это должен оценить.

Крокусов втиснулся между ними и запричитал:

— Ты деревенщик, и я деревенщик. Мои рассказы в космосе были, я в Мексику ездил, я на одной фотокарточке вместе с Вознесенским снят! Эти питоры не взяли мою рукопись, теперь ты должен мне помочь, как деревенщик деревенщику.

— Дерьмо ты, а не деревенщик! — сказал Столбняков. — И вообще, пошли вы все на х... бабочек ловить!

Столбняков надел шляпу, хлопнул дверью, только его и видели.

Через день Тихеев с грустью мне сказал:

— Вот видишь, с какими кадрами приходится теперь работать? Ну, проходимец, на ходу подметки рвет. Я хотел нынче положенную нам квартиру из обкомовского фонда тебе отдать, так этот мерзавец ее уже получил. Не успел себе получить двухкомнатную и сразу хлопчет такую же для матери. И тоже из обкомовской очереди. Так что решение твоего вопроса отодвигается на несколько лет.

Я невольно подумал о том, что и сам Вуллим получил квартиру не только себе, но и одной, и второй дочерям, чем тоже отодвинул меня на годы в сторону. Так что хрен редьки не слаще.

А Вуллим продолжал:

— Он на мое место целится, так что вы все голосуйте против него. Ведь это ужасный человек, дикий, грубый и, как ты сам видел, хулиган и матерщинник.

Я сказал, что буду голосовать только за Тихеева.

А еще через месяц в Пимск из Москвы вернулась Инна Холодникова. Она пришла к Вуллиму просить деньги, когда, по стечению обстоятельств, я тоже находился в его кабинете.

Мне Холодникова даже не кивнула. Она присела на стул возле начальнического стола, положив ногу на ногу, и поскольку юбочка у нее была абсолютно коротенькая, то светло-розовые трусики, обтягивавшие тугую попку, были хорошо видны.

— Вы знаете, — говорила Холодникова, сбивая тонким пальчиком пепел с сигареты, — Сидор Абрамович находит, что в моих стихах есть и теза, и антитеза, и синтез, поэтому мне нужна учеба в Литературном институте. Учиться я буду на заочном отделении. Писательская организация должна предоставлять мне средства к существованию, а также давать командировочные в Москву всякий раз, когда мне нужно будет туда ехать.

Я видел, что Вуллим еле сдерживается, чтобы не закричать, не затопать ногами. Лицо его перекосила ненависть, но между тем он вежливо спросил:

— Членский и партийный билеты ты Сидору Абрамовичу отда-
ла?

— Прощу не вмешиваться в мою личную жизнь! — взвизгнула Холодникова. — Платите деньги, папаша!

— Я тебе не папаша! — крикнул Вуллим. — И денег ты у меня получишь хрен да маленько. Я вот дам твою книжку опытнейшему

нашему поэту и руководителю литературного объединения товарищу Мамичеву Петру Сергеевичу. И он напишет разгромную рецензию для газеты «Алое пламя». Ты не член союза и никогда не будешь членом союза, потому никогда не входи в мой кабинет. Авантюристка!

— Начхать мне на тебя и на Мамичева, обо мне столичные критики пишут. А не будешь командировок давать — пожалеешь.

Она кинула окурок Тихееву на стол и ушла, процокав высокими каблучками. Тихеев принялся плевать на рукописи, пытаясь предотвратить пожар маломощной слюной. Но окурок прославившейся поэтессы не хотел угасать. Он прожег большую дыру в рукописи Крокусова и поджег сукно стола. В этот момент я догадался потушить пожар водой из графина.

Тихеев завопил:

— О, Господи! Ну почему вы все такие тупые? Ты же облил водой все обкомовские документы, все договора, все сметы!

— А тебе что, приятнее было бы, если б они все сгорели?

Он потер лоб, помассировал переносицу:

— С ума с этой должностью сойдешь. Все! Завтра же еду в центральный союз, надо там на месте выяснить, почему и зачем они навязывают на мою шею таких проходимцев, как Столбняков и Холодникова.

Я знал, что Вуллим использует эту поездку для пробивания в столице своих скучноватых повестей. Хотел попросить его пристроить там хоть парочку моих стихов в какой-нибудь журнал, но тут же отказался от этой мысли. Все равно будет пустой номер. Он взять-то возьмет, но никому мои стихи не покажет. После скажет: нигде не приняли.

Пошел гулять. Встретил в городском саду Важенкина.

— Петр Сергеевич! — обрадовался он встрече. — Давно мы с вами исчезающий Пимск не фотографировали. Погода-то какая!

— Да, исчезающего Важенкина мы не снимали давно, но мне теперь некогда.

— Ладно, тогда — в следующий раз. А вы не забыли, что завтра у моей мамы день рождения?

Я не забыл, но мне так не хотелось идти! На гулянках у Важенкиных всегда одно и то же. Подавали ужасно жирные блюда. Выпив по рюмке водки, пожилые глуховатые женщины начинали кричать так, что цветы увядали. Был еще номер под названием: «Послушаем Важенкина» — Вася брал гитару.

Высидеть пару часов в таком бедламе для меня было истинным мучением. К этому всему примешивалось еще чувство некоторой не-

полноценности. Я дарил виновнице торжества книги, ничего другого у меня не было. И однажды Вася мне сообщил, что мама его обижена. Другие гости дарят вазы, столовые приборы, кто-то даже пылесос подарил, а Мамичев все книги да книги.

Я пытался избегать Важенкинских празднеств. А их было великое множество. То был день рождения самого Важенкина, то его бабушки, то день окончания мамой института, то день ее выхода на пенсию. Отмечались пятилетие со дня получения новой квартиры, двухлетие со дня смены унитаза, теперь ко всем этим праздникам добавился день окончания Важенкиным университета и поступления им на службу в лесную контору. Иные праздники я уже не помню. Но я всегда с ужасом ждал нового приглашения. Надо было отрывать время от литературы и выкраивать из своих скудных запасов деньги на более или менее достойный подарок.

И вот я вновь на дне рождения мамы Важенкина. Тут были все те же глуховатые родственницы, не обошлось без Тины Даниловны, которая подарила маме Важенкина новую клеенку. Я подарил на сей раз вещь очень нужную в хозяйстве — цветастый китайский термос. Пусть Важенкин берет с собой в лесные поездки термос с чаем.

Среди гостей были школьные друзья Важенкина: белокурые и плотные братья-близнецы Дранкины и чернявый и тощий Миша Бадридзе. Вадик Дранкин только что окончил медицинский институт, где приобрел специальность гинеколога, его брат Толян был водителем такси. Их подарком была электрическая кофеварка. Миша Бадридзе преподнес букет цветов и прочитал самодельное стихотворение. Я в этом увидел шанс увеличить свой кружок и пригласил Мишу приходить на занятия в ПИССУАР, он согласился.

Тут все стали просить Важенкина что-нибудь спеть, а я сказал, что у меня разболелась печень, и я пойду домой. Леокадия Зотеевна предложила мне поесть жирных свиных котлет, тогда, мол, все пройдет, но я ее не послушал, котлеты есть не стал и удалился.

И хорошо, что я котлеты эти есть не стал, потому что на другой день в больнице врачи у меня определили обострение хронического холецистита и категорически запретили есть жирное, жаренное, соленое и копченое. Выяснилось, что есть я могу только овсяную кашку.

Чтобы избежать всяческих соблазнов, я стал запирается у себя в комнатухе, не отвечал на звонки. Я ел овсянку и писал стихи. Но почему-то после овсянки из моей головы напрочь исчезали все образы, сравнения, рифмы. Стихи никак не получались. И я понял, почему лошади никогда не сочиняют стихов.

Промучившись недели две, я решил пойти в ресторан и съесть там стандартный комплексный обед. В то время это мог позволить себе любой студент.

В ресторане «Сибирь» половина столиков была пуста, я пошел на свое любимое место, за огромный ресторанный холодильник, и там увидел Смалькова. Это был вечный студент. Он мог войти в любую общагу в драных тапочках и майке, а выходя утречком рано запросто надевал чью-нибудь новую одежду и обувь. Он выдавал себя не только за студента, но еще за поэта, нередко печатал чужие стихи под своим именем. Из Пимских общаг он перебирался в Новосибирские, Омские, так вплоть до самой Москвы. А там он умудрялся ночевать даже в общежитиях МГУ и Литературного института.

— Садись! — пригласил он. — Садись рядом да поговорим ладком. Что нового случилось в Пимске, пока я в Москве был?

Я знал, что со Смальковым сидеть в ресторане опасно. Он заказал водку и закуску, сейчас выпьет, поест и скажет, что ему надо в туалет на минутку. Исчезнет. А платить за все придётся мне.

— Что нового? Столбняков сейчас в писательскую силу вошел, ему способствует сам Кузьма Тягачев. А как же! Престиж области! «Туман-газета», миллионные тиражи...

Смальков криво ухмыльнулся и сказал:

А ты знаешь, что Столбняков человека угробил?

— На охоте, в лесу где-нибудь?

— На какой там охоте! В Москве, в столице нашей родины!

— Не может быть!

— Еще как может! Уж я-то от верных людей знаю.

— Но если это секрет, то...

— Ну, тебе-то я могу рассказать. Там, значит, как все произошло? Питору Сидоровичу и Сидору Абрамовичу очень неловко было, когда в столицу об их похождениях доносы пошли. Надо было им как-то оправдываться. Вот они и решили сделать ход конем. Вызвали Столбнякова с его дрянной рукописью в столицу. Прикрепили к нему правщика, опытного писателя и редактора, старичка-фронтовичка одного, фамилию тебе знать необязательно. Назовем его Пахомычем. Вот они и говорят:

«Пахомыч! Заработать хочешь?»

Тот, конечно, захотел. Они ему сказали, что нашли в Пимске одного охотника-таежника с неплохой рукописью, но нужно ее причесать, отредактировать. Почитал Пахомыч Столбняковскую рукопись да и говорит заказчикам:

«Ребята! Дичь невообразимая, такая белиберда никакому редактированию не поддается».

Ну, они отвечают:

«Если нельзя, но очень хочется, то — можно. Делай, что хочешь, правь, как хочешь, дописывай, переписывай, но чтобы роман был! Сам знаешь, мы тебе не только хорошо заплатим, но и твоим мемуарам в лучшие журналы ворота откроем, только ты постарайся».

Пахомыч согласился. Чтобы ускорить работу, Столбнякова поселили прямо на квартиру к редактору, благо Пахомыч одиноко живет.

Ну вот. Пахомыч сидит, переписывает рукопись Столбнякова, а автор лежит рядом на диване, мечтает. Иногда Пахомыч начнет Никодиму исправленные страницы читать, а тот в пузырь лезет: искажил мою мысль, все испортил!

Пахомыч и потребовал: не вмешивайся, иначе ничего делать не буду.

Всю зиму почти Пахомыч выколупывал из дерьма жемчужные зерна. А когда все было готово и рукопись была принята журналом, пригласил Пахомыч старого фронтового дружка соседа Никитича, чтобы отметить окончание тяжких трудов.

Ну, сидят троим: автор, редактор-правщик и боевой друг редактора. Раскупорили бутылку «Столичной», зажарили глазунью в большой сковородке с деревянной ручкой. Глазунья на столе жиром брызжет, стаканы звенят, уже и вторую бутылку раздербанили. И тут Столбняков шуметь стал, дескать, он гений, его роман перевернет всю русскую литературу, от его старухи Маргады весь мир содрогнется, его творчество в школах и вузах изучать станут.

Не вытерпел Никитич и сказал:

«Умолкни, хмырь! Не видать бы тебе журнала, как своих ушей, если бы всю твою дребедень Пахомыч не перелопатил и не переписал бы заново».

Тут водка ударила в дурную голову Столбнякова, схватил он со стола еще теплую сковороду и шлепнул ею Никитича по лысине. А бедный Никитич — не то от гнева, не то от удара, а может, и от того и другого — получил инфаркт и тут же на полу скончался.

Упал тогда на колени перед Пахомычем Столбняков и начал рвать на себе остатки волос:

«Пощадите! Не губите! Не хотел я!..»

Подумал Пахомыч, намочил под краном полотенце, отер умершему другу лысину и позвонил в «скорую помощь». Прибыли медики,

Пахомыч пояснил им, что выпивали, и вот с другом случилось что-то. Медики пощупали, послушали и говорят: инфаркт, скорее всего, летальный исход. В таком возрасте выпивать строго не рекомендуется.

Так вот оно и было.

Рассказывая эту сагу, Смальков со вкусом уплетал поджарку. Ясно. Мастер треп. Научился по общагам. Запудрил этой сагой мне мозги и сейчас сбежит.

Я встал и сказал, что опаздываю на деловую встречу. Смальков расстроился:

- Чего ты? Ну, посиди, выпей, я тебе другие столичные тайны открою. Ты знаешь, что у Питора вырезали оранжевое пятно на мошонке?

- Пока- пока! — сказал я на ходу. Опаздываю!

29. НУ, ЗМЕЙ, ПОГОДИ!

Вуллим Тихеев съездил в Москву на писательский пленум и собрал очередное собрание.

— Вышел я в Москве из поезда на Казанском вокзале и увидел огромный плакат: *«Граждане СССР! Берите пример с тамичей, объявивших беспощадную войну с «зеленым змием!»* Вы знаете, сердце мое наполнилось гордостью. Ведь раньше многие москвичи и понятия не имели, что существует на карте такой город, как Пимск. А теперь вот плакат в Москве висит... Правда, рядом узбеки стояли, удивлялись: «Киким тиким зимием?..» Узбекам, может, непонятно. Мне же было приятно. Я горжусь тем, что в Пимске уже разрезана автогенном закупленная в Чехословакии очередная новая линия по выпуску пива и закрыт ликероводочный завод. Замечательно! Спиртное — опиум для народа. Очень хорошо, что молодой генсек вторым секретарем пригласил нашего Тягачева.

— Не согласен я! — сказал Авдей. — Еще Суворов говорил: после бани кальсоны продай, а сто грамм выпей!

Вуллим, понизив голос, сказал:

— В Москве я узнал вот что. Фома Фомич советовался с известным хирургом Федором Угловым. Тот выяснил: иудеи Америку завоевали при помощи алкоголя. Спойли и уничтожили сто миллионов индейцев. За спирт закупали для освободившейся земли черных африканских рабов. Вот что спирт делает!

Крокусов заявил:

— Мы идем с партией! Я всегда шел в ногу. У меня уже есть наброски романа, в котором бабынька и дедынька ломают самогонные аппараты и, дав зарок не пить ничего спиртного, вступают во Всероссийское общество трезвости.

— Конъюнктурщик! — рассердился Авдей.

— Ничего подобного. Жить в обществе и быть свободным от него — нельзя.

— Жаль, что я вовремя не закупил ящичков десять водки или коньяку, — пригорюнился Авдей. — Теперь придется самогон жрать, черт бы его взял. Хотя хороший самогон иногда лучше «Столичной».

— Товарищи коммунисты! — сказал Феденякин. — Я, как парторг, предупреждаю: впредь на собраниях о спиртных напитках не говорить, иначе буду раздавать выговоры налево и направо.

— Можно, конечно, молчать, — сказал Авдей. — А только я читал в газете, что виноградники хотят вырубить. Многие винные сорта улучшались веками. Националисты наверняка шепчут по углам: подрубают традиции, лишают заработка. Ну, а сибиряку все эти «кинзмараули», «хванчкары» и прочие фокусы даром не нужны.

Феденякин прочитал резолюцию:

— Коммунисты писорга решили... одобрить... поддержать... отразить в своем творчестве исторические решения партии...

После собрания я поплелся в землянку-блиндаж к маньчжур, чтобы сдать ему в ремонт свои прохудившиеся полуботинки. Маньчжур предложил мне чаю. Я пил зеленый чай и разглядывал термос, на котором были изображены аисты, танцующие на фоне какой-то горы. На подоконнике у маньчжура стояла трехлитровая банка, на горлышко которой надета медицинская резиновая перчатка. Она была внутри пустая, но казалось, что она надета на невидимую руку. Ладонь была пухлой, пальцы топорщились вверх.

— Что это? — удивился я.

— Рука дружбы, — сказал маньчжур. — Видишь, приветствует вас?

Я увидел в этом какую-то особенную маньчжурскую тайну. Восток. Загадки, тайны. Я не любитель лезть в чужие дела. Маньчжур мне быстро залатал подошвы полуботинок, я отдал ему трешницу и спросил:

— Как вам нравится нынешняя политика?

Он посмотрел на меня удивленно:

— Молодым политику надо. Старым ничего не надо, совсем ничего не надо. Ну, разве немножко выпить иногда, и все.

Я вернулся в писорг, поднялся по лесенке. У двери моей комнатухи меня ожидала Светлана Киянкина. Под глазом у нее был огромный синяк, рука ободрана, палец забинтован.

— Ты что, боксом занималась? — спросил я.

— Жить-то надо, — загадочно ответила Киянкина, — тут уж себя щадить не приходится.

Я знал, что последнее время ей не везло с работой. У нее была хорошая работа в библиотеке военного училища. После того как она обматерила двух сотрудниц, офицерских жен, была уволена. Устроилась заведовать музеем одного из профессиональных училищ. В комнате музея она как бы укрылась от злобного мира. Учительский коллектив ее не касался, и это ее радовало.

— Не люблю воображал, — говорила она, — дразги, сплетни, друг друга подсиживают, бабье, одним словом. А я — с экспонатами, те не балаболят про базар, про мужей долбанных, молчат, и на том спасибо.

Но вскоре ей пришлось уйти и из ПТУ. Заведующая учебной частью сделала Светлане какое-то замечание, чего-то там, в этом музее, по мнению заведующей, не хватало. Светлана вспыхнула:

— Это в тебе дурь играет, оттого что в старых девах засиделась. Тебе бы жеребца хорошего, чтобы желчь прочистил!

И вот теперь я спросил ее о месте новой работы.

— Где-где! — передразнила меня она. — Магазин на Лебедева знаете? Вот там стою.

— Что, продавцом стала?

— Э-э! Совсем жизни не знает, а еще писатель! Кто меня продавцом возьмет? Там лохматую руку надо иметь, взятку добрую дать. Продавцом! Чего смеяться?

— Так где же ты травмировалась? И при чем тут «жить надо»?

— Нынче водку выдают в единственном в городе магазине. По две бутылки в руки. Я с вечера очередь занимаю и до открытия стою. Когда открывают, такая давка начинается, что мужики в обморок падают. Упадешь — затопчут. А еще лезут прямо по головам. Тут уж я локтями работаю, кусаюсь даже. Первой к прилавку не пробьешься, но где-то близко к нему оказываешься... Вот, получаю свои две бутылки, из магазина выбираюсь. И там, за углом, есть самодельный рыночек: цыганки из-под полы водку продают, самогон, сигареты. Ну, и я свои две бутылки сбываю в десять раз дороже, чем они стоят. Трудно, конечно, но жить можно, не все же могут «рукой дружбы» пользоваться.

Тут я вспомнил, что и маньчжур мне про руку дружбы толковал. Спросил Светлану про это. А она:

— Ну, этой рукой все ханыги теперь пользуются. Че смеяться? Покупают за гроши на базе списанный забродивший сок в трехлитровом баллоне. Откупоривают, бросают в банку щепотку дрожжей и на горловину натягивают медицинскую перчатку. Вот как перчатка газом наполнится, она поднимается вверх, словно сигнал дружеский подает: пошло на подходе!.. Но я к вам не про сок рассказывать пришла. Прощаться хочу. Больше я в ваш кружок ходить не буду!

— Отчего так? Разве ж плохая у нас компания? Разве мало ты там чего узнала? Сама же говорила, что вроде как прозрела, по-другому на стихи смотреть стала, по-настоящему писать начала.

— Толку мало! Пишешь, пишешь — писанного не видать. Небось, эту шалашовку Холодникову питоры в Москве напечатали, ее теперь вся страна знает. А я — дура с заушным образованием, до меня никому дела нет. Ну, блин, одеяло! Киянкина ведь тоже в молодости, бывало, пройдет, так мужики обернутся, рты разинут. Да меня и теперь приодеть, духами попрыскать, так за первый сорт в темноте сойду, а за второй с половиной — при свете.

— Не в том дело. Холодникова — авантюристка, тебе так не суметь, ты простая слишком.

— Сказали бы прямо: дура!

— Света, постой, ты куда? Погоди!.. Ну, хочешь, попробуем из твоих стихов книжечку собрать? Будем потихоньку толкаться в издательство.

Киянкина крикнула:

— В кружок больше не приду! — и убежала с рыданиями.

Мне захотелось закурить. Но сигареты кончились, а новых купить было негде, я решил сходить к тому магазину, где Киянкина получила свои синяки и ссадины.

Вообще-то никакого постановления ЦК насчет курева не было, табак сам по себе как-то из торговли исчез. Но было понятно, что к этому тоже причастен наш Тягачев. Сам он никогда не пил, не курил, каждую зиму бегал на лыжах и всех тамичей стремился заразить этим увлечением. Обкомовцев Тягачев довел до тихого ужаса. Не то что в кабинетах курить не смели, но даже в туалетах. Вдруг он запах учует?

И вот, уже будучи обладателем кремлевского кабинета, недавно прибыл он в Пимск по каким-то делам. Едет по проспекту имени Ленина. Там у нас в самом центре был расположен единственный в городе

специализированный табачный магазин. Над дверью магазина вывеска: остяк в кухлянке на фоне тундры курит трубку и весело улыбается.

О! Я любил этот магазин! Там внутри всегда была небольшая, но очень вежливая очередь, каждый готов был вперед пропустить другого. Товарищи по увлечению, все были равны: и студент, и сантехник, и профессор. Тут с особой готовностью пропускали вперед женщин. В магазинчике курево было на любой вкус: марочные табаки, гаванские сигары, любые сигареты и папиросы. Удивительно пахло.

К приезду Тягачева в городе с куревом была напряженка. И вот, увидев в центре громадную очередь, он спросил:

— Что это такое?

Узнав, что все эти люди стоят в очереди за табаком, Тягачев, спортсмен, лыжник, резюмировал ситуацию кратко:

— Убрать! И продавать тут цветы!..

Вот он, магазин, о котором говорила мне Киянкина. Очередь занимала всю прилегающую к нему улицу, и хвост ее терялся в дальнем переулке. Она была гораздо длиннее, чем виденная мной когда-то в столице очередь в мавзолей Ленина. Я огляделся по сторонам: где-то тут, за магазином, секретный рынок с цыганами. Из-за угла вывернулась белая «Волга». Из нее вылез кудрявобородый цыган средних лет, вытащил из машины ящик водки, брякнул его о землю, так что бутылки зазвенели, и закричал пронзительно по-цыгански. Тотчас к нему подбежала красивая юная цыганка и тоже заголосила. Что они кричали — было непонятно. Цыган вытащил из сапога ременную плетку и принялся изо всех сил хлестать цыганку.

Подскочили мужики из очереди:

— Эй, ты! Чего ты, гад, над женщиной издеваешься?

— Сучка это, а не женщина. Я ей велел купить ящик коньяку, а она мне ящик водки купила. Поставила в багажник, я и не понял — что. Домой приехал — водка!

Он хлестнул жену плеткой, она подпрыгнула и закричала по-русски:

— Мужики! Купите у меня эту проклятую водку! Купите по магазинной цене! Суну ему в морду червонцы, успокоится, купите, а то ведь убьет!

Мужиков долго уговаривать не пришлось, они обрадовано совали ей в руку деньги, хватали бутылки. Ящик вмиг опустел. Цыган отворил дверцу машины, пинком загнал туда цыганку, плюхнулся на переднее сиденье и укатил. Одному из мужиков было невтерпех, он содрал

зубом алюминиевый колпачок с бутылки, сделал большой глоток и трагически вскинул брови:

— Твою мать, вода!

Тут и другие принялись пробовать содержимое своих бутылок. Во всех поллитровках была вода, хорошо еще, если чистая, а то, может, из какого поганого болота взятая.

— Глаза отвели, сволочи! — сказал могучего вида детина. — Да как же так? Ведь в магазине больше двух бутылок в руки не дают, как она могла взять целый ящик водки? И опять же, цыган коньяку требовал, его тут вообще не продают! Почему об этом никто не подумал?

— Почему-почему! — сказал интеллигентного вида старичок в шляпе. — Я профессор, психологию в университете читаю, а вот в этот психологический этюд сразу не вник. Тоже обманулся. Все у них просто и верно рассчитано. Женщину бьет! За эмоциями мы здоровый смысл забыли...

Я завернул за угол в поисках секретного рынка. Увидел несколько цыганок и цыганят, которые, вроде бы, просто прогуливались там. Все они стали разглядывать меня, словно просвечивали рентгеном. Наконец старшая по возрасту спросила:

— Чего ищешь?

— Курево.

— Что куришь?

— «Родопи».

— Пятьдесят.

— Дорого.

— За то, что в городе.

Я достал деньги, но не спешил отдавать их цыганке.

Она что-то сказала пацану лет двенадцати. Тот подбежал к канализационному люку и выбил на нем своими поношенными ботинками чечеточную дробь. Крышка люка сдвинулась, из отверстия высунулась лохматая голова.

Цыганенок сказал:

— Родоп!

— Джас родоп! — ответила голова.

Через минуту я уже с наслаждением закурил болгарскую сигаретину. Я шел и думал о борьбе с «зеленым змием». Дело, конечно, хорошее, но победить его не так-то просто. Сейчас я сам убедился, какой он живучий: в канализацию залез. Цыгане все продумали: цыганята канализации в случае опасности по извилистым и узким ходам

скроются вместе с товаром. Да еще не всякий милиционер в этот люк полезет в дерьме пачкаться... На окраинах города, в бору, говорят, всю девствуют тайные цыганские водочные магазины, к которым ведут извилистые лесные тропинки, где дежурят сигнальщики-цыганята. Да, силен «змий»!

30. МЕДВЕДЬ С ПОДНОСОМ

Неожиданности случаются не часто, но обязательно. Однажды утром дверь моей комнатухи распахнулась, и вошел Рафис. Он был в форме со старшинскими погонами.

— В отпуск? — догадался я.

— Демобилизовался! — ответил он.

— Так быстро стал старшиной?.. И почему так мало служил?

— Все просто. Среди умных я был бы дураком, а среди дураков оказался самым умным.

Он рассказал о службе в Енисейске. Его сразу сделали писарем при штабе батальона, потому что он единственный из призыва хорошо умел печатать на машинке. Строили там секретный объект. Документы были секретные, и Рафис держал их в порядке. Стал другом командира батальона и замполита. Потом замполит застрелился — то ли от несчастной любви, то ли еще отчего. Отвезти тело на Алтай, на родину усопшего, поручили Рафису. Он с этим справился блестяще. Привез благодарность от родителей замполита. Тогда командир сказал: «Проси, что хочешь!» Рафис пояснил, что написал много стихов и хочет поступать в Москве в Литературный институт. У командира были связи в медкомиссии, и Рафиса комиссовали.

— Да-а! — сказал я. — У тебя не жизнь, а сплошные детективы.

— Детективы начнутся, если вы мне дадите рекомендацию для поступления в Литинститут.

— А ты прочти что-нибудь из последних стихов.

— Пожалуйста!

*Енисейск. Суббота близко,
Уломаешь старшину —
Увольнительной записка —
Контрамарка в старину!
Слухи, словно пух, летали,
От угла наискосок,*

*Гроб стеклянный откопали,
Полый, будто кинескоп.
В нем, как спящая царевна,
Ослепительной красоты,
Дочь купца лежит нетленна,
Губы, точно огонь, красны.
Слухи плыли, тайной полны,
Обыватель ждал вестей,
И катил тревожно волны,
Как колеса, Енисей!
...А в казарме гасли споры,
Снился до утра потом
Город, что пропал Историей,
Как курильщик табаком.*

— Ну, что ж, для парня, выросшего в доме, где комары летают черные, как черти, вполне прилично.

— И ночь в раю один комар способен превратить в кошмар.

— Ладно! Сейчас накопаю тебе рекомендацию, подделаю подпись Крокусова и, пока нет нашей секретарши, поставлю на листок большую писательскую печать.

Получив рекомендацию, Рафис заторопился на поезд, даже чаю выпить не захотел.

— Поеду к Москве привыкать!..

Только он ушел, в моей каморке зазвенел телефон.

— Ну, что? Ты меня уже не помнишь, да?

Голос в трубке мне был знаком, но я не мог понять, кто это говорит. Что-то из прошлой жизни.

— Я сейчас у тебя буду. Ты, говорят, в чердачной комнатке живешь?

— В чердачной. А ты — кто?

— Увидишь.

Она появилась в моей комнатухе минут через двадцать. Знал бы, кто придет, прибрался бы немного. Действительно — из прошлой жизни. Даже не сразу вспомнил имя-отчество: Глафира Николаевна. Я жил тогда в райцентре. Она — секретарь райкома. В районе это царь и бог. Она и держалась соответственно. Голос красивого тембра, но густой, начальнический. Дистанция. И все-таки я чувствовал, что ко мне она относилась как-то особенно. Глаза добрели, голос теплел. Но и только.

И вот она у меня в комнатушке.

— На курсы приехала по линии высшей партийной школы... Я по тебе всегда скучала, много лет. Стихи твои наизусть помню. Ты так и холостякуешь? Сегодня ночь проведу с тобой. Грязновато у тебя в комнатушке, а вид из окна прелестный. Дай тряпку, ведро, я приберусь, грязнуля!

Было как-то не по себе, но интрига радовала. Глаша все в моей комнате вымыла, вычистила, расставила по местам. Затем из объемистой сумки достала бутылку «Мадеры», коробку конфет, и мы выпили.

Уже вечерело. Сердце мое билось учащенно. Начальница была хороша собой, я знал, что у нее двое взрослых детей, но она почти не изменилась с той давней поры, когда я работал в районе.

— Ты по-прежнему секретарь райкома? — спросил я ее.

— По-прежнему. И меня хотят перевести на повышение в обком, а мужа — в облисполком. Но ты лучше в окно посмотри, уже зажглась первая звезда.

Я смотрел на звезду и думал о том, что у меня очень грязные простыни. Вдруг Глаша сказала:

— В хорошем месте ты живешь! Теперь в городском саду листья на деревьях распускаются. Чего нам тут в духоте сидеть? Идем в сад!..

В саду было много укромных скамеек. Вдалеке от фонарного света, под сенью сплетавшихся ветвей, глядя на далекую луну, мы целовались самозабвенно, как школьники. Я пытался обнажить даму, ее белье было кружевным, как лепестки черемух, но Глаша шептала:

— Не надо портить поэзию, пойдем лучше, пройдемся по саду.

Мы бродили, находили новые укромные скамейки, опять обнимались, но дальше этого дело не шло. Ароматы сада сводили с ума. Под утро стали подзуживать комары.

— Глаша, это даже обидно! — сказал я. — Секретарь райкома не должен ограничиваться полумерами. Или ты боишься за репутацию?

— Я не боюсь, но так будет чище память, это так — для себя.

Я отступился. Пусть будет, как ей надо.

На прощание Глафира Николаевна сказала:

— Подыщи себе пару, в конце-то концов.

— Ладно.

Мы поцеловались в последний раз, и она ушла...

Новое заседание кружка прошло в бурных спорах о политике.

— Мне нравится Михаил Сергеевич! — горячилась Киянкина.

— Он в лакированных ботинках по силосной яме зашагал, его охрана

не пускает, а он: отойдите все! И говорит, что скоро мы свободно будем зарабатывать, где сами захотим.

— Ну, зашагал он по силосной яме, — сказал я Киянкиной, — а в магазинах чего-то перебои с молоком стали.

— В журнале писали, что директора московского гастронома арестовали, банда целая дефицит прятала. Раньше про такие дела умалчивали, а теперь пишут! — сказала Тина Даниловна. — Еще пишут, что Горбачев и Тягачев работают в своих кабинетах до поздней ночи.

— Эту писанину на бутерброд не намажешь! — парировал я.

— Вы сегодня что-то не в духе, — заметила Тина Даниловна.

Она была права.

Когда собрались все кружковцы, я без особого воодушевления объявил поэтический круг.

Все шло как обычно. Толя Пастухов читал свои спортивные стихи, готовился читать стихи Заводилов, когда в помещение редакции вошел очень нестандартный человек. Он был ростом невелик, но широк, массивен, как бочка, ноги и руки короткие, но толсты, как стволы столетних кедров. Лоб его, как говорится, продолжался почти до самого затылка, зато там начиналась и ниспадала на плечи огромная копна рыжеватых волос. Он был в хорошей кожанке, дорогих джинсах, лакированных ботинках, в руке держал мягкую фетровую шляпу. Могучий мужичок густым басом представился:

— Лабуня Малиновский! Я к вашему главному пришел насчет стихов.

Выпуклые глаза Лабуни ощупали всех присутствовавших и остановились на мне.

— Ты — главный!

— Откуда знаете?

— Вижу.

— Ну, и что?

— Дело есть. У меня молодой умер. Ему надо на памятник стихи сочинить, мне тебя назвали. Сейчас и поедem, я тебе все условия создам, всю ночь сочиняй. Отдельная комната. Никто не зайдет. К утру стихи должны быть готовы. Я тебе Васину историю расскажу. Хорошие стихи напишешь — вот эту шляпу полусотками набыю, понял?

— Я привык у себя дома писать.

— Да не сомневайся ты. У меня и паспорт есть, вот, читай, пусть все твои ученики прочитают, тут написано: Лабуня Васильевич Малиновский, цыган по национальности, но это не значит, что я тебя съем.

Я тебя почему домой беру? У меня там художник и гравер ждут. Как ты стихи напишешь, так они сразу твои слова на памятник перенесут. И все! Расчет получишь, и домой тебя мигом доставим.

— У меня еще заседание не кончилось.

— Назначь главным самого способного ученика, и поедем! Чего зря время терять?

Напор Лабуни был неотразим. Может, он обладал пресловутым цыганским гипнозом? На всякий случай я сказал Лабуне, что у нас в кружке есть свой следователь Юрий Заводилов, вот ему-то я и поручаю довести заседание до конца.

Лабуня сказал:

— Честно скажу: следователей не очень люблю. Но твой — парняга симпатичный, даже на моего покойного Васю чем-то похож.

Был ли в словах Лабуни какой-то намек — не знаю. Мы вышли из здания, Лабуня открыл дверцу новенькой черной «Волги» и кратко сказал:

— Падай!

Машина пошла легко, Лабуня вел ее мастерски, притормаживал перед светофорами, вовремя перестраивался в потоке других машин.

— Эх! Времечко! — сказал он, когда мы въезжали на лесную окраину Пимска. — В молодости я лошадок объезжал. А теперь вот бензин нюхаю.

«Волга» подъехала к железным воротам, их створки разъехались, пропуская нас. Мы вышли из машины возле высокого трехуровневого особняка, стоявшего в окружении густого кедрача.

— Скажи, разве цыган когда-нибудь так жил? — задал Лабуня риторический вопрос. — Эх, спасибо партии, спасибо родине и Михаилу Сергеевичу Горбачеву лично!

Возле высокого крыльца к нам подскочили несколько молодых цыган:

— Хозяин, машину в гараж? — спросил один из них.

Другие принялись чистить Лабуне ботинки. Некоторые подскочили ко мне:

— Позвольте ножки!

Они отерли подошвы моих ботинок влажными фланельками, напустили верха кремом.

— У нас в доме — ковры, а в тапочках мы по дому не ходим, — пояснил действия своих подопечных Лабуня.

В просторной прихожей я увидел фонтан, струйки которого множились в огромном зеркале. Большой камин с тяжелой кованой решеткой

пошевеливал языками пламени. Чучело медведя держало в руке поднос с наполненными водкой рюмками, причем каждая рюмка была накрыта бутербродом с черной икрой.

— Примем по маленькой? — предложил Лабуня.

Я не отказался.

Малиновский что-то сказал по-цыгански, слуги тотчас принесли огромный позолоченный альбом с фотографиями.

— Вот Вася! Смотри! — ткнул пальцем Лабуня в большой фотографический портрет.

Юноша на портрете был красавцем, очень похожим на молодого Николая Сличенко.

— Слушай сюда, — сказал Лабуня, одним глотком осушив стопку. — В ансамбль Вася поступил, в питерский. Пел хорошо, плясал. Там влюбился в одну шалаву, на десять лет его старше. Ну, понятное дело, заморочила пацану голову. Изменила. Ему бы ее зарезать да уехать, ну, хоть в Монголию, лошадей пасти. А он гордый. Вернулся домой, тосковать стал. Я уж ему всяких красавиц подсовывал, а он — замороченный. Снотворных столько съел, что слона бы свалило. Вот и вся история. У меня еще шесть парней, а этого жальче всех! Я ведь сам в молодости пел и плясал, только я по-русски был неграмотный. Эх! Напиши! Заплачу, не обижу.

— Попробую. А вы — цыганский барон?

— А-а! Туфта все это, про разных там цыганских баронов и прочее. Ходил я в театр, смотрел такую оперетку, что ли. Вот от этой оперетки и треп идет. Да, было раньше. Баро — голова, значит, староста, вроде. Но какой же он барон? Выбирали таборяне себе представительного и опытного цыгана. Старшего. Ну, чтобы с начальством поговорить мог, какие-то споры разрешить. А сейчас таборы эти где? Кто теперь кочевать станет, когда поезда, автомобили, самолеты? Правда, несколько породистых лошадок держу, просто так, для души. Завтра тебе покажу, а теперь иди, пиши.

Лабуня показал мне, где находятся ванная и туалет, затем провел меня в просторную комнату, со вкусом обставленную. Были тут мебельные стенки, угловые диваны, у одного из окон стоял большой письменный стол, на котором я увидел электрическую пишущую машинку «Оптимa» и толстую пачку мелованной бумаги. Лежали в лотке шариковые ручки. Был на столе и телефон.

— Внутренний, — пояснил Лабуня. — Чего-нибудь потребуется — звони, дежурный принесет. Только спиртного, пока не напишешь, не

проси. А вон столик на колесиках скатеркой накрыт, там бутерброды, минералка, фрукты. Ну, пока!

Текст давался нелегко. На заказ писать всегда трудно. Но часа через два я все-таки «нашел» текст и назвал его «Песня о Василии Малиновском»:

*Твой голос, Василий, остался в сердцах
И пляска твоя огневая,
Красавец с цыганской мечтаю в глазах,
Все рощи тебе подпевают.
Порою нас губит горячая кровь,
Доверчивость губит святая,
Порой принимаем обман за любовь,
От жара сердечного тая.
Цыганское солнышко — это луна,
Ты в жизни не ведал покоя,
Василь Малиновский бродил дотемна
Над той говорливой рекою.
Зачем же из дома ушел, как в туман, —
Василий не даст нам ответа.
Но в мире оставил Василий-цыган
Души своей знойное лето!*

В этом тексте меня смущало только то, что в одном месте я превратил Василия в Василя. По-украински будет вполне правильно, кому какое дело? И все же я тревожился: что скажет Лабуня?

Когда дом проснулся, Лабуня пришел, спросил:

— Ну как?

Я молча протянул ему листок. Он прочитал и пожал мне руку.

— Мне про тебя сказали правду. Ты настоящий. Я закажу на эти слова музыку. И каждый раз, когда будем навещать Васю, магнитофон будет петь замечательную песню про моего ненаглядного Васю.

Я думал, что теперь Лабуня станет набивать полусотенными бумажками свою шляпу, но он просто достал из кармана пиджака толстенькую пачку полусоток, перехваченную розовой резинкой.

— Айда, я тебя провожу, парень. Тебе наши хлопоты ни к чему. Ты все исполнил, лучше некуда. Пошли, провожу.

Мы вышли на крыльцо. Лабуня сказал, чтобы подали машину. В этот момент молодой цыган выводил из конюшни жеребца.

— Это старый конь, он съел все зубы, его можно было сдать на колбасу, — сказал Лабуня. — Но мне его жалко. Пусть живет, сколько сможет. Я ему вставил зубы, посмотри — какие!

Лабуня скомандовал по-цыгански. К нам подвели коня. Лабуня открыл пасть жеребца, и я увидел оскал блестящих желтоватых зубов.

— Чистое золото! — довольно сказал Лабуня. — Он заслужил.

Через полчаса я уже был в писорге, а карман мой оттягивала толстенькая пачка полусоток.

31. ДЛИНЬ-ГДЛЯН!

Тополиная пурга замела улицу. Кто-то ругает тополиный пух, кто-то пускает палы, отчего нередко загораются усадьбы. Пух лезет в ноздри. Всякие идут разговоры: «Насаждали одни мужские особи, вот они и пылят!» Глупость какая! Я вот тоже — мужская особь, но я же не пылю. А вообще-то надо бы! Советуют вовремя обрезать тополиные ветки. Вам бы самим чего-нибудь обрезать! Может, как раз и надо из всех сил пылить? Всем, всегда, при любом удобном и неудобном случае, тогда ветер унесет нашу пыльцу, и она оплодотворит кого-то? То есть тогда мы не умрем насовсем, а станем жить в ином качестве. Полетим далеко-далеко, может, совсем на другие планеты и даже в другие галактики. А вам бы все обрезать, укорачивать! Эх...

Я шел по улице Герцена возле ограды горсада, а навстречу мне двигался, сильно шатаясь, бывший маньчжур, бывший охранник министра Берия, впоследствии превратившийся в Пимского сапожника, а теперь уже — даже неизвестно, в кого и во что. Ибо носил русскую одежду, матерился по-украински и по-русски. И даже недавно пострадал чисто по-русски. Какой-то парень попросил его подбить подметку, а едва бедняга маньчжур склонился над верстаком, парень ударил его свинцовой блямбой по голове.

После этого маньчжур уже никого не пускал в избушку, выбросив из нее дратву, колодки и сапожные ножи. На улице он появлялся, только когда сильно напивался, и кричал, что он православный, осенял себя крестным знамением.

Теперь он шел мне навстречу и кричал:

— Длиннь-гдлян! Длиннь-гдлян!

— Да, — сказал я ему, — Гдлян динькает. Он уже многих в тюрьгу задинькал и еще больше после задинькает!

Но оказалось что маньчжур имел в виду вовсе не следователя прокуратуры Гдьяна, который прославился тогда на всю страну. Нет. Маньчжур указал мне на звонницу только что открывшейся Петропав-

ловской церкви. Я увидел на колокольне патлатых парней, колотивших пестами в подвешенные на веревках молочные бидоны.

Да. Демократия, вроде бы, разрешила всем верить во все, что хочется. Вот и церкви, долгое время бывшие складами или мастерскими, теперь снова стали церквями. А колоколов пока еще не нашли, звонят при помощи больших молочных фляг.

— Длиннь-гдлян! Длиннь-гдлян!

Армянин по фамилии Гдлян сажает заворовавшихся чиновников, а мы по телевизору смотрим, радуемся. Еще по телевизору партократов ругают: за счет народа красиво живут. Отобрать у них здания обкомов, обкомовские дачи да и сделать больницы для больных детей. У-у, партократы проклятые! Мне, например, хочется отобрать у партократа Балабы его квартиру, где, возможно, из кранов текут молоко и пиво.

Только подумал о заевших мою жизнь партократах, как увидел, что мне навстречу спешит партократка Глаша. Партократка, да еще какая! Тягачев Семена Семенова забрал в Москву, а секретарем обкома по идеологии назначили ее, Глафиру Николаевну Шабанову, которую совсем недавно я целовал ночью в парке, и чье кружевное белье, образно говоря, вскружило мне голову. Но теперь к ней, наверное, не подступиться?

Глаша сияла. На строгом черном пиджачке светился партийный значок, каштановые волосы связаны на затылке строгим узлом, голос густой:

— Ну, здравствуй, здравствуй, чердачный житель!

— Привет! Ты теперь при такой должности, что целоваться со мной больше не будешь?

— Не знаю, не знаю, по крайней мере сейчас мне уж точно не до поцелуев. Надо срочно открыть в Пимске тридцать новых кафе! Вот и бегаю с объекта на объект, дышу, как загнанная лошадь.

— Какие кафе? Зачем? В универсаме теперь стали собираться огромные очереди, колбасу привозят только к шести вечера, а ящики с минералкой бросают на пол так, что половина бутылок бьется, — невольно сказал я, — курево и вино исчезли из продажи совсем, сахара не стало...

— Ты дальше собственного носа не видишь, писатель! Кафе будут — можно будет посидеть семьей, скушать курочку-гриль, попить молочные коктейли, почитать газеты. А то растащат из магазинов продукты по холодильникам, сахар весь скупят, самогону нагонят, запрутся и пьянствуют. Привыкайте жить в обществе. Спортплощадка! Кафе!

Минеральная вода, кофе, живая музыка, танцы. А вообще скоро все отрегулирует рынок.

Я любовался Глашей. Вот женщина! Двоих детей вырастила. А такая вся лучающаяся энергией. И, конечно, она построит и тридцать, и сорок кафе. Я уж чувствую, как поют бетономешалки и сверкают сварочные аппараты, это все гремит и светится в ее напряженной ладной фигурке, выпуклых полушариях и уверенных глазах. И все же мне ее было жалко.

— Не вовремя ты секретарем обкома стала, у партократов будут привилегии отбирать, какой смысл зря упираться?..

— Да разве же мне привилегии нужны? Я — для народа.

— А муж-то кем тут будет работать?

— В облисполкоме. А пока в районе свои дела передает.

— Когда встретимся?

— Да где-нибудь обязательно встретимся, я ведь идеолог.

— К таким персонам на прием не вдруг попадешь. Есть у меня к тебе дело. Мне Семенов обещал дать настоящую квартиру. Нам обком эти квартиры не раз выделял, а наше писательское начальство других людей за мой счет квартирами обеспечивало. Этот, мол, перебьется.

— Это потому, что ты тюня. Ладно, принеси соответствующее заявление, я постараюсь, чтобы ты квартиру получил в самое ближайшее время. Какие еще просьбы?

— Да вот, наш Тихеев купил для зятя машину через обком, мне бы тоже «Волгу» или «Жигули» купить, я ведь тоже чьим-нибудь зятем могу стать.

— Ну, это уже как в сказке о золотой рыбке. Ладно, исполню и второе твое желание! Напиши два заявления и отнеси в мою приемную...

Дня через два пришел я в писорг, а Азалия Львовна говорит:

— Вуллим рвет и мечет!

— А чего он там мечет?

— Икру.

— А что случилось?

— Привилегий лишили. Обкомовский распределитель закрыт. «Волгу» мы сдали в обкомовский гараж, а водителя уволили. Вуллим по телефону кричал, мол, писателям без «Волги» нельзя, надо ведь выезжать на выступления, на встречи с читателями. А ему новая секретарь обкома ответила: в случае надобности будете составлять заявку в гараж, сочтут нужным — дадут место в микроавтобусе. Сейчас правительство

и то в микроавтобусах ездит. Сам товарищ Тягачев иногда до Кремля на трамвае добирается... — ухмыльнулась Азалия Львовна и запалила толстую папиросину.

Я вошел в кабинет. Вуллим вяло поздоровался со мной, сказал:

— Я увольняюсь. Руководить писателями хочешь? Порекомендую.

— Нет, мне пока моего кружка хватает. А вот ты молодежь вперед двигаешь, Крокусова, например. У него и квартира имеется. Вот и пусть будет писательским начальником, А я какой начальник? Я — Карлсон, который живет на крыше.

— Ну, ладно, обиделся. А вообще-то, почему бы и не Крокусов? Молодой, энергичный...

Вскоре у нас состоялось отчетно-выборное собрание. От имени партии Крокусова рекомендовала секретарь обкома Глафира Николаевна. Голос ее тек густым шоколадом:

— Ленинские нормы. Преодолевать последствия застоя. Открытость, гласность, плюрализм. Строй цивилизованных кооператоров, борьба с привилегиями, с пьянством и алкоголизмом. Много будет зависеть и от вас, мастеров слова! Вы должны помочь, создать такие произведения, чтобы люди стремились избавляться от привилегий и шли к светлой достойной жизни, учились деньги зарабатывать... Кузьма Фомич Тягачев ездит по всей стране, снимает нерадивых работников. С секретарем Алтайского крайкома так поговорил, что того хватил инфаркт! Кстати, товарищ Крокусов давно в партии? Что? Вообще не член партии? Но беспартийный не может руководить писателями! Ах, сегодня же примете кандидатом? Давно хотели? Считаете: достоин?

Тут Крокусов вскочил:

— Большое спасибо за доверие! В моей следующей книге бабынька и дедынька покажут пользу рыночных отношений в сельской местности...

Энергичная Глаша пожелала нам творческих успехов и исчезла.

Авдей сказал, что нужно устроить хоть маленький банкетик, чтобы обмыть нового писательского начальника. Лука Балдонин саркастически ухмылялся.

— Левый и правый уклон, ревизионизм, почти контрреволюция... — тихонько бормотал Осотов, примостившись у подоконника за фикусом. Он как бы фотографировал всех присутствующих прищуром презрительных зеленых глаз.

Я поздравил счастливого Крокусова и поднялся к себе в чердачную комнату. Как хорошо, что в свое время я работал в районе под чутким

руководством этой Глаши! Ничего, кроме взаимной симпатии, между нами не было, а вот, пожалуйста, какие замечательные плоды должно принести мне это знакомство! Вот как важно оказаться в нужное время в нужном месте.

Я взял свежую газету и стал с интересом читать ее. Да, гласность разбушевалась. Газеты стали совершенно другими. Никакой официальщины. Тон развязный, нагловатый даже. Много сообщений о криминальных делах. С особым удовольствием описывается, как один партийно-советский работник был задержан в проходной при попытке вынести дефицитные заморские ботинки. *«Мы будем следить за всеми перипетиями следствия»*, — радовалась газета. И намекала: дескать, у всех партийно-советских рыльце в пушку... Появилось много разных АО и ААО, предлагавших свои услуги. Были частные объявления, типа: *«Гадаю на картах ТАРО»*. Какой-то целитель предлагал снять с любой женщины «замок безбрачия». Вот гад! Раньше бы его в момент в кутузку упрятали, а теперь он не боится: и телефон, и адрес в газете дает. Интересно, как он этот самый «замок» снимать будет? Каким инструментом?.. Преплагались различные удивительные услуги. Даже «фотографирование и взвешивание бессмертной души при посредстве междугороднего телефона». Стоп! Интересное объявление: *«Сочиняю художественные стихи для дней рождения, свадеб и похорон. Цены умеренные. Предложения и вопросы по телефону: 66-96-99»*.

Черт возьми! Номер телефона какой-то дьявольский. Я позвонил:

— Але! — отозвался телефон голосом Светланы Киянкиной.
— Слушаю!

Я нарочно изменил голос, спросил басом:

— Сколько стоят свадебные стихи?

— По-божески беру, три рубля за строку.

— А похоронные почему?

— Похоронные — по пять рублей за строчку. А ты что, женишься и сразу повесишься? Учти, деньги вперед!

— А ты, Киянкина, вымогательница, — сказал я. — Тебе не стыдно?

— Че смеяться! — сердито сказала Света. — Как вы с цыгана большие деньги срубили за стишки — так это ничего, а если Киянкина хочет этим, как его, бизнесом заняться — так сразу и стыдно?

— О! Ты даже такие слова знаешь, как бизнес? Газеты, небось, читаешь?

— Че надо, то и читаю! — сердито выкрикнула Света, и я услышал, как на другом конце города трубка ударилась о рычаг.

Я высунул голову в чердачное окошечко. В церквах звонили в молочные бидоны. Мне невольно вспоминалось о том, что до недавнего времени на улицах по утрам стояли цистерны, где можно было покупать привезенное из колхозов молоко. Теперь цистерны исчезли. В газетах пишут, что вот скоро появятся фермеры, тогда уж молоком зальемся. А колхозы — бред, эксплуатация человека, обезличка и растрата средств.

Бидоны на церквах звенели:

— Длиннь-гдлян!

Очень хотелось колхозного парного молочка. Но и свободы тоже хотелось. Хорошо ведь это — свобода-то!

32. НИ МОЛОКА, НИ ПИВА

Вскоре после встречи с Глафирой Николаевной меня пригласил к себе в кабинет Крокусов и сказал:

— А ты, брат, жох! Не ожидал, не ожидал...

— Чего не ожидал-то?

— Ну, как же! Позвонили: тебе квартира вырешена в новом обкомовском доме.

— Мне? И из одного крана будет течь молоко, а из другого пиво?

— Ничо там течь не будет. Ты зря на Балабу тогда бочку катил. Из кранов у него, как и у всех людей, текла вода. А теперь вот сожрали его с этой борьбой с привилегиями.

— Да как?

— Он в райпотребсоюзе две дефицитных меховых шапки через черный ход купил — себе и зятю. И все! Народный контроль его застукал. Должности лишили, из партии исключили. Поехал куда-то на Север, на нефтепромыслы... Ну, ладно, иди, получай ордер, ключи да живи со своими обкомовцами. Скоро их всех выведут на чистую воду!

— Что ты говоришь? Давно ли ты меня просил, чтобы я тебя в университет марксизма-ленинизма записал? Кстати, как ты там учишься?

— Да чего я эту муру изучать буду? Ленинизм! Ты знаешь, что Владимир Ульянов, когда студентом был, однажды ночевал у купца по фамилии Ленин и спер у него паспорт. Свою фотокарточку туда вклеил, дату рождения другую вписал и стал этот паспорт использовать для конспирации. А когда к власти пришел, так расстрелял этого купца вместе со всей его семьей, с близкими и дальними родственниками.

— Откуда у тебя такие сведения?

— Где-то об этом напечатали... Получай квартиру, только учти: теперь жить вместе с партократами — не престижно и даже опасно.

На выходе из писорга я столкнулся с Тихеевым. Он уже знал о квартире и поздравил меня. Потом Вуллим сказал:

— Старик! А «Волга» тебе зачем? Ты с ума сошел, что ли? Зачем тратить деньги на ненужную тебе машину? Придется покупать гараж, машина будет то и дело ломаться, будешь под ней валяться, как мой зять под своей машиной лежит. Все крутит гайки, всегда весь в мазуте. Да ты за те деньги, что хочешь за «Волгу» отдать, сможешь до конца жизни на такси ездить. Сиди себе, а шофер будет баранку крутить.

Я понял, что он прав, решил от машины отказаться. Чего в самом деле деньги зря тратить? Тихеев сказал:

— Раз решил отказаться, то позвони Глафире Николаевне, пусть эту машину на меня переоформят.

— Но как же? Меня отговорил, а сам...

— Так я ж не себе, у меня второй зять есть, он механик, ему с этой машиной в самый раз ладить...

В тот же день я обзвонил членов кружка, просил помочь с переездом. Поскольку только что построенный двухподъездный партийный дом находился в одном квартале от писорга, машину решили не нанимать, да и везти-то на ней нечего. Толя Пастухов тащил мешок с книгами и раскладушку, Юра Заводилов поставил себе на голову мой небольшой стол и шагал, придерживая его за расшатавшиеся ножки. Светлана Киянкина несла проданную ею мне неработающую стиральную машину. Замыкала процессию Тина Даниловна, которая несла ведро, в котором лежали мои чашки, ложки и ножи, вилки, два штопора, чайное ситечко и кое-какие продукты питания.

Из своей землянки выглянул маньчжур. Я ему сказал:

— Переезжаю вот, а вы так и будете тут жить?

Он молча показал пальцем на небо.

Был уже вечер. Небольшая толпа в подъезде нового дома окружила представителя жилищной конторы, все потрясали ордерами. Потряс своим документом и я. И получил ключ от квартиры. Это был длинный ключ от замка Пимского завода, таким ключом можно открыть все замки в этом доме и во многих соседних. Но, как известно, дареному коню в зубы не смотрят.

Как только я отпер замок и вытащил ключ, дверь отворилась, причем одна из петель сорвалась, и затворить дверь до конца я не смог. Поду-

малось: если так строят для обкомовцев, то как же для всех прочих?

Едва мы вошли в комнату и положили вещи, женщины стали возмущаться, дескать, обои приклеены как попало, цвет дикий, рамы и форточки не закрываются, оконные стекла и пол в комнате заляпаны известью, цементным раствором и краской. Тина Даниловна сказала, что хорошо было бы первой запустить в квартиру кошку. Она все обнюхает, и там, где она приляжет, нужно ставить кровать, тогда у жильца будет здоровый сон, и вообще ему будет везти во всех делах. Ну а теперь надо хоть пол помыть да окна. И она пошла к соседям выпрашивать веник и тряпку.

Толя Пастухов сказал:

— Главное — не помыть, а обмыть квартиру, — он извлек из-под рубахи резиновую грелку. — Во! Полтора литра самогона! Сам лично изготовил. Почти первач. Надо только закуску организовать.

Я достал из ведра, в которое были сложены мои немногочисленные чашки и ложки, булку хлеба, изрядный шмат сала, несколько сваренных вкрутую яиц.

И только мы порезали сало и стали разливать по стаканам самогон, как кто-то, сопя и кряхтя, стал отворять нашу дверь. Сквозь образовавшуюся щель кое-как протиснулся Вася Важенкин.

— Петр Сергеевич, с новосельем вас! Друзья мои, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Он присел, взял стакан с самогоном, плотоядно поглядывая на сало, которое я нарезал.

Мы выпили. В момент Вася слопал почти все сало и хлеб, повторяя:

— Я вполне понимаю украинцев, они правы!

Снизу, сверху и со всех сторон доносились крики новоселов. В доме стоял сплошной гвалт, стук и грохот. Казалось, кто-то пытается пробить дыры в стене, чтобы заглянуть в мою комнату. Противно визжали дрели. Гремели радиолы и радиоприемники. Сквозь дыры, пробитые в полу и потолке для труб отопления, были слышны зычные голоса счастливых новоселов:

— Ты его заноси, заноси влево, он и пройдет!

— Ну вот, трюмо — вдребезги.

— Иван, Иван, подхвати снизу!

Вдруг возле меня отвалился изрядный кусок бетона, и из отверстия вынырнуло огромное вращающееся сверло. Толя Пастухов вскочил и с криком «кий-я!» ударил по сверлу каблуком своего замшевого ботинка.

Сверло согнулось и перестало вращаться. Через минуту через щель в нашей недоношенной двери протиснулся полный самоуверенный человек.

— Что же это вы сделали, товарищи? Вы мне испортили сверло, хорошо еще, что у дрели мотор не сгорел, тогда бы вам пришлось оплатить не только сверло, но и дрель. Сверло у меня непростое, с алмазным наконечником, оно стоит десять рублей.

Невыдержанный и подвыпивший Толя Пастухов спросил незнакомца:

— Так! Десять членов в рот не надо?

— Да как вы смеете?

— Так! Стену проломил и чего-то спрашивает? Вали по-хорошему, а то полетишь по-плохому. Всю жизнь на лекарства работать будешь, усек?

Человек попятился, протиснулся обратно через щель и уже из коридора покричал:

— Мне надо было повесить ковер, я имел полное право сверлить отверстия под дюбеля. Кто же знал, что стена такая тонкая? Дырку замажьте цементом. А о том, что в наш дом заселили уголовников, я подниму вопрос в высших инстанциях!

Грубиян Пастухов крикнул в ответ:

— Вали! Только в штаны не навали!

В этот момент из двух противоположных стен выползли вращающиеся сверла. Толя подскочил к одному из них.

— Кий-я!

Сверло исчезло, а Толя запрыгал на одной ноге.

— О-о! Мать твою!

Он снял ботинок и показал свою окровавленную пятку.

В этот момент из отверстия в потолке, где мы только что подвесили люстру, хлынул поток воды, кто-то басом заматерился, гулко ухнуло, и свет в доме разом погас. К тому же, по моей квартире почему-то начала распространяться ужасающая вонь.

— Что такое, что такое? — затыкали носы наши дамы.

Мне самому стало тошновато. К моему уху приник губами Вася Важенкин:

— Петр Сергеевич! У меня живот скрутило, я сходил в унитаз, как полагается, спустил воду, а оно все на пол вытекло.

— Кто оно?

— А все, что было в унитазе.

— Вот не вовремя!

Хорошо, что я человек курящий, я чиркнул спичкой зажег газету, посветил в туалете — оказалось, что внизу унитаза зияет дыра.

— Ты пробил? — накинусь я на Важенкина.

— Да как? Я что, из металла сделан, что ли? Железный дровосек? Или я гайками какаю? — обиделся Важенкин.

Я понял, что Важенкин, если в чем-то и виноват, так только в том, что слишком много кушает, и слишком много выходит из него вторичного продукта, который получается у него почему-то особенно запашистым, очевидно, желчи в нем много.

Тина Даниловна продолжала мыть окна. Я отнял у нее тряпку.

— Вы же на новоселье пришли, а ничего не выпили, не съели, в работу впряглись, мне просто неловко.

Она вздохнула:

— Это нехорошо, но я вам завидую. Эх, мне бы квартиру, хотя бы в деревянном доме, без удобств, но с отдельным ходом! У меня ж девчонки растут. Старшая уже замуж собирается. Но кто мне даст? Я же не писатель.

— Но вы биолог, преподаватель, у вас такой стаж, такой опыт! Пойдите к ректору вашего университета, ударьте кулаком по столу. В деревянном доме уж во всяком случае вам квартиру дадут.

Она задумалась. Потом сказала:

— А вы знаете, Петр Сергеевич! Как вы сказали, так и сделаю! Стукну кулаком да еще и завою, ей-богу!..

Гости пожелали мне доброй ночи и удалились. Я оттащил раскладушку подальше от туалета и лег спать.

Утром я побежал в вагончик строителей. Какие-то люди в заляпанной известью и раствором одежде пили пиво из конусного ведра, снятого с пожарного щита. Я спросил у них, где смогу увидеть прораба.

— А тебе зачем?

— Да вот, унитаз мне поставили с дырой.

— Не может быть! У нас комиссия дом принимала. Если бы унитаз был с дырой, нам не подписали бы акт. Мы нынче переезжаем на другой объект, а унитазы этого дома нас уже не касаются.

— А кого касаются?

— Иди в жилуправление, парень, они теперь за дом отвечают.

В жилуправлении люди в более-менее чистой одежде пили брагу из грязноватого графина. Узнав, зачем я пришел, один из них сказал:

— Чудак! Мы же по акту дом приняли без недоделок и изъянов.

Если унитаз сломан — значит, ты его и сломал. У нас пока унитазов на складе нет, сходи на толкучку, купи, принеси, потом наш сантехник его тебе установит.

Я пригрозил, что напишу в газету. Они и ухом не повели.

И тут я вспомнил о Шурике. Никто не знал, сколько ему лет, никто не помнил, когда он появился на улице имени Герцена, где жил при бане и спал на нарах за топящимся котлом. Шурика никто и никогда не видел трезвым. Он всегда был равномерно пьян. В канавы не падал, в драку не лез, не шатался, его даже милиционеры в вытрезвитель не брали. Что с него взять — Шурик.

Если кто-либо вторгался в его генеалогию, Шурик сообщал одно и то же. Жили они в деревне, название которой он уже забыл. Шести лет от роду отец приставил Шурика к самогонному аппарату, который был смонтирован в предбаннике. Не раз малец видел, как отец откручивает вентиль и пробует самогон. Вскоре стал пробовать и сам. Отец это заметил, но не заругал, а только сказал: «Смотри-ка, подрастает шельмец! Ты это... как чистый пойдет, меня позови, понял?» Шурик уже привык быть дежурным при самогоне и быть постоянно под градусом. А потом отец у него, как говорится, сгорел от вина. Мать вскоре занемогла и померла. Вот тогда Шурик и отправился в город, и попросился ночевать в кочегарке при бане. Так там и живет. Без паспорта, без возраста, без работы. Собирает бутылки, сдает. Если кому-то нужен цемент — Шурик притащит его с ближайшей стройки. Нужна кому-нибудь дверь — тоже со стройки принесет. Но это как исключение из правил, ему и сданных бутылок на дневную дозу спиртного хватает.

Я постучал в кочегарку, спросил:

— Шурик дома?

Кочегар Никодимыч кивнул:

— В закуток иди, он там котлеты жарит.

Я зашел в закуток и увидел такую картину: Шурик сидел на лавке, возле его ног стояла электрическая плитка со сковородой, на которой лежали котлеты. Жившая при кочегарке болонка ела котлеты с одной стороны сковороды, Шурик брал котлеты с другой стороны.

Я поздоровался. Шурик тотчас протянул мне надкусанную котлету:

— Угощайся!

Я отказывался, он настаивал. Я откусил кусочек и тут же выплюнул.

— Шурик! Котлета-то сырая совсем и холодная!

— Вот черт, собачонка! — ругнулся Шурик. — Бегает тут, штепсель из розетки выдернула. Да какая разница? Все равно в одно брюхо. Ты, Петя, не гребуй, бери, ешь, толще будешь.

Я отказался есть сырые котлеты, но Шурик поел с аппетитом.

Утерев губы широкой ладонью, Шурик спросил:

— Дело какое есть?

— Ну да. Понимаешь, я тут по соседству квартиру получил, а в туалете унитаз сломан. Дыра в нем сбоку такая, что голову можно просунуть. Ты не смог бы помочь?

— Да как два пальца оплунуть! В твоем же доме или в соседнем строящемся унитаз цельный возьму и к тебе приволоку. Тут сейчас микрорайон строят, куда хошь иди, что хошь бери, кран там, вентиль, счетчик электрический или еще что.

— Вечерком?

— Зачем? Прямо сейчас. Во, смотри! — Шурик извлек из-под грязных тряпок огромную связку ключей. — Я иду с этой связкой, поддатый, все меня за прораба или за строительного рабочего держат. Ну, что-то делает мужик, значит, так надо...

Вскоре изъятый из чьей-то квартиры унитаз был установлен Шуриком в моем туалете, по всем правилам, на цементном растворе. Шурик аккуратно обтер унитаз ладошкой.

— Ну, вот, сегодня не пользуйся. Пусть до завтра раствор схватится — тогда уж. А пока можешь все делать прямо с балкона, какая разница?

Шурик выволок поломанный унитаз на балкон и, к моему ужасу, размахнувшись, кинул его с высоты пятого этажа. Внизу ухнуло, словно бомба взорвалась.

— Ты что? Вдруг убьешь кого?

— Я что, без глаз? Я пью, да ум не пропиваю. И обрати внимание: там внизу железяка лежит, так я точно в нее попал, рассыпался унитаз на мелкие осколки. Дождь пройдет — осколки в землю втопчутся. Порядочек. Мы понимаем, что делаем.

Я отдал Шурику два флакона тройного одеколona. Он предложил:

— Давай вместе? Квартиру твою обмоем.

Я отказался:

— Мне нельзя, сердце.

— Ну, тогда свидания, мне всегда можно, у меня сердце большое, как у слона.

33. ДОМИК НА АЛТЕЙСКОЙ

Эта улица — кривая, как колбаса, потому что она строилась вдоль речки Шуршайки и повторяла речной изгиб. Улица односторонняя. Возле реки домов нет, там не строят, опасаясь наводнений, дома только с противоположной стороны, за домами поднимаются глиняные холмы. К одному из холмов приткнулся молельный дом баптистов. Две таблички на двери сообщали, в какие часы служба идет на русском языке, а в какие на немецком.

И вот на пыльном холме за домом баптистов выкопали и забетонировали огромное прямоугольное углубление — не то овощехранилище, не то бомбоубежище. Но когда в это углубление спустили невиданные в здешних местах заграничные моторы размером со взрослого быка каждый, окрестные жители взволновались: что это будет? Завод? Электростанция? Моторы намертво прикрепили к бетонному полу мощными штырями. И загадочная стройка на этом остановилась.

Теперь каждый желающий справить большую или малую нужду спускался по стальной лестнице поближе к гигантским моторам и облегчался не спеша. Некоторые граждане при этом пытались вывернуть или отломить какую-нибудь деталь. Конечно, лучше было спереть мотор целиком, но не получалось: он был неподъемный, и невозможно было отвернуть тут хоть что-нибудь для личного хозяйства. Фикушки! Моторы были изготовлены в какой-то Голландии, что ли, да так прочно, что даже самой малости от них никак не отвернуть.

— Ну и пусть! — решили аборигены, яма хороша и как туалет, и как свалка.

А когда моторы уже полностью скрылись под напластованиями дерьма и мусора, на место стройки прибыли на черных «Волгах» люди в шляпах и принялись разворачивать рулоны бумаги и сличать чертежи с местностью.

— Сорок миллионов затрачено! — сказал человек в самой дорогой шляпе. — Месяц сроку, и приеду смотреть работу подсоединенных к линии моторов! Ясно?

Все шляпы дружно закивали. Через месяц свалка возле моторов была очищена, и хмурые электрики подключили к моторам кабели местной электролинии.

— Мотор! — скомандовала главная шляпа.

Что-то ухнуло, сверкнула молния, и во всем околотке отключилось электричество.

— Твою мать! — воскликнула главная шляпа.

— Твою мать! — отозвались во всех окрестных домах жители улицы Алтайской.

Главная шляпа почесала затылок и изрекла:

— Надо здесь строить силовую подстанцию. И вообще надо здание возвести над моторами, чтобы на них не капало, и чтобы в домике дежурили электрики. Тогда тут никто ничего не загадит.

Остальные шляпы дружно закивали, потом расселись по автомашинам и уехали.

Незаметно в течение лета на холме поднялось здание с четырьмя окнами, и весь объект был обнесен бетонной оградой, по верху которой была пущена колючая проволока. Вскоре к ограде приткнулась проходная будка.

Сначала в ограде не наблюдалось никакого движения, но потом на пыльной траве возле здания стали видеть здорового синеглазого парня с гитарой. Этот парень пел лежа песни Владимира Высоцкого, изредка откладывая гитару и припадая воспаленными губами к горлу трехлитрового баллона с мутной жидкостью.

Я любил эту тихую улочку, вечерами прогуливался по ней, слушал рокот реки, заглядывал в дверь дома баптистов, где они молились, сидя на скамьях рядами, как зрители в кинотеатре. Мне было печально сознавать, что скоро в промышленном здании на холме смонтируют какую-то там подстанцию высокого напряжения и тогда уж заграничные супермоторы станут день и ночь грохотать, и улочка эта превратится в ад кромешный.

Однажды я услышал, как парень на объекте, присев на ящик, наигрывал на гитаре какую-то испанскую мелодию, его длинный указательный палец свободно накрывал все семь струн.

— Большое баррэ! — невольно сказал я.

Парень перестал играть, поглядел на меня из-за забора и спросил:

— Сеньор владеет гитарой?

— Ну, не так, как Сихра, но три аккорда играем гордо!

— Тогда прошу к нашему шалашу! — пригласил парень.

— А как к вам попасть? Не лезть же через забор с проволокой?

— За углом проходная, она, правда, наглухо закрыта, но рядом с ней — железные ворота, они просто прикрыты, проволочку там отогнете и зайдете.

— Да неловко как-то.

— Парень вздохнул:

— Что ж, сеньор, придется мне вас встретить, раз вы такой стеснительный.

Он прислонил гитару к ящику. Когда я подошел к металлическим воротам, парень был уже там.

— Видите, сеньор, простая алюминиевая проволока соединяет створки. Разогнули, прошли и вновь проволоку на место.

— Да, но так любой к вам на объект проникнет.

— Броня крепка и танки наши быстры! На ночь я запираю ворота большим висячим замком. А днем кто придет? Разве какой-нибудь знакомый кабальеро с бутылкой перцовки, которую при некоторой доле воображения можно посчитать малагой. Здесь вообще-то чисто испанский пейзаж вокруг.

Вскоре я уже сидел на ящике и пел песню Окуджавы «Виноградную косточку в землю зарю...» Пригласивший меня человек разулыбался.

— У вас хороший музыкальный слух! Вы не музыкант, часом?

— Да нет, я литератор.

— А как ваше имя?

Я назвал себя.

— Как же, как же! Известное в Пимске имя. Сеньор, разрешите представиться: Геннадий Агатин, дежурный электрик Водоканала.

Пошел дождь, мы с Агатиным переместились внутрь здания. Прошли мимо прямоугольного углубления, в котором молча ржавели громадные заграничные моторы, к помещению дежурки.

— Вот будет грохот, когда они заработают, — предположил я, глядя на эти чудовищные изобретения человеческого разума.

— Они никогда не заработают. Они несовместимы с нашими электролиниями. А начальство никогда не признает свою ошибку. Поэтому мы вечно будем дежурить здесь в тишине и покое.

Неподалеку от двери стоял токарный станок, а стену украшал щит, на котором со смыслом были расположены в специальных зажимах распили, напильники, кусачки, стамески, ножовки по дереву и металлу, гаечные ключи.

— Здорово! — восхитился я.

— Да, простор для рационализаторов и новаторов! — поддержал меня Геннадий. — Ну, это рабочая зона, а теперь пройдем в зону отдыха, — он пинком отворил дверь. — Вот здесь, сеньор, протекает наша

жизнь рабов Водоканала... — он повел рукой, предлагая посмотреть, где же именно протекает рабская жизнь.

Помещение дежурки было обширным. У окна стоял стол, на котором уместились телефон, телевизор и радиоприемник. У другой стены я увидел четырехконфорочную плиту, какие бывают в городских квартирах. На конфорках стояли кастрюли и сковороды.

— У нас даже современный ватерклозет и душ есть, — похвалился Агатин. — А посмотрите, что за прелестная у нас лежанка! На такую лежанку не стыдно пригласить даже первую красавицу Пимска. А знаете, как мы дежури́м? Нет? Так вот. Выпиваешь ведро малаги, то бишь браги, ложишься на лежанку и смотришь в окно. Видите, за окном закреплено зеркало заднего обзора. В нем видно входные ворота и проходную. В проходной у нас дверь закрыта на прочный засов. Но вот зеркало показывает мне человека возле проходной. Он там нажимает кнопку домофона, и я слышу приятный или, наоборот, противный голос. Если человек этот мне знаком и приятен, то, не вставая с данной лежанки, я нажимаю кнопку под топчаном (вот она), и в проходной срабатывает маленький моторчик, и пружина отодвигает засов. И так, лежа, я могу впускать желательных лиц. Вы мне приятны, вот я и выдал вам секрет домофона. В следующий раз вы им воспользуетесь, когда захотите навестить меня... Берите гитару и пойте, а я поставлю варить картошку, настрогаю соленого сальца с прожилкой, откупорю бутылочку сорокаградусной. И мы с вами закусим.

Я удивился всей этой автоматизации и взял гитару. В пустоватом помещении дежурки голос и струны звучали прекрасно. Агатин деловито хлопотал у плиты. И наконец провозгласил:

— Кушать подано!

Свежая картошечка, сало с прожилками, зеленый лучок и обжигающий глотку самогон. Звякнули стаканы.

— Так, значит, вы электрик? Выпьем за электричество.

— Лучше — за высокое напряжение. У меня одного из всех наших трех электриков есть допуск к высокому напряжению, специальные курсы окончил. Если где-то силовая глючит, вызывают меня. Тут надо знать не только схемы соединений, релейную защиту, автоматику и прочую хренотень, надо еще быть как бы Каменным гостем. Чтобы ни одна поджилка не дрогнула. Запираешь за собой дверь на замок и действуешь. Был тут один, тоже допуск имел. Раз дрогнул, коснулся чего не надо и превратился в уголек. Поминай как звали.

— А вам не страшно бывает, когда в силовой работаете?

— Нет! Как подумаю, что за два часа заработаю больше, чем за месяц обычного дежурства, так делаюсь спокойненьким, как пульс у покойника.

— А-а! Так всю жизнь электриком и работаете?

— Обижаете. Еще недавно я был инженером на городской водной станции.

— А что же переменили работу?

— Мафия!

— На водной станции?

— На ней. И плюс — в горисполкоме.

— И что за мафия?

— Людей травят.

— Каких?

— Всяких. Вот вас, например.

Он налил еще по стакану самогона, я свой только пригубил.

— Манкируете?

— Да нет, у меня печень, сердце.

— У меня тоже печень, сердце. Чистый самогон лучшее средство от всех болезней.

Я все же решил только помочить губы в стакане. Пусть пьет, он вон какой здоровенный парница. Он махом выпил, хорошо закусил салом, начал рассказ:

— Тут, значит, такая история. На нашу водную станцию поступает вода из подземного водозабора. На станции в нее подмешивают воду из реки, зимой — до двадцати процентов, а весной, когда по реке плывет все дерьмо — не более пяти. А бывает, что звонят из Кузбасса: аварийный сброс химии в реку Тамь произошел. Тут уж все «речные» задвижки должны быть закрыты, вода в город должна поставляться только из подземного водозабора.

Прихожу домой, наливаю воды в стакан — вода аж с душком. В следующую смену спрашиваю начальника смены:

«Речные заслонки закрыты?»

«Закрыты, — говорит. — А вообще это не ваша прерогатива». А от самого коньячком припахивает.

Ладно. Спускаюсь в тоннель, смотрю, мать моя женщина! Речная вода полностью в водопровод идет. Я давай вентили крутить.

Еще и смена не кончилась, а уже и главный инженер, и начальник станции прибыли, созывают народ:

«Кто посмел речную воду перекрыть?»

Ну что я буду в прятки играть? Я вышел вперед и сказал, что сейчас речной водой поить горожан — преступление, химия сплошная. А они говорят, что я козел, тупица, верхогляд и демагог. В половине домов воды не стало, некоторые заводы застопорились, миллионные убытки понесли. Хорошо, что они вовремя хватились и опять задвижки открыли. Но меня для примера лишат премиальных и объявят строгий выговор.

Ладно. Вернулся со смены, накатал статью в газету «Форум народа», там Юра Мешаев теперь все подряд печатает, свобода, дескать! Да вы его наверняка знаете... Ну, вышла моя статья. Меня вызывают в Водоканалтрест, и начальник, лысенький пузанчик, говорит:

«Нам известно, что вы окончили курсы электромонтеров подстанций высокого напряжения. Направляем вас на новую дожимную насосную станцию дежурным электриком. В окладе вы почти не потеряете, а если где у нас на «силовых» будет авария, будем давать вам аккордную работу».

Вот так, сеньор, я попал в здешние палестины.

— Вы, наверно, политехнический институт закончили?

— Опять обижаете. Я окончил филологический факультет Пимского государственного университета.

— Как? Филолог, а работаете не по специальности?

— Судьба играет человеком. Вообще-то меня после учебы назначили директором средней школы в село Верхоречье. Природа. Пейзаны. Прекрасно!.. Но вся эта буколика быстро обрыдла. Я мотоцикл купил. Даже зимой на нем в город ездил. Встречные глазам не верили: мороз под шестьдесят градусов, и по дороге — мужик катит на мотоцикле, в тулупе, ватных брюках, в пимах и в космических черных очках в пол-лица.

Проработал я в той школе меньше года. Тоска заела. Лето. Ромашки, букашки. Стал я с одной красивой десятиклассницей ездить на речку купаться. Ну, раздавим с ней поллитровку, поныряем, покупаемся, лежим, загораем. Однажды выпили больше, чем надо, я ей говорю:

«А что если нам теперь по деревне прокатиться в костюме Адама и Евы? Тебе — слабо?»

Она говорит:

«Ничо не слабо».

Мы и поехали. Всего два круга по деревне дали. А шуму! Меня вызвали в отдел народного образования, сбежалось бабье:

«Как вы могли, как вы посмели! Какой разврат! Какой пример ученикам! Растлитель! Судить такого надо!»

«Чего, — говорю, — квакаете? Ну, жарко было, ну, проветрились. В Африке, вон, пигмеи всегда голые ходят, и никто их не судит, в отдел народного образования не вызывает. А за границей вообще нудисты голые на пляжах лежат спокойненько, родители и дети вместе, и не стесняются. Пора и нам привыкать...»

— Посадить могли...

— Не та эпоха, сеньор. Демократия начинается. Забрал я у них трудовую. Правда, запись они плохую сделали, но это уже несущественно. У меня этих трудовых — несколько штук. После этого подался на Север, на буровую, там физически крепких ребят с любыми записями берут...

Вечерело, пора было прощаться. Я сказал:

— А вы интересно излагаете. Статьи, значит, пишете, а стихи или рассказы не пробовали?

— Рассказы пробовал, много набросков. Да ведь самому судить трудно, что получается.

— А вы знаете, я в ПИССУАРе литературный кружок веду. До сентября у нас каникулы, но в следующее воскресенье мы будем отмечать получение лейтенантского звания молодым лесопатологом и поэтом Васей Важенкиным. Я вас приглашаю. Вот вам номер телефона, позвоните, я выйду от Васи и вас встречу. Там вы познакомитесь сразу с десятком непризнанных талантов и гениев, общение с коими вам будет полезно.

Он проводил меня до ворот. Я был доволен: завербовал еще одного члена кружка, и человек самобытный, даже чересчур.

34. ОБМЫВАНИЕ ЛЕСНОГО ЛЕЙТЕНАНТА

Я шел на железнодорожный вокзал встречать своего знаменитого двоюродного брата. Он почему-то на этот раз не полетел самолетом, а решил приехать в Пимск поездом. Наверное, думал полюбоваться в окно вагона нашей великой Россией.

Цветы в привокзальном парке пахли волнением встреч и прощаний. Красные железнодорожные будки, полосатые шлагбаумы, огромные буквы Ж и М в противоположных концах длинного приземистого здания — вызывали воспоминания о дальних странствиях, многочисленных приобретениях и потерях.

По радио передали:

— Фирменный поезд «Тамич» задерживается в пути на один час пятнадцать минут.

Обычная для нашего времени история. На привокзальной площади многочисленные гитаристы, перекрикивая друг друга, исполняли все-народно любимые прибалтийские песни. У каждого к грифу гитары была привязана баночка для сбора денег. Время от времени кто-нибудь из них кричал:

— Граждане пассажиры! Подайте работникам искусства, брошенным на произвол судьбы в жестокий рынок!

Милиционеры стояли в сторонке и милостиво улыбались.

Наконец подошел поезд, я побежал к купейному вагону, там за зелеными шторами и голубыми занавесочками ощущалось некое шевеление, в окнах покачивались легкие клетки с канарейками и попугаями, но пассажиров было не видно. В двери, вслед за носильщиками, тащившими огромные чемоданы, возникали шикарные мужчины и женщины, спускались на перрон, принимали цветы, с кем-то обнимались, но блистательного военного атташе нигде не было видно.

Я не захватил с собой цветов. Атташе, полковник — это вам не барышня; я припас лишь пакетик, в котором была бутылка первосортного самогона и пара огурцов.

Я ждал, но купейный вагон опустел, а Владленовича не было. И тут я догадался: кончено же, полковник приехал в вагоне СВ! Понятно, что такая важная персона обязательно возьмет себе отдельное купе!

Кто-то взял меня под руку. Я оглянулся: подозрительный тип в потертом черном плаще и сером берете наклонился к моему уху:

— Ну, здравствуй, брат!

В худом небритом человеке с завалившимися глазами и изможденным лицом я с трудом узнал своего великого брата. Мы трижды расцеловались. Владленович усмехнулся:

— Видел: ты ждал возле купейного вагона, потом к СВ кинулся. А я приехал в бесплэцкартном вагоне. Причем эксперимент сделал на выживание. Выехал из Москвы без копейки денег, без курева и пищи. И что? Спал на верхней багажной полке, оброс бородкой. Кондуктор идет, притворяюсь спящим, мужики и бабы говорят кондуктору: «Не трожь его, больной он, или горе какое, ни с кем не разговаривает». Иногда сунут кусок пирога, я съем молча и опять на боковую. Два раз в тамбур выходил, просил у мужиков окурочек дососать. Так и одолел двое с половиной суток безвозмездной езды. Сошел тут на станции, смотрю, как ты мечешься... Эксперимент удался!

— А если бы тебя на какой-нибудь станции ссадили?

— Ну и что? Попросился бы к машинисту в тепловоз либо в товарняк какой-нибудь забрался. Нет безвыходных положений.

Мы присели под раскидистой акацией и стали по очереди отпивать из бутылки самогон.

— Понимаешь, — говорил брат, — я все терпел. Перестройка, то, се. Но когда этот Руст, пройдя все воздушные заграды, посадил самолет у Кремля, на Москворецком мосту, я понял: это все! Я был тогда там, сам видел. И понял: это — все!

— Что все-то?

— Конец всему.

— Почему же?

Виктор Владленович оглядел окрестные кусты, плотнул самогона и сказал:

— Этот, с отметиной на лысине, не понимает, что творит. Лысый понимает в комбайнах, недаром же он еще подростком получил орден за хорошую жатву, а в разведке он не волокет.

— То есть?

— В университетах, институтах и тем более в средних школах этому не учат. Потом когда-нибудь объясню. Скажу лишь, что у римского папы Америка — мама. Вот и все. Мне надо отдохнуть.

— Да-да, я сейчас возьму такси, поедem ко мне, я ж квартиру получил настоящую, теперь можно гостей принимать, — сказал я, думая о том, что койку придется уступить бывшему атташе, а самому спать на полу.

Но Виктор Владленович заявил, что тут возле вокзала живет его одноклассница.

— Вдруг ее дома нет?

— У нас вдруг не бывает. Я просто не сообщил, каким именно поездом прибуду... Телефон-то в новую квартиру провел? Есть? Завтра я тебе позвоню. До которого часа спишь?

— Да звони в любое время! Завтра к трем я к своему ученику на праздник приглашен, хорошо бы и тебя взять с собой, познакомишься с интересными людьми.

— Ладно. До завтра!..

На другой день в половине третьего Виктор Владленович появился в писорге. Теперь он был гладко выбрит, в новом сером костюме и в темном галстуке с крупными искрами. Выглядел джентльменом.

— Ну как, успеем мы к твоему Важенкину?

— Успеем! А ты франт. Откуда костюм? У тебя же с собой даже портфеля не было.

— Костюмы я беру из воздуха, а деньги — с потолка.

— А где же кортик?

— Нет кортика. Как нет и удлиненной автомашины, которую я привез из Англии. Одна такая во всей Москве только и была.

— Куда же все делось?

— В мире ничего не исчезает, только одно превращается в другое. Это тебе любой философ скажет. Так вот, авто, кортик да еще и деньги с книжки превратились в трехкомнатную московскую квартиру. Дочь у меня вышла замуж и родила мне внучку. Теперь молодая семья будет с квартирой. Деньги надо снимать в любом случае. В такие переломные моменты они имеют обыкновение обращаться в труху.

Мы с Владленовичем направились к Важенкину. Поднялись на лифте. Вася был уже в изрядном подпитии, губы его раскиселились от распивших его напитков и жирной пищи.

— Проходите, проходите, дорогие гости, я так рад, так рад! У нас тут собралась небольшая, но очень интеллигентная компания: поп, дьякон и три проститутки!

— Вася! Как тебе не стыдно! — оторвалась от куриной ножки его мама Леокадия.

Гости зашумели и стали уплотняться на своих сиденьях, дабы мы с Виктором Владленовичем могли принять участие в застолье. Среди гостей были почти все члены моего кружка, были также одноклассники Васи Важенкина и родичи.

Чтобы разместить гостей, Важенкины уложили все нашедшиеся в доме доски меж расшатанных стульев. Между одним из стульев и диваном были положены две лыжные палки, на них нас и усадили. Палки под нами выгнулись, но, к счастью, не сломались.

Виктор Владленович шепнул мне:

— Чувствую себя петухом на насесте. Но курочки все старые, облезлые. Есть, правда, одна ничего себе, но возле нее два крепких петушка обретаются.

Я объяснил Владленовичу, что это жена Вадика Дранкина, сидит она между мужем и его братом Толиком.

Вскоре меня пригласили к телефону. Я понял, что звонит Геннадий Агатин, коротко перемолвился с ним, спустился с восьмого этажа в подъезд, забрал там Агатина, доставил в квартиру Важенкина и представил гостям как филолога и молодого прозаика.

Причем Агатин на мое представление отозвался словами Кисы Воробьянинова:

— Да уж.

Леокадия Зотеевна после двух опорожненных ею стопок царила, парила, распространялась над столом. Грибочки, селедка под шубой, что-то там под майонезом, нечто под грибным соусом, маслице... Того попробуйте, этого отведайте! Она как бы зависла над столом, хотя на самом деле сидела, располовинясь меж двух стульев. Ее и с места не сдвинуть. Тут были гости, была еда, был смысл жизни...

Откуда-то из-под стола то с одной, то с другой стороны возникала маленькая, как Дюймовочка, старушонка, подсовывала гостям тарелочки старинного кузнецовского фарфора, на которых исходили слезой ломтики сыра.

— Кушайте, гости дорогие! Я его сегодня без очереди взяла.

Это была Васина бабушка Ефросинья Ивановна, убежденная оптимистка и коммунистка, много лет проработавшая воспитательницей в детском саду университета. Многие нынешние академики и профессора Пимска вырастали когда-то под ее недреманным оком. Теперь Ефросинье Ивановне исполнилось девяносто пять лет. Но она, как рассказывали Важенкины, не ходит, а бегаёт. За день успевает обежать десятки магазинов. Достает талоны, меняет их, занимает очередь. Впрочем, чаще всего ухитряется покупать дефицит без очереди.

Теперь, подавая гостям тарелочки с сервелатом, который был не просто дефицитом, а неслыханной редкостью, Ефросинья Ивановна сказала:

— Кушайте, дорогие мои, не стесняйтесь! Очередь за этим сервелатом была в три хвоста, но я и двадцати минут в том магазине не потеряла. Показала паспорт: смотрите, мне девяносто пять! Иные хамы не хотели пропускать, но широкие массы возроптали: пустите ее, пусть поест последний раз в жизни!

Ефросинья Ивановна звякнула тарелочками, рассмеялась, как колокольчик, просияла синими глазками, и было ясно, что она очень гордится своей миссией и вовсе не собирается помирать в ближайшем будущем.

Застолье шумело все громче, я тихо объяснял Виктору Владленовичу, кто тут есть кто.

— Так вот, — втолковывал я ему, — Вадик Дранкин только что закончил медицинский институт, такой тощенький хлюпик, а какую грозную специальность избрал: врач-гинеколог! Но поработать врачом

ему почти не пришлось. Младший его брат Толик — шофер, видишь, он младший, а насколько мощнее выглядит своего братца-врача. Так вот. Толик живет с их мамашей в деревянном домике на улице Просковской. Домик окнами глядит на улицу, а мимо сплошным потоком машины мчат — и грузовые, и легковые. Ну, братцы подумали, фасад домика подкрасили и стали прямо в окна продавать проезжающим сосиски в тесте, пирожки, соки, воды, квас. Втихаря и водочку наливают. Важенкин говорит, что они расширять дело собираются.

В это время вскочил пожилой майор, хохолок у которого торчал на лбу, как у великого фельдмаршала Суворова.

— Выпьем за первую звезду молодого офицера! — возгласил майор. — А уж я-то знаю, чего звездочка стоит! Меня сам маршал ракетных войск хвалил! Зайдет в бункер. Я кнопку — раз, кнопку — два, и руку — к козырьку, и сапогами — шелк. А он говорит: «Молодец, Хилюшкин! Далеко пойдешь, если вовремя не остановят». Остановили. Добрую дозу под Семипалатинском получил. Впрочем, это военная тайна. Да мне что? Вот документ! Акционерное общество. Папоротник-орляк будем добывать в наших болотах. Вагон папоротника отгружу в Японию — оттуда привезу вагон денег! Вы еще услышите о Степане Степановиче Хилюшкине.

— Правда богатый? — спросил я шепотом Важенкина.

— Не знаю, — отвечал Вася. — Акционер он недавно, а вот пенсия у него большая, жены нет и, видимо, не будет, и ему одному пенсию пропивать скучно. Ему, как пострадавшему, много денег выплачивают.

Важенкин огласил приказ о присвоении ему лесным ведомством лейтенантского звания, засунул копию приказа в стакан с коньяком и под крики «пей до дна!» так хорошо заглотнул содержимое стакана, что проглотил вместе с коньяком и копию приказа. Вероятно, слова приказа отпечатались в его пищевode, желудке и кишках. Эти органы пищеварения должны были осознать, кому они принадлежат.

Я заметил, что большеглазую Магдалину, жену Вадика Дранкина, увлек за собой на кухню мой кружковец Бадридзе. «Бодрый, однако!» — подумалось мне. С кухни послышались смачные звуки, будто кто-то выжимал большую мокрую тряпку. Опрокидывая доски, стулья и просыпая салат, на кухню ринулся Дранкин. Встревоженная Тина Даниловна тоже поспешила туда.

В этот момент Важенкин принялся дергать струны гитары и терзать наш слух, переходя с фальцета на бас. Спев песню, он спешно набивал рот колбасами, грибами, окороком с горчицей, кусками торта, вареньем.

Жуя, глотая сиропы и минералку, он все же не выпускал из руки гитару, и видно было по всему, что он мечтает научиться совмещать обжорство и пение, но пока у него эта синхронность не вытанцовывалась.

В какой-то момент я вырвал у него гитару и передал ее Виктору Владленовичу. Тот повертел ее, хмыкнул:

— Гитара, конечно, полено, но интересно, кто же и зачем засунул под гриф такую большую щепку? Из-за этого гитара не строит.

— Нет! — всполошился Важенкин. — Это не щепка, это подставка, без нее струны за лады задевать будут.

Виктор Владленович, не говоря ни слова, вытащил щепку, заколдовал над грифом, и гитара, словно почувствовав, что очутилась в руках мастера, зазвучала мощными аккордами. Владленович спел известную фронтовую песню. И все сразу смолкли, словно увидели темную фронтовую ночь, про которую он пел, услышали, как пули свистят в проводах.

Он закончил петь и сказал Важенкину:

— Вообще-то я гитару настроил, гриф установил правильно, но если хотите, я могу засунуть под него вашу щепку обратно.

Вася промолчал. Подгулявший редактор новой демократической газеты «Форум народа» Юра Мешаев пытался продолжить песнь про пули и провода, но у него не получалось, во-первых, потому что он был остяк, и во-вторых — слишком пьяный. Тогда он обнял меня за плечо и стал убеждать:

— Старик! Плюнь ты на свой кружок! Переходи ко мне заместителем, будем вместе резать правду-матку в глаза!

Я сказал, что рад буду ему поставлять стихи своих питомцев. Все они истосковались по публикациям.

— Не, старик! — не соглашался Мешаев. — Стихи — это слюни. Сейчас ситуация революционная. Жизнь надвое переломилась. Глаголом жечь сердца! Публицисты нужны, полемисты.

Толя Пастухов вытащил тетрадку из-за пазухи:

— Редактор! Давай я тебе свои куплеты почитаю, сплошная революция!

— Да пошел ты!

— Нет, ты только послушай!

Я указал Мешаеву на Агатина:

— Он тебе давал критическую статью, помнишь?

— Помню.

— У него есть рассказы, хорошо бы ему дебютировать в твоей газете.

— Ну, если ты, старик, подработаешь, поправишь, да желательно — рассказик небольшой, и чтобы был он сатирический или юмористический.

— Все так и будет.

— Тогда заметано!

Прощания, поцелуи, выяснения, кто с кем пойдет вместе домой. Вадик Дранкин приехал на собственной «Волге», предлагал подвезти до дома меня и Виктора Владленовича. Мы отказались.

Леокадия Зотеевна, прощаясь, сказала:

— Вадик Дранкин подарил Васе фарфоровую вазу в рост человека, а Петя Мамичев, как всегда, книжку...

— Ну ладно, мама, — успокаивал Леокадию Зотеевну хмельной и счастливый лейтенант лесной службы, — ну чего ты, подарок есть подарок.

Мы вышли. На лестничной площадке нас догнала Ефросинья Ивановна. Она сунула мне в руки тяжелый масляный сверток.

— Пирожки с рисом, диетические. Вкуснота! Знаю, что вы один живете, знаю, что журналист и писатель. Я старая большевичка. Вы бы зашли ко мне поговорить? Я адрес тут на свертке записала. Зайдете?

Что было делать? Я пообещал зайти в самое ближайшее время, а зашел уже в разгар зимы...

До самого рассвета бродили мы с бывшим военным атташе по ночному Пимску. Он был на этот раз особенно неразговорчив.

— Долго пробудешь у нас, Владленович? — спросил я.

— Здесь хоть не чувствуешь себя соучастником преступления.

— Какого преступления?

Он не ответил.

35. ВЕЛИКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Время шло, а Виктор Владленович Мамичев так и жил в Пимске, но где именно и как — я не знал — то ли он был у подруги юности, то ли у друзей детства. Но иногда он звонил мне откуда-то, сообщал, что жив, здоров и никак не наглядится на родной город.

Когда он опять позвонил мне, я пригласил Владленовича на заседание кружка. Летом мы два месяца не занимались, у нас были каникулы, и теперь кружковцы, конечно, придут все как один.

Мы договорились с Владленовичем встретиться в университет-

ской роще. Прогуливаясь там, я неожиданно столкнулся с Глафирой Николаевной Шабановой, благодетельницей мой, обеспечившей меня квартирой. Поздоровался, а о чем говорить с ней — не знал. Она заговорила сама, схватив меня крепким пальцем за подтяжку:

— Писатель, да? Бумага терпит?

— Терпит. А где твои сорок кафе, помнишь, ты обещала?

— Кафе, кафе! Вы пилите сук, на котором сидите! Чего этот ваш Лука Балдонин в «Форуме народа» написал?

Теперь я понял ее суровость. Ну да, Лука наделал шуму в Пимске, изругав вдрызг всех коммунистов. Еще год назад такую статью ни один редактор не напечатал бы, а автора сочли бы сумасшедшим. Лука красочно описывал, как обкомовцы, урча, как коты, выходят со свертками из своего магазина-распределителя. В столовой обкома аппарат кормят исключительно осетриной, икрой и жирными пельменями. Луке же и прочим смертным приходится стоять два часа в очереди за двумя килограммами серой мышинной колбасы. Надо отобрать у партийцев обкомовское здание и отдать его больным детям. В конце статьи Лука обращался к первому секретарю обкома Морилову, гневно спрашивая его: «Ну почему ты сытый, а я голодный?»

Много чего наворотил в статье кулацкий сынок, окончивший бесплатно юридический факультет в Одесском университете. Дедушка Луки даже расписываться не умел. А этот окончил вуз, но пошел не в юристы, а в писатели.

Да, была тут некоторая кондовая избяная правда. Но что же будет после того, как отберут у обкомовцев икру? Лука в своей статье об этом не сообщал. Хотя я догадывался, что, конечно, отобранные у партократов икру, осетрину и жирные пельмени Лука собирается кушать самолично и в больших объемах. Были у меня и смутные предчувствия того, что Лука обольщается. Дорожка ко всему вкусному во все века была трудной...

Глаша метала глазами молнии и все дергала меня за подтяжку. Потом, оттянув подтяжку, резко отпустила ее, так что резина звонко шлепнула меня по животу.

— Оголодали совсем! — свирепо сказала Глаша, глядя на мой не совсем кондиционный живот.

Она плюнула и пошла по дорожке прекрасной рощи. Я крикнул вслед ей:

— У меня такой живот от постоянной сидячей работы!

Она не обернулась.

Я вышел за университетскую ограду. Возле нее, на принесенных ими табуретках, сидели старушки, продававшие вымытые и подсушенные семечки. Странно для студенческого города, но старушек с семечками встретишь на каждом углу, не говоря уж о базарах. И традиция эта наблюдается с давних времен. А может, в том, что семечки у нас продают на каждом углу, и нет ничего странного. Безденежным студентам — хоть семечек погрызть, и то развлечение.

Я увидел: к бабкам подошли мрачные подростки, бритоголовые, с бутылками в руках. Главарь цыкнул сквозь зубы слюной и спросил:

— Почем, бабка, твоя рюмка семечек?

— Какая же рюмка! — визгливо отвечала оскорбленная старуха.

— Стакан это, али у тебя шары повылазили?

— За обман народа гоните каждая по десятке!

Бабки стали возмущаться:

— Вот еще!

— Вот наглые какие!

— Идите, пока милицию не вызвали!

Подростки, гадливо улыбаясь, стали поливать семечки из бутылок какой-то зеленоватой жидкостью, бабки ошалело смотрели. Одна сказала:

— Никак бензин?

— Он самый! — сказал главарь и щелкнул зажигалкой. — Гоните с носу по десятке, а то сейчас запалю.

— Запаливай! — закричала одна, очевидно, самая смелая. — Нехай сгорит, все равно с запахом семечки не продашь!

— Правильно рассуждаешь. Эти семечки уже не продашь, но мы и завтра придем сюда с бензином. Так что и сегодня, и завтра, и послезавтра, и каждый день будете платить по десятке с носа, если, конечно, хотите спокойно тут торговать. Мы будем вашей крышей.

— А мы в милицию заявим...

— Милиция у нас в доле. Вас же и оштрафуют за торговлю в неположенном месте. Так что перестаньте базлатъ, гоните бабки — бабки! — скаламбурил главарь.

Старухи стали рыться в карманах и кошельках.

— Так исподтишка создается русская мафия, — раздался над самым ухом у меня голос Владленовича. — И если это происходит в университетском Пимске, можно представить, что сейчас делается в Москве.

Я обернулся. Мой именитый двоюродный брат стоял возле дерева. Он был в штатском костюме, гладко выбрит, ботинки сверкали.

— Может, сгущаешь краски? Просто хулиганы. Они в Пимске были всегда.

— Нет, дорогой мой, это уже политика...

В редакционной комнате ПИССУАРа в тот вечер было полно народа. Изрядно подвыпивший, краснолицый и возбужденный Юра Феофанов говорил:

— Плюрализм теперь! Пиши, что хочешь! Евтушенко сказал: каждому советскому человеку — ксерокс! А если какой глаз за нами будет подсматривать, так мы его выткнем!

Толя Пастухов засомневался:

— Плюрализм это от слов «плювать» и «клизма».

— Да ведь не плюраклизм, а плюрализм!

Иван Карамов возмутился:

— Прилюзизм... А когда Чернобыль взорвался, или кто-то взорвал его, молчали в тряпочку. На Скандинавию пепел стал сыпаться. Когда за бугром взвыли — и наши в молчанку перестали играть. Вот вам и прилюзизм ваш.

— Не понимаешь! — вскричал Юра Феофанов. — Это остались в Кремле старые кадры, они скоро уйдут! А я в театре юных зрителей в спектакле «Кот в сапогах» выхожу — в костюме мушкетера, в шляпе с пером, со шпагой — и читаю собственные стихи. Вот, посмотрите, в афише эти стихи стоят, и написано, что в спектакле использованы стихи Феофанова, — он развернул перед нами красочную афишу. — И никакой цензуры! Вот он плюрализм: Феофанов со сцены театра звучит!

Мне стало немножко завидно, что я со сцены не звучу, хотя пишу, кажется, много лучше Юры. И я сказал:

— Ладно, хватит политики, давайте литературой займемся. К нам на заседание пришел новый товарищ — Геннадий Агатин. Он нам почитает свои рассказы.

Гигант Геннадий Агатин неожиданно засмутился.

— Да уж не знаю, стоит ли, ведь просто наброски... Да и читать я не умею, какой из меня чтец, электрик я.

— Так ведь по образованию филолог.

— Но это как-то так вышло, закончил, а работал-то все рабочим, огрубел, что знал — все забыл.

— Читай, не ломайся! — подала голос Светлана Киянкина. — У меня вообще образование заушное, я теперь просто безработная, а было бы что читать — прочла бы.

Агатин начал разворачивать размахившиеся пожелтевшие листочки в четверть стандартного листа. Долго вглядывался в свои записи синючими бездонными глазами и наконец сказал:

— Нет! Не буду. Не могу, горло перехватывает.

— Что за глупости! — сказал я. — Ну, давайте, сам прочту.

Мне хотелось, чтобы этот Челкаш с улицы Алтейской стал членом моего кружка. Было в нем что-то такое... Вообще, рядом с такой могучей фигурой чувствуешь себя более защищенным.

Я стал читать. Написанные карандашом на серой бумаге строки едва можно было разобрать. Ни одного абзаца, почерк корявый. Вот тебе и бывший директор школы!

— Абзацы кто за вас ставить будет? — спросил я автора.

— А черт его знает, где их там ставить, — отвечал он беспечно. — Да и зачем? Для себя писал.

Все же я смог разобрать, что в рассказах есть ирония, юмор, порой неожиданный, своеобразный.

— Серьезнее к рукописям относитесь. Почерк неразборчивый, так пишущую машинку купите, хотя бы в комиссионке, старенькую.

— Ну, вот еще, чтобы я долбил, как дятел? Да и не умею я.

— А не мешало бы научиться. В рассказах есть меткие наблюдения, есть интересные строки. А в вахтовика, полетевшего в город, вцепившись в шасси вертолета, как-то не верится.

— А это я сам и летел. Если бы вы знали, какая на Севере напряженка с транспортом, так поверили бы.

— Ну, в то, что у тебя во время полета с ног сапоги снялись, не верится совсем.

— Снялись, я ж их второпях на босу ногу, без портянок обул.

— Ладно, пусть так. Но почему вот эта страничка в каплях крови? Даже слов не разобрать.

— Это мы с Чмыхом «Солнцедар» пили, такой ядовитый...

— А тут вот чем-то желтым заляпано.

— Это брага. Продавали бы чистую водку, так от нее и пятен бы не было. Черт знает что приходится пить.

— А разве пить обязательно?

— Желательно. Для доброй компании.

— Ладно! Я тут вот на трех рассказах поставил плюсы — эти надо чисто переписать на хорошей бумаге, расставить абзацы, знаки препинания. А лучше всего, перепечатать на пишущей машинке.

Агатин только пожал плечами, принимая свою рукопись, и ничего не сказал.

Нетерпеливо ерзавший на стуле Толя Пастухов радостно закричал:

— Сейчас я вам новенькое прочитаю! До печенок достанет.

И начал читать:

С горы обоз спускался санный,

Мужик им правил обоссанный...

— Стоп! — сказал я. — Ненормативная лексика у нас не пройдет.

— Какая ненормативная? — заартачился Толя. — Это юмор. Ну, ладно, не хочешь юмора, слушай серьезное:

Встал я. С похмелья мутило,

Что-то стряслось с головой.

Партия пить запретила,

Партия — наш рулевой.

— Давайте серьезные стихи. Что вы всякую чепуху несете, — попытался я урезонить Толю Пастухова.

— Мамич, ты же сам говорил, что юмор это серьезно.

— Умный — да. Киянкина, у тебя что нового?

— Да какие новости у безработной? Все одно, стихами денег не заработать, так зачем писать? Тогда на семинаре меня, небось, и слушать не стали. Все схвачено, за все заплачено.

— Эх, вспомнила! Это когда было? Мало ли что бывает. Сервантес больной, израненный писал своего Дон Кихота для собственного удовольствия в первую очередь, а стал знаменитым на все века.

— Нам известность ни к чему, нам кушать надо.

— Не надо так говорить, Света. У тебя просто плохое настроение. Кто ищет, тот всегда найдет.

Дресвянин прочел угловатые, но щемящие стихи о деревне. Читал он тяжело, с надрывом, и видно было, что чем-то недавно крепеньким угостился вместе с Юрой Феофановым.

Живу в одной из многих деревень,

Изба надела крышу набекрень.

В заборе не осталось ни доски,

А в сердце столько места для тоски...

Иван Карамов заявил, что пишет большую трагедию, после которой мы все вздрогнем. И сама Москва, вместе со всеми ее поторами, затрясется.

— А когда трагедия будет готова?

— В день икс! — очень серьезно ответил Карамов.

С заседания мы шли с Виктором Владленовичем, Светланой Киянкиной, Андреем Дресвяниным и Юрой Феофановым.

Владленович вскоре пожал всем руки и тихо исчез в проулке.

Возле городского сада и Юра Феофанов попрощался с нами, сказав:

— Спешу к жене.

— Он что, женился? — спросил я Дресвянина.

Тот, помедлив, ответил:

— Мать заставила, чтобы совсем с копыт не слетел.

— То есть?

— Это, Сергеевич, горе от ума. Хуже, чем у Грибоедова.

— Что, сильно пьет?

— Не то слово. У него отец, знаменитый Цицерон наш древнерусский, недавно помер, а мать кучерявого сынка сдерживать не в силах. Он у нее, у женщины войной опаленной, вымоленный у Бога или судьбы, — единственный. Она до сумасшествия его обожает.

— А жена?

— Эх, Сергеевич! Что в чужие дела лезть? Да и живу я теперь в деревне, за городом. Кочегаром там устроился.

— Поздно уже, может, у меня заночуешь?

— Ничо не поздно. Последний автобус в одиннадцать идет, а сейчас и десяти нет. Да мне и в ночь на смену вставать.

— Но у тебя же три курса университета. Неужто в городе не мог устроиться? Ну хотя бы в том же вузе, лаборантом каким-нибудь на первый случай? А там, глядишь, и восстановился бы на факультете, и вуз бы закончил?

— А вы когда-нибудь кадровикам эковскую справку предъявляли? Нет? Ну вот и до свиданья!

Остался я со Светланой Киянкиной. Она сказала:

— Вы вот переменами, я чувствую, недовольны. А мне нравится свобода! Я скоро по газетному объявлению начну работать. На дому. Вот видите, что тут в газете написано? *«Работа на дому. Предлагаем склеивание конвертов и размещение в них рекламных проспектов. Заготовки конвертов, рекламу и договор вышлем после отправки Вами заявления о согласии заключить договор и пятидесяти рублей для оплаты расходов по пересылке. При должном усердии работа будет приносить до 11000 рублей в месяц»*. И адрес... Поняли? Никакие библиотекари и завучи не будут больше мотать мою душу и нервы. Дома, в тишине в покое, буду зарабатывать. Я буду стараться. Мною будут довольны. Фирма!

— Света, мне кажется, что, отправив пятьдесят рублей, вместо заработка ты получишь большое разочарование.

Ее глаза облили меня негодованием, которое я ощутил физически, как кипяток:

— Почему вы людям не верите? Ни во что хорошее не верите? Почему? Че смеяться?

— Света!

— И слушать больше не хочу!

Она убежала от меня, заткнув пальцами уши. Я остался один на улице возле горсада в преддверии осени, еще было тепло и пахло георгинами.

36. СТАРЫЕ ПИМСКИЕ ДОМА

Мороз был под тридцать градусов, но для сибиряка это не в диковинку. Я с удовольствием прошагал два квартала по скрипучей снежной тропе к центру города, где доживал свой век деревянный трехэтажный дом со многими резными украшениями, балясинами, лестничными переходами. Когда-то именно в этом доме меня двухлетнего снимал знаменитый Пимский фотохудожник Пейсахов.

Я в свои два года был уже мужичком осторожным и подозрительным. И когда меня вели к Пейсахову, я даже не заметил красоты этого дома, я думал о том, что отец с матерью наверняка врут, будто сниматься на карточку совсем не больно.

Пейсахов, старичок в круглой шапочке, долго усаживал меня в кресло, затем взял длиннющий шест и открыл на потолке черные шторы, и в глаза мне ударили яркие лучи солнца. И, конечно, я взревел благим матом. Мне не было больно, но дома из потолка солнце никогда не светило, а тут светит, и это опасно, сейчас этот старик еще что-нибудь сделает своей длинной палкой... А старик спрятался под черной тряпкой и навел на меня блестящий круглый глазок, затем, на минуту выглянув из-под тряпки, прокричал мне:

— Смотри! Сейчас отсюда птичка вылетит!

Тут я стал сползать со стула, закрывая глазами руками. Ко мне кинулись отец и мать, водворяя меня обратно на стул.

— Птичка вылетит, ты смотри!

Ага, с потолка ослепил, а сам под черной тряпкой спрятался!

В конце концов старик все-таки выбрал момент и щелкнул кнопкой фотоаппарата. И фотокарточка, отпечатанная потом Пейсаховым, и теперь висит у меня над столом. На ней у меня вид, как у персонажа картины «Тихий ужас».

С такими воспоминаниями вступил я на крыльцо этого дома. Оно все заледенело, в лед вмерзли бурые шевики и осколки бутылок. Некоторых ступенек вообще не было — зияли черные провалы полные мусора. В иных окнах стекла были выбиты и заменены картоном и фанерой. И вообще весь дом выглядел словно после еврейского погрома, какие бывали до Октябрьской революции, а после фигурировали лишь в художественных фильмах о прошлом.

Не без труда я нашел в коридоре нужную мне дверь. Номерных знаков не было, я стучал во все двери подряд, из-за одних дверей слышался мат, за другими дверями никто не отвечал. Но я все же нашел дверь, из-за которой отозвалась мне Ефросинья Ивановна.

— Сейчас отпору! — сказала она и долго отстегивала крючки и двигала щеколды. — Рада, очень рада! — повторяла она. — Проходите, пожалуйста, сейчас чай пить будем.

Я прошел. Старушка была одета в зимнее пальто и валенки. Смущенно улыбаясь, она сказала:

— В теплую погоду даже плюс одиннадцать бывает, а теперь только плюс пять. Хорошо хоть электроплитку мне сосед починил, хоть и дорого взял, зато теперь чайком можно греться. Спираль заменил. А я читала в одном научном журнале, что галактики имеют вид спирали...

Я огляделся. Мебель была антикварная. Отопительных батарей в комнате не было, только тянулись по стенам вкривь и вкось разнокалиберные трубы, придавая комнате некий механистический нюанс. Я пощупал трубы, чуть теплой была одна из пяти.

— Забились! — пояснила Ефросинья Ивановна. — Вызываю сантехников, приходят, постучат по трубам и требуют бутылку, а тепла как не было, так и нет. Батареи вовсе сняли, они продырявились, протекали. Да и трубы протекают, я баночки и тазы под них подставляю. Пол весь сгнил. Раньше, бывало, напишешь заявление в жакт, придут, все сделают. Теперь — хоть запишись. Дом разваливается, приличные люди все съехали. Живут отбросы общества. Остановка рядом, так люди заходят в коридор и делают по большому и по малому. Кто-то доски ночами от дома отдирает... Ну да что я с нытьем? Я ж какую халву достала, сыр какой! Я всегда по очередям, дефицит, дефицит. Ну, надо же Леокадию Зотеевну и Васю порадовать! Да так-то тут жить можно, особенно летом, чего не жить? Но вот гардина у меня свалилась, теперь, как свечереет, хоть свет не включай, такие рожи с улицы заглядывают!

— Ну, гардину-то подвесить не проблема.

— Как же не проблема, когда у нас потолок высокий? Вася табурет на стол поставил, стал прибивать и грохнулся. Хорошо еще удачно упал: одни ушибы, ни одного перелома. Но он-то роста уже приличного достиг, а вы-то гм... невысокий, то есть вы высокий своим положением в обществе, высокий по творчеству, но гардины вешать — это не ваше.

Она засмушалась, подумав, что обидела меня упоминанием о моем небольшом росте. Я сказал:

— Гардины вешать — это самое мое! Дайте-ка мне молоток и гвозди. К деревянной стене хоть что можно прикрепить, раз плюнуть!

— Может, сначала чаю попьем? — робко спросила она. — Неловко мне вас утруждать.

— Кончил дело — гуляй смело. Не зря же так говорится?

Я подвинул стол к окну, на него поставил табуретку, на нее — ведро, днищем кверху. Визави на это сооружение я сказал:

— Эквилибрист на свободной проволоке! Подайте, пожалуйста, гардину.

— Ох, упадете! Ох, упадете! — запричитала Ефросинья Ивановна, подавая мне гардину.

Укрепить ее на нужном уровне и повесить портьеры мне ничего не стоило. Я всегда хорошо сохранял равновесие. Насмотревшись в цирке всякой всячины, пацаны у нас во дворе натягивали канаты и учились ходить по ним, упражнялись и на турниках, и на брусках. Это мне после пригодилось в армии. И теперь, когда я обрюзг и одрях, я все равно сохранял координацию движений, мог балансировать. Мне было приятно удивить этим старушку.

Вскоре мы уже пили чай, и Ефросинья Ивановна показывала мне старые фотографии, на них она была комсомолкой в красной косынке, воспитательницей, а ее окружали мальчишки девчонки в белых панамках.

— Детский садик университета. Этот стал академиком, и этот, и тот, эти вот — знаменитые ученые, эта — балерина Большого театра. Все стали большим людьми. Ведь все это дети преподавателей, профессоров, а яблоко от яблоньки недалеко падает.

Я попросил у нее фото для газеты, записал имена и фамилии. Будет преотличная статья. Да как же можно оставлять в бедственном положении женщину, лелеявшую золотой фонд страны? Что за издевательство! Конечно, перестроечные газеты уже не те, что были раньше, когда была рубрика «По следам наших выступлений», и «следы» были всегда внушительными: слетали высокие начальники с важных должностей,

и принимались скорые и строгие меры. Но, наверное, и сегодня можно добиться принятия мер.

Ефросинья Ивановна сказала:

— Ну хотя градусов пять добавили бы. Я вообще-то закаленная.

Я пообещал ей, что меры буду приняты исчерпывающие.

— Я знаю только одно: вы очень важный в этом городе человек...

Я в свою важность не очень-то верил. Но результаты моей публикации превзошли самые смелые ожидания. Взбудоражилась университетская общественность. Ефросинья Ивановна оказалась в центре внимания. К ней приходили делегации, приносили подарки, а главное — власти быстро организовали не только капитальный ремонт отопительной системы в комнате Ефросиньи Ивановны, но и во всем доме.

На очередном застолье у Важенкиных я похвалил их родственницу. Леокадия Зотеевна сморщила нос:

— Не такая уж она и замечательная, не понимаю, как можно ненавидеть собственного внука, такого интеллигентного доброго мальчика.

— Как же не любит, она вам столько дефицита достает, по очередям день и ночь стоит.

— А что ей еще делать-то, старой перечнице? — желчно спросила Леокадия Зотеевна. — В очередях-то она хоть среди людей толчется, а дома, одна, с ума съехать может. Да она и так с него съехала...

Я не понял тогда, чем недовольна Васина мама. Вася вышел меня проводить, он пояснил:

— Ефросинья Ивановна более чем старенькая. Я ей столько по дому помогал, гардину пытался повесить, чуть не убился насмерть. А она мне несколько старинных книг дала — и все. А у самой серебряные вещи есть и золотые. Соседи только и ждут, когда она умрет. Там же вокруг нее уголовники сплошь, во всех квартирах. Мы ей говорим, отдайте все ценные вещи нам на сохранение, а она не хочет. Да главное не в этом! — сказал он, понизив голос до шепота. — Я из нашей квартиры выписался, хотел у Ефросиньи Ивановны прописаться, а она — ни в какую! А самой до смертинки три пердинки!

— Разве можно так о бабушке? И зачем тебе у нее прописываться?

— Как зачем? Умрет — захватят ее квартиру уголовники. А так — я там буду находиться. Кабинет у меня будет, комната для творчества. А она — ни в какую, коммунистка задрипанная, прости господи! Чего ей эта партия дала? Хоть бы вы с нею, что ли, поговорили.

— Да неловко мне в ваши семейные дела вмешиваться.

— Чего же неловко? Она о вас вон как хорошо отзывается. Великий, такой-сякой. Вас она послушает. Сделайте доброе дело!

— Ладно, подумаю.

Вася начал ежиться, оглядываться по сторонам, скалил желтые коронки на крупных шатающихся зубах. Вдруг сказал совсем уж хриплым шепотом:

— Ну, мне теперь в другую сторону идти. Дранкины пиццерию открыли, а я так люблю итальянскую пиццу!

— А что это такое? Я знаю, что у итальянцев главное блюдо — спагетти?

— Не, пицца это другое. Вроде лепешки. Но не просто лепешка, ее запекают с сыром, зеленью, иногда и с мясом, и с рыбой, с грибами, с яйцами! Я так люблю пиццу! Меня Дранкины угощают, хоть пять штук ешь...

Обильная струйка слюны оросила Васины губы, глаза помутнели. Он хотел сказать что-то еще, но замотал головой, кинулся в ближайший переулок и исчез, будто его никогда и не было на свете, только огромные следы от его валенок подсказывали, что Вася все-таки был здесь только что.

Вечером мне позвонил Рафис. Он рассказал, что учится, его даже избрали старостой потока. А ночами он охраняет зубопротезную клинику.

— Опять ночами не спишь? И опять тебя отчислят.

— Не отчислят! Меня в институте полюбили. А караулить клинику — самое то. Тихо, хорошо стихи писать. И кругом на столах лежат такие красивые вставные челюсти. Я летом вкладывал им меж зубов цветочки. А теперь окурки вкладываю.

— Тебя за это уволят!

— Не скажите, врачи тоже юмор понимают. Им же среди этих челюстей скучно.

37. О, ЭТИ ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА...

Прошло немало времени с тех пор, как я узнал от Андрея Дресвянина о кончине отца Юры, профессора Феофанова. В суматохе дел, событий в моем мозгу иногда вдруг звучала нежная музыка и откуда-то выплывал образ Глазастовой. Скромность, ум, обаяние, мелодичный говор. Это все подспудно жило в моих мечтах. Но, возможно, она уди-

вится, если я стану проявлять какие-то знаки внимания. Там все свое: горе, дела, надежды. Чужая жизнь... Вообще в моем возрасте женщины все уже имеют большую историю своей жизни, она в них живет независимо от их воли. Она их окружает, как некий невидимый барьер, который мне придется преодолевать в случае попытки сблизиться. А я уже плохой прыгун и даже не знаю, насколько высок этот барьер...

Квартиру свою я все же обустроил. Купил диван. Вместе с вечно пьяным Шуриком натаскал досок с лесопилки. И мы с ним сделали стеллажи в две стены. Моим богатством были книги. Все эти годы я получал льготные подписные издания, иные редкостные книги приобретал у Дружеского Шаржа, иные — на толкучке. Их набралось полторы тысячи. Они притягивали пыль, как магнит железо, я уставал протирать полки, но утешала мысль, что у меня есть такое богатство. Цены растут, и если мне будет нечего есть, я продам часть библиотеки.

Потянулись нелегкие месяцы сверления дыр в бетоне, чтобы повесить вешалку или картину, время побелки и покраски новой квартиры. В это трудное время, когда я балансировал на верхней ступеньке стремянки, пытаюсь ровно приклеить намазанный клеем кусок обоев, и думал, где бы достать краски, растворителя и кистей, я как-то поднял трубку с телефонного аппарата и услышал вроде бы незнакомый и в то же время о чем-то мне напоминавший голос.

— Петр Сергеевич! Я никогда бы не решилась вас потревожить, но обстоятельства вынуждают...

«Вот черт!» — крутилось в моей голове, я не знал, что сказать.

— Вы, кажется, меня не узнали? — спросил голос. — Это Ксения Никитична Глазастова говорит.

Да, я не узнал ее голос, он был слабым, не таким мелодичным, как прежде, и как бы замедленным. Я сказал, что рад ее звонку, да так оно и было. Звонит, как-то узнала номер моего квартирного телефона, значит, я нужен, повидать ее мне будет приятно. Я сказал, что готов ее навестить немедленно, если она не возражает. Глазастова сказала, что ждет меня.

Я вымылся под душем, надел выходной костюм, на всякий случай смочил «Шипром» редкую шевелюру. По дороге я зашел в цветочный магазин, соображая, какие именно купить цветы Глазастовой.

Мне уже упаковывали букет, когда у себя за спиной я услышал удар упавшего тела. Обернулся. Окруженный группой бритоголовых крепышей в одинаковых длинных пальто, поднимался парень, тоже в длинном пальто и бритоголовый. Глаз у него затек, из носа и ушей

текла кровь. Крепыши боксерскими ударами вновь сшибли его с ног и принялись пинать щегольскими блестящими ботинками. Тело шмякало, чвакало, он извивался, но не издавал ни звука. Одет он был так же, как и убивавшие его парни. Я двинулся с букетом к двери. Но около нее стояло двое длиннополых.

— Куда, дед, прешь? — спросил один вполголоса.

Обидно стало. Ну, какой я дед? Я еще жених, пусть не в самом соку. Но обиду показывать было нельзя. Я сказал, что опаздываю к подруге детства на день рождения. Крепыши расступились, пропуская меня, один пригрозил вдогонку:

— Ментов наведешь — пришибем.

— Да нет, — ответил я, — не наведу, у меня свои проблемы.

Это их устроило, меня тоже. Если такие крепыши будут убивать друг друга — их станет меньше. Зачем же вызывать милицию? Я зашагал, насвистывая, и помахивая букетом.

Вот он дом, где некогда я видел на лестнице Балабу и обедал в профессорской квартире.

Я поднялся по лестнице, нажал кнопку звонка. Отворила мне незнакомая женщина.

— Петр Сергеевич? — спросила она. И добавила: — Проходите, Ксения Никитична вас ждет. Вот сюда, пожалуйста!

Мы прошли в комнату, где на постели, опираясь на большие подушки, полусидела Глазастова. Она очень похудела, под ее завалившимися глазами чернели круги. От былой красоты мало что осталось. Я поразился такой перемене и положил на кровать букет. Она слабо улыбнулась мне.

— Вы, конечно, знаете о нашей утрате. Леопольд Сергеевич ушел от нас на века. К сожалению, к этому добавилась моя болезнь. Инсульт. Сначала я даже и говорить не могла. Но врачи настоящие волшебники. Я уже встаю, думаю, что мне скоро удастся одолеть недуг.

Я сказал дежурные слова ободрения и веры в ее скорейшее и полнейшее выздоровление. Спросил: чем могу помочь?

— На вас, Петр Сергеевич, вся надежда, вы сами понимаете. Так вот. Юра окончил университет, но наукой не хочет заниматься. Да и преступно было бы тратить себя на науку при его-то таланте. Юра женился, все у него хорошо, он полностью окунулся в творчество, но нужно ведь и общественное признание, правда? Вы ведь поможете Юре получить статус, вступить в писательский союз? Для него это теперь так важно. Вы же понимаете: у него будет семья, будет звание, он сможет

реализовать свои способности с большой пользой для общества.

Я кивнул, заметив, что впустившая меня в дом пожилая женщина, слушая наш разговор, морщится, как от зубной боли. Глазастова сказала:

— Познакомьтесь, это моя старшая сестра — Евгения Никитична. Я так обязана ей, так обязана!

Евгения Никитична вышла из комнаты. А Ксения Никитична шепнула:

— Она не любит Юру, у нее никогда не было детей, она не представляет себе, что это такое. Вы знаете, Петр Сергеевич, Юра с супругой живет в доме напротив. Лилечка такая славная девочка. Юра такой застенчивый, он никогда бы не познакомился ни с одной девушкой, если бы не купил собачку, щенка сенбернара. Собачку надо выгуливать по вечерам. В темноте возле парка поздним вечером прогуливаются собаководы и собаководки. Лилечка тоже прогуливала щенка, и представьте себе, той же породы, только у Лилечки щенок — мальчик, а у Юры щенок — девочка. Вы представляете, Юра и Лилечка поженились, а когда их щенки вырастут, то и щенки тоже поженятся. Забавно, правда?

Я видел, что Глазастова оживилась и даже стала немножко похожа на себя прежнюю. Она сняла трубку с телефона, который был подвешен возле самой кровати, набрала номер:

— Юрочка! Я договорилась с Петром Сергеевичем, — она обернулась ко мне, — Петр Сергеевич, взгляните в окошко, вон Юрочка уже вышел на крыльцо встречать вас. Как хорошо, что его семейное гнездышко совсем рядом! Ну, идите, Петр Сергеевич, я верю, что вы поможете Юрочке, ведь вы такой добрый.

Я пожелал Ксении Никитичне скорейшего выздоровления, вышел из дома, перешел улицу и подошел к дому, на крыльце которого меня ожидал Юрий Феофанов.

— Не спускаюсь с крыльца, так как выбежал вам навстречу в тапочках и в халате! Я так рад! Проходите, проходите! — воскликнул Юра.

Да, я узнал халат, в котором когда-то встречал меня профессор Феофанов. Роскошный халат, барский. От Юры исходил запах хорошего табака, одеколona и чего-то спиртного. Юра отпустил длинные усы, и они так приторно пахли!

Мы поднялись по деревянной лестнице на второй этаж, и, пропуская меня в дверь, Юра сказал:

— Лилечка! Познакомься, известный Пимский писатель Мамичев

снизошел до нас. Это такое необычайное событие, что даже не найду подходящих слов...

— Ну, Юра, зачем же так запугивать женщину? — сказал я.

И умолк, потому что на меня смотрела совершеннейшая Мальвина из сказки о Буратино и Золотом ключике. Огромные голубые глаза, золотистые, пышные, проливающиеся по плечам волосы. «Ну, конечно: красота льнет к красоте! — подумалось мне. — Было бы странно, если бы было иначе».

Тут же я увидел, что меня обнюхивают две здоровенных собаки. Я невольно попятился к двери, а Лилечка-Мальвина мелодичным голосом стала увещевать этих зверей.

— Мне Ксения Никитична говорила про щеночков, а тут вон какие зверюги, — смалодушничал я.

— Да они еще молодые совсем, мы их водим в собачью школу. Вы их не бойтесь, без команды они не тронут, — сказала Лилия-Мальвина.

— Да я не боюсь, — стал оправдываться я, — но вдруг такой псине нечаянно наступишь на лапу, так она и без команды...

— Чара, Шарпай! Тубо! Место! — скомандовал Юра. Собаки отошли в угол, где для них были постелены коврики, улеглись, положив головы на лапы.

Меня пригласили к столу, и я понял, что к моему визиту здесь тщательно подготовились. Хрусталь, серебро, запотевший графинчик, ковчег с запеченной в фольге курицей, большая супница исходит паром...

— Начнем с салатика? — сказала Лилия-Мальвина.

— На Руси обед начинают со стопарика!

Настроение у юной хозяйшки сразу испортилось:

— Тебе бы только стопарики.

— На Руси! — повысил голос Юра, разливая водку в красивые стаканчики.

Я хотел отказаться от выпивки, но Юра сказал, что есть пельмени, не выпив стопку водки, значит — совершить кошунство.

Пельмени были приправлены маслом и лежали в плоских тарелочках. Будучи сибиряком иного поколения, я вспомнил, что раньше мы всегда пельмени ели с бульоном. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, поэтому я промолчал.

Мы с Юрой отдали должное и салатам, и пельменям, и курице. Лилия ловко и почти незаметно удаляла со стола опустевшие тарелки. Я видел, что она поспешила спрятать в холодильник графинчик с

недопитой водкой. Юра инстинктивно качнулся в сторону улетевшего от него графинчика. Лицо его приняло обиженное выражение.

— У нас же гость! — сказал он с пафосом.

— Да-да! — сказала Лилия. — Я знаю, Петр Сергеевич любезно согласился посмотреть твои произведения, сейчас я вытру стол, подам вам чаю, вы сможете побеседовать.

Когда она удалилась на кухню, я спросил:

— Интересно, какую специальность избрало себе такое прелестное и эфирное существо?

— Она — математик, — пояснил Юра. — Мне это непонятно, меня вообще коробят всякие точные науки. В них нет свободы, вот в чем штука! Правила, правила, обалдеть можно.

— Правила есть и в живописи, и в поэзии.

— Творцы сами создают правила! — с этими словами Юра, оглянувшись, быстро вытащил из кармана халата плоскую фляжку, приставил ее к губам и запрокинул голову, кадык его шевелился, отсчитывая глотки.

— Ты зря пьешь, Лиля расстроится.

— Что она понимает? Я в этих геологических экспедициях испортил желудок. Если я не выпью, у меня пища не переварится, будет тяжесть в желудке, тошнота.

Юра достал из книжного шкафа увесистый фолиант, это были его стихи.

— Вот!

Вернулась Лиля и разместила перед нами чашки с горячим чаем, вазочки с вареньем и печеньем.

Я стал листать Юрин фолиант. Все стихи были сколками с Пастернака, но говорить об этом при Лилечке я не стал. Я решил отмечать строчки, требующие правки, ведь Юра задумал издать стихи отдельной книгой. Я полагал, что для этого надо изгнать из рукописи безграмотные обороты.

— Нет! — стукнул кулаком по столу раскрасневшийся Юра. — Ни одной запятой не отдам! Все мое!

Я попытался объяснить ему, что издать надо не просто книжку стихов, а такую книжку, по которой его могли бы принять в творческий союз.

— Нет! — еще громче вскричал он. — Не хочу ни под кого подлаживаться!

Собаки встали со своих ковриков и приблизились к нам, скаля

зубы. Мне показалось, что они с интересом приглядываются к моим ляжкам.

И тут прозвучал голосок Лилии-Мальвины:

— Я знаю, это вас Ксения Никитична попросила помочь Юре. Но ему уже вряд ли поможешь, — в ее голосе прозвучала тоска.

— Почему же? Я мог бы хорошо отредактировать рукопись. Важно, чтобы он понял необходимость строгого отбора стихов и крепкой правки.

— Есть теза и антитеза! Сначала было слово! Сублимация, интроверт. Не отдам даже половиночки запятой. Прошли времена, когда можно было ломать личность. Я хочу быть самим собой!

— Да ты уж, конечно, останешься сам собой, — с горечью сказала Лилия. — Петр Сергеевич, спасибо вам, но Юре уже не помочь.

Глаза красавицы наполнились слезами. Мне было жаль ее, себя, Юру. Я думал о заболевшей Ксении Никитичне. Пообещав исполнить ее просьбу, я взялся за явно безнадежное дело.

Я сказал, что Юра самостоятельно просмотрит рукопись и раз, и другой, и поправит то, что сочтет нужным. Потом даст рукописи отлежаться, как делают многие авторы, и вновь перечитает ее уже новыми глазами. И опять поправит. И когда он почувствует, что книга готова, пусть пригласит меня.

— Я не буду править! — упорствовал Юра.

— Сейчас тебе это делать не хочется, но настанет момент, когда ты поглядишь на рукопись по-иному. Я это по себе знаю, по другим авторам. Ведь правка — это тоже творчество. Вспомни черновики Пушкина, иную строфу он переделывал по двадцать раз.

— Не в коня овес травить, — сказала Лилия, когда я собрался уходить, — но все равно спасибо вам за доброту, Петр Сергеевич.

— Она в меня не верит! Но нет, я ни за что не соглашусь ни на какую правку, не уступлю, не сдамся насилию! — кричал мне вслед разгорячившийся Юрий Феофанов. — Хоть на гильотину!

Он размахивал рукой, в которой у него был зажат длиннющий мундштук с дымящейся сигаретой. Пепел сыпался на кружевные салфетки. Юра опрокинул бокал с вином, и огромное розовое пятно расплывалось на праздничной скатерти. Видеть, как красота превращается в хаос, было невыносимо для моего привычного к порядку сердца. Одна тетка-психолог мне сказала однажды: «Вы такой: все по полочкам!» Она как-то в одну минуту разгадала мой характер... Но и здесь порядок обернулся беспорядком.

Я посмотрел на Юрину тонкую шею и подумал невольно о том, что профессорский халат ему великоват.

Пришел домой, а там меня ждал пакет с московским штемпелем. Там была книжка Рафиса. Он писал, что еще до выхода книжки, по одной только рукописи, его приняли в Союз писателей России. И что он женился на русской девушке, коренной москвичке. Квартира с коридорной системой, где в коридоре на стенах висят велосипеды. Но в общем Рафис жильем доволен.

Я раскрыл книжку наугад и прочел:

*В который раз твердишь устало,
Капризно изгибая бровь,
Что мы с тобой — плохая пара,
Во мне течет иная кровь!
Ты русская, я басурманин,
Я жесткий, словно стук подков,
Редкобородый Чингисхан мне
Камчой грозит из тьмы веков!
Целуй же, я не прокаженный,
Чтоб мне лишиться бороды,
Но русских женицин брали в жены
Лихие ханы из Орды.
И сыновей росла ватага,
Под скрип телег,
под конский храп,
Являя русскую отвагу
И бешеный татарский нрав.
...Я не держу тебя силком,
Но вижу, в лунном свете ярком,
В ночной рубашке, босиком,
Идешь пугливой полонянкой!*

38. ДЕЛАЙ, ВАНЯ, ОБРЕЗАНИЕ!

Днем я навестил Ефросинью Ивановну. И своими глазами убедился в необычайной действенности газетного слова. После моей статьи дом, где жила бабушка Васи Важенкина, был капитально отремонтирован. И все лесенки и балясинки теперь были на месте, и двери на парадном крыльце, ранее снятые какими-то негодьями, теперь были

восстановлены.

В квартире у Ефросиньи Ивановны были побелены стены, покрашены оконные рамы и пол. Разнокалиберные трубы со стен были убраны, а под оконными проемами установлены аккуратные батареи отопления. Квартира стала веселой и теплой. И Ефросинья Ивановна тоже повеселела. Меня она встретила радостными восклицаниями:

— Вы сотворили чудо, истинное чудо! У меня, как говорят в спорте, второе дыхание открылось.

И действительно, старушка для своих девяноста с хвостиком была очень бодр.

Она опять стала угощать меня чаем. При этом благодарила, благодарила. Потом сказала, понизив голос:

— Вы мне теперь самый близкий человек, я вам отпишу некоторые свои вещи.

— То есть как отпишете?

— В завещании.

— Ну, это вы бросьте. У вас есть родственники. Внуку все завещайте.

— Не без этого. Но, знаете, он меня огорчил. Требуется, чтобы я его прописала в своей квартире. Он хочет, чтоб я, коммунистка, обманула свое государство! Им же дана квартира, новая, благоустроенная. А они меня уже запилили за то, что я не хочу обманывать власти. Нельзя быть такими стяжателями...

Я видел, что переубеждать ее бесполезно. Сказал, что все образуется. Необязательную фразу, подходящую к любому случаю. Еще сказал, что очень рад улучшению ее условий. Попрошался, пообещав заходить почаще.

Вечером того же дня я заглянул к Агатиному. У него на службе была гитара, можно было самовыражаться в присутствии понимающего музыку слушателя. И о политике поболтать хотелось.

Но на сей раз и петь, и болтать не пришлось. Агатин был не один. Он пел под гитару частушки:

Надоело жить в Рязани

И плясать с тобой кадрили,

Делай, Ваня, обрезанье

И поедem в Израиль!..

Напротив Агатиного на корточках сидел тощий человек без майки, в одних только трусах, причем все тело его было испещрено наколками. На впалой груди изображен величественный собор с десятком колоко-

лен. Насколько я разбираюсь в этой символике, тщедушный субъект имел не одну судимость. На руке у него была изображена обвившая кинжал змея. И это уже была жуть сплошная, ибо символ означал очень важную персону в воровском мире. Был еще на его теле изображен паук на фоне тюремной решетки.

Мужик этот, слушая Агатины, закрыл от удовольствия глаза, я смог прочесть на его веках надписи: «Они спят». Я догадался, что на его ступнях наверняка выколото: «Они устали».

Когда Агатин закончил пение, мужик открыл глаза и сказал:

— Стремная песня. Я нынче еду в нахале, в тролешке то есть, один фраер, весь в железных браслетах, в руке транзистор, — вагон шума сделал, хеви металл, или как эту квакофонию зовут. Я у него транзистор вырвал и дал ему по кумполу! Куда кнопочки, куда пружиночки с батарейками! Тишина стала, как в гробу.

— Тебе же, Чмых, нельзя нарушать, ты же подписку дал. Запрет обратно да еще больше срок наматывают, — пожурил блатяка Агатин.

— А я не нарушал. Пассажиры были довольны. Спокойно на остановке слинял.

— Это Федя Чмых, — пояснил мне Агатин. — Он сидел много, но человек интересный. Накупил на барахолке запчастей и собственноручно собрал «Москвич». Талант! Мы ним на Севере познакомились, там на буровых немало людей из-за решетки работает. Они мне там тоже кликуху дали, Шкафом стали звать.

— Ну, ты Шкаф и есть! — подтвердил Чмых. — Шкаф, да еще какой, несгораемый! Мы, бывало, на вышке впятером какую-нибудь железяку поднимаем, Шкаф говорит, мол, отойдите все. И берет эту железяку один. Хесь! И попер!

— Да, попыхтели мы на Северах, — подтвердил Агатин. — А теперь вот я Чмыха сюда устроил, вместе с его подругой, на проходной дежурить. Работенка — не бей лежачего! А вы, сеньор писатель, очень своевременно тут появились.

— Своевременно? — заинтересовался я.

— Факт. Мне надо к копне за вещами сходить.

— А что за копна?

— Ну, баба, двух короедов мне родила.

— Вон как? А я тебя в парнях числил, выглядишь прямо-таки юношей! А ты уж парочку киндеров образовал. Только вот стоит ли называть копной мать твоих детей?

— А как ее еще называть? Копна!

— А что за вещи у жены хочешь забрать и зачем?

— Ну, я ж с ней развелся, а вещи свои личные не взял. Куда бы я с ними? На Северах болтался. А когда вернулся в Пимск и на водоочистную станцию устроился, и дали мне комнатушку в бараке на окраине города, туда вещи нести было никак невозможно.

— Почему?

— Очень просто. Утром просыпаюсь, а дверей нет, один дверной проем остался.

— Как же ты не услышал, что двери снимают?

— Как-как? Под газом был. У меня еще два раз двери снимали.

— Зачем им столько дверей?

— Вот чудак! К отопительному сезону дрова нужны.

— Ну, а теперь у тебя более надежная квартира?

— Я в барак поселил мутер вместе с ейным сожителем, а себе их однокомнатную благоустроенную забрал.

— Так обошелся с мамой?

— Обошелся. Они с сожителем уже хотели продать и пропить квартиру. Документы оформляли.

— А где бы жить стали?

— Пришлепали бы ко мне в барак, конечно, в комнатушку в десять метров. Вот я и сделал рокировку...

Вскоре мы ехали на троллейбусе в микрорайон. К Агатину подседа какая-то изможденная женщина и о чем-то долго шептала ему в ухо, пока не сошла на остановке.

— Что за дама? — спросил я.

— Дочь, — буркнул Агатин.

— Как? Она же выглядит старше тебя!

— Это дочь от первой жены, я сдуру в семнадцать лет женился.

— И с первой тоже развелся?

— Не пожилось.

Я замолчал, пораженный. Агатин тоже молчал. Вышли на остановке и вскоре уже были в квартире второй жены Агатина.

К Агатину подбежала белокурая, с синючими глазами девочка лет пяти, прижалась к ноге отца. Подошел и мальчик лет восьми, как две капли воды похожий на Агатина, тоже синеглазик, уже теперь у пацана была широкая грудь и развитые руки, и стоял он на полных ногах, словно боксер в стойке, глядел исподлобья, но спокойно и без тени смущения.

Я в те дни везде и всюду ходил с фотоаппаратом «Зенит». Фотографировал архитектуру, знакомых и незнакомых людей. Особенно любил

запечатлеть детей... Я попросил девочку улыбнуться, и она очень мило улыбнулась, как бы поправляя пышную белокурую косу. Мальчик же отказался фотографироваться наотрез. А когда я решил его заснять исподтишка, он это заметил и с силой ударил по объективу.

— Весь в отца, упрямый, как бык, — пояснила вышедшая к нам женщина.

И вовсе она была не копна. Да, крупновата, все выпуклое, большое — плечи, грудь, зад, но ведь и талия у нее есть. Стройная женщина, хотя и большая. Да ведь Агатин и сам большой. Тут все соразмерно.

— Вот, — сказал Агатин, — познакомься: писатель Мамичев со мной пришел. Это чтобы ты слишком много не бухтела.

— Да уж ты психолог, я знаю, — сказала женщина, — я рада, что ты писателя в свидетели взял, по крайней мере не будешь потом говорить, что тебе чего-то не додали.

— Я взял его просто за компанию.

— Ну, я рада. Может, писатель потом напишет, как папа от алиментов прячется, на собственных детей денег жалеет.

— Я тебе квартиру и мебель оставил. Теперь пришел взять чемоданы, там мужские вещи. Мои брюки, жилеты, кальсоны тебе ведь не нужны? На мою электробритву ты не претендуешь?

— Не думай, что это очень остроумно. Бери чемоданы и проваливай...

Мы вышли. И мне было грустновато как-то. Я заговорил о том, что после чернобыльского взрыва разнообразные жуткие события в стране пошли сплошной чередой. Понятно: раньше, когда гласности не было, газеты писали далеко не обо всем, что случалось. А теперь журналисты резвятся, как скакуны, притомившиеся в тесных стойлах конюшни и вырвавшиеся наконец на простор. Теперь вот про Спитак пишут, трагедия, каждый труп разрисуют в жутких подробностях. И — по мнению журналистов — Спитак рухнул, потому что у нас гласности не было.

— А почему же еще? — сказал Агатин. — Факт: лепили дома из кирпича-сырца — вот тебе и пожалуйста. Хорошо хоть американцы на помощь пришли, многих спасут теперь.

— Да, я помню, как они на Араате останки Ноева ковчега искали. А еще, когда служил в Ашхабаде, они через границу из Ирана запускали воздушные шары с аппаратурой. Наши сбивали эти шары, но их было множество — расчет на то, что какой-нибудь все же улетит, унесет снимки нашей территории.

— В нашей стране во всем дефицит, даже туалетную бумагу не продают! — заговорил Агатин вдруг словами Инны Холодниковой. — Людей за рубеж не выпускают, а человек должен быть свободен, как птица. Мы за железным занавесом — империя зла, без всяких шаров видно. Ты «Архиплаг ГУЛАГ» читал?

— А как же! Сто двадцатый экземпляр под копирку. Все глаза испортил. Очень даже дивно написано: «Один зек сказал», «Одна знакомая мне написала...» Получается точно как в пословице: «Одна бабушка другой сказала...»

— Нам нужен рынок, как в Америке, вот заживем!

— Алименты на детей платить станем, — невольно съязвил я.

— В Америке нет алиментов, — убежденно сказал Агатин. — Там — свобода! Живи, торгуй, плати налоги — и все. Вот увидишь, года через два у нас будет рынок, и мы расцветем!

— Как мимозы, да? — сказал я. — Может, сделать обрезание на случай? Цветы ведь, перед тем как поместить в вазу, — обрезают.

Агатин ничего не ответил, видимо, посчитал, что я неизлечимо глуп.

39. ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ АЛЫХ РОЗ

Важенкин, встретившись на улице, стал звать меня на день рождения жены Вадика Дранкина — Магдалины.

Я отказывался:

— Подарок нужен дорогой, люди-то непростые, разве мне, бедному поэту, в их торжествах участвовать?

— Ну, три розы вы в состоянии купить?

— А сколько Магдалине стукнуло?

— Да разве женщина скажет? У них нет возраста.

— Ладно, на три розы разорюсь.

В последнее время Вася Важенкин рассорился с майором Хилюшкиным. Полусумасшедший бывший ракетчик всерьез выправил себе удостоверение предпринимателя, директора какого-то кооператива. И было хорошо, сидя у Хилюшкина в однокомнатной квартире, пропивать его непомерно большую пенсию и слушать бесконечные рассказы о том, как Хилюшкин управлялся с ракетами в секретном подземелье. В этом подземелье он с ума и сдвинулся.

И в выходные дни Вася тоже слушал его на дому у Хилюшкина и как бы спускался вместе с ним в шахты к самому пупу земли или же

отправлял огромные составы сибирского папоротника-орляка в Японию и Корею. Узкоглазые не могут без этого корня, а у нас его — завались, на тысячу лет хватит!.. Васе было все равно что слушать, лишь бы коньяк и колбаса не кончались.

Но с некоторых пор Хилюшкин повадился ходить домой к Важенкину. Приходил он, ясно, не с пустыми руками, в кармане у него лежала пенсия, которую он готов был тратить на выпивку и закуску, лишь бы его слушали. Но Важенкину уже и самому надоело слушать про ракеты и папоротник, а бедную маму Важенкина беспутный майор своим громким визгливым голосом чуть не довел до второго инсульта.

Майор начинал каждый банкет с коньяка, продолжал водкой, а заканчивал пивом или элементарной брагой. Однажды, выпив горячительных жидкостей чересчур много, майор Степан Степанович Хилюшкин, естественно, пожелал облегчиться. Но в туалете раньше его плотно засела Леокадия Зотеевна.

Майор по-военному гаркнул:

— Кунсткамеру освободить!

Глухо через туалетную дверь донеслось:

— Шел бы, дома у себя распоряжался!

— Я человек военный! — воскликнул майор Степан Степанович Хилюшкин, пинком отворил балконную дверь и, вынув из ширинки инструмент ракетных размеров, принялся поливать горючей жидкостью с восьмого этажа различные вражеские объекты.

Одним из объектов оказалась шляпа кривоногого «домоуправа». Так звали в доме все этого человека, хотя на самом деле домоуправом он не был. Был он родом из ближней к городу деревни, там, видимо, детей пеленали не очень плотно, поэтому ноги у «домоуправа» напоминали колеса. Несмотря на это, он был высокого роста. При взгляде на него все невольно представляли себе, что было бы, если бы ему можно выпрямить ноги? Прозвище свое получил он не случайно, он придирался к каждому жителю дома — иногда по делу, а иногда просто так, из любви к искусству. Кто-то бросил в подъезде окурки, кто-то вышел в непозволительно легкой или пестрой одежде, кто-то нес откуда-то доску — «домоуправа» все касалось, он всегда находил, к чему придраться.

В последнее время после перестройки он всех стал называть «швондерами» и толковать о том, что каждый должен быть собственником. Сначала «домоуправ» стал председателем одного «погребного» кооператива, потом — второго, третьего. Все погреба строились в одном

и том же дворе на месте детских и спортивных площадок. Если кто-то возражал, «домоуправ» отвечал:

— Глупости! Дети найдут, где играть, зато когда они вырастут — у них будет собственность!

Покончив с погребями, «домоуправ» размахнулся на строительство огромного подземного гаража, плевать он хотел на стенания «швондеров» о том, что окрестные дома теперь вынуждены будут дышать бензиновыми запахами. К радости жильцов, в разгар стройки громадный американский экскаватор свалился в вырытую им же глубоченную яму, чем блестяще подтвердил известную пословицу: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь».

Стройка остановилось, пошли дожди, поверженный экскаватор ржавел, по ночам кто-то отламывал от него детали. Кривоногий почернел, похудел, бегал с кожаной папкой по каким-то инстанциям, что-то доказывал. В доме болтали, что ему теперь светит небо в клеточку. И тут с Важенкинского балкона кривоногому «сделали» на шляпу.

Рев «домоуправа» взлетел выше десятых этажей. Ясно было, что над семьей Важенкиных нависли большие неприятности. Вася обматерил своего сотрапезника самыми ужасными словами и заявил, что после такой «подлянки» Хилюшкина больше и на порог не пустит. Короче, дружба, как говорится, лопнула.

Но зато у Важенкина появилась новая возможность. Его друг Вадик Дранкин стал одним из самых крутых предпринимателей Пимска. Во всем городе летом появились огромные палатки с белыми пластиковыми столами и стульями. Гирлянды электрических капелек вплетались в кроны деревьев, динамики пощипывали души посетителей моднейшей музыкой, звенели бокалы, девушки в накрахмаленных передниках скользили между столиков.

Были у Дранкина и стационарные кафе в гостиницах, возле вокзалов. И веселая, скачущая по фасадам зданий, реклама «Дранмагд» уже была хорошо известна горожанам. «Дранмагд! Пища — смак!» В кафе «Дранмагд» целая гамма невиданных доселе блюд могла порадовать гурманов: барбекю, салаты из креветок и морских гребешков, плавник акулы в соусе из авокадо, и черт знает что еще, сотни названий напитков.

Если раньше Вадик Дранкин приезжал к Васе Важенкину на новенькой, но все же обыкновенной машине «Волге», то теперь к подъезду подкатило некое чудо, которое назвать легковым автомобилем можно было лишь с большой натяжкой. Сверкающая и сияющая тонирован-

ными стеклами машина была размером с небольшой автобус. Когда дверца распахнулась, и Вадик пригласил нас с Васей Важенкиным садиться, я увидел, что внутри стены машины обделаны дубом, а сиденья обтянуты чудесного цвета кожей. Вася только и мог вымолвить одну букву: «О!..» В такой машине ты полулежал, словно на райском облаке плыл к вечному блаженству.

Вадик Дранкин в росте не прибавился, но затылок его стал полнее и шире, лицо стало не то чтобы самоуверенным, но багровым, непроницаемым, как у манекена. Стрижка выполнена, видимо, в самом шикарном парикмахерском салоне, в котором не только стригли, но разглаживали морщины, подводили глаза и брови и мазали чем-то таким, что от клиента пахло, как от святого небожителя.

В сфере услуг все перераспределилось так, что богатым достались визажисты, парикмахеры-волшебники, пластические микрохирурги, уникальные средства гигиены и омоложения волос и кожи; а бедным — тупые ножницы и антисанитарная вода из крана. Видимо, в связи с этим большинство студентов и рабочих стали сами себя стричь наголо. И большинство мужчин стало напоминать не то братков из банды, не то русских фашистов. Поди теперь, разбери, кто бреет голову из идеологических соображений, а кто просто по бедности?

Я, например, тоже в парикмахерскую не хожу. Обрастаю волосом, а потом либо сам обрываюсь наголо, либо приглашаю Светлану Киянкину и прошу обстричь меня покороче, чтобы потом подольше не стричься.

Во время последней стрижки она признала, что я был прав, когда предупреждал, что работа по объявлению — просто способ выманить у нее деньги.

— Все — как вы сказали, Петр Сергеевич!

— Ну, не будешь больше связываться с объявлениями? — спросил я ее.

— Не буду. Я еще сходила по объявлению в универмаг, диктор там требовался. Ну, я прочла текст: на таком-то этаже, в таком-то отделе духи, а в таком-то — дамские затычки... Не понравилось им, как я текст читаю. Голос, говорят, вульгарный. А сами — как базарные торговки, и рожи у всех страшные, никакая краска им не помогает... Че смеяться? А все же нашла себе место. В серьезной фирме буду работать... В какой? Пока не скажу. Потом сами увидите...

Теперь я поглаживал свой гладко остриженный затылок. Может, не блеск, но все же — стрижка. Сидеть рядом с шикарными Дранкиными

было неловко. Но что делать, сами пригласили на день рождения, пусть посидят рядом с бедняками, с быдлом. Три розы, купленные мной для Магдалины, пообвисли, привяли. И сам я как бы привял. Зато Важенкин болтал как ни в чем не бывало.

Между тем, машина подкатила к ресторану «Магдалина». На крыльцо выскочили нарядные люди, запели по-английски, что-то там такое: «...ту ю». У крыльца затрещал фейерверк, в зале хлопнули пробки шампанского, Магдалина выскользнула из шубки и оказалась в «полуголом» платье. Все ахнули, я тоже. Хороша, хороша!

Но мне показалось, что Вадику Дранкину отчего-то не по себе. Он крутил пуговицу на пиджаке так, что оторвал ее. К Магдалине двигался непонятный, похожий на штангиста-тяжеловеса, человек с ведром роз. Цветы были огромные и отборные, изумительной свежести. Куда там я со своими жалкими тремя розами...

Человек поклонился Магдалине, поставил возле ее ног серебряное ведро с розами и сказал:

— Я нэ могу подарить тэбе сто роз, нэ хватило дэнег на сто роз, я дарю тэбе дэвяносто дэвять.

Потом человек повернулся к Вадику Дранкину и сказал вполголоса:

— Слушай, я вчера приходил в твою кафэшку у камэнного моста, горло перэсохло. Твои люди сказали мне: «Мэст нэт!» Слушай, как это может быть? Султанчику — мэст нэт?

Вадик Дранкин стоял, теребя дрожащими холеными пальцами борт пиджака. Даритель роз исчез. Магдалину закружил в вальсе известный депутат областной думы. Вадик Дранкин, ни на кого не глядя, сел за крайний столик у окна и пил водку, стопку за стопкой. И не закусывал. Очевидно, у него было плохое настроение.

А Важенкин наслаждался изысканными напитками и яствами.

— Ешь ананасы, рябчиков жуй... — сказал я Васе Важенкину.

— Великолепно! В идеале каждый человек должен питаться именно так! — заявил Вася.

Я обратил внимание, что за последние годы Вася стал не только раза в два выше, но и в три раза толще. Он уже не расспрашивал меня насчет обращения с женщинами, и с какой стороны к ним подходить, и о чем с ними беседовать. Вот и в этот вечер, пользуясь тем, что Вадик Дранкин сильно «налимонился», Вася то и дело подсаживался к Магдалине и что-то искал у нее за корсажем и под юбкой. Хотя я уверен, что ничего особенного она там не прятала. И золотое кольцо с голубыми и алыми камнями, и перстни, и браслеты были у нее на виду.

40. СТО ПАР СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

Жизнь менялась необычайно стремительно — и не только в прессе или телевизоре, но и у меня под окном, дома, на работе. Менялась во всем.

Поговаривали, что скоро мое общество «граммофонов» будет удалено из ПИССУАРа. Даже технический глаз перестал в дверь заглядывать.

Однажды, когда я был в редакции один, пришел старший преподаватель математики Шоломович и принес очень плохие, прямо-таки барабанные стихи. Он рассказал о том, как его ценят в ПИССУАРе, и как все сотрудники хотят прочитать его стихи.

Я посоветовал ему обсудить стихи на собрании нашего кружка. На что Шоломович возмущенно ответил, что он старший преподаватель, и какой же будет у него авторитет, если он позволит первокурсникам обсуждать его рукописи?

— Как же быть?

— Вы сами укажите мне недостатки или, еще лучше, сами их устраните, там ведь пустяки какие-нибудь, запятые... вы же у нас зарплату получаете?

— Ну да, — согласился я.

— Ну и поработайте над стишками капельку, и опубликуйте их в многотиражке с вашим вступлением или, еще лучше, напечатайте в областной газете «Алое пламя». Стихи у меня складные.

Я пробежал глазами по строчкам и понял, что с такими стишатами Софья Сеславина просто спустит меня с лестницы, да и редактор многотиражки тоже не возьмет. Что можно предпринять? Я понимаю авторскую горячность. Положу-ка я эти стихозы, что говорится, «под сукно». Шоломович не молод... у него, небось, проблемы с внуками... поиски дефицитных лекарств тоже занимают время и отвлекают внимание... Глядишь, и забудет он свой позыв.

Но я ошибся, уже через неделю он мне позвонил домой:

— Здравствуйте! Это говорит забытый вами старший преподаватель Шоломович, что-то не увидел я своих стихов ни в «Алом пламени», ни в многотиражке.

— Я стараюсь, но не получается.

— Что не получается? Поправить стихи или напечатать их?
— желчно осведомился Шоломович. — Я знаю, что стихи студентов

вы правите и печатаете. Так что же за неуваженье такое к старшему преподавателю?

Я заверил его, что отношусь к нему с глубочайшим уважением. Втайне надеялся, что в конце концов он отвяжется.

А когда пошел получать зарплату, то услышал из окошечка:

— Вам почему-то ничего не начислили. Обратитесь в бухгалтерию.

В бухгалтерии старая пигалица спросила:

— Вы у нас работаете лаборантом?

— На должности лаборанта, но вообще-то веду литературный кружок.

— А вам не стыдно получать ежемесячную зарплату, тогда как в институт вы являетесь два раза в неделю на два часа? Мы вам ставили «восьмерки», а теперь должны сосчитать фактически отработанные вами часы, с тем чтобы вы возвратили институту незаконно полученные вами деньги.

Я мог бы сказать ей, что я член союза, известный поэт, мое время, может быть, принесет ПИССУАРу бессмертие. Только потому, что я здесь появлялся два раза в неделю, у входа в ПИССУАР будет привинчена мраморная доска с моей фамилией. Но с пигалицей говорить было бесполезно.

Идти к ректору? Канючить? Объясняться? Ну, он, конечно, распорядится, чтобы мне начислили эти несчастные сто рублей. Но ясно же, что конфликт как-то связан с ненапечатанными стихами Шоломовича. И, следовательно, всякие крючья будут терзать мое нежное тело и впредь. О, месть записного графомана может быть страшной. Шоломович! Испить шеломом воды из Дона... Я уйду из ПИССУАРа! Пусть мне будет хуже! Ах вы! Ух вы!..

Завлаб, подписывавший мое заявление об увольнении, сказал:

— Что ж вы?.. Почему ж вы?..

Я гордо ответил, что писательское время дорого, лучше я создам поэмы или роман и засыплюсь деньгами по маковку, чем буду тут терять четыре часа в неделю за жалкую сотнягу.

— Четыре часа в неделю — не так уж много времени, — сказал он.

— Если бы! Работа с авторами не прекращается ни днем, ни ночью; тут бы спать или создавать что-нибудь вроде «Тихого Дона», а приходится перечитывать груды рукописей. Нет уж, я твердо решил уйти.

— Ну раз твердо...

Выйдя из ПИССУАРа в глубоком раздумье, я неожиданно столкнулся с Виктором Владленовичем. Он был в мягкой серой шляпе, в сером, благородной ткани плаще, на носу имел пенсне и походил на профессора.

— Чем расстроен? — спросил Виктор Владленович.

— Зуб у меня под коронкой заболел, а именно на этом зубе «мост» держится. Ты можешь себе представить беззубого писателя?

— Могу, у нас в России их хоть пруд пруди. Но, понятно, я не допущу, чтобы мой брат стал беззубым писателем. Наоборот, он должен быть самым зубастым.

— А что ты можешь сделать?

— У меня есть блат, а он, как известно, выше Совнаркома.

— Как? Ты совсем недавно в Пимске живешь, и у тебя блат?

— Не забывай, что я дипломат. Мы ведь правим свою должность даже в отставке. При моем роде занятий главное — умение быстро сходиться с самими разными людьми.

— В слове «дипломат» два слова: «диплом» и «мат».

— Дипломов у меня три, а матов в моей голове бесчисленное количество, причем могу их выдавать на шести языках. А вот зуб у тебя заболел как раз вовремя.

— Ничего себе заявка.

— Знаю что говорю. Не успеешь и глазом моргнуть, как медицина станет платной.

— Обещали, что медицину и образование не тронут.

— Это байки для простаков. Шагай за мной!

Мы перешли через улицу, и Виктор Владленович прошел прямо сквозь кирпичную стену здания клиник медицинского института. Штука! Как же мне быть? Я все же шагнул вослед и понял, что нахожусь в узком, как щель, проулке.

И вот мы с братцем уже в обширном дворе. Было видно несколько черных ходов, через которые можно попасть в здание, возле этих ходов курили медики в голубоватых халатах и колпаках.

Когда мы входили в здание, эти помощники смерти не обратили на нас ни малейшего внимания.

— Вот! — удовлетворенно сказал Виктор Владленович. — В центральном вестибюле с нас бы спросили пропуск; если идти через приемный покой — спросят направление в клинику. А через эти курилки иди себе спокойно хоть днем, хоть ночью.

— Медики, а курят.

— А чего им не курить? Заболеют — сами и вылечатся. Но нас это не касается, сейчас тебя к стоматологу сведу, он обслуживает работников института. А чего ты смурной? Боишься?

— Боюсь. Кроме того, я сегодня работу потерял.

— Как это так?

Я поведал Виктору Владленовичу о происках Шоломовича.

Мы шли по извилистому коридору полуподвала. Пахло варенной кислой капустой и хлоркой. Трубы отопления, редкие лавочки, на которых сидели люди в больничных пижамах. Мимо нас пробежали санитары, тащившие на носилках нечто похожее на человеческое тело, накрытое грязноватой простыней.

Мы спустились по лесенке в темный закоулок. Здесь брат постучал в дверь. Нам отпер лысый голубоглазый гном. В его каморке было всего два стула, он их предоставил нам, а сам схватил трубочку, из которой вырывалось пламя, и стал разогревать язычком пламени металлический протез. Потом он взял его щипцами и сунул под струю воды, лившуюся из крана в ржавую раковину, над которой был укреплен треугольный осколок зеркала. Келья этого гнома мало походила на зубопротезный кабинет, это скорее была пещера средневекового алхимика.

— Вот, Осип Федорович! Брата-писателя к тебе привел, — сказал Виктор Владленович, — беззубел писатель, а ему выступать надо, сам понимаешь.

Гном, даже не сполоснув руки, тут же по-свойски сунул мне палец в рот, нажал, пошатал мои больные зубы во рту, изрек:

— Теперь только съёмник ставить.

— Как съёмник? — осипшим от волнения голосом спросил я. — Зачем же съёмник? Можно справа коренной зуб и слева клык опилить и мост сделать.

— Здоровые зубы опиливать? Их у вас не так уж много, а под коронками они быстро сопреют. Съёмник — оптимально. Я ведь не зря медиков лечу. Опыт. Сам дергаю, сам протезы делаю, сам вставляю. Врач высшей квалификации.

— Мне же выступать приходится, ну, и буду я съёмником клацать, как дорогой Леонид Ильич Брежнев?

— Нашли с кем сравнивать. У него обе челюсти были вставные, да еще там болезнь десен была... У меня съёмники половина преподавателей мединститута вставили. И ничего, читают лекции, дикция нормальная, не клацают... А евреи что делают? Профессора приходят вместе с женами и заказывают два съёмника себе и два съёмника жене.

Зачем же по два? — спрашиваю. Они поясняют, мол, в Израиль уезжаем, там плата такая, что о-го-го! Так лучше здесь бесплатно сделать про запас. Чудаки! С годами десна изменяется. Второй съемник потом может и не подойти. Объясняю им — а они все равно. Не понимаю, зачем едут? Тут их уважают, хорошо платят...

— Тут не обошлось без забугорщиков, — сказал Владленович, — нашепчут в ушко и — пожалуйста.

— Вы думаете? — спросил гном.

— Я знаю. Вспомните Спитак. Развалило землетрясение город. Американцы тут как тут: помощь! Помогали и внушали: возьмите свой Карабах. И пошло-поехало! Зачем сталкивать народы лбами? А затем: разделяй и властвуй. Древний, вообще-то, прием.

— Ну, а к съемникам это какое имеет отношение? — спросил гном.

— На этом свете все ко всему имеет отношение. Эти люди не просто уезжают, они увозят нашу науку, в том числе и военную. А если какому-нибудь авиаконструктору или, к примеру, ядерщику не дают визу — поднимаются вопли о правах человека... Кстати, твой Шоломович тоже неспроста кинулся свои стихи в печать пристраивать, — пояснил мне Виктор Владленович, — приедет в Израиль, будет себя за поэта выдавать, которого власть гнобила, а то и в Америку двинет слезы лить, за которые там дают чистоганом... А сколько к нам наехало разных советчиков и советников из-за бугра? Говорят, это наши друзья, а я говорю — агенты влияния и просто шпионы. Нашли с кем целоваться и кому свои ядерные секреты открывать. Впрочем, мы отвлеклись от зубов моего брата.

Гном повернулся ко мне:

— Гюльчатай, открой ротик!

Я и не заметил, как он всадил в десну шприц.

— Я люблю ваши стихи, — сказал гном, — но приходится их читать лишь изредка в газете. А книжки вашей у меня, к сожалению, нет.

Я сказал, что непременно подарю ему свою книжку. Он велел мне зайти недели чрез три, когда ранка подживет и десна присядет.

— Стучите ко мне смело, назовите фамилию, я тотчас отопру. Ваш заказ будет выполнен без очереди.

Мой ужин — картошку и хлеб — я проглотил не жуя. Уснул под утро. И приснился мне летящий над Пимском трехглавый змей.

— Демократия! — вопит одна голова.

— Приватизация! — кричит вторая.

— Гласность! — надывается третья.

41. МОИ ЦЕНЫ, МОИ СКАКУНЫ

Примерно так напевал я в эти дни. И действительно, цены не поднимались, а мчались, скакали. Я, конечно, догадался, что надо снять деньги с книжки и поскорее купить на них хоть что-нибудь, иначе они просто обесценятся. Но когда я пришел в сберкасса, то увидел там толпу людей, которые догадались еще раньше меня, а на окошечке контролера висела табличка: «Денег нет!»

Это было непонятно. Мои деньги! Я их сам принес и положил в эту сберкасса. Как же их может не быть? Куда же они делись?

Этот вопрос я задал контролеру, но она, видимо, уже устала отвечать, только и сказала:

— Жалуйтесь, пишите в газету!

Я мог ожидать всего, но только не этого. Но, оказалось, что вкладчики уже давно мечутся по городу, и никакие начальники и прокуроры не могут им ничем помочь. Это все было дико, нереально, но это был факт.

Очень кстати я встретил в роще Виктора Владленовича.

— Подними руку и резко опусти! И скажи известное тебе матершинное слово, — ответил он на мои сетования. — Надо было тратить своевременно.

— Но я же копил сбережения, домик у моря...

— Подними руку!.. — повторил он и сказал, что пояснит суть происшедшего после, теперь он спешил куда-то.

При редких с ним встречах Виктор Владленович не раз говорил всякие горькие слова о Горбачеве, развалившем Берлинскую стену, ездившем на крейсере «Слава» в масонское гнездо на Мальту. Но всегда это было в таких местах, где нас никто не услышит. По телефону на эти темы он не желал разговаривать. Но вообще мне его настроение было известно.

— Бесславье, — восклицал Виктор Владленович, — уход из Афгана... Коротич — охмуритель масс... А этот, с рыбьей фамилией? Собрались три козла в пуще и вопреки референдуму развалили Союз... И этот идиотский «день независимости». Это американцы, когда стали независимыми от Англии, придумали такой праздник. А мы от чего стали независимы? От украденных у нас денег?.. И заметь, этот «суверенщик» провозгласил «день независимости» двенадцатого июля. Как

раз в этот день Наполеон вторгся в пределы России. Символично?..

Он говорил, я слушал. А вообще много появилось и хорошего. Журналы и телевидение стали интересными. Разве плохо?.. Евреи, создав огромный запас съемных протезов, отбывают на свою историческую родину — вольному — воля. Что еще запомнилось? Горбач перепуганный сидел в Форосе, а по телику показывали танцующих лебедей, а потом Янаева с дрожащими пальцами.

После у нас в писорге было собрание, Крокусов допрашивал каждого:

— А где вы были во время путча?

И все клялись и божились, что осуждают путчистов.

Потом Крокусов приказал каждому членпису поклониться большому пальцу и приложить к подушечке для печатей; когда палец пропитывался мастикой, им следовало сделать оттиск в «тетради осуждения путча», которая была пронумерована и прошнурована.

Первым оставил в этой тетради оттиск своего пальца Вуллим Тихеев.

— Мы люди простые, деревенские, нам что начальство скажет, то и сделаем, — сказал он, разглядывая оттиск своего пальца, на котором много было извилистых линий. Видимо, палец символизировал те кривые пути, которыми ходил в жизни Тихеев.

Бывший парторг Феденякин оттиснул свой большой палец серьезно и с достоинством. На его челе было написано, что он творит историю.

Братья Громыхаловы сказали, что они бы с удовольствием, но им, староверам, по вере это противопоказано.

А Никодим Столбняков даже кулаком по столу стукнул:

— Ты мне не опер, я тебе не зэк! Еще че выдумал? — воскликнул он.

— Но это же для идентификации! — пояснил Крокусов. — Любую подпись легко подделать, а оттиск у каждого человека индивидуален. В Америке все граждане сдали оттиски своих пальцев. Мало ли? Человек попал в катастрофу, ни морды, ни попы, а по оттиску пальца точно определяют, кто он такой. Идентификация!

Столбняков поднес к носу Крокусова свой волосатый кулак:

— Вот как тресну, так будет тебе иденфикация!

— Провокация! — возопил Осотов. — Объявили свободу, а сами оттиски берут!

Лука Балдонин молча пошел к выходу, я двинулся за ним.

— Петр Сергеевич, куда? — заволновался Крокусов. — Вы оттиск не оставили!

— У меня палец порезан, я не могу, — оправдался я.

Что я мог? Я жил своей трудной жизнью, такой далекой от Москвы и от всех ее властей. А у Москвы такие длинные руки! Вот и дотянулись эти руки через хребты и овраги, через леса и озера до Пимска. И конкретно — до сберкассы № 133, в которой хранился мой будущий домик у моря. Схватили эти паучьи руки мой домик и уволокли неведомо куда... На всякий случай я все же заглядывал в сберкассу. Там висела все та же табличка. Получалось: я потерял работу, потерял многолетние сбережения.

Чувствовалось, что вообще я вошел в какую-то черную полосу жизни. Прямо под моей квартирой жил прекрасный сосед, тридцатипятилетний инженер, красивый, с копной волнистых волос. Я как раз был напуган рассказом Геннадия Агатины о том, что в водопровод попадает много грязной воды из реки Тами, а печень у меня уже давно и сильно болела, вот и мотался я каждый день с двадцатилитровой канистрой за водой к дальним загородным родникам. До дома я добирался совершенно обессиленным, и рыжий инженер Павел несколько раз помогал мне донести воду и поднять канистру на мой этаж. А вскоре я узнал, что когда этот пышноволосяй переходил дорогу, возле самого нашего дома его задавил грузовик. Это было ужасно.

В нашем доме был еще один сосед, который относился ко мне по-человечески. Жил он этажом выше меня и звали его Иваном. Когда у меня погас свет, он вскрыл в коридоре щиток и соединял и скручивал провода. Я думал, его убьет ток: искры сыпались ему на голову. Я кричал:

— Осторожнее!

А он:

— Трем смертям не бывать, а одной — не миновать!

И наладил он, что было надо, загорелся у меня в квартире свет. А через два дня после этого помер. Просто шел с завода, уже к дому подходил — стало у него плохо с сердцем. Не старый еще человек, сорока не было.

А вскоре пошли совсем уж загадочные случаи. Я возвращался домой, совал ключ в замок, а ключ не поворачивался. Приходилось бежать в кочегарку и звать Шурика. Он приходил, сопел, пыхтел, стучал молотком по стамеске, что-то пилил ножовочным полотном. Через час наконец дверь удавалось вскрыть. Шурик советовал:

— Сергеич! Купи себе дорогой замок «тысяча секретов».

Я купил. Шурик установил мне этот дорогостоящий замок. Закрывался и открывался он отлично. Но через неделю я снова не мог попасть в квартиру. Побежал за Шуриком в кочегарку. А он был так пьян, что даже мычать не мог. Кочегар Никодимыч принес чемоданчик с инструментами и стал методично выколупывать чудо-замок из двери. Вытащил. Когда зашли в квартиру, плотно притворил дверь, полушепотом сказал:

— В тебя целятся.

— Что у меня брать-то? И кто целится?

— Кто? Хрен в пальто! В замок то ли жидкий азот впрыснули, то ли кислоту соляную. К тебе лезут, потому что один, легче вычислить.

— Что же делать?

— Пердеть и бегать! Укрепи дверную коробку, ее можно просто ногой выбить или плечом выдавить. Четыре металлических штыря вбить в коробку: два вверху и два в боковины. Сделай дверную цепочку на всякий случай, и глазок в двери устрой. В дверь лучше врезать не один, а два или даже три замка. И сейчас все дополнительно к деревянным железные двери ставят. Вот и ты поставь.

— Ага! Железная дверь сколько стоит?

Он пожал плечами и ушел, даже отказался от предложенной мной полусотки.

Между тем, мне стали звонить мои кружковцы. Спрашивали, где теперь будем заниматься и когда состоится следующее занятие. А я и сам не знал. Позвонил и Иван Карамов. Я сказал ему, что несчастья на меня валятся со всех сторон. Сообщил о пропавшей сберкнижке, о гибели соседа, который жил подо мной, и о гибели соседа, который жил надо мной. И о происшествиях с замками.

— Квартиру надо проверить, — сказал Карамов. — Наверняка нечисто у вас. Я проверю, почищу. Я бесплатно сделаю, а вообще-то с других я дорого беру. Я теперь паранормальный авторитет, диплом имею от московской ассоциации, кроме того, член-корреспондент Петербургской ассоциации. Меня ценят. Статья в журнале была...

Мне было так тошно, что я согласился на помощь страшного Ивана Карамова. Я ему стал диктовать адрес, но он сурово меня оборвал:

— Не надо! Я имею внутренний магнит.

Я не стал спрашивать, что за магнит. Колдун, маг. Найдет, значит. Не прошло и полчаса, как он позвонил.

У Карамова в руке был чемодан средних размеров. Он его поставил

возле двери. Не разуваясь, он стал расхаживать по моему жилищу, коротко бросая распоряжения:

— Зеркало в прихожей перевесь, нельзя чтобы оно смотрело в дверной проем. Перестели постель, подушка должна быть в другом конце кровати.

Он достал из своего чемодана проволочную рогульку и стал ходить с нею из угла в угол:

— Так... Тут — плохо! А там посмотрим?.. Еще хуже!.. Везде плохо! — заявил он, закончив беготню с рогулкой.

— Что плохо-то?

— Долго объяснять. Тут под домом где-то разлом проходит, энергия сосет.

— А как ты стал этим... ну, паро-ненормальным? Этому, поди, долго учиться надо?

— Этому не научишься. Это или есть, или нет.

— У тебя же раньше не было? Ты ж даже не заикался об этом.

— Заикался. Когда меня эта кляча вздумала из-за моей квартиры отравить, я ее мысли сразу прочитал, как на бумаге на ее лице было написано.

— Это ты про Тину Даниловну? Вот уж зря, добрейшей души человек.

Он достал из чемодана красивые дипломы в толстых корках с печатями и затейливыми подписями.

— Вот! Документы. Я это внезапно в себе почувствовал. Написал в Москву. Вызвали, проверили, ахнули! Говорят, этот, как его, феномен. Дали вот документы: езжай, действуй! Ну я и действую! Я уж теперь нарасхват в городе. В одной семье барабашка хулиганить стал: то матерные слова на стенах пишет, то горящими головешками швыряется.

— Что за барабашка, как выглядит?

— А никак. Его не увидишь. Он дух. Карандаш сам собой со стола к потолку взлетает и матерщину там пишет.

— Ну, и как ты с этим духом управляешься?

— Силой воли! Энергии много отдаешь... Заказов много. От сглаза, от заклятия избавляю, снимаю порчу. Могу приворожить жениха или отвратить любовницу от мужа... Да, а тебе надо квартиру менять, зачехнешь тут. Энергетика плохая.

— А не получится, что на другой квартире энергетика будет еще хуже?

— А ты меня вызывай смотреть. С других за это немалые деньги беру, а тебе бесплатно, только поможешь рассказы напечатать, и все!

— Если будут хорошие рассказы, я их и так напечатаю.

— А что, у меня плохие рассказы, что ли? — начал он заводить-ся.

— Они не то чтобы совсем плохие, но от натурализма тебе надо избавляться, в кружок-то давно уже ходишь, пора всерьез за дело браться.

Я проводил Карамова и решил пойти к тому, кто находится ближе других. На кривой, как колбаса, улице по соседству с баптистской молельней Геннадий Агатин несет свое бездельное дежурство, у него есть блатной друг. Я им пожалуюсь, они примут меры.

Уже вечерело, в воздухе пахло осенью, и в тишине окраин, изредка нарушаемой ленивым гавканьем дворовых собак, я услышал гитару и слаженное звучание двух мужских голосов:

Гори, гори, моя звезда...

Как на огонек маяка, я шел на эту песню и пришел к проходной дожимной насосной станции, насосы которой вечно молчали.

На лавочке возле здания насосной станции я увидел три мужских фигуры. Самая крупная фигура — Агатин; другая, тоже не маленькая, но тощая — Дресвянин; и — маленькая фигура. Я догадывался, что это сидит Чмых. И когда подошел ближе, убедился, что чутье меня не обмануло. Федя сидел и с закрытыми от удовольствия глазами слушал песню, и я прочел на его веках: «Они спят».

Друзья закончили песню. Я им поаплодировал и отметил, что они чем-то значительно приподняли свое вдохновение.

Дресвянин сказал:

— Это — что! Сегодня мы почти трезвые. А вообще — третий день гудим. И что вчера сделал этот Шкаф? Знаешь?

— Откуда же мне знать?

— И то правда. Так вот, взяв трехлитровый баллон браги, пошел он к проволочному забору и сквозь колючую проволоку стал говорить проповедь стоявшим в своем дворе баптистам. И сказал он им: дескать, братья и сестры во Христе, нас разделили колючей проволокой, сейчас я снесу ее к чертовой матери, и мы с вами причастимся божественным хлебным нектаром. И стал этот неразумный атлант рвать проволоку голый рукой, причем одной левой, потому что правая у него была занята баллоном. И такова у него бычья сила, что вырвал он в одном месте проволоку вместе с кольями и в образовавшийся проход спустился с холма во двор к баптистам с громким криком: «Причащайтесь! Братья и сестры!..» Из левой руки у него кровь хлестала ручьем, ибо он обод-

рал кожу колючкой, но он не чувствовал боли и страха и обязательно хотел выпить из баллона на брудершафт со старушкой-баптисткой. Кончилось тем, что старушка упала в обморок, а разъяренный атлант, выпил всю брагу из баллона сам, вскочил обратно на наш холм, нашел топор и принялся рубить колючее ограждение вокруг объекта, и снес всю ограду до последней колючки... Вот тогда я изловчился перевязать ему израненную левую длань. И мы стали снова пить, потому что он сказал, что раны у него заживают быстрее, если в крови есть спиртное. И факт! Сегодня он уже играет на гитаре, и раны ему не мешают. И мы поем!

Тут я им рассказал о своем горе, о том, что мне требуется помощь. Не сможет ли Чмых урезонить тех мазуриков, которые портят мои замки? Чмых сказал, что помочь не сможет. Раньше были воры в законе. А теперь закона нет. Всякое фуфло, накурившись дряни или, хуже того, уколотившись каким-то дерьмом, ломает двери, портит замки и черт знает что творит. И для них уже нет ни правил, ни авторитетов.

Я все понял и сказал Агатину и Дресвянину, что они быки здоровые, казенные ограды ломают, а разве слабо им сделать для моей квартиры металлическую дверь?

— Не слабо?! — сказал Агатин. — У нас сталь есть, у нас сварочный аппарат есть, мы оба слесари, мы оба сварщики. Иди, бери бутылок пять коньяку, и мы тебе к утру сварганим точную копию той двери, которая была в бункере у Гитлера.

— Мне точную копию не надо, мне хотя бы приблизительную, — заявил я. — А вместо пяти бутылок коньяку я вам возьму четыре бутылки водки. Я патриот, я выступаю за то, чтобы русские люди употребляли только национальные напитки.

— Ладно, хватит треп! — сказал Агатин. — Я беру свой складной метр, мы идем, замеряем твой дверной проем, возвращаемся и начинаем работу.

Когда мы ходили замерять проем, я спросил Дресвянина, давно ли он встречался с Юрой Феофановым? Как у него дела? Поправляется ли его мама?

Дресвянин посмотрел на меня странно.

— Вы, что ли, не знаете? Юрина мама умерла. Ну, Юра пил, его выгнала жена, он и вернулся к маме. А каково ей было видеть его скотское состояние?

— Что же он теперь делает? Ты его проводывал после смерти матери?

— Да я ж в деревне живу, редко в городе бываю. Честно говоря, навещать Юру у меня большого желания нет. Он всегда был занозой, а теперь у него уже мозги размягчились. Говорят, он со своей собакой Чарой нанялся по ночам городской сад охранять. Уж и не знаю, что он там наохраняет... Я, если в город попадаю, так к Агатино иду. Он хоть и пьет, да ум не пропивает. А воображал всяких я с детства не люблю. Я, может, сам себе воображала...

42. НОВЫЙ СЕЗОН

После изгнания из ПИССУАРа я подыскал для кружка новое помещение. Кучерявый и красивый Шура Колбасников когда-то под моим руководством осваивал редакционные азы. С тех пор много воды утекло в реке Тами. Шурины буйные кудри слегка поседели. Он заметно располнел, но был по-прежнему элегантен. Беседуя с человеком, Шура всегда дружески склонял свою кудрявую голову чуть ли не на плечо собеседнику, внимательно глядя в его лицо. Этим он очень располагал к себе людей, особенно женщин. Да я и сам не раз изумлялся: какой ласковый, добрый! Но тут же вспоминал, что Шура в юности, приехав в Пимск из малюсенького городка, не смог сразу поступить ни в один из вузов. Пришлось ему год проработать лаборантом на учебном ядерном реакторе. Однажды он подремывал в ночную смену, сидя за столиком, когда зазвонил телефон и ему сказали, что сейчас реактор будет проверять столичная комиссия. Шура схватил тряпку и щетку, кинулся в реакторное помещение чистить и протирать тумблеры и кнопки. И что-то сделал не так, ибо облучился. С тех пор одно ухо у него совсем не слышало, а второе — очень плохо. Но он приучился понимать собеседника по губам, приближая к нему максимально близко свое менее пострадавшее ухо. Так он превратил свой физический недостаток в достоинство. Но он не только изображал ласковость. Он действительно всегда был добрым, внимательным к людям. Закончив университет, защитив диссертацию, он вскоре стал деканом факультета журналистики, его очень любили студенты, особенно студентки.

И вот теперь Шура, склонив кудрявую голову мне на плечо, слушал меня с выражением величайшего доверия и абсолютного расположения на лице. Я знал, что это его дежурная мина, и все равно мне было приятно.

— Я понял, Петя, — ласково сказал Колбасников. — Кружок, творчество, интриги... Мы тут глохнем за работой, а рядом такая жизнь

идет! Страсти кипят! Гм... Петенька, я могу, конечно, выделить тебе помещение для занятий. Ну, не фонтан, конечно. Тут рядом домик, ты его знаешь, там четыре комнаты. Вечером как раз занятия кончаются. Ты же в восемнадцать начинаешь? Так? Ну и добро! Студенты уходят, твои гении садятся за столы и жгут глаголом сердца. Только столы мне не прожгите...

И потупился, сказал, помолчал:

— Только оклад я тебе, Петя, сделать не могу, извини. У нас в учебной типографии ставок — не то что в ПИССУАРе, у нас ставок — раз-два и обчелся: ставка уборщицы, ставка секретаря и ставка директора типографии, коим я по совместительству являюсь как крупный специалист полиграфического процесса. Все! Больше нет ничего, следовательно, воткнуть тебя некуда.

— Что ты, что ты! — поспешил я его успокоить. — Ставку я в писорге выпрошу, у Крокусова. А тебе за помещение низко кланяюсь. Каждый из моих поэтов напишет о тебе оду. Каждый год — много од!

Колбасников восторженно стал жать мне руки:

— «Поэты мы поэтому!» — так сказал классик, и он прав. Преклоняюсь перед талантами! Из вас рифмы сыплются, как горох. Дал же Бог счастье!

«Невеликое счастье», — подумалось в предвкушении беседы с Крокусовым. И действительно, Крокусов моей просьбе дать небольшую ставку не обрадовался, совсем даже наоборот.

Кудрявый, сытый и хорошо одетый, он важно ходил по кабинету, выдерживая долгую паузу. Пауза была такой долгой, что я засомневался: а расслышал ли он меня? Или же я ему нечего не сказал, а только хотел сказать? Я терялся в догадках, он все ходил и ходил по ковру, не обращая на меня ни малейшего внимания. Я кашлянул — никакого результата. Тикали часы, за окном вечерело, а он все молча ходил и ходил по ковру. Равномерно ходил, как маятник. Я встал, пошел к двери, взялся за ручку, и тут Крокусов обрел дар речи:

— Перестройка идет! Невиданная в мире ломка! Старого, отжившего! Как говорят у меня в романе папынька, мамынька, бабынька и дедынька, в такой переломный момент должны жертвовать всем во имя блага нации! Во имя демократии!.. Но мы не на бюджете. Меценатов почти нет. Сейчас всюду недофинансирование, хозрасчет. Нам на всем приходится экономить. Писоргу твой кружок — что собаке пятая нога. Пусть бы твои графоманы взносы платили.

— Да где же они денег возьмут? Богачи стихов не пишут, сам зна-

ешь. Мы же сдаем комнаты в субаренду, и ты получаешь неплохую зарплату.

— Ладно, мы тебе будем приплачивать за кружок...

Он назвал сумму, которая едва составляла десятую часть его оклада. Я благодарил и кланялся. Пусть, с паршивой собаки — хоть шерсти клок!

В домике на центральном проспекте, где теперь мне предстояло обучать своих «граммофонов», занимались студенты факультета журналистики. Занятия у студентов кончались в шесть вечера, и к этому времени являлись мои кружковцы. Мы выбрали комнатку, глядящую окнами во двор, более уютную. Здесь были простые столы и скамьи, и большая классная доска на стене. Я был доволен. Пусть руковожу почти бесплатно, зато ни от кого не завишу и могу приглашать в свой кружок кого угодно: людей любых профессий и возрастов!

Первое наше занятие на новом месте было поистине вечером сюрпризов. Тина Даниловна вошла с букетом цветов в одной руке и с тортом, упакованным в изящную коробку, в другой.

— Тина Даниловна! Зачем вы? — воскликнул я. — К чему такие траты?

— Я в вечном долгу перед вами! — кинулась она целовать меня.

Выяснилось, что после того, как она побывала у ректора, ей дали квартиру в деревянном доме, с отдельным входом, на втором этаже.

— Я так счастлива! Окна большие, потолки высокие, наш дом есть в альбоме «Деревянное зодчество Пимска», наличники — сплошь деревянные кружева, витые столбы поддерживают крыльцо. У меня в эти дни ощущение сплошного полета!.. Кстати, совсем недалеко от университета, и вообще центр города, это ведь тоже немаловажно, правда? А все — вы! Если бы не вы, я бы никогда не решилась пойти к ректору... А уж девчонки так рады новой квартире, что и не сказать!

Наш разговор прервал Толя Пастухов:

— Чего тут столы стоят, как в школе? Я враз сделаю круглый стол, все будем равны и будем смотреть друг на друга.

И они с дружкой Бадридзе принялись грохотать мебелью.

Мне это не понравилось. Колбасников предупредил, чтобы вели мы себя тихо и не сорили. Какие тут с них взносы возьмешь? Хотя бы не самовольничали чересчур, как Пастухов, да пьянки не устраивали.

Пока я пытался поставить столы обратно, как они стояли, в комнату вошли Юрий Заводилов и Вася Важенкин. Я их не сразу узнал. Оба были в расшитых русских рубахах, подвязанных поясками с кисточка-

ми, в полосатых брюках, заправленных в кирзовые сапоги, оба кудри завили. Этакие два лубочных Леля. Причем «Лель» Заводилов был красавцем без изъяна, а «Леля» Важенкина портили очки. Они были уже из другой оперы.

Приветствуя нас, Заводилов приподнял руку и возгласил:

— Россия не погибнет! — он застенчиво улыбнулся и добавил: — Мы русские, и надо бы нам в эту трудную годину здороваться подходящими словами.

Они сели на заднюю парту и принялись о чем-то шептаться.

Явились Агатин с Дресвяниным, оба были под легким хмельком.

Агатин с интересом оглядел Заводилова и Важенкина и сказал:

— А чего это вы так вырядились? Художественная самодеятельность?

— Так всегда одевались русские люди! Такой костюм и красив, и практичен, не в джинсе же нам ходить, — отозвался Заводилов.

— А почему бы не в джинсе? — парировал Агатин. — Джинса — она тоже и красива, и практична.

— Джинса — не наша. Нам туфли ковбойские на высоких каблуках ни к чему. В сапогах можно хоть в поход идти, хоть на свадьбу.

Тина Даниловна воскликнула:

— Ах, какие вы, ребята, стали красивые в русских рубахах, они так вам к лицу! Особенно Юрочке идет, к его кудрям. Истинный поэт Есенин сошел с фотографии.

— Вы где костюмы взяли? В театре али в самодеятельности? — спросил Пастухов.

На пороге возник Карамов с уже знакомым мне чемоданом и заявил:

— Сейчас я это помещение рамкой проверю.

— Проверяй, не проверяй, — сказал я ему, — другого помещения у нас все равно нет.

Карамов принялся ходить с проволочной рамкой по комнате, поворачивал ее в разные стороны и словно к чему-то прислушивался.

— Вот, еще один клоун явился! — прокомментировал действия Карамова Пастухов.

Тот ему ничего не ответил, но сообщил мне, что помещение вполне пригодно для занятий, но долго нам тут не придется заниматься.

— Восстань, пророк, и виждь, и внемли! — продекламировал Агатин.

В этот момент появилась в комнате Светлана Киянкина с портфелем в руке, громко щелкнула его замочком, оглядела всех, сияя

глазами и полыхая лихорадочным румянцем. Она достала из конверта внушительный конверт с обозначенным на нем ее домашним адресом, именем и фамилией.

— Вот! — торжествующе воскликнула она.

— Что вот-то? — осведомился ехидный Пастухов. — Опять отказ из центральной прессы?

— Как бы не так, отказ! Че смеяться? Журнал «Ридерс Дайджест» прислал, видите вот, фотографию автомобиля и ключ с позолотой. Это они, видно, мой адрес узнали, потому что в прошлом году мое четверостишие было в «Мурзилке». Ну, и вставили меня в розыгрыш призов. И че? Пишут, чтобы я стерла краску на изображении ключа и сверила появившийся там номер с номером на картонном ключе, который вложен в конверт. Если номера совпадут — я получу автомобиль «Ниссан» стоимостью аж 900 тысяч рублей. Можно получить вместо авто деньги. Вот! Теперь смейтесь! Номера совпали!

— На «Ниссане» ты ездить не сможешь, — сказал, заворуженно глядя на позолоту картонного ключа, Иван Карамов. — Ты получаешь «Ниссан». Сменяешь его со мной на «Волгу», я тебе придачу дам.

— Шустрый какой! Я у них должна еще один приз получить, аж двести тысяч мне выпало, но надо сначала заказать у них литературы на семьсот рублей. Уж это-то я осилю...

— Света! — сказал я, стараясь быть деликатным. — Может быть, это не совсем честная игра. Ты бы не обнадеживалась слишком-то.

— Ага, не верите. Завидуете все! Номера не было видно, стерла краску — и совпало! Да ну вас всех к черту! Фомы неверующие!

Она засунула свои бумаги в портфель и вышла, преувеличенно громко стуча каблуками.

Пришел Владленович в костюме охотника: куртка и штаны из брезентины и шляпа с пером. Он принес фотографии рыси, тетеревов и белок, которых он сумел очень интересно сфотографировать при помощи фоторужья. Пообещал прочесть новые стихи о Пимских сосновых и кедровых борах.

Карамов, проверив помещение своим странным аппаратом, сказал:

— Энергетика неплохая. Но долго здесь нам заниматься не придется. Аппарат это чувствует.

— Ты бы не каркал, как ворона, ты вообще мрачный человек! — рассердился Пастухов.

— Тебе-то что волноваться, тебе жить недолго. И тебе, и твоему осибирячившемуся грузину Бадридзе. Бодрись, не бодрись, а я вижу,

кто у вас за спиной стоит. И не только у вас, не только у вас. Я вижу, но говорить мне не положено.

— Ну и не каркай, — сказал Толя Пастухов. — Много вас на фунт сушеных. Ты всех баб в страх вогнал. Мы не бабы, а спортсмены.

— Знаю, какие вы спортсмены. Тебя из тренеров поперли, а Бадридзе попробовал в коммисионке торговать и вылетел оттуда, как пробка. Теперь оба сторожами устроились на студенческий стадион. Совместно дежурите, стихи строчите и водку пьете. А что на пьяную голову напишешь доброго?

— Говорю: не каркай! — вспылил Толя Пастухов. — Жаль, что пожилой, а то бы я тебе врезал!

Карамов не удостоил его ответом.

Не пришел почему-то Юра Феофанов, и я выразил сожаление по этому поводу.

— А чего ему в кружок ходить, он наследство пропивает, — ядовито резюмировал Дресвянин.

— Ах, разве можно так говорить! — сказала Тина Даниловна. — У мальчика горе. Его оставила бессердечная молодая женщина, которую он взял себе в спутницы жизни. А следом второй удар судьбы — мама умерла. Мальчику трудно. Да, я видела, как он сдавал собрание сочинений Кеше Владимирскому. А что же мальчику делать, жить-то надо!

— Всем мальчикам жить надо! — сказал Дресвянин. — Меня вот из тюрюги выпнули, а собраний сочинений на дорожку не дали, чтоб их букинисту сдавать. Приходится мне вкалывать в кочегарке в деревне Семибережки. Кидаю уголек, перемажусь, как черт в преисподней. А тут еще бабы деревенские идут, матом кроют: вода в дома поступает чуть теплая. А дело в том, что трубы дырявые проложили, а они начальство ругать боятся, на кочегаре зло вымещают... А мне и зарплату почти не платят. Кому дрова поколешь, кому картошку потяпаешь — самогоном рассчитываются. Ну, и пью, не пропадать же самогону.

Я начал занятие, предложив поговорить о Есенинской поэзии, о судьбе поэта.

— Тем более, что два наших кружковца нынче вырядились под юного Есенина, — отметил я.

— Я в конце сделаю небольшое сообщение об открытии русского центра, — подал голос Юра Заводилов, — и я вам поясню, почему мы так одеты.

После чтения стихов по кругу Заводилов вынул из холщовой сумы пачку тетрадок и стал раздавать всем присутствующим.

— Товарищи! Друзья! Никто не спасет Россию, если мы ее не спасем. Тут я написал в прозе: что надо делать, как жить. Печать плохая, на ротапринте старом печатали. Вы скажете: зачем после великих философов еще и Заводилов написал? А многие сейчас растерялись. Им нужны простые слова. И я их написал. Тем более, что вчера меня избрали председателем Русского национального центра.

Я заглянул в тетрадку, в глаза бросились фразы: *«Ты русский, гордись этим! Не пей, не кури, не матерись!.. Собирайтесь в лесу зимой и летом. Носите русские рубахи и сапоги, они тысячелетия служили нашим предкам. Практично и удобно в труде, и в бою, и на отдыхе... Изучайте русский бой, лазанье при помощи веревок с дерева на дерево!... Накачивайте мышцы для грядущей борьбы!.. Вспомните Александра Невского, Ивана Поддубного... Русский, поддерживай русского! Приветствуйте друг друга словами: «Россия не погибнет!»*

— В этой тетради не так много слов, их надо повторять утром и вечером, как молитву. Никто нас не спасет, мы спасем себя сами! — сказал кучерявый и красивый председатель Русского центра.

— Да, — поддержал его Важенкин. — Россия не погибнет! Не пей и не кури!

Заводилов сообщил, что настанет день, когда он пригласит всех кружковцев в Русский центр на концерт. Скорее всего, это будет через месяц-другой.

Виктор Владленович почитал стихи про охоту, показал фототрофеи.

На этом заседание и кончилось. Я был доволен. Деньги отняли, отобрали возможность куда либо поехать, сейчас на поездах и автобусах цены дикие, не говоря уж о самолетах, я вроде как невыездной стал. А все равно в жизни столько интересного! Мой кружок — это вам и Гавайи, и Кордильеры, и Африка, и Америка. Пусть подавятся, пусть едут в Грецию и на Канарские острова...

43. АВАНПОСТ

У нас в карманах с Виктором Владленовичем лежали пригласительные билеты на концерт в Дом культуры «Аванпост». Это огромное трехэтажное здание выстроили на краю города. Тогда город строил новые микрорайоны из одинаковых панельных девятиэтажек. Громадный культурный центр «Аванпост» предназначался для огромного

района, который должен был тут вырасти. Но перестройка смешала все планы. Культурный центр остался одинокий и всеми забытый. Громадина на отшибе от города не нужна была ни чиновникам, ни предпринимателям, никому. Новые хозяева перестали туда подавать тепло. Здание стало разрушаться. Говорят, что на первом этаже выбили все стекла и заднюю стену стали потихоньку ломать. А ведь я помню день открытия «Аванпоста». Какие огни! Какие фейерверки! Какие речи! Какое шампанское!

Этот дом отдали национальным центрам, в том числе и русскому. И мы направлялись туда. Виктор Владленович предложил идти пешком. Я сказал:

— Ты что? Туда чапать километров восемь, и все лесом.

— Ну и хорошо, воздухом подышим, потолкуем без свидетелей. Помнишь, ты спрашивал: куда народные накопления делись? В некотором царстве, в некотором государстве, не у нас, не на нашем континенте, начальнику дяде Боте надо было создать себе опору — класс собственников. А как? Тут шустряки рыжие, носатые, большеротые подскочили: «Знаем как!..» И пошли байки: «На ваучер — две «Волги!», «Рынок заработает — заживем...» Отняли у народа деньги. Дядя Ботя поклялся: через месяц цены вниз не пойдут — на рельсы бякнусь! А потом вдруг — дефолт! Но не скажешь народу, что шустряки все разворовали, за границей капиталы спрятали, государство банкрот!.. А бедный кудрявый мальчик из твоего кружка Юрий Заводилов призывает лазить в лесу по веревкам и учиться русскому бою. Атомное, химическое и прочее секретное оружие наше рассекречено и уничтожено, и теперь сколько угодно можно гулять в косоворотках, подпоясываясь поясами с кисточками, и приветствовать друг друга возгласом: «Россия не погибнет!..» Веревки только для самоубийц хороши.

Мне вспомнились новогодние фейерверки, которые я наблюдал из окна. В начале правления Горбачева народ неистовствовал возле елок до самого утра, и пальба из ракетниц была оглушительной. Но с каждым Новым годом фейерверк редел. Новогодние елки возле школ становились все рахитичней. После дефолта Новый год прошел незаметно. Не было ни огней на елке, ни пальбы. И никаких веселых компаний на улице.

— Что же делать?

— Не знаю. А если и знал бы, то тебе все равно не сказал бы. Писатели, артисты живут эмоциями. Каждому — свое, — Виктор Владленович сдвинул шляпу на глаза и зашагал широким армейским шагом. Так что я едва поспевал за ним.

Он оглядывался и подбадривал меня:

— Давай, давай, проветривай усталую голову!

Впереди — наглядное подтверждение того, что я услышал от Виктора Владленовича. Боже ж ты мой! И эта руина была Дворцом культуры? «Аванпост» выглядел — как сталинградский дом после бомбежки. Стекла окон первого этажа выбиты, двери сняты. Мы прошли просто в дверной проем. В фойе стояли до потолка ящики, неизвестно с чем. Какой-то мужик сидел на разбитом канцелярском столе и продавал порнографические открытки.

По узким коридорам мы добрались до захламленной лестницы и стали подыматься на второй этаж. На лестничных площадках сошедшие с порнографических открыток девицы курили сигареты, дым от которых приванивал жженой тряпкой.

На вопрос Виктора Владленовича — где находится Русский центр, одна из девчушек указала на ширинку его брюк. Другая сказала:

— За полста спущусь с тобой в подвал, там у нас раскладушка.

— Потом! — охладил ее пыл Виктор Владленович.

— У нас и подушка есть, — возразила она, — ты не думай.

— Полста не дорого, — шепнул я Виктору Владленовичу.

— Потом на лекарства денег не напасешься, — приструнил меня суrowый дипломат.

Мы поднялись на второй этаж, здесь тоже многие стекла были выбиты, но заменены фанерой, отчего был полумрак.

Я увидел табличку туалета, открыл дверь. В помещении было наводнение, точнее — намочение, поскольку весь пол до порожка был залит мочой. Трубы были забиты, и какие-то охламоны несмотря на это справляли тут малую и большую нужду. Может, они перед концертом, со страха?

А где концерт? Мы пошли на звук музыки.

Вот мы в полутемной зале. Известный всему городу хореограф и танцор Исаак Питкин — в центре хоровода, неся по кругу, топоча пружинистыми ногами. Невысокий, ладный, с глазами-смородинами, он владел телом мастерски, все движения были точны и отточены. Взявшись за руки, вместе с ним кружились еврейские подростки. Скрипка выводила нечто разухабистое, одновременно веселое и грустное. Танец почему-то назывался «Семь сорок». Что за символика? Раньше Питкин ставил танцы матросские, красноармейские, а теперь выступает с чем-то непонятным.

Танец кончился, в круг вышла девчушка и, аккомпанируя себе на скрипке, запела:

— Тумбале-тумбале-тум-балалайка!

Я разглядывал толпу зрителей, которые смотрели концерт стоя, ибо присесть было не на что.

Откуда-то вывернулся Юрий Заводилов:

— А, вот вы где! Пришли, молодцы! Видите, нас, русских, и тут затирают. Питкина вперед пустили.

— Да ладно, он ведь засрак.

— Кто-кто?

— Это аббревиатура. Засрак значит — заслуженный работник культуры. А почему концерт не в зале?

— Да там ничего нет, все сиденья с корнем вырвали и уперли, с потолка плитка падает. Аварийное помещение...

— В ушах у меня — как шмель зажужжал. Оказывается, это были аплодисменты Питкину.

— Че? Мы когда выступаем? — услышал я голос Светланы Киянкиной.

Я огляделся. О, тут уже все мои «граммофоны» собрались. Толя Пастухов, конечно, захочет продемонстрировать «крокодила». Карамов покажет какой-нибудь ужас. У остальных найдется по какому-нибудь гвоздевому стихотворению, я сам готов прочитать пару-другую своих лучших стихов.

— Кто из наших кружковцев за кем выступает? Кто за кем? — допытывалась Тина Даниловна.

Юрий Заводилов смущенно говорил, приглаживая кудри:

— Знаете, надо представить Русский центр, это серьезное дело. Тут можно только в национальном костюме. Сейчас... Что она делает? — вдруг воскликнул он, схватившись за голову.

— Кто — она? — поинтересовался я. — И что она делает?

— Вон та толстая тетка, Мария Ивановна, координатор, что ли, режиссер или что-то такое. Она выступление казаков объявила, а нас оттирает к концу концерта. Я этого так не оставлю!

— Да, но казаки-то ведь тоже русские люди.

— Какие они русские? Видите вон того, который саблей фехтует, он ведь еврей, лысый совсем, а чуб ему бутафорский приклеили!

Я посмотрел на маленького человека. Одет он был в зеленые галифе с синим кантом. Такие галифе когда-то носили милицмейские чины. Казаки же носили брюки с лампасами. Маленький танцор крутил над головой длинную саблю, рискуя срубить голову либо себе, либо еще кому-нибудь. У казаков шашка гораздо короче, в рукоять продета ре-

менная петля-темляк, это и позволяет легко крутить казацкую шашку над головой.

Едва ненастоящие казаки отпели, отплясали, Заводилов ринулся к микрофону:

— Мы! Россия не погибнет! Перед вами выступают два чистокровных русских поэта... два... то есть поэты двое... короче, услышите двух русских... значит, наши стихи... Первым — меня, председателя Русцентра, а вторым — зама моего, Васю Важенкина.

— Позвольте! — сказал нетрезвым голосом Бадридзе. — Если я русский грузин или же огрузиненный русский, то что же мне, лезгинку танцевать, если я кроме гопака ничего не умею?

— Уйди на фиг, не мешай! — шепотом сказал Юрий Заводилов нетрезвому Бадридзе.

Но поскольку говорил Юрий в микрофон, его слова услышал весь зал, а Бадридзе в этот момент просунул голову под мышкой Заводилова и довольно мелодично пропел в микрофон:

Я хочу, чтобы песни звучали,

Чтоб вином наполнялся бокал...

Юрий очень расстроился, даже вспотел. Тут подскочил к микрофону Вася и хрипло прокричал:

— Пока главный готовится, я, как зам, то есть это, покажу два-три свои стихотворения. Мой дед был ямщиком. Так вот:

Мой дед-ямщик кошевкой правил,

Мороз же деда не пугал,

Дед уважать себя заставил,

Поскольку верно запрягал!..

Что было дальше с дедом — публика не узнала, потому что опомнившийся Заводилов вырвал у Васи микрофон и довольно звучно прочел:

На Алтае — медвяные росы,

Много пахнувших ласкою дней,

Потому что у девушек косы

Ихних талий гораздо длинней!

Публика захлопала. Юрий обрадовался и принялся метать в зал свои ротапринтные брошюры, покрикивая:

— Читай правду, как жить. Россия не погибнет! Носите русские рубахи и сапоги! Накачивайте мышцы для грядущей борьбы! Александр Невский, Иван Поддубный смотрят на вас!

Не знаю, что было бы дальше, но с подвесного потолка оторвалась

тяжелая пластмассовая плитка и тюкнула председателя Русского центра по голове. Юрий упал на руки Васе Важенкину. Микрофоном попыталась овладеть Киянкина, но ее тотчас оттащили в сторону Карамов и Пастухов.

Карамов сказал:

— Стыдись, женщина! Беги, заводи свой «Ниссан», раненного надо отвезти в санчасть.

— Че смеяться! — сказала Киянкина. — «Ниссан»! Я только им отправила взнос на брошюры, а машина придет позже. И еще выигрыш получу. А пока дайте выступить. А то они — русские, а я китаянка, что ли? Вот Бог и наказал.

— Женщина! Ты не будешь выступать! Раненного я отвезу на своей «Волге», а тебе не видать никакого «Ниссана», ни добрых друзей, и ничего в жизни хорошего! Я все насквозь вижу...

— Пошел ты, знаешь куда? — вскричала Киянкина и опять рванулась к микрофону. И зря. Ведущая уже объявила выступление эстонской группы, на очереди еще были литовцы, латыши и украинцы.

Члены моего кружка, поэты и прозаики, грустной толпой покинули «Аванпост» и смотрели, как Тина Даниловна перевязывает Заводилову голову своим белым кашне и как усаживает его в «Волгу». В машину попытался поместиться и Вася Важенкин, но Карамов тут же его приструнил:

— Куда прешь? Пострадавшего везу, он прокурором был, а ты — кто? Жучков изучаешь? Букашечник. Вот и не лезь, куда не просят.

44. ПОЛЗКОМ НА ПУЗЕ

После посещения «Аванпоста» меня обуряло действительное желание жечь сердца глаголом. Колбасников говорил об этих глаголах с легкой иронией, это я понял. Но я давно не обижаюсь на шпильки, уколы и щипки, тем более — дружественные.

Хотя большую часть жизни я проработал в газетах-районках, но яда, ехидства и остроты мне было не занимать. Вот и решил пригвоздить к столбу позора своим каленым пером тех, кто разрушил теплицы при школах, превратил в развалины очаг культуры. Месяца через два с лишним после концерта среди прочих других дел я выкроил время для обширной статьи. И решил обратиться к Мешаеву в «Форум народа».

Когда-то в юности, заскочив в первый попавшийся дворик, мы пили с Мешаевым водку «из горла», а после шли на танцы. Юрий был кудряв, белые зубы делали его улыбку ослепительной, а глаза были лучисты и привлекательны. Он окончил университет и стал работать в газете «Алое пламя». Родом он из обских остяков, но ничего остяцкого в нем не было. Этаким европеец. И когда начались разные там прихватизации и демахротизации, Мешаев взял в аренду комнату и объявил о создании нового печатного органа под названием «Форум народа». Местные демократы поспешили дать ему деньги. Новые русские только еще нащупывали пути к власти, и Юра, отмежевавшийся от партийной газеты, казался им даром Божиим.

В Юрину газету кинулась журналистская молодежь. Туда же из «Пламени» перескочила Сеславина. Она стала начальником штаба газеты, то есть ответственным секретарем. Но Мешаев не оправдал всеобщих надежд. Юра только снаружи был блестящим европейцем, внутри он был азиатом. Он понял демократию буквально. Изможденный, как мумия, профессор-немец печатал тут громадные статьи про людоеда Ленина. А на соседней странице выступал бывший секретарь обкома, пока что переквалифицировавшийся в профсоюзного работника. Он пел дифирамбы Ленину и оправдывал репрессии тридцать седьмого года. Юра давал высказаться анархистам, областникам-сепаратистам, фашистам и полуподпольным комсомольцам. В его газете печатались сумасшедшие юродивые, якобы встречавшиеся с чертями или же, наоборот, с ангелами. Какие-то университетские путешественники писали в «Форуме» о встрече с инопланетянами и снежным человеком.

Вот к нему-то в газету я и понес статью про Новый год, который перестал быть праздничным, про разбитые теплицы и про концерт в холодном и грязном зале, где еврей изображал казака, надев милицеские галифе и махая трехметровой саблей.

Когда я пришел к нему, он сидел за столом, как нахохлившая птица, и тотчас достал из-под стола бутылку мадеры:

— Иди ко мне в замы, — попросил он, — ты же газетчик. Напряжение страшное, а стресс снять не с кем. Хотел сделать заместительницей Сеслаину, а она, чувствую, в лес смотрит, яму под меня роет.

Я сказал, что отошел от газетной рутины.

— Чистоплюй! — обиделся Юра. — Небось Балдонин выступил со статьей, даром что гениальный писатель.

— Да чего в нем гениального? Черт деревенский.

— Это ты зря. Правильно писал Кедрин про поэтов: *«в круг сойдясь, оплевывать друг друга»*. Ты Луку ругаешь, он тебя костерит, а оба за-

мечательные писатели. А вот Крокусова я не терплю. Звонил, чтобы я пришел к вам в писорг и взял у него рукопись. Я ему и сказал: мол, хлеб за брюхом не ходит.

Мы выпили с Юрой по стакану мадеры. Я вручил ему свой фельетон. Он сказал:

— Ты все-таки подумай насчет замства.

В этот момент в кабинет вошла Светлана Киянкина:

— Софа опять три моих стиха сократила! Вы одобрили, а она!..

Мешаев стал звонить Софе. Потом сказал:

— Ну, не вошли все стихи, газета не резиновая. Не скандаль, Света, остальные потом напечатаем.

И сообщил мне:

— Я вот твою кружковку в литературные работники принял, а молодых некоторых уволил, они уже начали учить меня, как надо газету делать. А Света — человек исполнительный. Велел ей взять репортаж из милиции — взяла. Обматерила милиционера, в шары ему плюнула, ее посадили, и она все описала, что в изоляторе видела. Мировой репортаж получился. Вот возьму и назначу ее замом. С ней, правда, мадеры не выпьешь, но журналистике ее обучить можно, способная. А вот нет у меня такого сотрудника, который бы напился, попал в вытрезвитель и сделал бы репортаж.

— А зачем?

— А-а, не понимаешь! — махнул рукой Мешаев. — Газете острота нужна. Ладно, ты стихи приноси, лучше всего фельетон в стихах.

Мы вышли из кабинета с Киянкиной. Я спросил ее, получила ли она «Ниссан»?

— Получу скоро. Дался вам этот «Ниссан». Видите, кем стала? А то всяк из меня дуру строит, а я вот журналисткой стала.

— Да мы всегда в тебя верили.

— Надсмехались. А теперь все прутся. Заводилов с Пастуховым и Бадридзе уже просили, чтобы помогла напечататься, и Карамов свои страшные рассказы припер. И Дресвянин в дым пьяный приходил. Ему Мешаев сказал, чтобы пришел в другой раз в трезвом состоянии. А он что сделал? Взял свою рукопись, поджег зажигалкой и Мешаеву за ворот сунул. Пришлось мне на Мешаева воду из графина лить. Психованные все.

— Сколько тебе платят?

— Два месяца работаю, и копейки не получила. На выпуск газеты и на аренду все деньги идут. Мешаев сам зарплаты не получает, угостит какой-нибудь автор выпивкой-закуской, и то хорошо.

— Почему так?

— Хрен его знает. Софа говорит, что наш редактор с демократами отношения портит, плюрализм неправильно понял и еще там какую хреновину. Демократы взяли да открыли две новых газеты: «Пимский курьер» и «Ночной Пимск» — там пишут то, что начальство скажет. Вот! Софа хочет уходить, и ветер ей в зад. А я за Мешаева горой. Правильно! Надо крыть всех матом! Без разбора. Моя бы воля, я бы их всех к стенке поставила. Сволочи все! И коммунисты были дерьмо, и эти не лучше!.. Ну, пока! Бегу выполнять задание.

Проходя по коридору, я увидел табличку «Ответсекретарь». Постучал, услышал голос Сеславиной, вошел. Софья в замужестве несколько изменилась: волосы остригла коротко, под мальчика, вся как бы усохла и поблекла. Строгий темный костюм. Сама строга.

— Что, опять стихи? Меня ими ваша ученица Киянкина уже замучила.

— Да нет, что вы, Софья Мартыновна! Я статью написал и отдал ее редактору.

— Конечно, знаю, знаю! Вы дружили в юности, в одной подворотне выпивали. Кстати, не могли бы вы по-дружески посоветовать этому самоеду прекратить самодурство и пьянку?

— А в каком смысле он самоед? Это что? Намек на национальность? Неинтеллигентно как-то с вашей стороны.

— Самоед в смысле, что он сам себя ест. Уже доедает.

— Как это?

— Элементарно, Ватсон! — Софа закурила сигаретку и продолжала, выпуская табачный дым в форточку: — Он уже трех замов поменял, три раза коллектив сменил. Причем поначалу к нему пришли люди достойные. Были среди них и опытные журналисты, и выпускники журналистского факультета. Напьется, вызовет сотрудника в кабинет, разнос устраивает. А задания какие давал? Одного выпускника журфака заставил ползти на животе от начала проспекта и до конца. Рядом шел фотокорреспондент и все на пленку фиксировал. Публикация называлась «Ползком на пузе» — читали, наверное?

— Читал, забавно вообще-то.

— То-то и есть, что забавы сплошные. Недавно взял к себе заместителем Петю Пыжова, вы его тоже знаете по работе в районке. Ну, помните, он сначала был секретарем парткома совхоза. Ехал пьяный на «газике», увидел стадо совхозных овец, схватил одну овцу, и — в машину! Пастух завопил, людей созвал, милицию вызвали. Петю с

овцой в машине поймали. А он сказал, что хотел проверить бдительность пастуха. Вот тогда его из совхоза пнули, и стал он районным журналистом. Ну, вспомнили теперь?

— Да, в общем-то, я его мало знал, но про случай с овцой слышал.

— Так вот, принял Мешаев Пыжова замом, выпили они на радостях, Мешаев ему и толкует, дескать, если ты настоящий журналист, должен дать в номер настоящий репортаж. Сними пиджак, изомни брюки, порви рубаху, возьми, вот, пустую консервную банку и иди, возле главного почтамта милостыню проси. Деньги потом сдашь в редакционную кассу и подробно в репортаже опишешь, как у тебя день прошел. И что же, думаете, вышло?

— Петя в милицию попал?

— Ничуть не бывало! Вот вы сейчас нарочно сходите к главпочтамту, Пыжов там и теперь стоит. Он к нам даже за трудовой книжкой не идет. Звали — он говорит, что ему трудовая книжка теперь без надобности. Зарабатывает за день больше, чем профессор за месяц получает. А милиции долю отстегивает. Талант у него оказался. Как начнет буровить, что его жена бросила с тремя малыми детьми, что сам он болен раком щитовидной железы, а денег на лекарство нет — самый черствый расслабится... Да... А «Форум» наш на ладан дышит. Да и что ждать еще, когда у нас в качестве журналистов такие типы, как ваша Киянкина, подвизаются? Тираж ставим десять тысяч, а выходим тиражом сто экземпляров. Вскоре, может, начнем тиражом в один экземпляр выходить. И никакие мои разговоры на Мешаева не действуют. Я-то все равно увольняюсь, но вы ему скажите, может, вас послушает.

Я знал, что Мешаев меня не послушает. И мне его газета больше нравилась, чем новые демократические «Пимский курьер», «Ночной Пимск» и «Ноченька». Те в каждом номере печатают по десять портретов то одного, то другого начальника. И пишут про них, что они очень красивы и интеллигентны. Именуют их самыми элегантными мужчинами в Пимске. Тьфу! Лучше уж Мешаевская блажь, чем «Курьерский» подхалимаж. Да еще — бесконечные рекламные статьи с портретами предпринимателей. Если бы не обнаженные красотки на четвертой полосе, то и смотреть в этих газетах было бы не на что.

И что-то не радует меня новая жизнь. Вспоминаю, на митинги бежали: «Выгоним партократов из Белого дома, его детям отдадут. Хватит чинуш плодить, самоуправление будет». Разевай рот шире! Детсады

закрыты, теплицы при школах сломаны, многие школы и клубы закрылись. Чиновники в Белом доме уже не вмещаются, соседние здания позанимали. Во всех вестибюлях милиционеры стоят, и бюро пропусков организовано, как было в обкомовские времена. Только раньше чиновников было раз в десять меньше, да и зарплату они получали раз в сто меньше, чем нынешние.

А Дон Кихот — не ламанчский, а колпашевский — наивный остяк Мешаев принял мою глупую гневную статью, которая будет напечатана, но ничего не сможет изменить.

45. НОВОСЕЛЬЕ

Тина Даниловна на очередном заседании объявила о том, что у нее будет новоселье. В новой квартире она поселилась достаточно давно, но решила сделать ремонт, побелить, покрасить, тогда уж звать гостей.

И вот мы с Виктором Владленовичем ходили по весеннему городу, ожидая назначенного часа, тогда и явимся к Тине Даниловне.

На ступенях бывшего Дворца спорта, ныне превращенного в громадную крытую барахолку, стояла диковинная аппаратура, из которой неслись громкие и дикие звуки. Перед этой аппаратурой кривлялись ряженные с электрогитарами в руках. Плакаты извещали, что это выступает группа «Тайфун Гамадрил-два». Грохот стоял такой, словно столкнулись два поезда.

Толпы полураздетых обкуренных мальчиков и девочек, вздымая руки вверх, визжа и вопя, изображали какой-то дикарский танец. Сквозь толпу продиралась странная процессия, возглавляемая «дядюшкой Сэмом», шагающим на высоченных ходулях. Его многометровые штаны были сшиты из материи с полосами и звездами, повторявшими американский государственный флаг. Полосами и звездами был украшен и его высоченный цилиндр.

— Лесби и геи! Лесби и геи! — пронесся крик по толпе. — Мы свободны! Мы свободны!

Виктор Владленович сказал:

— Сказка Алексея Толстого никого ничему не научила. Нынешние россияне зарыли свои богатства на своеобразном Поле чудес, ожидая, что они дадут тысячекратный урожай. Время Джун, Кашпировских и Чумаков. Очумели. Похоже, на эту толпу направлены инфра- и ультрагенераторы, которые усиливают воздействие так называемой музыки. Пси-оружие.

Мы поспешили свернуть на более тихую улицу древнего города. Завидую всем, обладающим зрительной памятью. У меня ее нет, я не умею рисовать. Господи, как несправедливо! Зачем я так ощущаю, чувствую, осязаю эту красоту, если я все равно не могу запечатлеть ее карандашом или кистью!

— Лесби и геи! — донеслось издалека.

Да при чем тут все это, когда мы стояли среди старых строений, излучавших теплоту и мудрость. Наши предки при помощи топора, пилы, рубанков и стамесок создали деревянную геометрическую поэзию. Затейливая резьба наличников, перил, ступенек, переходов, веранд вдруг показывает нам сюжеты народных сказок и фантастических птиц и зверей. Дерево оживлено, оно поет, оно просит попробовать рукой гладкость перил, округлость бревен. Вот эти сказочные кровли с башенками и флюгерами на них заставляют остановиться возле дома и разинуть рты, причем каждый флюгер особенный. При новом порыве ветра летят по кругу металлические гуси с бубенцами в клювах. Древний звон, торжественный, печальный, заставляет сердце сжиматься в восторге и тоске.

О чем наши слезы? Вот этот кованный фонарь под сводом галереи прольет ли свет на нашу тягу к прошлому? Слуховые окна зачем подслушивают биение наших сердец? Эти фризy и карнизы, дымники, дождевики, ворота и калитки в каждой усадьбе этой улицы — единственные и неповторимые. Тут тебе и огонь, и вода, и земля, и воздух, и луна, и солнце, и звезды — все стихии вселенские.

Иди и смотри. Вот навесы поддерживаются стропилами в виде луков и стрел, а дальше вы увидите звезду с семью лучами, лукавых драконов. Но больше всего здесь украшений в виде стилизованных елочек и деревянных солнышек, озорно раскидывающих свои лучи по балконам и над окнами домов.

Вот деревянный дворец, в котором получила квартиру Тина Даниловна. Над парадными дверьми фигурный витраж изображает керосиновую лампу, от которой в разные стороны брошены лучи света. Когда в коридоре этого дома включают свет, «лампа» ярко светится. Ну и выдумщик был неведомый строитель!

В доме — шесть семей, потому в дверной панели виднелось шесть звонковых кнопок, одна над другой. Мы нажали шестую кнопку. В коридоре послышался шум, грохот, кажется, сорвалась с гвоздя жестяная ванна, кто-то ойкнул, мы увидели в дверях Тину Даниловну.

— Ах! Дорогие гости! Коридор у нас общий, кто-то постоянно выкручивает лампочки. Вот я и наткнулась на ванну...

— Да будет свет! — сказал Виктор, чиркнув спичкой.

В коридоре по стенам были развешаны велосипеды, лыжи и коньки, чьи-то старые кроссовки. Тина Даниловна подняла ванну, повесила на гвоздь. Сказала:

— Тут у нас кладовочка, я там торт спрятала, чтобы его до поры не скушали. Где он? Да вот он! Петр Сергеевич, держите! Войдете в квартиру, поставьте его на стол и скажите, мол, это вам, девочки, к новоселью. Будет радость.

— Ну, Тина Даниловна, это уж слишком! Мы с Виктором Владленовичем купили шампанское и шоколад, зачем же я буду пускать вашим девочкам пыль в глаза этим тортом?

— Но я же заказала кондитеру надпись, вот, читайте: «Тине Даниловне на новоселье от Петра Сергеевича Мамичева».

— Я что, фальшивомонетчик?

— Ну, не обижайтесь, так надо. Прошу!

Мы вошли в комнату, где я увидел Лину и Рину, Васю Важенкина и какого-то прыщавого молодого человека, который посмотрел на нас угрюмо и не ответил на приветствие. На руках у него были браслеты, шириной от запястья до самого локтя, а на груди висела медная брошь, напоминавшая таз для варки варенья.

Лина обрезала косы и с перманентом выглядела назначенной к выбраковке худой овцой. Она необычайно вытянулась в длину и была теперь выше рослого Васи Важенкина и прыщавого молодого человека.

Тина Даниловна распахнула дверь туалета, похвасталась:

— Смотрите! Унитаз! Хоть в деревянном доме, а все как у людей. И душевая есть, и паровое отопление. Я восхищена!

Она приникла к моему уху и жарко зашептала:

— Линку я выдала замуж за Георгия.

— А чего это он железяки на себя нацепил, и где он учится или работает?

— Он учится на курсах, скоро будет сварщиком. А железяки — это хеви металл! Они с Линкой модной музыкой увлекаются. У Гоши большой катушечный магнитофон, как он его включает — все стены трясутся! Я к урокам теперь готовлюсь в туалете. Сажусь на крышку унитаза, запираю за собой дверь, затыкаю уши ватой и читаю, пишу.

— Ага! Вот почему у вас зеленые круги под глазами.

— Что же делать, дети!

— Рина тоже подросла, тоже может замуж выйти, как же вы в одноконнатной квартире все поместитесь?

— Она не выйдет, — Тина Даниловна еще плотнее приникла губами к моему уху. — Рину я лечила в психлечебнице. Повлияло, что отца у нее на глазах трамваем задавило. Нормальная была до полового созревания, а теперь задурила. Полгода на психе пролежала. Я попросила врачей отпустить ее домой. Они сказали, что она задушить кого-нибудь может или зарезать. Так я ночами вполглаза сплю. А что поделаешь, дети!

Я растерялся, не зная, что Тине Даниловне сказать, посоветовать.

— Лина, Рина, Гоша, Вася, уважаемые гости, все за стол! — пригласила Тина Даниловна.

Не успел Виктор Владленович произнести витиеватый тост о красоте и доброте дерева, которое стало уютом для благородной семьи и будет сохранять тепло домашнего очага, как вдруг обвальный грохот заглушил все голоса, звяканье вилок и рюмок. Это мрачный Гоша включил свою адскую машину.

Чтобы сказать что-нибудь хозяйке стола, приходилось кричать, да и то она не могла разобрать, что ей хотят сообщить.

Напрягая командирские голосовые связки, Виктор Владленович спросил у Гоши, не может ли он выключить свой магнитофон?

— Не-а! — прокричал в ответ Гоша. — У меня катушка двадцать метров, и катушек много. Праздник же!

Мы с Виктором Владленовичем торопливо проглотили по котлете и стали раскланиваться. Неадекватная Рина кинула в нас тарелку с холодцом. Вася Важенкин поспешил вылезти из-за стола, хотя сделать это ему мешал полный живот. Испуганно косясь на Рину, он сказал:

— Погостили, пора и честь знать, надо подышать свежим воздухом.

Тина Даниловна вышла за нами и стала совать мне в руки сверток.

— Тут жаркое, холодец, ножки бараньи. Вы торт даже не попробовали, так неудобно, так неудобно!..

Мы вышли на весеннюю улицу. В коридоре дома-замка, в котором теперь жила Тина Даниловна, кто-то включил свет, и витраж в виде керосиновой лампы, занимавший почти весь фасад дома, засветился, засиял на всю улицу.

Дома мне взгрустнулось. Одиночество — не мед. Никто не навещает. Попил чаю, почитал и лег спать.

Глубокой ночью раздался звонок:

— Але! Петр Сергеевич? — услышал я голос Рафиса. — Я тут в автомобильной пробке застрял.

— Ну, пересядь на метро.

— Не могу, Петр Сергеевич! Я же на своем «Мерседесе» еду. Шофер вон сидит, тоскует рядом, а мне самое время с друзьями поговорить.

— Ты что? У тебя свой «Мерседес», на гонорары купил?

— Шутите? Я владелец компьютерной фирмы.

— А литература как же?

— Очень просто. Все лезут ко мне: денег дай, поддержи журнал, издательство. Иногда поддерживаю, они меня за это печатают. А вообще-то мне сейчас надо недвижимость покупать, она с каждым днем дорожает.

— Все в той же квартире живешь?

— Что вы! У меня теперь элитная квартира. И два особняка за городом, и еще в соседней области есть.

— А-а! В Пимск к нам не думаешь приехать?

— Да, возможно, по делам фирмы. Я ведь Пимским компьютерщикам технику отгружаю. Ага, поехали! Пробка рассосалась. Ну, пока, Петр Сергеевич!

— Пока! Только ты ночью не звони, у нас ведь ночь теперь.

— Я понимаю. Только мне звонить некогда. Дела. Вот когда в пробке застряну...

46. КОСОЛАПАЯ ГРУДЬ И МОХНАТЫЕ НОГИ

На очередное заседание нашего кружка Светлана Киянкина пришла с заграничным фотоаппаратом в руке. Такие аппараты появились в магазинах после перестройки, народ прозвал их «мыльницами», они не имели такого солидного вида и веса, как советские аппараты, были плоскими и легко умещались в дамскую сумочку или даже в карман. Светлана принялась щелкать аппаратом налево и направо, приговаривая:

— Повернитесь, скажите «чииз» и не закрывайте глаза! Зубки, зубки покажите, у кого сколько есть!

— Богатая стала, забугорный аппарат купила, — сказал Пастухов, — наследство получила от американского дядюшки?

— Пошел ты!..

— Для «Форума народа» снимаешь? — поинтересовался я.

— Для «Форума»? Че смеяться? Разве вы не знаете, что Мешаева неделю назад в вечернее время двое в масках запинали в подъезде

его собственного дома?.. Как? Ногами! Инсульт у него получился. В больнице он, состояние тяжелое. А эта шалава Холодникова сама себя редактором «Форума» провозгласила. Ну, сидит там в такой мини-юбке, что не только ляжки, но и все остальное видно, макеты чертит. А денег на выпуск газеты достать не может, не то что на зарплату. Последнюю газету выпустила тиражом двадцать экземпляров, а указала двухтысячный тираж... Вот и ушла я оттуда в фирму. Дали аппарат, пленку, сколько снимков снимаю и продам — с того мне двадцать пять процентов дадут. Да вы улыбайтесь, улыбайтесь, с вас я денег не возьму, как с руководителя. Зато уж с остальных — обязательно, а с Пастухова — в двойном размере.

— Да не куплю я у тебя фотки, хоть режь! — парировал Толя.

— Посмотрим, посмотрим, принесу красивые цветные фотокарточки, и захочется тебе, чтобы память была о родном коллективе, и купишь, как миленький!

— А сможешь ли ты на эти двадцать пять процентов прожить? — засомневался я.

— А что? Я же наглая. В любую контору зайду: фото коллектива — на память. Насшибаю. А еще мне дадут лотерею распространять, скоро уже напечатают. Ничо, Киянкина в этом рынке-базаре хлебаном себя нашла, ну сперва, сами знаете, обоглась несколько раз, а теперь у меня дело пойдет! Еще позавидуете!

— Рынок — великая вещь! — изрек Геннадий Агатин.

Он два месяца назад женился на рыжей, конопатой, тощей женщине. Звали ее Верой. Она была на военном заводе начальником конструкторского бюро. Я про себя называл ее Маленькой Верой. Глядя на нее, никак не верилось, что этакая пигалица могла занимать столь высокую и ответственную должность. Но Агатин показывал мне ее трудовую книжку. Эта женщина вышла за Агатина вскоре после того, как родила маленькую девочку, которую тоже назвали Верой. У Агатина стало сразу две Веры.

Пока старшая Вера была в декретном отпуске, военный завод закрыли, и здание вместе со всеми военными секретами и механизмами продали — говорят, всего за ящик водки. Может, и за два ящика, я точно не знаю. Но что отдали почти даром — факт. Один из Вериных сослуживцев поставил палатку на маленьком базарчике, внезапно возникшем в переулке имени Феликса Дзержинского недалеко от центра города. Сослуживец нанимал продавщиц, чтобы они продавали фасованные товары. Но у продавщиц все время получались недостачи. В переулке

не было туалетов, и продавщицы за малой и большой нуждой отъезжали на трамвае в горный корпус Политехнического института. Пока они там в подвальном студенческом туалете облегчались, пока ехали на трамвае обратно, время уходило, и палатку надо было закрывать. В общем, выручка получалась маленькая. Тогда сослуживец попросил поторговать Веру.

Дело для нее было новое, и в первый день тоже получилась недостача, но маленькая. Как Вера обходилась без туалета — одному Богу известно. Может, она перед службой ничего не пила, не ела. Поскольку дело было зимой, бывшая начальница конструкторского бюро надевала ватные штаны и тулупчик, а щеки смазывала гусиным салом от мороза. И дело шло. Беспокоило то, что приходилось во время торговли оставлять малюсенькую дочку на попечение Агатины. Но этот грубиян рассказывал малютке совсем не детские сказки, а колыбельные пел, подыгрывая себе на гитаре.

Вера, имевшая собственный автомобиль «Жигули», вскоре стала торговать так, будто всю жизнь этим только и занималась. Через некоторое время она открыла собственную палатку. Мастерски управляя автомобилем, на рассвете она мчалась в оптовые магазины города, брала товар, открывала палатку. Быстро раскладывала шоколад, кофе, чай и все прочее по полкам. Верина приветливость, хорошая выкладка товаров помогали ей делать хороший оборот. Она добавила еще палатку. В одной стояла сама, в другую наняла продавца.

Вера научила Агатины управлять автомобилем. Когда я однажды сел с Агатиным в автомобиль, то подумал, что новая жена напрасно научила его крутить баранку. Агатин на предельной скорости мчал на красный свет, виляя между самосвалами и такси, обгонял их, въезжая на тротуары. Я умолял его высадить меня поскорее, он коротко отвечал:

— Сиди, молчи, обещал подвезти и подвезу!

— На тот свет? — спрашивал я.

Он лишь добавлял газа.

С тех пор на приглашение Агатины прокатиться я отвечал неизменным отказом.

В этот раз после окончания кружка Агатин позвал меня пройтись пешочком в его дежурку «на маленькое совещание».

Мы миновали шумные улицы и спустились по заветному холму к тому зданию, в котором уже много лет ржавели дорожные заграничные моторы. В помещении, где обычно дежурили электрики, я увидел Федю Чмыха, бывшего рецидивиста, а теперь охранника важного государственного объекта, и еще — Евсея Евсеева. Это был совершенно худой

средних лет человек в телескопических очках, словно нарисованный в тетрадке дошкольника. Помните? «Палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек!» Только у сего «человечка» «огуречик» был заменен тоже палкой.

Мне давно уже надоело иждивенческое настроение могучего Агатины, часто повторявшего:

— Я же темный, я не умею править рассказы, я стесняюсь ходить в редакции, вы уж сами как-нибудь поправьте, куда-нибудь отнесите...

Однажды я отвел Агатины за руку в книжное издательство. Агатин смущался, повторяя:

— Ну, как же я, сиволапый, да в такое общество!

Я запахнул Агатины в один из кабинетов, довольно нагло представив его:

— Надежда сибирской литературы, видный молодой писатель!

Интуиция меня не подвела. В кабинете существовали два индивидуума, которым позарез нужен был третий. Они отозвались:

— Судя по габаритам, действительно видный!

Один был заведующим отделом прозы Михаилом Медведевым. У него голова — как пивной котел, шеи не было. Он реготал густым басом:

— Когда я служил в областной газете, так редактором там был — Кроликов, заместителем редактора — Зайцев, а рядовыми щелкоперами были я — Михаил Медведев, и Лев Мамонтов! Ну как тут не запить? Здесь я хоть как-то соответствую своей фамилии, я — старший редактор отдела прозы. Звучит! А вот младший редактор имеет индифферентную фамилию — Евсеев. Обидно!

Тип, прозывавшийся Евсеем Евсеевым, радостно сообщил:

— Нам как раз третьего не хватало!

Меня в расчет не приняли, так как знали, что я не употребляю ни в каком виде.

В тот же день все трое они напились до чертиков, причем бочкообразный Медведев ушел с работы своим ходом, а тощего Евсеева Агатин транспортировал, взяв за ногу и положив себе на плечо — как бы половик или туюфак.

С тех пор так и повелось, что Агатин подходил к концу работы в издательство, и в портфеле у него что-то звякало и булькало. В моем кружке Агатин теперь бывал редко, советов у меня уже не спрашивал, а иногда сообщал, что проза Агатины будет издана отдельной книжкой, а газета «Буревестник демократии» заключила с ним договор на публикацию фрагментов его новой повести и платит неплохие деньги.

Теперь младший издательский редактор, которого Агатин нередко доставлял с работы на своем широком плече, и отпетый уголовник должны были совещаться со мной и Агатиным по важному вопросу.

Агатин сунул руку под топчан, извлек оттуда горшок с брагой, со стуком водрузил на стол и объявил:

— Сеньоры, у каждого из вас косолапая грудь и мохнатые ноги. А это означает, что наш малый хурал сумеет принять верное решение.

— А чего ж Медведева не пригласил? — поинтересовался я. — У него фигура имеет форму жбана, ему эта брага — в самый раз!

— Заблуждаетесь, сеньор, — сказал Агатин, — ему по чину напиток ниже коньяка пить не полагается, а вот младшему редактору Евсееву можно, потому вы его здесь и видите.

Вкус браги был ужасен.

— Чмых! — воскликнул Агатин. — Отметки на всех частях тела, тянул два срока, не человек, а пункт и параграф, но всегда в питье сыплет горсть махры для аромата... Суть хурала. Я влез нахалом в водоканальскую «трешку» на краю города. Канал снял зарплату, мол, рассчитаешься за квадраты, приватизируешь хату. Чмых накатал бодягу в суд. И что? Канальи из канала вернули мне деньги. Чмых сообразил: квартира-то муниципальная! Не имели права ее продавать. Теперь канальи толкуют: мол, узаконим тебе «трешку», если ты отдашь нашему главбуху свою «однешку». Ну, я его и пустил пока в однокомнатную. И тут же дарственную оформил на свою тещу. Теперь уже канальи на меня в суд подали: почто, мол, главбуха не прописываешь? Но как же я его пропишу, ежели я не я, и «однешка» не моя?

— А хурал — почто? — поинтересовался я.

А по то! Известный писатель Мамичев, редактор издательства Евсеев и начальник писорга Крокусов — важнейшие свидетели на суде. Главное, что я член Союза писателей, и мне положена дополнительная площадь для творчества.

— Но ты же не член, — удивился я. — У тебя еще книги нет, она только в проекте.

— Я член! — воскликнул Агатин и достал из робы посверкивающий золотыми буквами билет. — Видали? Не фальшивка! Пять тысяч потратил на телеграмму столичным главписам. Печать Крокусова на телеграмме тоже недешево обошлась. Не телеграмма, а роман! Я намекнул: от приема зависит квартира, а от квартиры — жизнь! Главписы в Москве офигенели! Ну, меня и приняли в срочном порядке, чтобы я не повесился, да еще и билет с оказией срочной прислали...

У меня слов не было. Агатин строго наказал наутро быть в суде и за-

читить его, соблюдая корпоративную солидарность. Потом добавил:

— Если кто сомневается — быть или не быть... в смысле — в суде, то пусть возьмет во внимание: там будет сам председатель организации Крокусов! Учтите.

И на другой день все участники «хурала» были в суде. Сначала мы долго сидели на какой-то лавке в коридоре, Агатин то и дело заходил в какую-то комнату и справлялся: когда же и где будет проходить суд? Ничего определенного не было. Крокусов отсутствовал. Но я этому ничуть не удивился, он уже давно выработал манеру опаздывать на какое бы то ни было совещание или заседание. Когда заседание или же собрание уже было в самом разгаре, он неожиданно появлялся, как чертик из табакерки. Явившись, он озабоченно поглядывал на часы, весь вид его говорил при этом: все вы недостойны меня лицезреть, не говоря уже о том, чтобы меня слушать. Но я снизошел до вас и могу уделить капельку моего драгоценнейшего времени.

Когда нас наконец-то пригласили в зад суда, Крокусова, как я и предполагал, там еще не было. Мы сели на одну скамью, на другой скамье сидели «каналы», то есть представители Водоканалтреста, среди них были серьезные молодые люди с толстыми кожаными папками в руках.

— Юристы, адвокаты, — пренебрежительно кивнул в их сторону Агатин. — Сейчас эти приказные шелкоперишки узнают, что значит иметь дело с писателями!

Судья, между тем, объявил заседание открытым. Я стал внимательно вслушиваться во все и очень быстро понял, что Агатиному предлагают немедленно ликвидировать дарственную, которую он дал теще, и оформить «однешку» на «канальского» бухгалтера, иначе Агатин будет выселен из трехкомнатной квартиры.

Затем дали слово сторонникам Агатина. Я назвал свое имя, должность и сообщил, что Агатин, как писатель, имеет право на двадцать метров дополнительной площади. Есть такой указ Совнаркома, который никем до сей поры не отменен. Это же подтвердил и младший редактор издательства Евсеев, протирая свои запотевшие очки.

И вот в этот момент в зале появился пахнущий, как десять парфюмерных салонов, глава писателей Крокусов. Он извинился за опоздание, которое произошло потому, что нельзя было уйти с совещания у губернатора. Теперь его ждет мэр, но он все-таки выбрал время, чтобы зайти в суд и внести в дело ясность.

Судьи ему сообщили то же, что и нам: в момент заселения в трехкомнатную квартиру Агатин писателем еще не являлся, значит,

дополнительная площадь ему не была положена. И если он теперь же не отдаст «каналу» «однешку», то будет выселен из трехкомнатной, так как в свое время вселился в нее незаконно.

Крокусов встал в позу, вдохновенно воздел к потолку руки и воскликнул:

— Граждане судьи! Кого же вы судите? Талант редок!.. Вспомните, каким неувядаемым позором покрыли себя петербургские судьи в связи с делом Синявского и Даниэля, а как краснеют теперь судьи, отказавшиеся признать поэтом самого Иосифа Бродского! Как руководитель писателей и сам видный российский писатель, я призываю вас к справедливости. Мое время истекло!

И, еще раз взглянув на часы, Крокусов исчез, оставив в зале стойкий запах заграничной парфюмерии.

Вскоре мы вышли из зала, заслушав окончательный приговор, который, по моему мнению, был вовсе не в пользу Агатина.

— Не посмеют, не смогут! — сказал Агатин. — Идемте, обмоем наш великолепный успех.

— Я так и знал, что мы победим! — встал со скамейки в коридоре Чмых. — Я тут сидел, молился за вас. У меня есть секретная молитва, меня один крутой эзк научил. У него был кот в камере, он давал этого кота напрокат. Намажешь член сметаной и даешь этому коту облизать. И это такой кайф, кто понимает! Ну, вы не сидели, вам не понять...

Через полчаса в домике на Алтейской пир шел горой. Чокаясь с Агатиным, я сказал ему:

— Как я понял, тебе лучше переоформить «однешку» с тещи на бухгалтера.

— Это только кажется! — отвечал Агатин.

В моем замутненном брагой мозгу забрезжило сомнение: а черт его знает, может, Агатин прав? Может, действительно только кажется?

47. СЛУХОВОЙ АППАРАТ

В последнее время я был озабочен тем, чтобы мой кружок прижился на новом месте. Управлять творческими людьми нелегко. Они легко возбудимы, обидчивы, а некоторые просто капризны. Я поругал Пастухова за то, что приходит на занятия нетрезвым да еще и других тягивает в попойки. Анатолий вспылил:

— Если во мне тут не нуждаются, не появлюсь больше!

И пропустил несколько занятий. Всегда неприятно, если кто от меня уходит. Я вложил в него труд, а он взял да и наплевал на мои труды! Я мечтаю о расширении кружка, а он взял да и сократил коллектив на единицу. Алакаш позорный!

Зато на очередное занятие пришел новый человек, возмещающая образовавшуюся убыль. Он заглянул в комнату, потом вышел. Я выглянул. Черноволосый красавец стоял в вестибюле перед зеркалом и тщательно прилаживал большой инкрустированной расческой каждую волосинку. И так посмотрится в зеркало, и эдак. Нарцисс какой!

Нарцисс поправил галстук, вошел, спросил:

— Что, Мамич, не признал Пастухова?

Он свои волосы какой-то дрянью в черный цвет выкрасил, а на лысину нашлепку приладил. И галстук замысловатый надел. Я подумал: ладно. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

А он и трезвый вел себя как пьяный, никому слова сказать не даст. Глаза возбужденно блестят, кричит, ко всем придирается. Я не вытерпел, сказал:

— Ты трезвый хуже пьяного. И чего ты молодишься?

— Мамич! — воскликнул этот занарциссившийся спортсмен. — Ты мою жизнь не знаешь! Знал бы — плакал!

Когда были прочитаны все новые стихи, и народ стал расходиться, Толя поманил меня в укромный проулок:

— Ты — член! Сведи меня с большими людьми! С товарищем Крокусовым, с другими. Пусть помогут.

— Ничего не понимаю. Бред какой-то.

— Ты у меня дома не был, айда, там доскажу...

Мы остановились возле пятиэтажки неподалеку от вокзала. Такие дома в народе называют «хрущобами». Толя жил на пятом. Почтовые ящики в подъезде были раскурочены, стены обшарпаны, лестницы заплеваны. Толя завопил на какого-то верзилу:

— Раньше в подъезде ссал, теперь уже на лестнице ссышь? Убью!

На пятом этаже Толя боднул одну из дверей своей искусственно окурдрявленной головой, аж гул пошел.

Выглянула чернявая девица, которую можно было бы назвать симпатичной, если бы не глубокие круги под глазами и наколки на обеих руках. Она поглядела на Толю остекленевшими глазами и сказала:

— Фрей с гандонной фабрики!

— Снимаю слуховой аппарат, всем бью морды. А как будете кри-

чать — не услышу, — сказал Пастухов. Он действительно снял с уха слуховой аппарат конструкции трехвековой давности.

Плотная приземистая женщина сказала девице:

— Пойди в свою комнату.

— Я в подвал пойду! — взвизгнула девица и пинком отперла дверь.

Пастухов схватил меня за рукав, завопил:

— Айда за мной, ты увидишь, как я буду в том подвале выключать ее малахольных фраеришек. В прошлый раз с ножами на меня лезли, сосунки, всех закрутил в каральки, не поймешь, где ноги, где голова.

Я знал, что в последнее время у подростков вошло в моду развлекаться в подвалах больших домов. Милиции было не до этой мелкоты, с настоящими бандитами некому было справляться. Идти с Толей в подвал не хотелось.

Женщина обратилась ко мне:

— Проходите, проходите.

Я и прошел, присел на большой засаленный диван.

— Он скоро придет, — сказала женщина, — погоняет пацанву и вернется.

Она вышла на минуту на кухню и вернулась с подносом, на котором разместились две чашки и тарелка с вареной картошкой.

— Угощайтесь! Меня Фросей зовут.

Я взял чашку, в которой оказалась бражка. Картошка имела приторный тошнотворный вкус.

— Сладит, — сказала Фрося. — Я в студенческой столовке сторожу. Там повара машиной начистят сразу много картошки и водой зальют. Она в воде полежит сутки, вкус теряет. В борщах или в щах этого не поймешь, а отдельно сварить — она вот такая получается. А у нас даже на свеклу денег нет, дожили... Я про стихи плохо не скажу, пусть пишет. Только шальной стал, с работы выгнали, молодится, думает, какую-то дуру найдет. А брагу пить не хочет, я, говорит, человек интеллигентный. А я что ему возьму? Я тоже инвалидка. У него дружок есть — Бадридзе. Знаете? Этот Бадридзе в Новый год ему голубую ель принес. Ножом срезал возле губернаторского дома и в голой руке нес к нам через весь город. Ночь была. Мороз сорок градусов. А перехватить другой рукой не мог, во второй руке у него бутылка с шампанским была. Ну, и примерзла елка у него к одной руке, а шампанское — к другой. Ой, что было! А Бадридзе орет, мол, мой друг поэт, он выше губернатора!..

Дверь хлопнула, вернулся Пастухов. Огромные синяки под глазами, рубаха и даже майка были порваны в клочья.

— Я им дал! — кричал Толя. — Слуховой аппарат потерял, жалко. Четвертый уже. Теперь ничего не слышу, зато вы меня слышите.

Он достал яз ящика шприц, приспустил штаны, и воткнул иглу шприца в ногу.

— Обезболивающее! — сказал он. — И от тоски помогает. Хошь, тебе вколю? Знаешь, как сразу стихи станешь писать? Километрами! Если что болит — перестанет. И жрать совсем не хочется.

— Сдурел, — сказала Фрося. — Нашу Надьку пацаны колоться приучили, а он за ними по подвалам гонялся, шприцы и ханку отбирал. Отберет да себе вколет. А теперь мне и выпить не с кем, от браги, сволочь, отказывается.

— Мне льготы положены! — кричал Толя. — Тысячи тонн воды над головой. Воздух кончается. А я молодой, жить хочется. У меня в двадцать лет все волосы вылезли. Что? Да авария на атомной подлодке была. Военная тайна! До сих пор. С одним советовался, он сказал, что можно добиться: будут льготы, как афганцу, платить, только мохнатую лапу надо. Сведи с Крокусовым или еще с кем. Не хочешь? Ну, ты хоть и родня почти, а не друг. Бадридзе друг, Заводилов друг, а ты — нет, нет!

48. ТУМАН

Жизнь текла ни шатко, ни валко. Убили по непонятным для меня причинам сначала одного директора дрожжевого завода, а затем и вновь назначенного. Боже! Ну что такое дрожжи? В Средней Азии пекут лепешки без дрожжей и прекрасно живут, рожают детей целыми кучами!

На окраине города в кафе была «стрелка», встреча то есть разных уважаемых в определенных кругах людей. И что же? Явились другие не менее уважаемые люди и постреляли первых из автоматов. Убивали людей из автоматов на улицах, одного прямо возле больницы, из которой он только что выписался. Переоделся, снял больничную пижаму и тапочки, надел белоснежную рубашу, добротный костюм, натянул на ноги модные штиблеты, вышел, вдохнул полной грудью свежий воздух, улыбнулся, и тут прошла его автоматная очередь. Спрашивается: стоило ли напрягать докторов, лечиться?

Собственно говоря, все это нас мало касалось, ибо происходило как бы в ином, параллельном мире. У нас ни у кого не было денег для

посещения кафе, не было лимузинов, шикарных костюмов, не было и автоматов. И, скажем так, почти не было никаких имущественных споров. Мы спорили о высоком, о далеком, о нематериальном. Если Толя Пастухов приобрел брюнетистую нашлепку и ею маскировал лысину, то он же лишился в подвале своего допотопного слухового аппарата. Теперь на заседаниях он кричал, что хотел, читал стихи, сколько хотел, остановить его было невозможно. Бесполезно было говорить ему, чтобы не совал окурки под парты. Если Бадридзе обещал больше никогда этого не делать, то Пастухов лишь плечами пожимал.

Я всегда подозревал, что жизнь вождей бывает очень нелегкая. А теперь убедился в этом окончательно. Будучи вождем такого маленького племени, я уже растерял столько перьев из своей вожатской прически. За каждым членом племени надо было смотреть в оба. Иначе — беда.

Важенкин по окончании занятий обычно ошивался возле уборщицы, которая каждый вечер прибиралась в классах. К концу занятий в наше здание частенько приходил завхоз армянин. Он взором горного орла тотчас замечал окурки под партой в аудитории. И выслушивать сентенции об угрозе пожара, о людях, непонятно по какому праву здесь обретающихся, приходилось не Бадридзе и не Пастухову, а именно мне.

Не раз завхоз с очень понятной интонацией спрашивал у уборщицы:

— Вам никто не мешает здесь прибирать помещения?

Ясно было, что он имеет в виду Важенкина.

Но этот разрастающийся в вышину и вширь авантюрист, надевший на большие гниловатые зубы золотые коронки, ухитрялся окружать средних лет уборщицу со всех сторон, загадочно улыбаясь. Прошли те времена, когда он спрашивал меня, как обходиться с женщинами. Думаю, в его теле увеличилось уже все, что только могло увеличиться, отсюда происходила и его загадочная улыбка, как отблеск предыдущих побед. Дома была мама, а здесь, как он считал, у него развязаны руки. Но я-то был озабочен тем, чтобы мое племя не лишилось помещения. Потому сделал ему замечание. Но вчерашний птенец, старавшийся прятаться от гроз под моим крылом и разевавший желтый рот лишь на дармовые чебуреки, теперь уже показал оскал хищника:

— Мамичев! Не ваше дело, где и с кем я беседую!

Да, вождем быть нелегко. За всех в ответе. Вот уже второе занятие пропускает Киянкина. Почему? Я пытался ей позвонить, но механический голос ответил:

— Телефон отключен за неуплату.

И я решил в этот же вечер выяснить: что с ней? Почему нас не посещает? Почему за телефон не платит? Не больна ли?

Улица Интернационалистов, или, может, националистов, или черт ее разберет — какая, со времени моего первого визита сюда преобразилась. Пооткрывались частные магазины, украсившие свою территорию мини-иллюминацией. В ветви деревьев вплетались совершенно мини-атюрные лампочки-капельки, дерево светилось, переливалось цветами радуги, манило. Понятно-понятно! Реклама! Как писал Маяковский в стихах об Америке: «Дескать, зайди, купи, возьми!» А вот — не зайду, не куплю, не возьму! Денег нет.

Вот и дом Киянкиной. Поднялся к ее квартире. Все та же затрапезная дверь. Стучать пришлось долго. Я уж думал: Светы нет дома. Но уловил тихие шаги. Кто-то остановился возле двери. Я назвал себя, попросил открыть. За дверью долго молчали. Я собрался уходить, когда дверь отворилась. Свету узнал я не сразу. Она и прежде была худой, а теперь выглядела так, как узник Освенцима.

— Света! Ты что? Больна?

— Больна, ни один врач не вылечит, — ответила она. — Я целый тираж лотереи вскрыла, думала выиграть. Мне теперь век не расплатиться. Ко мне уже человека присылали, который может в асфальт закатать.

— Зачем в асфальт, за что?

— Че смеяться? Я же вскрыла билетиков на сто тысяч. Сначала-то я из каждого тиража, который брала распространять, открывала для себя пять-десять билетиков, надеялась — счастливый попадет. Но счастье все не выпадало. Хотя я знала, что оно в каждой пачке есть, счастье это. Мне так в конторе говорили. Так я и покупателям говорила: обязательно выиграете. Там даже автомобиль разыгрывался. Ну и вот, однажды я решила всю пачку вскрыть, чтобы уж наверняка. Всю ночь сидела, рвала билеты, весь тираж вскрыла, а счастья-то нет! Нет и все! Врали они про счастье... Ну, я сдуру выбросила весь этот мусор в форточку. А теперь никому не докажешь, раз у меня билетов на руках нет. Да если бы и были... Короче, мне или деньги им платить, или завешание писать. Денег у меня нет и не будет, значит — убьют.

— Так уж сразу убьют! Мы в газету напишем.

— Бесполезно, я ж у них в ведомости расписалась, что получила билетов на такую-то сумму. Тут и суд не поможет.

— Все равно выход есть, какую-то часть денег мы, может, соберем. Остальное ты им отработашь.

— Соберете! Я же знаю: у вас у каждого вошь в кармане да блоха на аркане.

— Но мы в твою фирму поручительство напишем.

— Они подотрутся вашим поручительством. Подыхать мне пора. Допрыгалась.

Она плакала, я ее утешал, говорил о силе коллектива, но по правде в эту силу я сам не верил. Всех своих кружковцев в голове перебрал — ни одного богатого. Разве Иван Карамов только. Так у него с Киянкиной неприязненные отношения, и он не настолько богат, чтобы так вот запросто выложить сто тысяч.

Я пообещал Свете что-нибудь придумать. Вышел. Неподалеку от ее дома я нашел в куче мусора золотистый глянцевоый билет. На обложке был изображен «рог изобилия», из которого сыпались «Мерседесы», телевизоры, видеоманитофоны. Внутри билета меленькими буквами было напечатано: *«Вам обязательно повезет в следующий раз!»* Не знаю, зачем, я отер грязь с этой красивой бумажки и сунул ее в карман. «Золотистый туман похож на обман», — зазвучала у меня в голове мелодия известного шлягера. Правда, там речь шла о голубом тумане, ну да теперь золотой цвет всем застит глаза.

Вечером мне позвонил Юра Феофанов. Предложил приобрести у него очень дешево хорошие книги. Мне невольно вспомнилась Глазастова. То, что у Юры семейная жизнь не заладилась и он возвратился к матери, конечно, создало в доме невыносимую обстановку. Она терпела адские муки, ежедневно видя свою рухнувшую надежду. Легко ли видеть дорогое чадо, забывшее все на свете в сивушном угаре? Вот и insult. Теперь, если верить проповедникам всех сортов, эта милая женщина смотрит на нас из рая и, возможно, слышит, что Юра предлагает мне купить у него часть недораспроданной библиотеки. Я поспешил отказаться от книг.

Но он не отставал, канючил:

— Ну, вы же писатель, вам бумага писчая нужна, отдам за треть цены, у меня ее много, вы же живете недалеко, приходите, отдам почти даром...

Я отказался. Как обидно, как горько вырастить сына, считать, что это самое лучшее, что есть на свете, и — разочароваться! Впрочем, матери не разочаровываются, по большей части они винят обстоятельства, плохих друзей, что угодно и кого угодно, но только не своих чад. Как это все устроено на земле: трудно, горько и обидно! Зачем? Кто мне скажет? Говорят, объясняют. Священники, политики, философы,

писатели. Но все не то, не то! Как говорил один театральный режиссер: «Не верю!»

Я спросил Юру: отчего он перестал ходить к нам в кружок? Он ответил, что сейчас пишет пьесу для театра юных зрителей и повесть о геологах, у него ни одной свободной минуты нет.

К сожалению, с месяц назад исчез из моего поля зрения Виктор Владленович. Потом он мне позвонил из какого-то городка, находящегося в Белоруссии. Сказал, что ему там должны отреставрировать мотор и карбюратор. И не назвал ни номера телефона, ни адреса. Я долго думал: откуда у него взялась машина, если он свою подарил дочери? И почему ремонтировать мотор и карбюратор надо обязательно в Белоруссии? Я так ничего и не понял, кроме того, что теперь мне посоветоваться не с кем.

Вспомнил я, что коллективный разум выше индивидуального, и собрал внеочередное заседание нашего кружка. Доложил о бедственном положении Светы Киянкиной, упомянул и Юру Феофанова, сказал, что наш долг помочь товарищам, которые оказались в беде.

Тина Даниловна была взволнована до глубины души, она быстро и аккуратно занесла в записную книжечку фамилии всех наших кружковцев. Потом взяла мою шляпу и положила в нее двести рублей. Зардевшись, сказала:

— Я даю двести, знаю, мало, но я теперь в стесненных обстоятельствах. Друзья, товарищи! Кладите в шляпу, кто сколько может, я все буду записывать вот здесь, в книжечке.

Пастухов без слухового аппарата не мог регулировать громкость голоса, потому и заревел, как рыба белуга, когда ее вытаскивают из воды:

— Светке — да! Светке я помочь всегда согласный! — вопил Толя. — А этому воображалу — нет. Я раз пригласил его бражки попить, а он мою брагу поганой назвал. Интеллипуп гнилой! Я бы для Светки все отдал, но у меня карманы дырявые. Но я картошки ей очищенной из студенческой столовой принесу, она там всегда в бочке мокнет!

Бадридзе резким рывком снял с пальца обручальное кольцо и кинул его в мою шляпу:

— Все, что есть, хоть обыщите!

Юра Заводилов смущенно потупился:

— К сожалению, у меня с собой нет ничего, но я достану, я принесу...

Я знал, что Заводилов был снят с поста руководителя Русского национального центра. Где-то наверху заметили, что он частенько

бывает в легком подпитии. На каком-то мероприятии он даже сказал известную фразу: «Веселие Руси есть пити!»

Потеряв свой мизерный оклад, Заводилов по сути дела потерял жену. Она приказывала ему устроиться на работу, хоть следователем, хоть адвокатом или просто рабочим. Два сына подросли, им требовались одежда и еда. Но испорченный нашим кружком, Юра заявлял жене:

— Я — поэт! Пока что стихи меня не кормят, но Россия меня еще услышит!

И каждый день в своем обычном одеянии — в костюме, белой рубашке и полосатом галстуке — Юра шел к студенческим общагам с большой хозяйственной сумкой.

Постепенно как-то так получилось, что в Пимские вузы стали поступать в основном дети богатых родителей. Учеба для них была праздником, который всегда носишь с собой. Ночами они отплясывали в разных дискотеках, которые народ сразу же прозвал дикоскотеками. Там все скакали, как сумасшедшие, принимая допинг в шикарном буфете. Музыка была механически жесткой по ритму, сверхгромкой. Зал мигал и вспыхивал багровыми огнями. На эстраде обнажались то девушки, то юноши, крутились вокруг металлических шестов, ползали по полу, спускались в зал. Был и такой аттракцион: красавец-культурист, совершенно голый и весь вымазанный медом, присаживался на приступке, и девушки, отталкивая друг друга, принимались облизывать части его тела. Его тут же сменял голый негр, невесть откуда взявшийся в холодном Пимске. Все девушки, в том числе подросткового возраста, пропускались сюда бесплатно и могли пить дармовое пиво. Тут же их вербовали для бесплатной поездки в Амстердам, Стамбул и другие города. И это было так заманчиво!

Утром на скамьях возле вузов и общежитий студенты и школьники опохмелялись залежалым бутылочным пивом, которое по дешевке в изобилии сбывалось в окрестных ларьках. Вся округа была залита юношеской и детской пивной мочой.

Юра стоял среди запахов мочи, перегара, сигаретного дыма и вежливо ждал, когда опорожнится очередная бутылка, затем протягивал к ней руку. После он говорил друзьям:

— Я не бомж, я не шарюсь по мусорным ящикам. Я собираю бутылки культурно, чисто.

На вырученные деньги Юра покупал в аптеке пузырьки пустырника и боярышника для своего больного сердца. И еще покупал пачку лапши

«Доширак», он варил и кушал эту лапшу отдельно от своего семейства, которое не понимало его. Конечно, с Юры нечего было взять.

Кочегар Дресвянин положил в мою шляпу пятьсот рублей:

— Хотел себе шапку какую-никакую на базаре купить, но раз такое дело...

Иван Карамов сказал:

— Зря! На всех дураков денег не натащишься!

Я вопросительно посмотрел на Агатина, теперь он был владельцем нескольких ларьков, нанимал продавцов. Предприниматель, одним словом. Этот сейчас отвалит, отстегнет!

Агатин сказал:

— По моим демократическим убеждениям, бедному надо давать не рыбу, а удочку!

— При чем тут рыба? — возмутился я. — Это не тот случай.

Агатин промолчал. Важенкин сказал, что у него тоже денег нет. И поспешил добавить:

— Друзья поэты! Возможно, я мог бы попросить помочь Светланочке своего школьного товарища Вадика Дранкина. Ну, вы знаете, все пиццерии, все закусочные в городе принадлежат ему. На него наезд случился. Что за наезд? Ну, то в одном его заведении, то в другом мышей в пирожках обнаружат или червей в пицце. Откуда берутся? Он сам гадает. Несколько поваров уволил, а мыши и черви продолжают появляться в блюдах. Видимо, поваров кто-то подкупает! А на ресторане «Магдалина» ночью появилась надпись: *«Купи здесь сто пирожков и собери из них собаку!»* Газеты подливают масла в огонь, телевидение ерничает, радио... Ну и, скажу по секрету, к нему приходили и предлагали продать весь бизнес за гроши. А то, мол, хуже будет. Но Вадик не хочет сдаваться. Как раз сегодня в его центральном кафе «Магдалина» будет большое шоу. Туда Вадик пригласил актеров местных театров, художников, писателей, сам господин Крокусов там будет. Ну, и прочие важные люди. Вадик пригласил и нас откусать в этом кафе. Я вам сейчас раздам билеты, в каждом указано место, которые вы займете в зале. Будет концерт, будет телевидение, будут корреспонденты! Мы там стихи читаем... Так что можно прямо сейчас и отправляться. Сделаем доброе дело и для Вадика, и для Светланочки! Там будут вкусности, друзья мои! — торжественно провозгласил Важенкин.

— Шашлык с червями и коньяк с ядом! — желчно сказал Иван Карамов, разглядывая свой пригласительный.

— Что вы, что вы! — поспешил успокоить его и всех остальных Вася Важенкин. — Все продумано. Вадик пригласил санитарных вра-

чей, особо доверенных поваров. Все проверяется. Это же рекламная акция, которая как раз и докажет, что фирма «Дранмагд» кормит только лучшей пищей и поит только лучшими напитками!

Вскоре мы уже были на улице. Меня Карамов пригласил в свою «Волгу», остальные должны были добираться до кафе на трамвае.

Возле кафе «Магдалина» сверкали и переливались сотни разноцветных огней. Крутились золотые электрические колеса, и струились разноцветные электрические волны. Естественно, все деревья были разукрашены гирляндами лампочек. К панели рядами притулились огромные лимузины, каждый был размером с небольшой грузовик. Но это были легковые машины, сияющие лакировкой и тонированными стеклами. Рядом с этими монстрами шика Карамовская «Волга» выглядела жалким убожеством.

Величественные метрдотели в белых перчатках встречали всех у входа и, улыбаясь здоровыми красивыми зубами, проверяли пригласительные билеты, торжественно оповещая зал:

— Господин помощник депутата Виктор Малофеечкин с супругой!

— Аташе по культурным связям Бурчуландии и Сибири господин Педрилло Фортеус!

— Госпожа редактор газеты «Форум народа» Инна Холодникова!

— Госпожа заместитель редактора газеты «Алое пламя» Софья Сеславина!

— Господин председатель общественной организации по защите сексуальных меньшинств Эльдар Дрочиленцев!

Пышные титулы сыпались один за другим. Наша компания нерешительно стояла у входа. Как будут нас объявлять? У нас-то высоких чинов нет.

Карамов не вытерпел, растолкал всех локтями и сунул свой билет привратнику. Тот возгласил:

— Господин Иван Карамов!

Карамов тотчас ухватил служителя за ворот пышной ливреи.

— Ты как объявил меня, негодяй?

— Как написано.

— Мало ли что написано. Таких людей, как я, надо в лицо знать наперечет. Да я во всем городе такой один. Я врач-энергосуггестолог! Кавалер звезды магистра!

Оробевший метрдотель торопливо прокричал:

— Энегоссукастролог со звездой министра! Иван Карамов!

Карамов, пробираясь к своему столику, ворчал:

— Тупицы! Научных слов не знают.

Столики были уставлены бутылками, хрустальными бокалами, меж которыми бесшумные и мгновенные официанты расставляли диковинные салаты и закуски. Зал наполнялся и сдержанно гудел. Я узнавал многих людей. Иных видел по местному и центральному телевидению. Других знал лично. В первом почетном ряду сидел проректор по науке Гений Философович Кулебякин с другими учеными людьми Пимска.

Писатели кучковались неподалеку от эстрады. Авдей Громыхалов с братом Викентием, Фомой Феденякиным и художником Сергеем Мешалкиным уже откупорили пару бутылок коньяка и спешили глотать драгоценное лакомство. Чуть в сторонке от них сидели Лука Балдонин и Никодим Столбняков, надменно озирая шикарную публику. Иван Осотов притаился за пальмой, выглядывая из-за нее одним глазом.

Джон-Гордон Митькин, Саша Пушкин, Анатолий Перерванцев и Гордей Кряков разместились рядом с микрофоном. Видно, надеялись ошеломить всех новыми поэзами.

Сеславина и Холодникова щелкали кнопками магнитофонов и фотоаппаратов. «Форум народа» вовсе не погиб, как я предполагал. Газету Холодниковой взял на содержание олигарх местного значения. Теперь название газеты звучало уже как насмешка. Никаким народом там не пахло, газета печатала портреты олигарха, портреты нужных ему людей и рекламу нужных ему же фирм.

Газета «Алое пламя», в которой вновь трудилась Сеславина, вовсе не была алой, а скорее черной, с коричневым оттенком. Соответственно вкусам оплачивающих ее людей. Я думал о том, что журналистские и писательские пути неисповедимы.

— Здорово! — услышал я хрипловатый баритон за спиной.

Оглянулся и узнал Лабуню Малиновского.

— Не нравится мне эта залипуха, — сказал Лабуня. — Знаю Дранкиных, мелковаты больно. Не телом, душой мелковаты. Сроду не пошел бы на эту пыль в глаза, но я теперь коммерсант, пригласили. Помнишь, цыгане сигареты «Родопи» продавали? Спекуляция — называлось! Теперь мои люди павильоны имеют, мехом, шубами торгуют. Коммерцией называется. На одаренных детей в колледж культуры жертвую. Люблю, когда музыка и песни... Если цыганки возле ювелирторга зимой и летом стоят, так не думай, что себе серьги-кольца скупают, нет! Они для богачей это все берут. За процент работают. Зелень, рубли, евры эти еврейские — все это только бумажки раскрашенные. А золото всегда золото! Хоть сто правителей смени, хоть на дно моря залезь — золото

останется золотом!.. Мне тот прошлый дуболом не шибко нравился, хотя и при нем жить можно было. Нынешний, невысокий, мне по сердцу. Дзю-до! «Мочить в сортире!» — говорит. Молодец! Все мои цыгане будут за него голосовать. Хозяин надежный нужен. Чтобы не было всякой хренотени, когда один у другого завод там или фабрику отбирает. Сколько можно? А сегодня, чую, здесь большой атас будет. Зря ты, парень, сюда пришлендал...

Краем глаза я видел, что Вася Важенкин отдал должное заливной рыбе, крабовым салатам, свиным ножкам под хреном, куриным пупочкам в меду. «Еще же будут горячие блюда, будут фрукты, ананасы, огромные капиталистические торты и пирожные, а он налопается закусок, и больше в него уже ничего не влезет!» — подумалось мне. И даже жаль стало Васю.

Между тем, раздалась дробь барабанов, и на эстраде появился Вадик Дранкин во фраке, с белоснежной астрой в петлице. Волос его был густо набриолинен, аж сверкал, и расчесан на прямой пробор. Рядом с ним встала Магдалина в парадном платье, сшитом известным парижским кутюрье. Грудь Магдалины украшало изумительной красоты ожерелье, на руке тускло поблескивал золотой браслет-змейка с глазами-изумрудами.

— Друзья! — разнесся по залу усиленный микрофоном голос Вадика. — Фирма «Дранмагд» приветствует вас, мы благодарим вас за то, что пришли на этот небольшой дружеский ужин. Вы убедитесь, что у нас готовят повара, которые не раз получали первые призы на парижских выставках. Есть некоторые продажные акулы пера, которые выдумывают про «Дранмагд» всяческие небывлицы, но сегодня здесь присутствуют честнейшие и авторитетнейшие журналисты области, которые сумеют опровергнуть злостные измышления...

При этих словах Софья Сеславина, Инна Холодникова и другие журналисты совсем уж яростно защелкали кнопками диктофонов и фотоаппаратов. Телеоператоры застрекотали своими камерами.

— Сейчас наши сотрудницы вручат вам всем vip-карты «Дранмагда», — мелодичным голосом сообщила в микрофон Магдалина Дранкина, — по этим vip-картам вы сможете целый год обедать в наших кафе с тридцатипроцентной скидкой...

По залу побежали девушки с красивыми подносами, на которых лежали vip-карты. Все девушки были длинноногими и красивыми. Музыка заиграла туш. В этот самый момент что-то произошло, я не понял, что именно, но нехорошее предчувствие кольнуло мое чувствительное поэтическое сердце.

На эстраде оркестр заиграл забористую мелодию, в этот момент метрдотель объявил:

— Руководитель областной организации писателей, поэтов и драматургов, член редколлегии журналов «Гармония и эстетика», «Сибирские альбатросы» и многих других, академик Ново-Бутовской академии изящных искусств и литературы, член-корреспондент Уимблдонской академии психоделической прозы и поэзии, господин Павел Степанович Крокусов!

Крокусов тотчас кинулся к телеоператорам:

— Погодите! Не убирайте камеры! Я только что со встречи с представителем президента, нам удалось побеседовать о развитии литературы и искусства в Сибири. Через двадцать минут я должен с губернатором ехать осматривать сибирскую сельскохозяйственную выставку. Времени категорически не хватает. Записывайте побыстрее интервью. Если у кого будут вопросы, отправляйте на писорг в письменном виде. Но в телеграфном стиле. Я востребован. Ежедневно сотни писем. От Лиссабона до мыса Доброй Надежды. Я не говорю уж о нашем регионе. Включайте софиты! Снимайте, снимайте! Ф-фу! Что это?

Правым глазом я заметил, что Лабуня Малиновский привстал с места и, полусогнувшись и прикрывая нос рукой, быстро пробирался по залу.

Послышались лязг, скрежет, стук, потом раздался ропот голосов. И я явственно ощутил сортирную вонь. Она была ужасна и все крепла, густела. Я машинально глянул на одно из окон и увидел, что с улицы в форточку вдвинулась гофрированная толстая труба, и из ее отверстия тотчас полилась буро-коричневая каша. О, я помнил ассенизационные бочки моего детства, именно такие запахи распространяли они, проезжая мимо нашего дома ранним утром. И возчики-ассенизаторы, издеваясь, кричали нам: «Нюхай, друг, хлебный дух!» Теперь сортирные ямы, еще имеющиеся в окраинных районах города, очищают специальные автомашины с цистернами и гофрированными трубами-насосами. Вот эти машины прибыли сюда и опорожняют через форточки содержимое цистерн.

У дверей образовалась свалка. Глухой Толя Пастухов кричал, вскочив на стол:

— Братцы-кролики!..

Оглянувшись, я увидел, что испачканная и плачущая Магдалина колотит Дранкина по щекам:

— Ну сделай же что-нибудь, скотина, ну, вызови охрану, милицию!

Но Вадик стоял, как соляной столп.

Милицию все же кто-то вызвал, милиционеры близко к кафе не подходили, стояли в сторонке.

Вдруг со страшным грохотом начали взрываться шикарные машины, стоявшие возле кафе. Милиционеры отошли подальше, а потом и вовсе исчезли.

Страшно матерящийся и вращающий глазами, метался возле подорванных машин Иван Карамов:

— «Волгу» взорвали, сволочи! Хрен с вашими «Джипами», «Мерседесами», «Волгу»-то — зачем?.. Ну, я вас черной магией достану, ох, достану! Кровавыми слезами заплачете! Прощения просить приползете, да будет поздно!

Последнее, что мне запомнилось из этого вечера, был Вася Важенкин. Из каждого его кармана торчало по бутылке коньяка, а руки был заняты подносом с большим капиталистическим тортом. Вася бормотал:

— Вот так штука! Вот так собрали Светке на конфетки!.. Ладно! Зато можно будет ее угостить коньяком и тортом!

49. СЛОМАВШИЙСЯ МОТОР

Я получил от Владленовича странное письмо. Вчитался — нехорошая догадка поразила меня. Он писал: *«При разборке выяснилось: мотор ремонту не подлежит, а раз так, то и карбюратор бесполезен. Когда ты получишь это письмо, машина будет уже на свалке. Тут и жалеть не о чем. Все на свете состоит из одних и тех же атомов, только одно превращается в другое. Главное — наша Россия. Мы долго собирали ее, и нынешний развал надо приостановить, а потом и ликвидировать, остальное неважно. Я тебе желаю многих свершений!»*

Адреса не было. И понятно, почему. Я вообще хорошо понимал загадочного своего двоюродного. Я понял: мотор остановился. Писать больше незачем и некому.

После неудачного вечера в кафе на заседании кружка я спросил Важенкина: как чувствует себя после таких тяжелых ударов крепкий русский мужичок Вадик Дранкин?

— Да как... — отвечал Вася. — Пиццы теперь уже не поешь от пуза, как бывало раньше. Отказался Вадик от всех своих кафе, магазинов...

— То есть как? Совсем отказался? У него же много было всяких закусочных по городу. Мог бы побороться еще.

— Жизнь-то дороже! Ему намекнули: дескать, это плохая примета — ехать ночью... в лес... в багажнике... Ну да, он же врач. Он все-таки не только пиццей торговал и шашлыками, он построил на краю города в бору небольшую больницу. Уж ее-то у него не отберут. Чтобы работать в больнице, надо специальное образование иметь. Профиль Вадик выбрал особенный, не каждому по плечу.

— Что за профиль?

— Ну, он гинеколог по образованию, но человек не рутинный, много книг зарубежных по медицине читал и придумал, как применить медицинские свои познания в рыночных условиях.

— И как же?

— Он будет лечить женщин от бесплодия. А если необходимо, то будет делать и искусственное осеменение.

— Ого! А свою-то Магдалину он естественным путем осеменял?

— Конечно! Они же здоровые люди. Только после скандала в кафе Магдалина ушла от Дранкина к другому новому русскому, правда, он татарин, но богатый — дальше некуда. Двухлетнего сына с собой прихватила и новенькую «Вольво». Она теперь такая крутая, что с нами больше водиться не станет.

— А Вадик как же?

— Он пока ездит на велосипеде. Экономит денежки. Ему свою клинику надо еще до ума доводить, кабинеты отделявать, оборудование закупать. Ну, да это его проблемы...

Да, я знал, что Вася всегда старается держаться на дистанции от чужих проблем, даже от проблем своих друзей и товарищей. Вот если где дармовой коньяк или дармовой торт — там Вася тут как тут.

Грустное и немногочисленное было у нас последнее в этом году заседание. Иван Карамов не пришел. Тина Даниловна ругала злодеев, испортивших замечательный званый вечер. Дресвянин прочитал страшное стихотворение про пауков в банке. Юрий Заводилов сказал длинную речь о русском народе, который должен жить просто, главное, соблюдать традиции. Нет, в церковь каждый день ходить не обязательно, надо прежде всего в душе своей строить храм. Не завидовать, не обижаться, и если ударят по левой щеке, то подставить правую. Насчет последнего с ним Пастухов бы ни за что не согласился, если бы мог слышать, но он не слышал. Пастухов принес целый лагушок браги и всех угощал, будучи сам уже в изрядном подпитии. Важенкин, Заводилов, Бадридзе

и Агатин присоединились к нему. За неимением стаканов, пили прямо через край. И вскоре задымили сигаретами.

— Вы что же, хотите лишить нас помещения? — пытался я призвать их к порядку.

Между тем, Важенкин, увидев уборщицу, воспрял, воспарил, распустил перья, как глухарь на току. Он устремился к уборщице, прихлебывая из лагушка. Даже не утерев толстых губ, он присосался к губам женщины, вырвал из ее рук мокрую тряпку и, не заботясь о том, что его слышат, забубнил:

— Идем в ту дальнюю комнату, я тебе помогу, выпей вот, я тебе оставил, я тебе помогу...

В коридоре у этой парочки произошла некоторая игривая борьба. Я намеревался принять меры, но пока обдумывал, как это сделать поделикатнее, вдруг явился кавказский человек. Увидев Важенкина в обнимку с уборщицей и с лагушкой в руке и дымящих сигаретами раскрасневшихся кружковцев, сварливо прокричал:

— Я тут заведовую хозяйством! Я достая известку, краску, дэлаю рэмонт, я плачу уборщице. Это учебный комнат! Унивэрситэт! А это перед кому такой бомжовник дэлали?

— Ты кого бомжами окрестил, нерусская твоя морда! — закричал Бадридзе, хватая армянина за горло. — Ты русских поэтов оскорбляешь?

Два кавказских человека вцепились друг в друга. Пастухов кинулся на помощь Бадридзе. Я крикнул:

— Отставить!

Я объяснил завхозу, что мой кружок занимается с разрешения самого декана Александра Колбасникова.

— Чего мне Колбасников-Молбасников! Дом сгорит — я в ответе. Я завтра к главному на кафедру пойду. Бардак делали, с грязью и пожарной опасностью. Прекращать будем перед всему кафедрой!

— Идемте на воздух, друзья мои! — возгласил Вася, отстраняясь от уборщицы.

— Тамбовский волк тебе друг! — сказал я Важенкину, когда мы вышли на улицу.

— А что такое? Вы — член! Вы можете к ректору пойти.

— К ректору теперь ты сам иди под руку с уборщицей! Мне только жаль, что я подвел под монастырь покакать друга своей юности Шуру Колбасникова.

— Мамичев, не лезьте в мою личную жизнь! — взвизгнул Вася,

очевидно, огорченный только тем, что у него сорвалось очередное randevu.

Я взял под руку Тину Даниловну, сказал, что завтра нам придется с ней сходить к Светлане Киянкиной. Не удастся ей помочь в полном объеме, так отдадим хоть те деньги, которые удалось собрать. Выразили свое желание пойти с нами и другие, но я сказал, что не надо больше ходоков. Двух делегатов вполне достаточно. Зачем смущать Свету?

«Ну вот, — думал я, оставшись один. — Владленович что-то хотел сделать для родины в очень трудное время. И он что-то делал тут, в Пимске, наверняка. И, видимо, с Москвой у него связь была, он и там что-то делал. Он человек, который знал многое такое, о чем мы даже и понятия не имеем. Но я никогда не узнаю, что он сделал для родины в эти мрачные дни, а чего не успел. Он меня в это впутывать не хотел. Я — кто? Я — вождь «граммофонов». Моя задача сделать так, чтобы люди не забыли в себе человеческое. Пусть неудачник плачет? А богатый, значит, нравственный? Но вы и на мешках с золотом никогда не испытаете такого восторга, который испытывает поэт, подобрав наконец единственную и неповторимую строчку. Денежный мешок, конечно, обучит своих детей в кембриджах, оксфордах и сорбоннах. Но им же захочется увидеть свою страну? И пусть они увидят, что здесь не троглодиты живут. Вот я лишился места, где можно настраивать лиры и петь песни. Мой кружок закрылся на каникулы скандально. Завхоз-армянин сорвал нам последнее в этом учебном году заседание криками: «Запрещено! Запрещено!..»

Что было делать? Я пошел к Шуре Колбасникову.

— Ты же обещал?

Шура, ласково глядя мне в глаза, играя ямочками в уголках рта, сказал:

— Что я могу сделать? Завхоз пожаловался. Я на кафедре втык получил. Ты же знаешь, я к тебе со всей душой, но сделать-то ничего не могу. И они там правильно говорят, у вас же есть писательская организация, есть помещение, почему бы вам на своей территории не собираться?

Так вот закончился еще один этап нашей творческой истории. Но жизнь не кончилась. Мотор, пусть с перебоями, но постукивает. Мы пойдем дальше, без денег, без машин с тонированными стеклами и даже без велосипедов. Мы пойдем и сделаем, что сможем.

Возле подъезда своего дома я увидел шикарный «Мерседес». Дверца отворилась, и передо мной возник благоухающий духами и коньячным

перегаром, в сверкающем дорогом костюме плотный господин. Было видно, что над его лицом и прической потрудились парикмахеры и визажисты. Золотой перстень на пальце, дорожные часы на запястье, итальянские ботинки на задниках белым металлом окованы.

— Это же я, Петр Сергеевич, — сказал Рафис, — не узнаете?

— Узнать трудно. Ну, заходи, поговорим, чайку попьем.

Только мы зашли, зазвонил телефон, я снял трубку:

— Рафис у вас? Дайте ему трубку!

Он сказал в трубку:

— Я тут задержусь немного.

Он положил трубку, и телефон зазвонил вновь, одновременно зазвенел дверной звонок, а внизу под окном пронзительно загудели три автомобиля. Я выглянул в окно, автомобили были большие, красивые. Я отворил дверь, с порога закричали:

— Рафис Мирсалимович! Вас ждут Муркин, Куркин и Штукатуркин! Едем сейчас же!

Рафис развел руками:

— Петр Сергеевич! Они мне целый кортеж машин к аэропорту подали, теперь так и возят по всем фирмам. Я к вам заеду позже...

Не заехал.

50. ДЕМОКРАТИЗАТОР, ФОТОБУМАГА И ОТСТУТСТВИЕ СОБАКИ ЧАРЫ

Когда мы с Тиной Даниловной несли небольшую сумму денег к Киянкиной, на троллейбусной остановке нас окликнул Толя Пастухов.

— Куда? К Светке? Я с вами! Да не глухой я! Моя старуха развернулась на сто восемьдесят! Ага, садитесь, двери закрываются! Кондуктор с меня ты получишь хрен да маленько. Вот удостоверение. Я — афганец!..

Толя рассказал нам, что он был у товарища Крокусова, но тот — дерьмо человек, сказал, что его не касается.

— Ну, моя половина, дура-дурой, а пролезла к губернатору. Потом у военкома была. В военное ведомство бодягу заслали. Да, был такой подводник. Стихами о своей службе скажу так:

На подводной лодке воздух очень плох!

Вот тебя туда бы. Ты бы сразу сдох!..

Вот. Комиссовали. Спортсменом стал. Упомянуть про подлодку нельзя. Тайна. Льготы как афганцу оформили. Жить легче. Дочка родила.

Да слышу я все! Мне, как афганцу, новый слуховой аппарат купили. Ну, родила в шестнадцать лет, а мужу — четырнадцать! Фитиль, длинный и тонкий. Откуда? Оттуда. Из подвала! Ребенок орет, я аппарат отключаю. Все жрут мое пособие, а то бы я Светке целую тыщу дал. А нашлепку ношу из принципа. Чего я видел? Женился, видели, на ком? И дочь не моя, только числится. Я с нашлепкой молодой кажусь. И еще могу «кродила» делать. Я, может, на Светке женюсь! А что, ей всю жизнь не везло, мне всю жизнь не везет. Как это грузин поет? Во! Точно! Встретились два одиночества!

Мы вышли из троллейбуса на улице «...истов». Дом Киянкиной был на месте. И тут меня охватила тревога. Боже мой! Как мы могли собирать свой кружок, ругаться с завхозом, как я мог разбираться с Важенкиным и его уборщицей, когда тут Киянкина одна, со своим великим горем, с неподъемным долгом переживала, металась. Все ее мечты о более или менее благополучной жизни рухнули, как карточный домик. И не с кем поговорить, некому пожаловаться, родная дочь давно от нее отреклась. И она хотела доказать себе и всем, что она достойна любви и уважения. А мы подтрунивали над неудачными строчками и удивлялись ее нервному поведению. И мы ее бросили в такой момент, когда ей — хоть в петлю лезь, хоть из окна кидайся. Какие мы все же эгоисты! Мы были эгоистами даже тогда, когда нас на каждом углу школа, комсомол, партия, государство призывали быть друзьями и товарищами. Чего же ждать теперь, когда нам говорят: кто кого вперед сожрет, тот и прав!

А Пастухов уже тарабанил в дверь:

— Светка, ядрена в корень, отпирай, дверь вынесу!

Дверь распахнулась, и культурист в барском халате ухватил Толю за ворот:

— Чего тебе, алкаш позорный?

Толя присел и сделал крутку на манер танцора народного ансамбля. Воротник Толиного пиджака, как петлей, скрутил качку правую руку.

— За алкаша ответишь!

Пастухов вывернулся из пиджака, оставшегося у незнакомца в руке, сдернул с лысины нашлепку и ударил лысой головой незнакомца в лицо. Кровь хлынула на золотистый халат ручьями. Незнакомец взревел, заскочил в квартиру и захлопнул дверь.

Мы позвонили в соседнюю дверь, у пожилой женщины спросили: куда же подевалась Света Киянкина, и что за франт проживает в ее квартире?

— Ой, не знаю, — торопливо отвечала женщина. — Света, кажется, продала квартиру и съехала. А с новым жильцом мы незнакомы...

Мы раздумывали, что же делать дальше, когда внизу раздался гулкий топот. Милиционеры скрутили мне и Пастухову руки. Из бывшей Светиной квартиры выглянул здоровяк-качок и показал представителям закона свой окровавленный халат.

— Он первый меня оскорбил! — кричал Толя. — Пустите, гады!

Тут один из милиционеров ударил Толю по лысине резиновой дубинкой-демократизатором.

— Эй! Погодите! У меня слуховой аппарат из уха выскочил. Куда вы меня волочете, держиморды?

За этот возглас Толя получил еще один удар дубинкой. Тина Даниловна попыталась вернуться, забрать Толин пиджак и поднять с пола слуховой аппарат, но один из милиционеров крепко держал ее под руку.

— Женщина, не возникайте, вам же лучше будет!

— Я преподаватель университета, а товарищ Мамичев — писатель, а товарищ Пастухов, чей слуховой аппарат лежит на полу, наш известный поэт.

— Женщина, идите спокойно, в отделении разберутся.

В отделении нас обыскали, забрали деньги и все, что было карманах, и посадили: нас с Толей в одну зарешеченную комнату, а Тину Даниловну — в другую такую же.

Шли часы, я иногда спрашивал: что же с нами будет? Когда выпустят? Мне отвечали, что сейчас придет дежурный и разберется.

Дежурный пришел поздно вечером. Был составлен протокол, в котором нас заставили расписаться. Выяснилось, что Пастухов совершил злостное хулиганство и должен выплатить штраф в пятьсот рублей. Тине Даниловне вернули сумочку.

— Граждане-товарищи! — изумленно сказала она. — У меня здесь были деньги, мы их собрали, чтобы помочь попавшей в беду коллеге, и еще кольцо было золотое, один наш товарищ в фонд помощи внес.

— Не знаю, — сказал дежурный. — Может, вы и собирали деньги, чтобы помочь калеке, может, кто и кольцо внес. Но, видно, вы все потяряли где-то по дороге, это и неудивительно, если вы дружите с такими хулиганами, как этот лысый. В протоколе вы расписались, а там сказано, что в вашей сумочке ничего не было, кроме двух булавок. Они, надеюсь, целы? Ну вот, берите ноги в руки и мотайте отсюда подобру-поздорову. А ты, лысый, если еще раз попадешь — срок получишь!

— Я афганец! — завопил Толя. — Я подводник!

Здоровенный милиционер погрозил дубинкой:

— Исчезни, а то... Да не забудь завтра штраф в сберкассе уплатить...

Возвращаясь домой, я с грустью оглядывал округу. Вот старая лестница. За бордюром на дороге еще видны следы древней мостовой. На некоторых лестничных площадках скамейки сломаны, а на одной уцелели, и там еще сохранился старинный кованый фонарь. Лампочки в нем нет, но как раз напротив фонаря восходит луна, и кажется, что он светит голубым светом далекого прошлого. А дальше там — старинное кладбище, застроенное заводом по изготовлению проволоки, и здание старинной тюрьмы, полуразвалившееся, являющее собой приют для тех опустившихся грязных людей, которых раньше в народе называли ханыгами, а теперь называют бомжами. Без места жительства. Многие свои квартиры пропили, иных удалили из законного жилья обманом, аферами. Вот и — бомжи.

Бомжи постепенно вымрут, ведь в грязи, в подвалах, на помойках долго не проживешь. Особенно зимой приходится туго, мрут, как мухи. Но вымирают не только бомжи, вымирает и наш старинный город. Прекрасные деревянные здания новым русским реставрировать не хочется, возни много. Они нанимают тех же бомжей, и те обливают деревянные дома керосином и поджигают. Ни пожарные, ни милиция не думают ловить поджигателей. Списывают все на плохую проводку, калориферы. И архитекторы готовы сносить памятники архитектуры, чтоб ставить офисы, супермаркеты — то, что нужно богачам, чтобы стать еще богаче. Кто платит, тот заказывает музыку. А то что музыка эта дикая и глупая — никого не волнует. Поэтому старый кованый фонарь, в котором запуталась луна, деревянная резьба на старом доме, щербатые булыжники на выщербленной мостовой шепчут мне свое последнее «прости».

В сумерках я увидел высокого мужика, встревожился, но тут же и успокоился, потому что признал в позднем пешеходе Васю Важенкина. Я стал ему рассказывать о печальном происшествии, которое случилось с нами при посещении квартиры Светы Киянкиной. Вася как-то пропустил это мимо ушей. Не взволновало его даже то, что мы с Тиной Даниловной некоторое время побыли заключенными в участке.

— Черт бы ее побрал, дуру! — с раздражением сказал он.

— Милицию, что ли? — уточнил я.

— Какую там еще милицию? Бабушку мою Евфросинию Ивановну!

— А в чем дело?

— Да угораздило ее упасть на ровном месте и сломать шейку бедра...

— О! Может, мне похлопотать, чтобы полечили ее лучшие в городе специалисты, все-таки она заслуженной человек.

— Не лезьте, Мамичев, не в свое дело! — с неожиданным раздражением ответил Василий.

Через неделю я наведался к Важенкиным, спросил, как здоровье Евфросинии Ивановны, в какой именно палате лежит. Мне хотелось зайти в палату к старушке, приободрить, ведь меня она считала человеком, умеющим творить чудеса.

Леокадия Львовна сказала, что посторонних в эту больницу не пускают.

— Но у меня же есть журналистский билет!

— Ее нельзя тревожить лишний раз. Там Вася дежурит, когда надо. Его уж там знают, а вам соваться незачем.

Я решил все же купить сладости, варенья и компоты и направился с сумочкой в больницу.

К моему удивлению, дежурная медсестра сказала мне:

— Как ваше имя? Петр Сергеевич Мамичев? Нет, я вас не пушу и передачу не приму. Почему? Потому что родственники просили. Они сказали, что ваше присутствие и ваши передачи повредят здоровью старушки. А мы должны выполнять пожелания родственников.

Я не понял, почему меня не пропустили к старушке. Некоторая мысль насчет этого начала, было, вырисовываться в моей голове, но тут же растаяла под напором других мыслей и образов.

Наутро я все вспоминал наш неудачный визит к Киянкиной. Было понятно, что растратчица чужих денег не случайно исчезла из своей квартиры. Где живет Светина дочь — я не знал, я даже не видел ее ни разу. Стал обзванивать своих кружковцев. Может, кто-то прольет свет на это темное дело? Но никто ничего не знал.

Когда в жаркий полдень у меня раздался звонок, я надеялся, что это Киянкина звонит. Все же не один год в кружок ходила, и ругались, и мирились, всякое было, но не чужие мы ей люди. Факт!

Я снял трубку и услышал расслабленный голос Юры Феофанова:

— Петр Сергеевич, это я, Юра. Я знаю, что вы прекрасный фотограф, вы запечатлеваете уходящий старый Пимск. История вам благодарна, все мы будем вас благодарить вечно. Петр Сергеевич, у меня сохранилось большое количество прекрасной фотобумаги. Купите у меня фотобумагу за полцены... ну, хоть за четверть цены. Очень нуждаюсь в деньгах, очень, даже на хлеб нет. Не откажите помочь.

Не хотелось мне идти к этому красавцу по такой жаре за фотобумагой, хотя она была действительно мне нужна. Было как-то неловко покупать эту бумагу у него и содействовать тем самым разорению еще недавно богатой и прекрасной квартиры. Но я знал, что от Юры не отвяжешься. Не будешь снимать трубку, так он, чего доброго, сам с этой бумагой ко мне припрется. Тогда придется часа два выслушивать разговоры о его высокой одаренности, о великом будущем, о том, что его не понимают сейчас, а в будущем, когда поймут, очень пожалеют о том, что не понимали... Я сказал Юре, что приду к нему, пусть только ждет, никуда не уходит.

Идти было недалеко. Я спешил, потому что Юра говорил со мной по телефону не очень трезвым голосом, если промедлить, то он к моему приходу напьется. В этом состоянии он бывает особенно навязчив и нетерпим.

Считается, что в Сибири холодно. Так оно и есть. Не каждую зиму, но бывают лютые морозы. Но летом бывает иногда нестерпимая жара. Так было и теперь. Я бежал, прикрывая голову газеткой, благо до дома Балабы рукой подать.

Нажал кнопку звонка, но он не работал. Постучал — ответа не было. Черт возьми! Ведь Юра только что мне звонил, я же ему сказал, что иду, бегу. Я затарабанил в двери ногой. Дверь отворилась, я увидел нагого бритоголового парня с серьгой в левом ухе, он насмешливо, с наглостью разглядывал меня. В полумраке в комнате я увидел второго обнаженного парня, тот лежал на полу, подложив руки под голову, и смотрел на меня. У того тоже была серьга, но уже в правом ухе.

— Мне Юру Феофанова, — сказал я, невольно отступая от двери.

— Проходите. А вы кто? — сказал голый парень, ничуть не смущаясь своей наготы.

— Мне Юра фотобумагу обещал.

— А! Вы писатель! Проходите, проходите, Юра вон там, в комнате.

Я прошел. Боже мой, что стало с квартирой Феофановых! Здесь еще недавно на стенах висели ковры и картины. Серванты сверкали хрусталем, ряды застекленных книжных шкафов показывали позолоченные названия старинных фолиантов, старообрядческих рукописей, скупавшихся старшим Феофановым у любителей старины. Мягкие диваны и кресла манили погрузить в них тело. Глаз ласкали изящные скульптуры, блесстел полировкой рояль... Теперь во всех комнатах было пусто, словно тут Мамай прошел. Да какой там Мамай! Ураган здесь промчался, яростный, слепой, ничего не щадящий!

В зале, где прежде было тесно от мебели, лишь рояль стоял, как в оцепенении, с поднятой вверх крышкой, и внутри его виднелись окурки. К роялю было придвинуто единственное кресло, и в нем разместился худой, изможденный Юра Феофанов. Глаза его были закрыты, голова безвольно упала на грудь. Был он, между прочим, в уже знакомом мне отцовском халате, но в таком грязном и рваном, что я ужаснулся.

Еще больше испугало меня то, что Юра, совсем недавно, несколько минут назад разговаривавший со мной по телефону, теперь был безмолвен, не ответил на мое приветствие, даже не шелохнулся.

Голый качок подошел к нему и со всей силы дал пощечину, так что я подумал, что у Юры отлетит голова, но она только мотнулась и приняла прежнее положение.

Я поспешил сказать:

— Не надо будить его, я потом зайду.

Между тем, я вовсе не был уверен, что Юра жив, лицо его было мертвенно-бледным. В голове моей крутились такие мысли, что вот эти двое удавили Юру, а теперь еще удавят и меня, чтобы не было свидетеля. В ванной слышался плеск воды, видно, там был кто-то еще.

Я направился к двери. Голый парняга ухватил меня за руку.

— Куда же вы? Говорю же, мы его сейчас разбудим. Узнает, что писатель приходил, а мы его не разбудили, не простит, ей-богу!

Я вырвал руку и, уже выскочив на лестничную площадку, крикнул:

— Я Юре потом перезвоню!

Позвонил я на другой день. И Юра мне ответил:

— Да, мне парни говорили, что вы заходили. Вот жаль-то. Жара была. Разморило. Бумага у меня приготовлена, приходите сейчас... Как не надо? Уже купили? Ну, еще и у меня возьмите, за полцены, за четверть цены, совсем нипочем!.. Не хотите? Зря... Где Чара? Парни увели к их знакомым. Вы знаете, сколько сенбернары жрут? А нынче мясо ведь не укупишь.

51. КУСОК ВАФЕЛЬНОГО ПОЛОТЕНЦА

На другой день в трубке раздался голос Важенкина:

— Приходите Евфросинию Ивановну поминать!

Ну вот! Значит, все-таки померла старушка. Иначе и быть не могло. Больница, в которую она попала, старая, койки стоят в коридорах и в

залах. Кому-то систему ставят, кому судно меняют. Лампочки дневно-го света всю ночь шипят и горят. Знаю, лежал там, когда по ошибке кислоту выпил, получил ожог пищевода. Но это давно было, когда у меня заслуг не было, связей. А теперь я хотел Евфросинию Ивановну в хорошую больницу перевести, к лучшим специалистам, а эти Важенкины не дали. Немудрено, что старушка умерла.

Зовут поминать... Не люблю подобные мероприятия. Надо при жизни людей жалеть. И опять будут навяливать все жирное. Опять будет крик каких-то глуховатых заполошных теток, да еще Важенкин начнет терзать слух своим пением. Или не станет? На поминках, наверное, петь нельзя.

На нынешнем застолье отсутствовали братья Дранкины, не было майора Хилюшкина. Я шепотом спросил Важенкина, почему они не пришли. Вася пояснил, что Дранкиным теперь не до поминок, а майор растратил банковский кредит, взятый для организации фирмы по заготовке папоротника-орляка. Сначала его хотели посадить, а потом поняли, что он сумасшедший, и теперь лечат в психлечебнице.

Насчет меню я не ошибся. Леокадия Зотеевна со своими полуглухими родственницами опять наготовила всякой жирности. Но, правда, было кое-что и постное, которое обязательно надо на поминках поесть. Ну, я обязательно и поел. Сначала было тихо, пристойно. Оказалось, что полагается выпивка. А она развязывает языки. Леокадия Зотеевна сказала:

— Царствие ей небесное, хорошая была старушка, но упрямая и вредная, ну да Бог простит ей ее грехи. Ведь сколько Вася с ней намутился. И гардину ей подвешивал, чуть не убился, и навещал ее, когда у нас сыр кончался, чтобы она сходила, в очереди постояла.

— Она у вас как бы экспедитором работала, — напомнил я, — энергия у нее была отнюдь не старческая.

Важенкин скромно сказал:

— Мамичев, вы же понимаете, что это было для нее развлечение, иначе бы она, одна дома сидя, с тоски сдохла.

Леокадия Зотеевна выпила еще две стопки и добавила:

— Мальчика замучила, он у ее койки в больнице все вечера проводил, а последние три ночи так просидел около нее. И все-таки не подписала родному внуку завещание на казенную квартиру! Это ж грех какой! Вот большевичка чертова!

— Мама! На поминках чертыхаться нельзя, — сказал Важенкин и уже косил одним глазом на гитару.

А Леокадия Зотеевна все не могла успокоиться:

— Квартиры нас лишила. Так мало ей того, она вообще отказалось писать какое-либо завещание. Нам пришлось идти, вскрывать опечатанную уже квартиру, доказывать, что мы не верблюды, а прямые родственники, скандалить с соседями, забирать ее вещи. Это были фамильные вещи, а она их хотела каким-то посторонним людям раздарить...

Сказав это, Леокадия Зотеевна прикусила аж до крови язык. И замолчала. И поглядела на сервант. И там я увидел большой и искусно изукрашенный серебряный сосуд, которого раньше у Важенкиных не было, как не было до сих пор у них и серебряных ложек с художественными монограммами, которые грудкой лежали в серебряной же корзинке-ложечнице.

Одна из женщин сказала:

— Ишь, комсомолкой была, в красной косынке всю молодость ходила, а серебром не брезговала.

Леокадия Зотеевна опять развязала язык и проворчала:

— Все готова была чужим людям отдать. А у самой внук есть.

Да, после смерти большевистской старушки сервант Важенкиных пополнился дорогими и красивыми вещами. Еще я заметил, что над сервантом появился портрет какого-то юного взлохмаченного эскимоса. Один глаз у него был больше другого, и левая рука длиннее правой. Эскимос смотрел своими разными глазами в разные стороны.

Я подумал о том, что теперь застолья у Важенкиных будут много скромнее. Дранкинскогo шика уже не будет. Но тут крутился вертлявый худенький паренек неопределенного возраста, очень похожий на цыгана, он доставал из портфеля все новые и новые бутылки и говорил одно и то же:

— Ну что, братцы-кролики, вздрогнем?

Все вздрагивали, кроме меня. Его это, видимо, обижало. Он компанию любил, и был этим похож на майора Хилюшкина.

— Курите? — спросил он меня.

Мы вышли с чернявым на балкон и задымили. Тут же к нам присоединился некурящий Важенкин.

— Павлушка! — обратился он к чернявому. — Ты окурки на землю не бросай, тут вот баночка с водой, туда и бросай... Мы учились с ним в одной школе, только в разные годы, — пояснил мне Вася, — гениальный художник. Он мой портрет нарисовал, видели у нас на комодe?

Я кивнул, хотя, по правде сказать, я как-то не понял, что на серванте стоял именно Васин портрет. Что ж, большой художник имеет право на свое особое видение.

Я вспомнил, что не раз встречал чернявого вундеркинда возле горсада, он там делал моментальные портреты всех желающих, видимо, неплохо этим зарабатывал. Сходства было мало, зато изящны были штрихи, сделанные уверенной рукой. Особенно много было заказов теплыми летними ночами, когда публика наполняла кафе городского сада, слонялась по аллеям, выходя к «пяточку», где работал Павлушка. Зимой Павлушка приспособился работать в ночных кафе. С вечера заказывал столик, деля его с проститутками. Бутылка шампанского, то, се. У проституток был свой бизнес, у него — свой... В удобный момент он «подплывал» к намеченному столику, предлагал кавалеру увековечить даму. Случались эксцессы. Этюд не нравился, и творца выбрасывали на улицу. Но это были издержки производства.

Я сказал о преимуществе местных художников перед писателями. В это трудное время им легче прожить. Нарисовал картину — продал. А книгу и писать будешь долго, и деньги будешь искать на ее издание годами, а продавать и того дольше. Жаль, что Бог не дал мне художнического зрения.

— Рисовать можно и корову научить, — возразил Павлушка, — а что толку? Краски нынче, знаете, почему? Меня в училище живописи учили, а обхожусь одним карандашом. Тут один новый русский попросил написать его портрет в виде адмирала Нельсона. Чтобы и мундир, и парик — все в точности было. Я говорю, мол, тогда вам на глаз и повязку черную сделать, как у Нельсона? От повязки отказался, гад! Рисуй, говорит, каким был Нельсон до Трафальгарской битвы. А ведь чтобы глаз прописать — сколько трудов надо! А повязку черную я бы в момент изобразил. Ладно, посчитал я, сколько какой краски надо купить, счет ему предъявил. Оплатил он авансом покупку красок. Я его портрет пишу и думаю: как еще на пару портретов красок сэкономить? Ну, осталось кое-что. Васин портретик нарисовал да еще два небольших пейзажа. Кедров на берегу реки. Американцы пейзаж с сосной не берут, а как кедров увидят — у них сразу в карманах доллары пищать начинают. Я, если еще красок достану, на всех своих старых пейзажах сосны в кедров переделаю! Тогда кутнем! Верно, Вася?

Важенкин смотрел на него влюбленно:

— Павлуша, поминки кончатся, поедem к тебе на фазенду, там ведь и бабы будут?

— Будут. Куда они, сучки, денутся?

— Холодца с собой прихватим.

— Да на хрен с ним возиться? Бабы хавалки всякой приволокут.

— Павлушка у нас в Афгане был, — сообщил Вася. — Насмотрелся всякого, ранили его и комиссовали. Потом пол-училища живописи окончил. Художник, а без баб спать один боится, если он один, ему ужасы Афгана мерещатся.

— А что, родственников нет?

— Есть мать, но она в другом городе с отчимом. Он с ними не общается.

Мы вернулись в зал. Смуглый и вихлястый Павлуша не мог сидеть на месте, крутился, кивал на дверь. Важенкин взял гитару.

— Мы с Павлушей пойдем, он обещал новую картину показать, у него на фазенде свет отключили, так мы — пока светло...

Женщины, занятые своим разговором, не обратили на них внимания. Но вот когда я захотел потихоньку удалиться — не вышло. Леокадия Зотеевна сказала:

— Петр Сергеевич! Нехорошо! На похоронах не были и с поминок убогаете.

— Не могу, голова раскалывается.

Я стал откланиваться. Леокадия Зотеевна своей вилкой стала собирать с других тарелок недоеденные котлеты, пельмени, голубцы, винегрет — в большой кулек из хозяйственной бумаги.

— Петя! Один живешь, так хоть покушаешь, идем-ка на кухню!

На кухне она положила пакет с объедками в старый целлофановый мешок, подумала, вытащила из шкафа свернутое в огромный рулон вафельное полотенце. Отрезала с метр вафельного погребального полотенца.

— Возьми! Чего ты? Почему не надо? Обычай.

Я взял. Действительно обычай. Кажется, на таких полотенцах спускают гроб в могилу. Затем куски полотенца раздают участникам похорон. Ужасно все это! Зачем мне такое полотенце? По-моему, даже еще и грязное. Станешь его стирать, и получится, что память стираешь или еще как. И выбросить нельзя, получится неуважение к покойной. И дома держать — постоянное напоминание о смерти. Где хранить? Куда положить?

Леокадия Зотеевна подумала и дала мне заржавелый старый дуршлаг.

— Это бабушкин, она тебя вспоминала, тебе на память.

— Я хотел ей помочь, к другим врачам перевести, может, пожила бы еще, а меня в больницу не пустили.

— Ну, травматология, там строго. Чтоб инфекцию не занесли.

Я вышел на улицу с кульком, куском полотенца и дуршлагом. Все это было мне не нужно, но отказаться было нельзя и даже выбросить нельзя.

52. «ADIDAS»

По всему городу открылись многочисленные сэконд-хэнды. Магазины такие, где за гроши продается всякое заграничное тряпье, кем-то там за бугром сданное старьевщикам, может, и с умерших людей, может, с заразных. На вывеске было написано, что каждая вещь отдается за двести рублей.

Я зашел в такой магазин. Вещи были — как жеванные, пахли не то бензином, не то еще какой чертовщиной. Я невольно вспомнил цыганят на барахолке, торговавших у старухи поношенные штиблеты. Она не сбавляла цену, и цыганята кричали: «С покойника сняла, а воображает!» Удивляюсь я этому народу. Даже дети у них поразительно точно находят язвительные слова сообразно моменту. Жаль, что они вырастут и проживут жизнь безграмотными. Какие бы из них получились журналисты, писатели!

Зашел в универмаг. Там стояли вчерашние кагебешники и милиционеры с электрошоками в руках, это были охранники — в фирменных куртках, с рукавов которых скалили зубы свирепые тигры. Под сумрачными взглядами этих церберов было совершенно невозможно примерять пальто или ботинки. Я вообще всегда стесняюсь примерять что-либо вне дома, и не раз мне случалось приобретать брюки, которые потом лопались по швам, так как были маловаты, и купленные в магазине ботинки дома оказывались тесны или, наоборот, слишком свободны.

Продавцы в универмаге смотрели на меня презрительно, я понял — почему, взглянув на этикетки: цены были заоблачные.

Я уже прошел все отделы, когда увидел вышедших из директорского кабинета Магдалину Дранкину и Глафиру Николаевну, Глашу, бывшую партийную даму. Прислушался к их разговору. Глаша говорила:

— Вы же знаете, наш универмаг лучший в городе, у нас нет подделок, как на базаре, товар соответствует этикеткам. Есть настоящие модели от Славы Зайцева. Вы можете сделать заказ, и мы вам позвоним, когда поступит то, что вам нужно, или доставим платье домой.

Магдалина небрежно кивнула, а Глаша, проводив ее до выхода из универмага, сказала:

— Сочтем за честь всегда обслуживать вас!

Она обернулась, узнала меня, насмешливо сказала:

— Ты уж, конечно, купишь у нас пол-универмага.

— Прислуживаешь капиталистам?

— Прислуживаю стране! У меня есть трудовой, деловой опыт, почему я должна зарывать его в землю? Я, как директор, стремлюсь к тому, чтобы наши горожане выглядели не хуже москвичей и петербуржцев. Достаяю все лучшее. Прививаю хороший вкус.

— Цены тоже прививаешь?

Она, кажется, смутилась, но тотчас взяла себя в руки:

— Извини, у меня сейчас нет времени для дискуссий, работа. Заходи вообще-то, потолкуем, позвони сначала, вот тебе телефон, — подала визитку и зацокала каблучками по узорчатой лестнице.

Охранники, видевшие, что со мной милостиво беседовала сама госпожа директор, вытянулись передо мной во фронт, а старший про-басил:

— Заходите к нам еще, всегда счастливы будем видеть!

Но они обольщались. Такие, как я, должны покупать себе одежду на базаре. Там на каждую турецкую или китайскую вещь навешивают яркую этикетку «ADIDAS», там можно торговаться, там есть шмотки, дешевле которых можно найти только в контейнере для мусора. Там дорогие французские духи оказываются на поверку китайскими. Купленные там модные туфли могут вытерпеть сезон, а могут превратиться в расплзающийся мокрый картон после первого же дождика.

Я пошел на старый Пимский базар. В советские времена он состоял из двух больших павильонов, в одном из которых продавали мясо, молоко, мед, в другом — овощи, фрукты. В перестройку вокруг павильонов и вдоль улицы стали расти ларьки, палатки, прилавки, вскоре они вытянулись во всю длину улицы Поликарповской. Жители этой улицы сначала возмущались базаром под окнами, потом жизнь подсказала им, что можно пускать торговцев в свои туалеты за плату и даже предоставлять южным коммерсантам комнаты для жилья и подвалы домов в качестве складов. В результате базар растянулся на несколько километров.

Здесь возле вешалок с пиджаками, куртками, возле полок с обувью и головными уборами томились, скучали и перекликались русские и нерусские продавцы и продавщицы. Дело в том, что покупателей было гораздо меньше, чем продавцов. Теперь, если я покупал копеечную зубную щетку, продавец, лстыиво улыбаясь, говорил мне: «Спасибо!» В советские времена такое и в кошмарном сне не снилось.

Чем ближе к центру базара, тем богаче были павильоны и дорожке цена торгового места, а следовательно, и товара. Зато начинался базар простыми некрытыми рядами, и здесь торговали безработные, пенсионеры и все кому не лень. Лежали тут самодельные сшитые из тряпок сумки, связанные старушками носки и варежки, сработанные умельцами простенькие рубашки, платица, кепи и береты, продавалось также всякого рода старье. Вот на эти ряды была моя надежда. Хотелось купить простую, но приличную рубашку, надо было запастись для осени и зимы головными уборами, приобрести кашне для прикрытия моего свирепого бронхита, купить какие-нибудь подержанные ботинки.

В летние каникулы я часто прохаживался возле этих дешевых рядов. Приглядывался к вещам, боясь купить что-нибудь совершенно неподходящее. И стал замечать, что за двумя крайними столами пожилые женщины как-то странно поглядывают на меня, посмеиваются и заглядывают под свой прилавок. Однажды я решил выяснить причину их веселья, подошел к ним и тоже заглянул под прилавок. Там пряталась женщина, подружки тянули ее на свет Божий, а она прикрывала лицо рукой:

— Ой, нет! Ой, нет! Стыд-то какой!

Я узнал в этой женщине Тину Даниловну. Она выглядела неважно: осунувшееся лицо, темные круги под глазами. Я узнал, что она уже не раз пряталась под прилавком при моем приближении, прося друг не выдавать ее. Дескать, вот идет поэт-солнце, автор книг и литературный ментор, и ей, бывшей университетской преподавательнице, стыдно предстать перед светилом в образе базарной торговки. Я стал ее успокаивать, чего, мол, там! Нынче даже бывшие секретари райкомов торгуют, что тут особенного? Кстати, рассказал ей про встречу с Глашей. А она:

— Одно дело директор универмага, и другое дело — вот так.

Она рассказала мне, что и вторая ее девочка вышла замуж, правда, без регистрации, и даже ребеночка родила. А в университете Тина Даниловна попала под сокращение, оптимизация идет, от пожилых преподавателей избавляются. А их деревянный дом, образец старинной архитектуры, сожгли.

— Как сожгли? Почему сожгли? Кто сжег?

— Разве вы не знаете, что во всем центре старинная деревянная архитектура горит? Бомжи берут ведро бензина, ночью обливают дом и поджигают. Бывает, еще двери подъездов бревнами подопрут, чтобы жильцы не выскочили. И у нас так было, мы еле спаслись, документы все сгорели, пришлось заново восстанавливать.

— А зачем же подпирают?

Она прошептала:

— Ну, чтобы людям потом новые квартиры не давать, чтобы дешевле было. Бомжам-то поджоги богачи заказывают, им в центре место надо под гостиницы, магазины, офисы...

— Вам-то новое жилье дали?

— Ага! На краю города, в бараке. И жить стало трудно. Вяжу носки, шапочки, шью сумки, продаю. Стыдно, а что сделаешь?

Я сказал, что поступает она правильно, не то что Киянкина, которая все легкий хлеб искала, а в результате исчезла совсем. Я уж в адресный стол делал запросы, но она в городе нигде не прописана.

Тина Даниловна огорошила меня сообщением, что видела Киянкину здесь, на этом базаре. Она шла вслед за какой-то женщиной и тащила на спине огромный тюк, надев его лямки себе на лоб. Тина Даниловна ее окликнула, но Киянкина сказала, что ей некогда, а в тюке у нее турецкие пледы.

— Ну а потом вы больше ее не видели?

— Нет. Была у меня мысль походить по базару, поискать ее в рядах, где пледами торгуют. Так ведь жизнь моя такая, что минуты свободной нет, что-нибудь продашь, купишь продуктов и бежишь дочерей и зятьев кормить.

Я поблагодарил Тину Даниловну и пошел искать ряды, в которых продаются пледы.

Палатки и стеллажи тянулись по улице в несколько рядов. Надо сказать, что и одежда, и обувь, и головные уборы, и светильники, и гардины, и картины — все-все приобретало на этом рынке золотой оттенок, как бы намекая на сказочные пещеры Аладдина, полные золота. На некоторых прилавках были разложены серьги, мониста, кольца и массивные мужские перстни, якобы золотые. На многих вещах изображен знак доллара, а трусы украшены полосами и звездами, подражая американскому флагу.

Было множество манекенов, иные из них были в полный рост. Среди манекенов-блондинов, нет-нет, да и встречался манекен-негр. Были манекены в половину фигуры, а были манекены, изображавшие отдельно пышные бюсты женщин. На эти, как бы оторванные от женщин каким-то маньяком, огромные грудные железы было страшно смотреть, невольно вспоминался рассказ Ивана Карамова об откушенной женской груди.

Глаза разбегались. Мускулистые мужики куда-то быстро катили на специальных тележках огромные груды тюков, упаковок, изредка пок-

рикая: «Поберегись!..» Встречались женщины, катившие на тележках обитые войлоком и клеенкой ящики, восклицая: «Чай, кофе, беляши, манты горячие!..» Мелькали шумные компании цыган. Зорко глядя по сторонам, проходили милиционеры, налоговики, у них тут были свои дела. Таким же ястребиным выражением лица отличались разнообразные контролеры, взимавшие дань от имени пожарнадзора, саннадзора, торгнадзора, от общества любителей собак, от союза трезвости, от общины Кришну и Вишну, от какой-то истинно христианской церкви, и Бог весть еще от каких организаций. Понятно, что такой огромный базар кормил не только одних продавцов.

И наконец я увидел палатку с пледами. И увидел красивую даму в замшевых куртке и юбке, в заграничных туфлях, с кожаной сумкой через плечо. Я смотрел на пледы, на даму, и она сказала мне знакомым голосом:

— Пледик желаете? Цвета маренго или вот серо-буро-малиновый с продрысью? Ага! Не узнали? А это я, Киянкина!

Я взгляделся: да, она. Но какой макияж! Какой костюм! Какие туфли!

— Света, я искал тебя. В твоей квартире другие живут. В городе ты не прописана. И знать о себе не даешь.

— А зачем? Вот выпутаюсь из паутины, тогда.

— Да ты вроде выпуталась, одна сумка чего стоит! Вся на молниях, с висюльками, красота! Зачем столько молний?

Она стала расстегивать кармашки на сумке:

— Этот — для долларов, этот — для рублей, этот — для тугриков, этот — для юаней

— Ты и юани знаешь?

— А че, тупая, да? Была тупая, научили. Когда я целый тираж лотереи порвала, в фирме сказали: «Теперь мы твою двушку продадим, тебе однокомнатную купим, а оставшиеся деньги пойдут на погашение твоего долга».

— И ты согласилась?

— А что делать-то? Грозили судом. Ну, купили мне однокомнатную. Только вещи перетащила, приходит мужик, у него тоже ордер на эту квартиру, и прописка в паспорте. А я еще и прописаться не успела. К тому же, он из зоны недавно освобожден, за убийство сидел. Ну, и говорит, мол, давай жить вместе, если нечаянно зарежу, ты не обижайся... Все, как вы говорили, Петр Сергеевич! Абсолютно! Надо было знать, как документы оформлять, и приобретаемую квартиру

проверять. Нет ума, считай — калека. Ладно. Прописалась я в деревне у знакомой. С ее дочерью Зинаидой в челночники подались. Она рейс сделает, я — другой, торгуем по очереди. Квартиры пока нет, нашли барак на окраине полуразрушенный, подлатали дыры, там и живем. Вот уж прикопим денег, купим двушку, заживем... Так какой вам пледик подать?.. Ах, денег нет! Ладно, я для вас свой нынешний адрес на бумажке запишу. Приходите через две недели на мой день рождения, там я вам и пледик подарю.

Я взял адрес, обещал зайти. Гм, стоило этой Свете раз в Турцию съездить да раз в Иран и с базарными бабами пообщаться — и вот уже и макияж аховый, и духами дорогими пахнет. И вроде даже стройнее стала. А что? Может, и нашла себя. Молодец, в трудную минуту не растерялась, нашла выход.

53. ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ

Надо было пойти к Крокусову, чтобы разрешил моему кружку заниматься в помещении писорга. Я все откладывал разговор. Наверняка я увижу Христа, которого распяли, а я буду при этом одним из стражников, который вместо губки с водой и уксусом подносит к воспаленным губам страдальца горящий факел.

Но Крокусов, отдохнувший где-то у южных морей и переполненный сверхчеловеческой энергией, сам позвонил мне. Тотчас начались упреки: писатели забыли дорогу в организацию, все свалили на бедолагу-руководителя, который всю ночь не ест, весь день не спит, все заботится о своих подопечных мастерах пера. А они только и думают, как бы сделать ему в ответ за все его добро какую-нибудь гадость.

— Какую гадость? — удивился я. — Я же в писорге не был все лето!

— Вот то-то и оно, оторвался от организации. А насчет гадости будет разговор на собрании, это не для телефона.

Так закончил разговор наш великий и могучий организатор. Я уже знал его феноменальную способность при любом удобном и неудобном случае обвинять всех в самых разнообразных грехах и выставлять себя в самом блистательном свете. Это был типичный энергетический вампир, в присутствии которого тяжело на сердце и всегда хочется побыстрее скрестить руки и ноги. Он мастерски научился унижать всех тех, от кого не мог получить какую-либо корысть. Ему было только тогда хорошо, когда он чувствовал, что другим стало плохо.

В «предбаннике» я попытался что-нибудь выведать у Азалии Львовны, которая сильно постарела после смерти своего кагэбэшного мужа, но все-таки держалась стойко, не забывала подкраситься и со вкусом приодеться, смотрелась возле своей машинки внушительно и строго. Насчет темы собрания она была в неведении.

За годы перестройки из писорга почти выветрился дух копченого омуля и пива. Не то чтобы весь омуль в Байкале неожиданно сдох, нет, просто теперь ящики с этой копченой рыбкой поступали из заповедника не в писорг, как было раньше, а прямо на квартиру Крокусова. Писорг вообще поблек. Обшивка входной двери порвалась, из нее торчали клочья хозяйственной ваты. Из приемной исчезла прежде стоявшая там пальма. Злые языки передавали, что Крокусов счел: пальме будет легче дышать в его элитной квартире. Вешалка у входа покосилась, шторы на окнах выглядели застиранными, жалкими.

В «предбанник», чуть ли не одновременно со мной, зашел Лука Балдонин. Высокий, сутулый, горбоносый, обросший седоватой бородкой, с сумкой, лямка которой была надета на его плечо, он походил на Фиделя Кастро, только что вышедшего из лесов. Но только это был какой-то карикатурный Фидель. Завидев меня Лука сказал:

— Мамичев! Хотите я вам подарю свою новую книгу, Мамичев?

Я не любил нудноватую прозу Луки, но отказываться от подарка неудобно. Сказал, что хочу. Лука вынул из набитой книгами самодельной холщевой сумы один том и на первой его странице сделал индифферентную надпись: «Петру Мамичеву от Луки Балдонина», поставил дату и расписался. Как вежливый человек, я тотчас принялся перелистывать и рассматривать книгу под названием «Бревенчатая радость».

— С вас двести рублей! — сообщил мне Лука.

— За что? — изумился я.

— За книгу.

— Но позволь, ты же сказал, что даришь ее мне.

— Мамичев, вы же понимаете, что я затратил не только труд на написание книги, но и деньги на ее издание.

Я сказал, что впервые в жизни получаю подарок, за который, оказывается, надо платить. И поскольку денег у меня нет, пусть Балдонин забирает свои «радостные бревна» обратно.

— Я не смогу теперь продать эту книгу, — горестно сказал Лука, — я же сделал на ней надпись, так что гоните двести рублей. Мамичев, я уступил вам книгу с громадной скидкой, вообще-то я продаю ее по четыреста.

Азалия Львовна оторвалась на момент от машинки и сказала:

— Он и мне пытался всучить эту свою бодягу. Но я уже видела, как он охмурил девчонку, которая тут, неподалеку от нашего здания, продает квас. Ей он тоже сказал, что дарит книгу, подписал да и содрал с бедняжки пару сотен. Петя, не давай ему ни копей! Даже суд и то не присудит оплачивать подарок.

Я сказал, что, конечно, не дам. При этом, набравшись наглости, засунул подаренный том обратно в сумку Балдонина.

Балдонин грустно сказал:

— До сей поры я думал, что в Пимском писорге есть хоть один интеллигентный человек. Я ошибся.

После этой фразы дверь писорга заработала с великой интенсивностью, пропуская потенциальных участников собрания, причем заржавевшие петли взвизгивали:

— О-е-е йе-мое!

Когда в кабинет прошли Холодникова и Сеславина, и незнакомые мне два очкарика протащили вслед за ними телекамеру и треногу, я решился и вошел в кабинет. Люди рассаживались кто где мог. За предсудательским столом с выражением глубокой задумчивости на лице восседал Павел Степанович Крокусов. На книжной полке за его спиной стояла вторая голова Павла Степановича, выполненная из обожженной глины. Это, собственно, была болванка для отливки этого же сюжета из бронзы. Я знал, что Сеславина называет эту штуковину скальпом Крокусова.

Слева и справа от второй головы Крокусова стояли иконы и дипломы Уимблдонской академии и Ново-Бутовской академии, обрамленные в аккуратные золотые рамочки. Естественная гордость литературными достижениями, так высоко оцененными. Иконы же появились на полках, потому что Крокусов в своем тридцатитрехлетнем возрасте полгода назад крестился с большой помпой в главном соборе города. Он настоял тогда, чтобы на его крещение пришли все высшие чиновники губернии и представители всех газет и телевизионных компаний. Новые русские и новое чиновничество охотно помогали церкви. Смысл этого понятен. Мы себе создали рай на земле, думали они, остальные пусть заходят в эти великолепные храмы и осознают, что обретут свой рай на небе. В прессе звучали слова радости по поводу того, что Россия возвращается к Богу.

В кабинете я увидел не только великих писателей земли Пимской, но и кружковцев Васю Важенкина, Толю Пастухова, Юру Заводилова,

Андрея Дресвянина, Мишу Бадридзе и нескольких молодых авторов, занимавшихся в кружке, который вел Павел Степанович Крокусов. Не было тут Светланы Киянкиной, не было Тины Даниловны, не было и Ивана Карамова. Впрочем, их молодыми можно назвать только весьма условно. Не было почему-то Юры Феофанова. Отсутствовал Агатин, я знал, что он плюет с высокого дерева на всякие собрания и заседания, считая их бюрократическим пережитком.

В кабинет набилось людей предостаточно, многим пришлось сидеть на подоконниках. Я уже знал, что по своей фанфаронской привычке Крокусов перед каждым собранием заставляет Азалию обзванивать полгорода, хотя, как завсегдатай театра, мог бы вспомнить название одной из знаменитых пьес: «Много шума из ничего». Камера была настроена, диктофоны и фотоаппараты попискивали от нетерпения, а Крокусов молчал, молчал и молчал. Он вроде бы вообще отсутствовал в кабинете, то есть тело его сидело за столом, а душа как бы улетела в неизвестные никому дали.

Феденякин не вытерпел:

— Гм, назначено на четыре, уже полпятого, есть предложение начать...

— Дык че! — достал из кармана помятый портсигар Авдей Громыхалов. — Че стул давить, выйду, покурю, а то и совсем уйду. Вызывают, делать ничего. У меня каждый час пять страниц пишется. Нам эти тары-бары разводить некогда.

Осотов что-то шептал, поглядывая исподлобья поочередно на всех собравшихся.

Ни один мускул не дрогнул на лице Крокусова.

Я поудобнее устроился в полуразвалившемся кресле, вынул газету и стал разгадывать кроссворд. Крокусов изображал монумент. Феденякин кашлял.

Наконец Сеславина спросила мелодчным голосом:

— Кого ждем, Павел Степанович?

Крокусов, вроде, очнулся и нажал кнопку на краю стола. В приемной тотчас зазвенел звонок, в дверь просунула голову Азалия Львовна.

— Что это такое? Где губернатор? Где мэр? Вы действительно им звонили?

Азалия Львовна пожала плечами, не выпуская из губ «беломорину», ответила:

— Я че? Без памяти, что ли? Губернатора в Москву вызвали. А все замы вместе с мэром по объектам носятся, город, как всегда, не готов к отопительному сезону.

— Вечно у них на культуру времени не хватает. А где же пресса? Пришли только представители двух газет и одна телекомпания, и то потому, что я все время печатаю их сотрудников в своем журнале «Сибирский Сократ», и некоторые из них являются членами редколлегии журнала. Где остальные? Где студия «Зеленый кофе»? Вот их благодарность! Я ихних поэтов печатал в журнале неоднократно! Сегодня особое заседание, я пригласил молодых авторов. Бьешься, бьешься, как рыба об лед, и вот что получается!

— А я что сделаю? Звонила всем по сто раз! — ответила Азалия Львовна и ушла в «предбанник».

Наконец Крокусов встал, поправил галстук, потрогал свои напомаженные кудри и начал обличительную речь:

— Я работаю, как вол... Журнал «Сибирский Сократ»... Молодым везде у нас дорога, старикам почет... Образцовая организация... А группа, с позволения сказать, писателей, от слова пописать, плетет интриги. Литературный импотент Кряков накарябал в газете «Форум народа» такое! А редактор там член нашего писорга Холодникова! А эту злобную клевету перепечатала газета «Пимский курьер», и там редактор Сеславина, которая сидит здесь и даже не краснеет. А ведь я ее бездарные статейки печатал в своем «Сибирском Сократе», можно сказать, пригрел змею на груди.

При этих словах Крокусов тронул холеной рукой переливающийся всеми цветами радуги привезенный из Парижа галстук.

Авдей Громыхалов сказал:

— Ты бы хоть объяснил, чего он там такое написал, а то ругаешься, а че там такое?

— Ну да! — поддержал Громыхалова Никодим Столбняков. — Суть вываливай, а то нам тут твои сусли-мусли слушать недосуг.

— И это говорят писатели! — воздел руки к потолку Крокусов. — Они даже местных газет не читают! В библиотеки не ходят, театры не посещают! Об этом весь город шумит, а им — невдомек. Гордей Кряков написал в газетах, что каждый член Союза писателей — это агент КГБ! Поняли? Он нас всех оскорбил, а вы молчите. Кряков пытался вступить в союз, по слабости творений своих — не прошел, а теперь всех дерьмом измазал. А мы ведь ему помогали, в «Сибирском Сократе» печатали.

— А я-то думал: правда, случилось че! — сказал Столбняков. — Он там в меморале мериканских посылок объелся, ну и написал. Собака лает, ветер носит, стоило тут кино устраивать.

— Да как вы не понимаете? — воскликнул, брызгая слюной, Крокусов. — В том же «Мемориале» наш Лука Балдонин ошивается. Лука не только его не отговорил писать, но мне передавали, что и науськал его! Этот Лука раньше в обкоме квартиры себе выбивал, продуктов требовал, коньяку, шоколада. Теперь у демократов тоже вымарщивает. Подумайте, он письма писал Горбачеву, Ельцину, всем премьер-министрам, что он гений, что его у короля в Стокгольме читают, что он сибирский Бунин и Хемингуэй в одном лице. Ему Нобелевка светит. А ему тут по его заслугам благ недодали. Требуется, чтобы ему коттедж в кедровом лесу построили для создания гениальных творений. Он всех нас бездарными считает! Я заколебался отвечать в приемные президента и Совета министров писать. Он свой жилищный отдел замучил, требует, чтобы ему бесплатно финскую сантехнику поставили. И ты, Мамичев, видимо, не случайно рядом с ним сидишь? Одобряешь, да?

Я хотел оправдаться: мол, сел там, где место свободное было. Но тут Лука вскочил и быстро вышел. Тотчас же встал тихенький аккумуляторный Вуллим Тихеев:

— Знаете, братцы, я вот что хочу сказать. Такие вопросы нельзя в широком кругу рассматривать, тем более в присутствии литературной молодежи. Не надо этих насмешек над «Мемориалом». Гордей, конечно, поступил нехорошо. Он всех скопом записал в агенты, хотя и агенты тоже были и есть! — при этом Вуллим посмотрел на Осотова. — Но, слава Богу, теперь у этих агентов власти нет. Мои предки, Россию обустроивали, она бы сейчас уже какой могучей была, если бы не эта красная зараза! Людей, которые при большевиках пострадали, в живых осталось мало. «Мемориал» им помогает и не надо шельмовать «Мемориал».

— Во сбалаболил, век с Шуршайки воды не пить! — воскликнул Никодим Столбняков. — Во сионист хренов! Выдал! То долдонил: партия наш рулевой, я с северного села хрустьянин! А теперь — хнязь или кто?!

Тут вскочил Толя Пастухов:

— Я страдал под океаном! Мне от «Мемориала» тоже помощь требуется. Товарищ князь, господин Вуллим Тихеев! Мне справку или как — для получения американской помощи?

Феденякин его прервал:

— Сядьте, сейчас здесь другой вопрос рассматривается.

Крокусов хотел продолжать свою речь. Но дверь отворилась, к столу нашего председателя с криком ринулся Иван Карамов:

— Матерь Божию оскорбил, нечестивец! Где твой поганый журналешко, в котором ты поганый стих в прозе напечатал? Молчишь? Получай!

Сильным ударом Карамов сшиб Крокусова на пол. Он пинал его, стараясь попасть в живот, и кричал:

— Живой останешься — езжай к своим, в Израиль!

Кружковцы ожидали, что за академика вступятся писатели. А те как бы оцепенели, никто не кинулся в сражение. Осотов смотрел на происходящее со злорадной улыбкой. А Феденякин сказал:

— Пойду вызову милицию!

Но милицию вызвать он не успел, в комнату вбежала Азалия Львовна, схватила с полки керамическую голову Крокусова и изо всех сил ударила ею по голове Ивана Карамова. Тот отстал от Крокусова, присел на освобожденный Лукой стул и, отирая кровь с лица, сказал:

— Теперь вызывайте милицию, и пусть все газеты напишут, что я, как староста собора, пострадал за Матерь Божию и за веру святую.

Азалия пошла звонить в милицию, Феденякин спросил Крокусова, не надо ли ему вызвать карету «скорой помощи», но Крокусов, выплюнув два зуба и мелко дрожа, сказал:

— Ну, я ему дал, небось он надолго запомнит!.. Да еще и в суд подам!..

Я вышел из здания вместе с Пастуховым, Важенкиным и Дресвяниным. Я сказал Пастухову и Важенкину:

— Ну что? Лишили кружок хорошего помещения? Теперь из-за вас мне придется Крокусова уламывать, уговаривать, а это не мед и даже не сахар.

— Пастухов циркнул слюной меж зубов:

— Мамич! При писорге заниматься самое то. У Крокусова журнал «Сибирский Сократ». Печататься будем! В союз скоро вступим.

— Держи карман шире!.. А что это сегодня Феофанов не пришел?

Дресвянин тихо сказал:

— Как, разве вы не знаете? Убили Юру. Лежал на крышке развороченного рояля, струны были вырваны, разбросаны. Его задушили.

— А в газетах ничего не было. Вообще-то про такие случаи всегда пишут. Опять же соболезнования печатают.

Я рассказал Дресвянину про свое последнее посещение Юры Феофанова. Спросил, что за парни там были голые. Почему Юра только что со мной по телефону говорил, а застал я его в таком состоянии, что он и очнуться не мог.

Дресвянин еще тише сказал:

— Темнота, как в двенадцать часов ночи без луны. Большие люди на хату глаз поставили. А парни из их охраны Юру к наркоте приучили. Сергеич, тут даже базарить не о чем. Все вещи загнал. Потом квартиру за наличку. А это — что? Понятно, сперва от собаки избавились, потом от него.

— Парни те?

— Сергеич! Я ничего не говорил, ты ничего не слышал. Тетка его, сестра Глазастовой, даже и в милицию заявлять не стала. Сидит у себя дома, запершись, и плачет. А ты говоришь: соболезнования! Зарыли, как собаку, и все.

54. ЧЕРНЫЕ, КОСМАТЫЕ

Осень принесла много разнообразных событий. Одним из них был суд над Иваном Карамовым. Первый раз в жизни на суде я побывал благодаря Агатину, второй раз такую возможность мне предоставили Паша Крокусов и Иван Карамов. Причем Крокусов смотрел на меня, как Ленин на мировую буржуазию. Он даже высказался в том духе, что, возможно, это я организовал нападение, ведь Карамов — мой ученик. Вот что значит руководить, пусть даже кружком из нескольких человек, ты — за всех в ответе.

Кто пришел в суд? Во-первых, здоровенный длинноволосый священник в черной рясе. И не один, а с целой оравой старушек и женщин среднего возраста, которые все как одна были в черных косынках. Однако накраситься они не забыли, а под длинной одежкой просматривались модные туфельки. Женщины щебетали:

— Отец Федор, батюшка, благослови! — и целовали ему руки. И он их благословлял.

Были еще мужики, словно с картин стародавнего живописца Кустодиева: с бородками, в черных пиджаках, в рубашках с опояской. Эта публика занимала большую половину зала суда, а на одной скамье сиротливо приютились наши писатели. Были тут Осотов, Феденякин, Никодим Столбняков, Азалия Львовна, был я и увязавшийся за мной Вася Важенкин. Он повторял, что на суде бывать очень интересно, и что он хочет дать свидетельские показания. Были здесь и вездесущие Холодникова и Сеславина, но судья сказала корреспондентам, чтобы фотоаппараты они и не думали расчехлять.

Запомнилась образная речь отца Федора, неплохо выступил и Крокусов, да иначе какой бы он был писатель?

Отец Федор рассказал, как радовалось его сердце, когда он крестил уже взрослого и немало погрешившего на этой земле писателя Павла Степановича Крокусова. Тогда было в храме много приглашенных писателем корреспондентов радио и телевидения. Теперь-то священнику понятно, что Крокусов более тешил свое самолюбие, чем стремился прийти к Богу. Если бы это было не так, не напечатал бы Крокусов в своем журнале вскоре после крещения кошунственное произведение о Матери Божьей.

Затем судья обратился к обвиняемому Ивану Карамову. Отчего совершил он то, за что его теперь судят? Карамов и сказал:

— Граждане судьи! Я человек, который был лишен материнского воспитания. И я был судим в молодости и отбыл свой срок. Но с той поры я честно работал, был диспетчером в автобазе, замечаний не имел, сплошные благодарности. А в свободное время занимался написанием повестей и рассказов, поскольку природа дала мне этот дар. В последние годы открыл в себе еще один особенный дар. Я даже получил в Москве диплом биоэнергетика, ясновидца. Я изгонял из домов тамичей барабашек, которые лили с потолка воду, писали матерные слова на стенах, роняли шкафы и заставляли летать по комнатам посуду. И однажды пришли ко мне жители улиц, прилегавших к вокзалу Пимск-два, и пожаловались, что вечером из развалин бывшего клуба имени Сталина слышны страшные крики, вопли, проклятия. Кто их слышал, получал тяжкие нервные болезни, терял радость жизни. Я спросил краеведов. Так вот. В тридцать пятом году Каганович был назначен наркомом путей сообщения. А Западно-Сибирская железная дорога хромала. Взбеленился он. Устроил в Пимске совещание сибирских железнодорожников. Потом всех участников привели к путям около Пимск-два и построили в линию вдоль рельсов. Лазарь Моисеевич велел чекистам расстрелять каждого третьего в шеренге. Каждому перед расстрелом дали по кружке пива с большой дозой кокаина и велели: как только в вас прицелятся, кричите: «Ура товарищу Сталину и Кагановичу!». Ну, вся шеренга под решительным воздействием кокаина стояла ровно, и как только железнодорожников взяли на мушку, все бодро прокричали свое приветствие вождям. И грянул залп. Вот какой Каганович был мужик умелый, понятно опять же, из какой нации... Недалеко от вокзала вырыли яму и спихнули туда убитых. А на этом месте выстроили Дом культуры имени Сталина. Певцы там падали в

дирижерскую яму и ломали ноги. Циркачи срывались со своих канатов и убивались насмерть. Два директора были посажены за фальшивые билеты, двое умерли от разрыва сердца. Вороны, как замороженные, бились в стены и окна Дворца и падали мертвыми. Много раз Дом имени Сталина горел. Ну и решили его больше не отстраивать... По заяве жителей я пришел в этот дом, проник вовнутрь, постелил газету «Алое пламя», присел на обгоревший подоконник и стал ждать ночи. Стемнело, и все было тихо. А ровно в двенадцать ночи стрелки моих часов вдруг начали бешено крутиться назад, я видел это при свете луны. И в синем свете возникли фигуры полуистлевших людей в железнодорожной форме. Их кители сгнили, сквозь дыры проглядывали кости. И вдруг все они зывали хором: «Служишь черному! Косматому! Спать не даешь! Сам шерстью обрастешь, если грехи не замолишь!». Не помню, как я выскочил из этого клуба. Я гордился, что я биоэнергетик, ясновидец, а я был слеп, как крот! Граждане судьи! Меня спас отец Федор, он назначил мне молитвы и покаянные испытания. И с души моей спал камень. Я возлюбил Господа нашего и всюду нес его имя. Меня избрали старостой собора. И когда я узнал, что крещенный в этом соборе писатель написал богохульское произведение, я не мог не пойти к нему, а там гнев ослепил меня, в чем я каюсь.

Крокусов вскочил и начал быстро говорить:

— Александр Сергеевич Пушкин написал «Гаврилиаду», это литературное произведение и понимать его надо с этой точки зрения. Мы живем в демократической стране! Что же? Коммунистическую цензуру отменили, настала цензура церковная? Да еще и с выбиванием зубов! Я требую возместить моральный и материальный ущерб и посадить хулигана на нары. Вот мои свидетели, они подтвердят факт зверского избиения!

Отец Федор картинно простер руку и зычно пропел:

— Я снимаю с богоотступника Павла крест, мною на него возложенный. Я предаю его анафеме, анафеме, анафеме! Во веки веков, аминь!

Судья не знал, как отнестись к публичному отлучению от церкви прямо в зале суда, поэтому сделал вид, что ничего не заметил, и сказал:

— Суд удаляется на совещание.

Вскоре было оглашено и решение. Бывшему диспетчеру автобазы, затем писателю и шаману, а теперь старосте собора, в связи с его раскаянием вынесли порицание. Решили обязать его оплатить вставку зубов пострадавшему, а из-под стражи освободить.

— Я до международного суда дойду! Я буду жаловаться в ЮНЕСКО и Организацию Объединенных Наций! — кричал возмущенный Крокусов. — Провокация! На суд даже телевидение не пригласили и оправдали черносотенца!

— Гражданин Крокусов, вы можете обжаловать решение суда, а пока что покиньте зал! — сказали черные мантии.

Мы вышли, и Крокусов накинул на нас:

— Меня шельмуют, а они — как в рот воды набрали. Вели себя, как иуды! А еще хотят печататься в моем журнале! Я правду искал, я в непорочное зачатие не верю, верю только в порочное!

— Я хотел сказать, мне слова не дали! — оправдывался Важенкин.

— Все вы хотели! Пришли посмотреть, как шельмуют руководителя...

Я сказал, что заготовил обвинительную речь, хотел показать всю подлость Карамова, жаль, что судья мне слова не дал.

— Дал, не дал! Кричать надо было! Правду попирают, искусство шельмуют. И ты еще просишь разрешить твоим кружковцам заниматься в писорге? Карамов будет приходить и каждый раз выбивать мне зубы?

— Карамова мы уже из своих рядов исключили, — поспешил сказать я, — а остальные у нас все люди очень приличные.

— Да, да! — подтвердил Важенкин. — У меня мама умеет делать отличную настойку из прошлогоднего прокисшего варенья. Сахара и еще чего-то там добавит, и получается сплошная вкуснота. И градус есть.

Крокусов молчал. Он сел в автобус, не попрощавшись с нами.

Тут меня взял под руку Никодим Столбняков:

— Видал, чего творят? Писоргом руководит пархатый, куда ни зайдешь, среди чиновников — все они. Синагогу хоральную восстанавливают. А этот Тихеев? Он же самый густопсовый еврей, а говорит, что он русский князь, а при коммунаках хрустянина корчил. Все довольство получил. Нет, Петя, ты как хошь, а я квартиру свою меняю на Украину, там Русь начиналась, ну, вспомни, «Киевская Русь!» Вот где все древние русские князья жили, вот где простор писателю!

— Так ты в Киев перебраться решил? — спросил я.

— Не, туда обмен трудный, да и ближе к морю хочу, вообще на Украину, в какой город получится.

— Ну, дай тебе Бог, как говорится. Пиши!

Никодим сказал:

— Как сам устроюсь, так и тебе перебраться помогу, чего ты тут будешь среди пархатых мучиться?..

Я пришел домой, мне позвонил Рафис и стал рассказывать пьяным голосом:

— Нет, я не в пробке застрял, я на белом коне еду по Красной площади, как маршал Жуков, а рядом на кауrom жеребце едет Света, девочка-конфета, ей только что восемнадцать исполнилось, мы переспали в «Метрополе», теперь скачем в гостиницу «Украина», и там тоже переспим! Мы красная кавалерия, и про нас былинные речистые ведут рассказ!

Рафис вздохнул:

— Эх, Петр Сергеевич! Если бы вы знали, какая у Светы попка!

— По-моему, ты едешь не туда! — сказал я ему, и он отключился.

55. ПРАЗДНИКИ ВАЖЕНЧИКА

Важенкин после окончания университета в своей лесной службе медленно, но верно поднимался по служебной лестнице. Станция защиты леса снабдила его двумя комплектами формы: выходной и парадной. Полагались: шинель, бушлат, китель, шапка, фуражка, брюки выходные и рабочие, теплое белье, ботинки и валенки.

Начинал Важенкин службу лейтенантом, потом стал уже капитаном, теперь мы обмывали майорские звезды. Однажды Вася поехал в Москву. Фуражка была окантована дубовой листвою, ворот украшен большими звездами, как у советских маршалов первого призыва, и опять же — дубовыми ветвями. Это вводило в заблуждение встречных: то ли иностранный офицер, то ли из дипкорпуса. На всякий случай все военные отдавали ему честь.

Но главное не это. Столичный лесной генерал, к которому Вася попал на прием, оказался самым настоящим «граммофоном», то есть писал любительские стихи. Узнав, что и Важенкин пишет стихи, и послушав их, генерал сказал, что надо непременно издать сборник поэтов службы леса. Поручил Важенкину собрать такой сборник. За эту работу генерал и отвалил Васе на воротник мундира майорские звезды.

Теперь Вася хохотал, потому что получил еще и хороший гонорар за изданные в сборнике стихи.

Командировки в Пимские леса обогащали Васю не только грибами, ягодами, но и матершинным фольклором. Лесники всячески старались

угодить молодому специалисту. Кормили мясом, поили водкой. От него зависело разрешение вырубить лес на том или ином участке. Вася привозил из командировок куски лосятины, медвежатины, мед и сало.

Поэтому в нынешнем Васе невозможно было узнать того худющего, вихлястого паренька, который раньше при переходе через проспект все норовил уцепиться за мою руку, а при разговоре от волнения дрыгал коленкой. Как мне вычленить того паренька из этой горы сала в два метра ростом? Как узнать того паренька в этом вулкане, изрыгающем потоки страсти к женщинам, жратве, питью, пению? Эти заплывшие глазки за вечно запотевшими очками, эти два подбородка, трясущиеся при смехе, это пузцо, в котором притаился огромный желудок, шепчущий: «давай, давай еще!», а ниже — с такой же страстью вопящий тугой прибор, видимый без рентгена сквозь брюки.

Наивный Вася полагал, что женщины сдаются ему, зачарованные его пением, его гитарой. Но ясно же, что они глядели ниже гитары, не слыша корявых аккордов, не слыша полукастратного его пения, так как понимали, что у горы и отроги мощные, а если эта гора немножко скрипит, так это уже издержки производства.

Никто в мире не смог бы убедить Важенкина, что у него нет музыкального слуха и голоса. Вася считал, что поет не просто хорошо, а великолепно. Он шел навстречу своим страстям бесстрашно. Он занимался в бардовской студии «Арлекин». Там к нему привыкли, как привыкают к некой неизбежности. Глава студии говорил: «Без Важенкина, как без поганого ведра, не обойдешься».

Возвращаясь из командировок в Пимск, Вася принимал к сладостным родникам, которые город таил в разных своих уголках под большими и малыми крышами. Один из родников бил на краю города, в избушке, которую художник Павлуша снимал у старушки. Он даже денег ей не платил, а только обновил немного позолоту на двух старых иконах. Иногда Важенкин ночевал у Павлуши неделями...

На обмывании майорства были крикливые подруги Леокадии Зотеевны, пара лесопатологов, Миша Бадридзе, Толя Пастухов, Юра Заводилов. Все уже были пьяны. Потому Вася описывал маме Леокадии Зотеевне и мне веселые пригородные вакханалии.

— Понимаете, друзья мои! — говорил он. — Павлуша не выносит одиночества. Ну, совсем не может один. Это у него после Афгана: чем больше людей — тем лучше.

— Мать одну оставляешь, шлендаешь по художникам, музыкантам! — ворчала Леокадия Зотеевна. — Там, поди, у Павлушки и покушать-то нечего.

— Да бабы ему прут и жареного, и пареного.

— А к примеру, что там жареное? — допытывалась Леокадия Зотеевна.

— Да что там говорить: и пельмени, и шашлык... Ну, и картошку с бабкиного огорода жарили. Водочка с салцом, с огурцами так здорово идет! Все обалденно было, вы просто не поверите! — кричал Важенкин.

Я думал, что он возьмет гитару, петь будет, но Вася шепнул мне:

— Сергеевич! Ну их в болото! Они все пьяные, пойдем по улице погуляем, подышим.

Я был удивлен таким его желанием. На столе еще полно яств, которые он любит, за столом в наличии пьяные и глухие слушатели, которые готовы приветствовать его пение под гитару, а он хочет уйти от всего этого?

— Идемте, Сергеевич! — настаивал Вася.

Мы вышли с ним в осеннюю промозглую ночь. Мокрая листва тополей под ногами навевала печаль.

— Ну, в чем дело? — спросил я.

— Петр Сергеевич! Я влюбился.

— А я при чем?

— Ну, я приводил ее домой, а мама выругалась матерно и назвала ее шлюхой. Я не могу маму расстраивать, у нее второй инсульт случится.

— Что, в самом деле красивая женщина?

— Ну, я как увидел в кафе, так сразу понял.

— И ты хочешь привести ее ко мне домой?

— Да нет, я понимаю. Вы проводите меня к ее дому.

— Вот так фокус! Один идти боишься? Такой большой!

— Не в этом дело. У нее муж геолог, он, кажется, сегодня должен отправиться в командировку. Вы постоите на улице, а я зайду в дом, проверю. Просто постоите, и все.

— Понятно. Если тебя будут бить, то я должен вызвать милицию. Хотя на такую-то гору кто кинется?

Важенкин промолчал. Важенкин разбухал и судорожно сглатывал воздух от предвкушения. Что женщина, что чебурек заставляли его выделять через поры миазмы желания.

Мы шагали, я вспоминал, как после нескольких оргий у Павлуши Важенкин пришел ко мне и сказал, что у него ужасно чешется. Он сообщил: они такие маленькие, плоские, впились в нежные места, не

вытащишь. Что делать? Я назвал ему лекарство, которое следовало купить в аптеке и втирать и внизу, и под мышками и даже в брови. Иначе... Через неделю он радостно сообщил, что избавился от напасти и теперь будет иметь дело только с замужними.

— Вот дом, — сказал Вася, — ее окно — вон там, на четвертом этаже, видите, светится?

— С четвертого этажа тебе будет прыгать высоко... А почему слева на стене написано: «Трупы от производителя»?

— Где? А-а! Прежде было написано «крупы», хулиганит кто-то.

— Ты бы все же поостерегся.

— Мамичев! — сказал оборзевший Вася. — Вы только стойте тут, никуда не уходите! Я скажу, когда вам можно будет уйти.

— Ладно!

Ждать да догонять — самое нудное занятие. Я ходил взад-вперед, поглядывая на окошко, которое указал Важенкин, но ничего там не было видно, только шторы да люстра под потолком.

Прошло с час, а может, и больше. Васи не было. На улице — тишина. Я не знал, что делать. Войти в дом и поискать Васю — но откуда я знаю, в какую квартиру этот лесной майор пошел? Не знаю ни фамилии его дамы, ни имени.

Я уже тысячу раз проклял Важенкина с его бабами, когда он вдруг вышел из-за дома.

— Ну ты и свин! — выругал я своего перезрелого ученика. — Развлекаешься, наслаждаешься, а я тут мерзну, как негр в Антарктиде.

— Вам бы такие развлечения! — ответил Вася, отчаянно мотая рукой.

— Чего ты рукой машешь?

— Посмотрите, ладонь вся синяя!

— Почему?

— Ну, пришел я, а муж — дома, командировку почему-то отменили. Нонна мужу говорит: «Познакомься, это Вася, поэт!» А геолог сжал мне руку и говорит: «Гоша, прозаик!» Ну, я тяну ладонь, он не отпускает. Она просит, чтобы он меня отпустил, а он улыбается и жмет мне руку. И говорит: «Знакомиться так знакомиться!..» И так — все это время, что я отсутствовал. Держит, жмет и молчит. Сила — как у медведя. Завтра придется к хирургу идти, кажется, один сустав сломался.

Со злости я сказал:

— Эх, ему бы ухватить тебя за другое место, где нет суставов!

— Ну и шутки у вас, Мамичев, ослоумные!

— Да пошел ты, знаешь, куда...

56. «СОКРАТ» И БЛУДНЫЕ СЫНОВЬЯ

В ту зиму наш кружок стал заниматься в помещении писорга, в каждый четверг с шести часов вечера. По моим расчетам, Крокусов и Азалия Львовна к этому времени должны были уже уходить с работы. Так и происходило во все другие дни. Но в четверг Крокусов на шесть вечера назначал встречу с каким-нибудь автором или с должностным лицом, или просто не уходил, сидел, листал документы.

Сначала я подумал, что он проверяет, как я работаю с кружковцами. Но потом обнаружилась некоторая закономерность. Если появлялись у меня новые талантливые слушатели, а особенно — слушательницы, Крокусов подходил к ним и говорил вкрадчиво:

— Мне понравилось ваше стихотворение про цветочки. Волнительно! Вам следует заниматься в моем кружке, я занятия провожу по пятницам. Ваши цветочки так и просятся на страницы журнала «Сибирский Сократ», который я редактирую. Видите рамочки на стеллаже? Это дипломы. Заниматься у руководителя областной писательской организации, академика Ново-Бутовской академии изящных искусств и литературы и члена-корреспондента Уимблдонской академии психоделической прозы и поэзии, я думаю, будет интереснее? Вы же слышали, что обо мне писала столичная газета «Проблемы литературы»? Я могу вам дать прочитать. Там большая статья обо мне. Вы узнаете, как я пострадал, защищая свои поэтические принципы!

Говоря это, Крокусов широко улыбался, посверкивая двумя вставными зубами, в один из которых был вправлен бриллиант.

Одаренные слушатели быстренько переключались от меня к Крокусову. А симпатичных слушательниц он переманил вне зависимости от их литературного таланта. От меня к Крокусову, в надежде напечататься в «Сократе», моментально «перескочили» Вася Важенкин, Толя Пастухов, Юра Заводилов, Андрей Дресвянин, Миша Бадридзе. Иван же Карамов выбыл из кружка, потому что, став старостой собора, охладел к литературному творчеству. Не мог же он посещать логово вероотступника Крокусова?

Мой кружок мог закрыться за неимением слушателей. Но я не хотел терять пусть грошовую, но все-таки ставку. Еще в молодости, работая в газете, я узнал, что многие люди, выйдя на пенсию, вдруг начинают писать стихи. Какой-то бес влезает им в мозги и зудит: «Ты же гений!

Как ловко ты вчера подобрал рифму «розы и слезы», это ж надо было додуматься! Ты в одну секунду срифмовал: «сидел-глядел». А ведь писатели за рифмы гонорар получают! Маяковский на гонорары купил авто в Париже! А потом об этом факте стихи написал и опять гонорар получил! Евтушенко золотой перстень носит, все время по заграницам ездит! А ты что, хуже, что ли?»

Наслушавшись дьявольского шепота, пенсионеры начинали лихо-радочно записывать в школьных тетрадах, на оберточной бумаге или на кусках старых обоев свои стихи и несли их в ближайшие редакции. Их не хотели печатать, а они грозились пожаловаться в райпотребсоюз, в горком, в обком, в прокуратуру, в милицию, в КГБ и управдому.

Я вспомнил телефоны троих таких одержимых. Дозвонился до одного, и вскоре в кружке у меня уже был десяток блистающих сединами «граммофонов».

Я надеялся: грянут морозы, придет в кружок и Тина Даниловна. Зимой-то, небось, под открытым небом не поторгуешь. А может, и Киянкина придет? Правда, она торгует в палатке, это все же не на улице. Да ведь соскучится по кружку, по стихам?

Крокусов каждый четверг задерживался, посматривал на моих новых слушателей и ехидно улыбался. Ему всегда хорошо, когда другим плохо. А я нарочно не начинал занятие, ждал, когда он уйдет.

Если он долго не уходил, я начинал говорить с кружковцами о сути поэзии. Пусть сразу не удастся все слова вставить в размер и подобрать хорошие рифмы. Суть не в этом. Объяснить поэзию нельзя, как разьять на цвета радугу. У каждого есть свой жизненный опыт, вот и постарайтесь вложить его в запоминающиеся образы.

Старушки прилежно записывали мои слова в тетрадки, кивали, чему-то радовались. Некоторые мужчины тоже записывали, но не все. Был среди них капитан первого ранга в отставке, высокий, стройный, подтянутый старик Лавр Григорьевич Небураковский. Он сказал:

— Объясняете вы насчет стихов туманно как-то. Давайте я вам свое стихотворение «Мой корабль» прочитаю.

Он встав, принял картинную позу, откинул голову назад и громко и зычно прочитал:

*Корабль вперед идет, я знаю,
По бурным волнам идет навстречу вдаль,
Я управляю всем процессом,
И каждый офицер и матрос мне подчинен.
Я говорю, курс правильный держите,*

*Есть устав, и есть командир, он тоже есть,
Честь соблюдайте вы морскую,
Тогда спасибо скажет нам страна родная!
Тогда спасибо скажет нам КПСС!*

Я предложил разобрать это стихотворение, слушатели никак не решались высказать свое мнение. Пришлось говорить мне самому:

— Стихотворение требует доработки. Вот первая строчка: «Корабль вперед идет, я знаю». Она лишняя, еще бы командир не знал, куда идет корабль. «Я управляю всем процессом». Процесс — это не из лексикона поэзии, скорее, из науки, политики, из доклада, что ли. КПСС уже не существует. А поэзии маловато. Все-таки — море, корабль. Нужны чувства, нужен подтекст. То есть надо подобрать слова так, чтобы за ними виделось больше, чем написано. Ну а в стихотворении Лавра Григорьевича — все лежит на поверхности.

— Я понял так, что вам мое стихотворение не понравилось? — заносчиво спросил Лавр Григорьевич.

— Да не то чтобы не понравилось, я просто говорю для всех слушателей, чтобы они стремились к однозначности.

— Вы знаете что? — гаркнул Лавр Григорьевич. — Я в офицерском собрании читал — там все мне бурно аплодировали. Была эта... как ее... овация. Это стихотворение у меня в газете напечатано! — глаза Лавра Григорьевича сверкали гневом, голос был полон металла: — Вы неправильно учите! Я обращаюсь к вашему начальству! У меня звание! Да! Я буду жаловаться! Дойду до самого верха!..

Примерно через месяц на занятие моего кружка пришел Толя Пастухов. Я приветствовал возвращение блудного сына:

— Ты что? Хочешь сразу два кружка посещать?

— Мамич, че подкалывать? Скучно у него, академик, воображает много, а мы ж друзья, я к тебе привык!

— Ладно, занимайся. Только пьяный не являйся больше и не кури. Я из-за вас уже потерял одно помещение, а тут все же — писорг.

Еще через неделю ко мне вернулись и другие отступники: Вася Важенкин, Юра Заводилов, Андрей Дресвянин, Миша Бадридзе. Причем Важенкин привел с собой еще высокую красивую девушку — Ненилу Панфилову. У нее были красивые ноги. Чтобы все могли как можно лучше обозреть их красоту, она носила такую коротенькую юбочку, что короче уже не бывает. Важенкин занял место рядом с Ненилой, и я видел, что левая нога Ненилы воздействует на правую руку Васи Важенкина, как дудочка факира на змею кобру.

Я вовсе не удивился этой группе перебежчиков. Хотя я и редко заходил в писорг, но меня обо всем информировал всезнающий Иван Осотов. Он неумоимо собирал информацию о работе писорга вообще и о подвигах Крокусова лично. Куда отправлял он свои сведения — мне неизвестно, но кое-чем делился и со мной.

В кабинете Крокусова, кроме его письменного стола, стеллажей с керамической головой, академическими дипломами и книгами, а так же стола для общих собраний, был в дальнем углу небольшой чайный столик. Там всегда сидело несколько более или менее юных прозаичек и поэтессок. Откуда они брались и куда потом девались — никто, даже сам Осотов, не знает. Иногда Крокусов из внутреннего кармана пиджака доставал завернутых в целлофан копченых омульков и поочередно, беря каждого омулька за хвостик, опускал той или иной красавице в полураскрытый ротик. Поглотившая омульков знала: с этого момента она — фаворитка. Кроме трех омульков, красавица имела шанс в этот вечер выпить пузырек настойки боярышника. Пузырьки у Паши всегда лежали наготове в ящике письменного стола. Азалия Львовна пустые пузырьки сдавала в аптеку и возобновляла запас.

Если дело было летом, Крокусов удалялся с избраницей в аллею парка, который примыкал к писоргу, зимой — парочка просто сидела за чайным столиком и ждала, когда Азалия Львовна и все прочие удалятся из помещения. Через какое-то время в журнале «Сибирский Сократ» появлялась фотография юной прелестницы и ее стихи или проза, которые никак нельзя было назвать шедевром, но Паша заявлял, что в литературных опытах что-то есть, первозданность какая-то. Кроме того, он пояснял, что молодые дарования надо поддерживать.

Случалось Пашиной супруге устраивать в писорге скандалы: она разгоняла поэтессок, разбивала вдребезги пузырьки с боярышником. Но, конечно, будучи кандидатом наук, занятая большой и трудной работой, жена не могла постоянно устраивать разборки в писорге. Ничего хорошего из ее визитов не получалось. Крокусов, после вмешательства жены в процесс воспитания молодых авторов, сатанел, переходил с боярки на коньяк и перемещался с поэтессами в сауну, которую ему предоставлял средних лет предприниматель и поэт Иван Загогулько.

Что происходило в сауне, как говорилось в средневековых романах, сокрыто мраком неизвестности. Достоверно известен один факт: после многочисленных совместных купаний в сауне Загогулько и Крокусов стали друзьями. Загогулько произвел на всех впечатление своей почти постоянной улыбкой. Кто-то даже назвал его «человеком, который

смеется». И вот улыбка Ивана просияла над огромной подборкой его стихов в «Сократе». Вскоре Иван издал две книжки лирических стихотворений и был принят в Союз писателей как чудо природы. Он был доктором физико-математических наук, а вдобавок еще оказался и тонким лириком.

Но если вы думаете, что Крокусов в «Сибирском Сократе» публиковал исключительно любовниц и друзей, то вы заблуждаетесь. На страницах «Сократа» оказывались стихи и проза влиятельных столличных критиков, литературных начальников, редакторов журналов Москвы, Петербурга и всех краевых и областных центров России. А эти редакторы публиковали взамен на страницах своих журналов рассказы и отрывки из романов Крокусова, а также стихи его любовниц. Получался, говоря современным языком, бартер.

Паша — театрал, на каждой премьере в драме или в ТюЗе он с женой и дочерью — на лучших местах... Телевизор разинул свой ненасытный стеклянный рот и стал пожирать зрителей сериалами страшилок, буйного секса, гангстерской пальбы, с взрывающимися и ослепительно пылающими машинами. Что могли противопоставить этому несчастные местные театры? Драмтеатр стал приспосабливаться. В какой-то пьесе известная всему городу средних лет актриса сыграла свою роль в костюме Евы. Газеты это отметили. В следующем спектакле уже три актера играли нагишом. Но это — драма. А что было делать театру юных зрителей? Раздеть Мальвину и на виду у малышей заставить грешить с пуделем Артемоном? Актеры стали делать эскимо и собственноручно продавать его в фойе театра. Актер Левонтий Вусов собирал коряги и ваял из них чертей и леших, чтобы оживить театральные сказки. В буфете подавали водку, коньяк и вина. И ничто не помогало.

И вдруг пришел в ТюЗ рыжий, лохматый, похожий на клоуна парень и на ломаном русском языке сказал, что он француз, режиссер, чуть ли не из самого «Парижу». Звали его Луи де Карман. «О! — обрадовались в ТюЗе. — Символическая фамилия да еще дворянская!»

Конопатый решил порадовать юных зрителей русской классикой. На афише значилось: *«А.П. ЧЕХОВ «Вишневый сад», режиссер Луи де Карман (Франция)»*.

На француза народ пошел. Как француз увидел наш «сад»? Герои по ходу спектакля показали полунамеком несколько положений, в которых могут находиться при соитии мужчина и женщина. Но не раздеваясь, мимолетно, чуть-чуть — вроде было, вроде бы и не было.

А в конце спектакля забытый всеми Фирс в своем лакейском мундире, но почему-то без штанов и даже без подштанников, с хрипом: «Уехали! Забыли!», сверкая голой попой, пополз прямо в зал, толкая впереди себя малое вишневое деревце с комом земли внизу. Дополз до края сцены, и занавес закрылся.

Пимские газеты взвыли от восторга. Фирс, хоть и с голой попой, но в будущее толкает расцвет новой России! О, тонкая французская штучка!

Крокусов немедленно пригласил Луи де Кармана в писорг. Угостил омулями, боярышником, а потом Загогулько принес еще и бутылку коньяка. Иван был ростом выше Важенкина и массивен, но чисто помужски, не обвислый, не сутулый и с поджарым задом. Лоб у него был высокий, немножко портил вид нос картошкой. Но на фоне Важенкина — это был джентльмен и почти красавец. Крокусов вызвонил на встречу с режиссером и Дружеского Шаржа, тот принес французский фолиант восемнадцатого века, чем напрочь сразил французика.

— О! Я это покупать? Как? Презент? Это невозможно! Хорошо, пусть презент, ви оба с Паша будете приехать во Франс, я буду угощать и делать свой презент.

Крокусов тут же записал на магнитофон слова Луи де Кармана. Он вскоре напечатал в журнале все, что было сказано французом под впечатлением боярышника и коньяка. Подарил журнал Луи де Карману. Пробился с журналом к губернатору области, показал интервью:

— Вот видите? Меня во Францию приглашают с творческим визитом. Это придаст значение нашей области, я сумею ее там достойно представить! Я думаю, на такое благое дело вы выделите деньги.

Примерно то же сказал Паша и в кабинете спикера областной думы, и в кабинете мэра города. Каждый из трех лидеров думал, что он единственный помог деньгами главе писателей. Крокусов называл это трехпольной системой.

В тот день, когда провожали Луи де Кармана во Францию, за чайным столиком опять сидели и Крокусов, и Загогулько, и Дружеский Шарж. Последний не пил, он был грустен, пить ему нельзя было, потому что опухоль в мозгу давила изнутри на глаз, зрение сдавало.

— Надеюсь, что хоть одним глазком увижу великую Францию! — сказал он друзьям.

Загогулько пил от души, говорил все громче, хвалил режиссерский талант Луи де Кармана. Кончилось это тем, что Загогулько захотел показать натурально, как полз в спектакле «Вишневый сад» бедняга

Фирс. Иван Капитонович снял штаны и плавки, схватил с полки горшок с кактусом и пополз, толкая впереди себя кактус, через приемную, где сидела Азалия Львовна.

Она сказала:

— Да, всякое было, но такого еще у нас не было! Оставь кактус! Ты и так богат: у тебя собственное кафе, джип, две квартиры, две дачи и такой огромный набалдашник. Зачем тебе еще и кактус?

Иван Капитонович устыдился, отдал Азалии кактус и прикрыл набалдашник рукой, как делают мальчишки, когда нагишом ныряют в реку...

И вот когда Важенкин вернулся в мой кружок не один, а с длинноногой девицей, за нашим столом неожиданно объявился и Загогулько. Надо сказать, тогда я еще не знал его привычки обнимать и тискать всех женщин от пятнадцати до восьмидесяти лет, а может, и старше, если таковые бы в писорге объявились.

Между прочим, к моменту появления за нашим столом Ивана Капитоновича Важенкин уже успел договориться с Ненилой Панфиловой о прогулке при луне и еще каком-то интересном времяпровождении. Он уже пожимал ее колено, и она улыбалась покорно и ласково. На заседании выяснилось, что Ненила перешла из кружка Крокусова в мой, потому что Паше не понравились то ли ее стихи, то ли колени. Несмотря на все мольбы, он так и не напечатал ее в журнале. Помому, стихи у Ненилы были грандиозно плохие, но колени вообще-то хорошие. И это сразу заметил Загогулько. Он тут же принялся гладить ее колени и намеревался подняться еще выше, но тут Важенкин, побагровев, воскликнул:

— Вы неприлично ведете себя в обществе!

Загогулько весело расхохотался:

— Ну, прости, брат, на самом деле, я такой, ну, что поделаешь, на самом деле, я тебя приглашаю с барышней отобедать в моем ресторане «Бедный Йохан».

— А почему Йохан и почему бедный? — спросила Ненила.

— Йохан — Иоганн, а по-русски Иван. Ну, я, на самом деле, бедный. Да что будем рассуждать, идемте кушать.

И они отправились в ресторан «Бедный Йохан», небольшой, но вполне приличный, со смазливymi официантками и ужасающе высокими ценами. Там Загогулько приказал служителям:

— А подать нам, на самом деле, вина и мяса!

Им подали... И они поели. А потом... Я сам там не был, но Загогулько рассказывал:

— Я их накормил, понимаешь, напоил, на самом деле, самым лучшим образом. За свой счет, разумеется. Должна же быть благодарность? На самом деле, я вижу Ненила сравнила меня с этим обормотом, и ясно, в чью пользу было сравнение. Я ей шепнул: идем, мол, оторвемся от этого идиота, у меня есть местечко. А он стал возникать. Ну, я взял его за длинные волосы, и всю подливу с тарелки его мордой вытер. И представляешь? Мы с девкой пошли, на самом деле, как полагается, под руку, а он сзади бежит и ноет: «Ненила, не ходи с ним, он плохой...»

Важенкин эти же события описал иначе:

— Мы там выпили немного, мне не понравилось, как он себя ведет, я ему все высказал. Ты, говорю, новый русский, из-за тебя моя мама маленькую пенсию получает, ты ешь и пьешь за ее счет! Я так ему и сказал, и публика мне сочувствовала, кто-то даже поаплодировал. И мы пошли по домам.

— Я слышал, что Ненила пошла с Загогулько? — не утерпел я.

— Она пошла, — ответил он, — ей было по пути в ту сторону, но ему она ничего не позволила, уж я-то знаю!..

Вскоре после этих событий из Франции пришел вызов от Луи де Кармана и какой-то культурной французской ассоциации — Паше Крокусову и Кеше Владимирскому, которому опухоль давила на глаз.

И уже оформлены были визы и командировочные документы, и пройдены все бюрократические рогатки, и собраны вещички, когда Кеше вдруг стало плохо. Дружеского Шаржа увезла карета «скорой помощи». В тот же день в больнице он помер от кровоизлияния в его талантливый мозг.

Гроб расположили на том самом прилавке, за которым Кеша Владимирский простоял всю свою жизнь. И это был большой гроб. Друзья постарались. Ведь там, в гробу, не видно, кто лежит — большой или маленький человек. Видны только грудь и сложенные на ней руки, да большая умная голова. Так пусть люди прощаются с большим гробом, с большим человеком.

Крокусов не изменил своей привычки с опозданием приходить на все мероприятия, чтобы все заметили его важность, значимость, независимость. Уже отзвучали речи, уже погасли юпитера, и были выключены микрофоны, и друзья подняли гроб и стали выносить из магазина. В этот самый момент появился Крокусов и закричал:

— Верните гроб на место! Включите юпитера и магнитофоны! Я буду речь говорить! Я ее в стихах написал, она будет опубликована в центральной прессе, ее, может, по всероссийскому радио передадут.

Люди стали возмущаться, а Паша по своей всегдашней привычке обвинил всех: они не дождались главного оратора, они не хотят, чтобы о Владимирском узнала вся просвещенная Россия!

— Вы не любите Кешу, нет, вы его не любите!

Он так кричал, что гроб вернули на прилавок, зажгли юпитера, включили магнитофоны и дали сказать Паше речь. Она была действительно хорошей. Но на кладбище Паша не поехал, ему нужно было собираться во Францию.

57. В ПРЕКРАСНОЙ ФРАНЦИИ И В ХМУРОЙ СИБИРИ

Пока Крокусов грелся на солнышке в прекрасной Франции, а в Сибири завернули нешуточные холода. В морозные дни душу радовали только еще не сожженные новыми русскими старинные терема, украшенные затейливой резьбой. В соседстве с посеребренными елями и пихтами они смотрелись загадочно и торжественно.

Каждый четверг к шести я приходил в писорг, садился за длинный стол в ожидании кружковцев. И однажды дверь отворилась, и я увидел изможденную и постаревшую Тину Даниловну. Боже мой! Неужто это она, веселая и оживленная, когда-то приносила в наш кружок подарки, восторгалась всеми поэтами, а особенно мной? Старуха Изергиль какая-то, только трубки в зубах нет.

Оказалось, что Тина Даниловна, несмотря на приобретение многочисленных морщин и потерю многих зубов, не изжила старые привычки. Она достала из сумки сверток, развернула его и подала мне шарф и рукавички.

— Вот, вашего размера не знаю, связала рукавички на глаз, по памяти, померьте, подойдут? А шарфик нравится?

Все подошло, я хотел заплатить, просил назначить цену, чем вызвал целую бурю эмоций!

— Ох, какой вы, ох, какой! Разве можно так? Сегодня мы живем, а завтра?.. Вы знаете уже? Нет, вы ничего не знаете. Киянкина погибла.

Да, я читал в отделе происшествий в «Алом пламени» заметку, что неизвестными зверски убита работница Поликарповского рынка вместе с находившимися в ее доме гостями. Но не обратил на эту заметку ни малейшего внимания: подобных заметок пруд пруди, а фамилии убитых не всегда сообщают.

Тина Даниловна рассказала. Барак, где жила Киянкина с подругой, — на окраине, на отшибе. Света на базаре всем рассказывала, что копит деньги на новую квартиру. Вот и пришли люди с топорами и ломами в тот барак. А у нее гости были, женщины, так они — и ее, и гостей покروшили, как лапшу. Да и барак подожгли. А милиция нынче какая? Киянкина жила без прописки. Так зачем искать? Без прописки — бомжика, значит.

Я сказал, что у Киянкиной в Пимске живет дочка. Надо пригласить ее в наш кружок. Почитаем Светланины стихи, вечер воспоминаний устроим. Тина Даниловна вызвалась за этой дочкой сходить, оказывается, она однажды вместе со Светланой у этой дочери в гостях была, Киянкина одна к дочери ходить не решалась, та просто не пускала ее, мол, на ребенка дурно влияет.

Перед следующим заседанием я позвонил Важенкину: так, мол, и так, Киянкина погибла, вечер воспоминаний. У тебя много ее стихов, память хорошая, выучи наизусть, дочери будет приятно. Он сказал, что прийти не может, заболел.

Тогда я весомый аргумент выложил:

— Приходи через не могу! Зря мы, что ли, тебя старостой кружка избрали? Я предисловие к твоей книжке написал. А главное — ты же просишь у меня рекомендацию для вступления в Союз писателей? Так чего же ты в штрейкбрехеры записываешься? Я тогда тебя в союз рекомендовать не буду, нам эгоисты не нужны.

Он в ответ проскрипел, дескать, постарается.

Все-таки пришел, но в каком виде! Лицо там и сям было заклеено лейкопластырем. Глаза заплыли синяками, губы стали в два раза больше, чем были, и словно их кто чернилами намазал. Прихрамывает, шею начнет поворачивать — стонет.

Спросил его шепотом:

— Кто тебя так? Загогулько?

Он сморщился:

— Если бы Загогулько, я из него морду-попу сделал бы, я все-таки внук сибирского ямщика!

Да... Внук ямщика. Увидел бы тот ямщик такого внука, в четыре этажа бы матюгнулся.

— Ну, если не Загогулько, так кто тогда посмел поднять руку, а может, и ногу — на лесного майора? Мы от имени писорга потребуем суровой кары для преступника и негодяя. Без пяти минут член Союза писателей, и так ему с циферблата всю эмаль скололи...

— Не надо кары. Что с дурака возьмешь? Павлушка это, сволочь проклятая, морда цыганская...

— Он что, из цыган?

— Не знаю, кажется, кто-то был у него из табора в десятом колене; да вы на морду его посмотрите: цыганская же рожа!

— А ты все твердил: красавец, умница, талантище! За что он так тебя? Бабу не поделили?

— Да ни за что! Он же в Афгане воевал — я вам, Мамичев, говорил. Ну, контузило его, иногда бешенный делается. Я уж зарекался к нему ходить, да куда мне еще пойти-то?

— Мало ли куда? В театр, в кино, в музей...

— Вы, Мамичев, пожилой, вам не понять.

Я на эту тему больше ему ничего не сказал, но отлично понял, отчего он так негодует. Нет, не только потому, что ему фасад испортили. Кормушки у него закрываются одна за другой. Майора Хилюшкина с его громадной пенсией на психу упрятали, Вадик Дранкин разорился, теперь вот и Павлушу обедать не придется. Да ведь художник Важенкину не только жратву и баб поставлял, он его запечатлевал постоянно. Чуть не каждый год. Получалась настоящая панорама видоизменений Василия Важенкина. Вот он — мальчик в коротких штанишках, вот — тощий студент, вот — начинающий работник лесной службы, а вот — лесной майор. Панорама теперь тоже прервется. Обидно.

Я сказал:

— Еще помирись.

— Я порвал с ним отношения раз и навсегда! Да я б ему ни за что не поддался! Так ведь он в разведке служил, там его обучили особым секретным приемам.

В этот момент в комнату вошла Тина Даниловна с молодой женщиной, очень похожей на Светлану Киянкину, но как бы облагороженной. В этой Киянкиной-два было все: грация, скромность, достоинство. Это было удивительно! Так похожа на мать и, в то же время, совершенно не похожа!

Мы начали вечер тактично. Побитый Важенкин от имени кружка в сдержанных тонах высказал соболезнование. Затем читали по кругу и стихи самой Киянкиной, и стихи о ней. Мы тактично не расспрашивали дочь о подробностях гибели ее матери. Но она сказала:

— Я понимаю, вы хотите знать, что делается для поимки преступников. Все же столько людей враз убито! Так вот, ничего не делается. Я двадцать раз ходила к разным милицеским начальникам. Они ска-

зали, что это «висяк», дело темное. Окраина, разломанный нежилой барак, какие-то базарные люди, все по прописке в городе не значатся, бомжи. Так они видят ситуацию. Мол, директоров убивают, людей законных, солидных, и то концов не найдешь, а тут... Я поняла все, пошла в частную следственную фирму, те запросили огромные деньги, причем вперед. Пришла домой, а мне звонят: «Будешь копать — мы тебя саму закопаем, причем рядом с мамой». Ну, вот я и отступилась. Нам с мужем не собрать нужную сумму. Да и пока собираешь, саму прихлопнут.

— Мы президенту напишем! — вскричал Бадридзе.

Киянкина-два сказала:

— Бросьте! Кончится тем, что меня убьют или ребенка. Время такое. И маму все равно не воскресишь. Спасибо вам за память, за вечер...

В эти дни мне стал настойчиво звонить Осотов. Приглашал к себе. Я отнекивался, как мог, придумывал неотложные дела. А он звонил по пять раз в день и ныл скрипучим голосом:

— Бросили все старика Осотова. Супруга умерла, один, как перст. Ночью у меня бандиты двери ломают, убить хотят, а вам никому дела нет. Ты же не такой, как сволочной Крокусов или ханжеский перевертыш Феденякин. Вообще, что это за организация, когда все раскатились по своим углам, как горошины из стручка. Собраний не дожدهшься, так хоть так обсудить насущные проблемы с одним, с другим...

— А какие проблемы?

— Это не телефонный разговор.

Допек он меня своими звонками, отправился я к нему в гости. Я позвонил, через какое-то время за дверью скрипучий голос спросил:

— Кто?

— Мамичев!

— Мамичев? Ты вот что, спустись по лестнице, выйди из подъезда и встань так, чтобы я тебя мог видеть.

— Что за глупости? Вы же сами меня звали, я перся в такую даль, теперь мне с пятого этажа спускаться, потом вновь подниматься, я тоже вам не юный пионер. Вы же голос мой знаете?

— Знать-то знаю, но нынче такие времена, что бандиты и голоса подделывать умеют, они все умеют, развелось их: бандит на бандите сидит, бандитом погоняет!

Пришлось мне спускаться вниз, выходить из подъезда. Постоял под окном. Поднялся вновь по лестнице, вновь позвонил:

— Ну, теперь узнали меня?

— Да как сказать: с вида немножко похож, так ведь бандиты теперь и вид умеют подделывать. Они и грим в театре сопрут, и парик, и что угодно...

Я разозлился:

— Вам лечиться надо, я сейчас уйду и больше к вам никогда не приду, хоть зазовитесь.

Поддействовало. Он начал лязгать запорами, говоря:

— Вот уж какой! Простая предосторожность, а он уж тебя сумасшедшим обзывает. Сейчас!

Открывал он долго, у него было две железных двери, и на каждой — штук по пять разных хитрых защелок и замков... Дверь распахнулась, и Осотов отскочил от двери с длинной палкой, к концу которой был примотан дратвой внушительных размеров пест.

— Ну, кажется, в самом деле ты.

— Вы это свое древнерусское оружие положите, а то еще трахнете по голове, а у меня в ней полно великих замыслов.

— Да, вижу теперь, что действительно — Мамичев, похвастать ты всегда любил.

Он положил свою палку. Поговорили сначала о криминализации общества. Осотов рассказал, что решил частично проредить ряды криминальных элементов. Как? Очень просто. Во дворе напротив его окон стоят «вешала» для выбивания ковров. Каждый вечер он размещает на этих «вешалах» некоторые предметы из своего гардероба, а сам садится у форточки с духовым ружьем.

— Ну, и сколько уже воров ликвидировали?

Осотов вздохнул:

— Пока ни одного!.. Однажды до утра просидел, увидел чью-то фигуру возле моих вещей. Смотрю, руку тянет. Ну, я и пульнул. Оказалась почтальон. Дурная баба. Несешь почту — так и не лезь к чужой одежке. Чуть глаз ей не выбил. В суд грозитя подать. Не понимает, что ради их всех и стараюсь.

— А какие именно вещи вы на этой своей выставке экспонируете?

Он пошарил в прихожей.

— Да вот, пальто; правда, каракуль моль съела и пальто не очень новое, но вполне носить можно. Или вот тужурка, сам я ее не ношу, раз за гвоздь зацепился, порвал сильно, зашивать-то некому, супруга умерла.

И он зарыдал. Сильно сдал Осотов. Всех нас время не щадит. Ключки седых волос вокруг лысины, а были длинные маслянистые волосы, с

которых вечно перхоть сыпалась. Теперь ей сыпаться почти не с чего. Глаза глубоко завалились, горят иступленным огнем.

Я все же не вытерпел, сказал ему, что зря он свою рухлядь для поимки воров вывешивает. Сейчас в каждом мусорном ящике можно получше вещи найти. Новые русские, как мода меняется, немодное выбрасывают. Бомжи из мусорных контейнеров вполне прилично одеваются. Если бы они не в подвалах ночевали да умывались хоть раз в день, их вполне можно было бы за приличных людей принять.

Я обратил внимание, что громадный буфет по-прежнему сохраняет за своими массивными стеклами бутылки легендарных вин. По-прежнему в этом буфете находилась пирамида, составленная из банок с консервами «Снатка», и шары дорогих колбас. Ну, конечно, я еще в свой давний первый визит к Осотову подозревал, что все эти искусно выполненные муляжи. Теперь в этом и сомнений не было. Осотов на сей раз не предложил ни кваса, ни чая. Да и понятно: на нынешнюю пенсию не разгуляешься.

Он приблизил ко мне лицо мученика и проскрипел:

— Пора его свергать!

— Кого?

— Крокусова. Свергать надо, пока он во Франции.

— То есть как?

— Да очень просто. Собраться всем, проголосовать. Я уже договорился кое с кем. Правда, не все поняли ситуацию. Громыхаловы, например. Старший бедствует. Его в лесу лайма укусила, а это похуже, чем энцефалитный клещ, знаешь, В результате — ноги отнялись. Ты понял? Он уже дачу продал, у него дети растут, им одежду, еду надо. А этот вампир Крокусов — сколько денег получит со спонсоров, с администрации — все на себя, на себя! Его и так отец байкальской рыбой кормит, так ему все мало. Все и всех сожрать готов! А нам, которые организации все силы отдали, фигу? И собраний почти не проводит. Хорошо устроился. Ну вот, пока его нет, соберемся, большинством голосов — перо в заднее место! И выберем хорошего человека, ну, хоть тебя.

Мне было лестно, что я, хотя бы только в глазах Осотова, хороший. Но я сказал:

— Это что же получается? Горбачев в Форосе, а тут — путч. А меня выдвинули на роль товарища Янаева?

— Ну, не хочешь, другого найдем. Ты только правильно голосуй.

— Нельзя такое дело рассматривать в отсутствие Крокусова, законной силы это иметь не будет, это не по уставу.

— А он по уставу делает? Диктатор!

— С какой точки зрения посмотреть. У каждой лягушки в болоте - своя кочка. С этой кочки она видит все несколько иначе, чем её соседки. Короче - кочка зрения!

Я стал прощаться. Осотов свирепел:

— Кочка! Лягушка! Ты такой же, как он! Лизоблюд! Ладно, я и без тебя ему башку сверну!

Я закрыл за собой дверь, стал спускаться по лестнице, но Осотов выскочил на лестничную площадку распаленный, продолжал что-то кричать.

Чтобы немного успокоиться, я пошел пешком. Думалось: во всех областях и краях великой России живут и пишут нищие, голодные писатели. Никто им не платит гонораров, не дает денег на издание книг. А они пишут, на что-то надеются. Вдруг после смерти их творения оценят, пожалеют, что так плохо с ними обходились. Может даже, кому-нибудь памятник воздвигнут или хотя бы мемориальную доску к дому привернут. Да нет же! Ничего не поставят, ничего не привернут. Им в пору, как бомзам, залезть в контейнер за поношенной, но еще хорошей одеждой. Или бутылки собирать и сдавать. Но им — нельзя! Они — творцы. Их лица пимичи видели на обложках книжек, в телевизоре, в газетах. Нельзя им!.. Вон, обгоняют меня шикарные заграничные машины с тонированными стеклами, внутри звучит приглушенная музыка. Какие-то люди мчат в этих машинах. Им плевать на меня, на Громыхалова, да на того же Крокусова! Паша — тот же нищий, просто хороший попрошайка. И получается, что нищие завидуют нищему?

58. КЛЕВЕТНИКИ И СУТЯЖНИКИ

Крокусов вернулся из Франции. Где-то в Провансе Луи де Карман поил его дешевым молодым вином и даже устроил дворовый спектакль под открытым небом. На фоне гор Паша Крокусов воздевал руки к небу и играл в спектакле самого себя.

После возвращения путешественника писорг зажил прежней жизнью. Юные поэтесски и прозаички за чайным столиком с восторгом разглядывали фотографии, на которых их седокудрый гений Паша Крокусов то пил вино с Луи де Карманом из огромной бочки в старинном винном подвале, то танцевал в компании лучезарных француженочек, то вместе с каким-то негром мочился с высоты Эйфелевой башни.

Паша опять доставал из пакета омульков и скармливал очередной избраннице. И фотография, и стихи данной девицы появились в следующем номере «Сибирского Сократа». Там же были опубликованы стихи американских поэтов из города Нью-Йорка. Они были перепечатаны из альманаха «Крылья». Его подарил Паше тот самый негр, с которым он был запечатлен на фоне знаменитой башни.

Дело было в том, что негр был как бы не совсем негр, а был он какой-то эфиопский еврей. Ну, какой же еврей не увлекается искусством? Этот черный, как сажа, иудей посещал в Бруклине кружок под названием «Крылья». Он был редактором одноименного альманаха. И Крокусов с большой помпой открыл подборку стихов американских поэтов стихами Беджа Хади-Будусы. Журнал был отправлен в Америку вместе с подборками стихов самого Паши, его любимиц, а также Ивана Загогулько.

Прошло какое-то время, и из Бруклина от негритянского еврея, или же от еврейского негра, как кому лучше покажется, пришел пакет. В нем оказался американский журнал. Обложка была шикарная, бумага лоснилась. Фото Крокусова занимало всю обложку журнала. Все, что отослал Паша, было напечатано в этом журнале. А главное — еврей Беджа Хади-Будусы пригласил руководителя областной организации писателей, поэтов и драматургов Пимской области, члена редколлегии журналов «Гармония и эстетика», «Сибирские альбатросы» и многих других, господина Павла Степановича Крокусова, дважды академика, посетить Америку в удобное для него время и выступить на заседании редколлегии бруклинского альманаха «Крылья».

Вскоре Паша выступил по телевидению в большой программе под названием: «Поэзия не знает рубежей». Там он продемонстрировал иллюстрации своего пребывания во Франции и сообщил, что американские поэты жаждут видеть его в Соединенных Штатах.

Все последующие распития боярышника происходили теперь под лозунгом: «Еду в Штаты!». Крокусов сиял, а доктор физико-математических наук имел вид обиженный: его-то портрет не напечатали во всю обложку!

— Не грусти! — успокаивал его Крокусов. — Вот проторю дорожку в США, следующий визит будет твой. Будут у тебя еще «Крылья»! Будет и портрет на обложке. Только вот перед отъездом нам надо злобу некоторых людей утишить.

При этих словах Паша почему-то посмотрел на меня. И потом сказал Загогульке:

— Я тебе потом расскажу, насколько может быть большой подлость людская...

Загогулько озадачился, обеспокоился и вынул из кармана своего пыжикового пальто припрятанную бутылку обалденно дорогого коньяка.

Когда лица Загогулько и Крокусова приняли ярко-малиновый цвет, а барышни уже улетучились, Крокусов сказал мне:

— Сидите, кружковцев ждете, да? Честно скажите: с кем вы?

Я сказал, что я точно не знаю. Не определился еще, кто мне враг, а кто мне друг. Мне и прежние не нравились: подразверстка, тридцать седьмой год, цензура. Мне и нынешние не нравятся: ограбление народа, развал Союза, и опять же цензура, немножко другая цензура, но хрен редьки не слаще.

— Не надо камуфляжа! Я вас спрашиваю: вы с Агатиным, Балдоным и Осотовым, которые на меня пасквили пишут вплоть до президента? Балдонин с Агатиным меня еще и в местной прессе лягнули. Я работаю, а кто работать не умеет, тот завидует. Агатин — это ваш ученик. А у Осотова вы недавно дома были, знаю...

Тут мои кружковцы пришли. Загогулько с Крокусовым коньяк допили. Уходя, Паша мне сказал:

— В понедельник собрание!

На кружке речь зашла об ужасном происшествии на учебном стадионе спортивного факультета. Толя Пастухов и Бадридзе устроились туда вахтерами на проходную. Сутки дежуришь, двое свободен. И они решили дежурить не по очереди, а вместе, каждое дежурство. Так веселее. Разойдутся спортсмены, ночь наступает. Они большую баклагу с брагой откроют, бражка такая крепенькая, на махорке настоящая, по стакашку примут, стихи читают — и свои, и других поэтов — и обсуждают. И так это весело, так хорошо читать в ночной тишине и говорить о литературе!

— Высоцкий! — говорит Бадридзе. — Это наше все! Это самое большое, великое самое! Как это у него здорово сказано: «А у психов жизнь, так бы жил любой, хочешь спать ложись, хочешь песню пой!»

— Да! — говорит Пастухов. — Правильно! Только Рубцов — это все же более наше все! Выше неизмеримо, потому что народное! Как это он здорово сказал: «Стукнешь по карману — не звенит, стукнешь по другому — не слышать! Если только буду знаменит, то поеду в Ялту отдыхать!»

— Высоцкий — тоже народное! — кричит Бадридзе.

— Нет, не согласен! — вопит Толя. — Хороший поэт, да, но это все же актерская игра, гитара там, клоунада! Это — как акробатика в цирке, там фуфла много. А настоящие акробаты — они в спорте существуют.

Так они увлеклись, что не слышали, как с улицы кто-то в дверь тарабанит. А это пришел начальник стадиона, спортсменов, в прошлом штангист, человек властный, горячий, дернул изо всех сил дверь, крючок и выдернулся.

Вскочил начальник в проходную: ах вы такие-сякие! На посту пьяные, ничего не видите, ничего не слышите! Вот я вас! Дерьмо!

Лучше бы он этого не говорил. Бадридзе, горячий человек, вскочил, закричал:

— Да кто ты такой по сравнению с нами? Пигмей! Козьявка из носа! Мы поэты, а ты врываешься без спроса да еще орешь?

Штангист ухватил Бадридзе за ворот, хотел на улицу выкинуть; а Толя в это время лагушок с брагой штангисту-начальнику на голову надел да железным прутом, который был в дежурке для самообороны, начальника по почкам оттянул.

А начальник — он хоть и штангист, но бывший, пожилой, у него почки больные. Он Бадридзе выпустил, а Бадридзе ему в нос — головой.

Вскочил начальник из проходной, по телефону-автомату вызвал милицию и вызвал себе «скорую», которая увезла его в больницу, где он, кстати, прошел освидетельствование. Теперь Бадридзе и Пастухов уволены. Им светит суд и небо в клеточку за злостное хулиганство по отношению к должностному лицу и нанесение вреда здоровью. Оба они умоляли меня спасти их.

Я тут же составил текст письма в институт, в милицию, в прокуратуру и в суд. Написал, какие они хорошие, как много сделали для развития культуры в нашем городе. Подписались все члены кружка, подписался я. На другой день Азалия Львовна тиснула на эти бумаги темно-синюю писательскую печать и отправила почтой по назначению.

Мне говорит:

— Работы много! Павел Степанович нагрузил. Надо обзванивать всех писателей, вызывать на собрание. Что-то в понедельник будет чрезвычайное. Сердит, грозен!

На собрании был поставлен вопрос об исключении из Союза писателей сразу трех членов нашей организации: Осотова, Балдонина

и Агатины. Не Крокусов предложил, а Загогулько. Это у Паши прием такой излюбленный: все должно исходить не от него, а от кого-то другого, вроде, глас народа. Затем, подготовленный Пашей, выступил Феденякин.

Что же выяснилось? Названные люди, стакнувшись с извечным врагом Пимского писорга Гордеем Кряковым, развернули гнусную кампанию клеветы и инсинуаций, стремясь опорочить наш замечательный писорг. Про Крякова даже и говорить не стоит. А вот взять, к примеру, Балдонина. Сколько клеветнических писем написал он в Москву во все властные инстанции! И ведь до чего дошел? Имея четырехкомнатную квартиру в элитном обкомовском доме в центре города, он пишет президенту, что он, гений, умирает под забором, в то время как местные чиновники строят себе за городом шикарные дворцы.

Письмо из канцелярии президента с припиской «разберитесь» пришло к нашим чиновникам. Они испугались и на всякий случай построили за городом в красивой деревеньке двухкомнатную дачу, которую назвали для отвода глаз Домом писателя, и сказали Балдонину:

— Заселяйся! Твори!

Он и заселился. Но ему нужно было не место для творчества, он хотел, чтобы ему передали дом в собственность, а он бы его продал. Чиновники законы знали: в собственность передавать нельзя. Тогда Балдонин бросил эту дачу на произвол судьбы, в ней жили бомжи, ее стали разбирать на дрова местные жители, а потом она сгорела.

Но если это был построен Дом писателя, то мы все могли бы в нем отдыхать, а что вышло?.. А Балдонин продолжает писать президенту и даже в международный суд, что ему жить негде.

Балдонин после этих слов встал и сказал:

— Что хочу, то пишу! Потому что я, в отличие от вас, настоящий писатель. И плевать я на вас всех хотел!

И он действительно плюнул прямо Феденякину в лицо. И ушел.

Поднялся шум. Старший Громыхалов сказал:

— Догнать бы его и накостилять хорошенько! Да жаль, я его на костылях-то не догоню.

— Я его на днях из «Бедного Йохана» на пинках вынес! — заявил Иван Загогулько. — Сволочь такая, приносит в самодельной холщевой сумке свою книгу под названием «Дрова», садится за свободный столик, раскладывает книжки, потом начинает кричать, мол, он великий писатель, умирает с голода, а тут сидят жирные коты, урчат над мясом. Ну, и требует, чтобы поддерживали классика, купили бы его книгу. Неко-

торые покупают, но больше — возмущаются... Мне жаловались многие владельцы ресторанов, что он своими визитами всех посетителей у них распугал. Они убытки несут.

— Я с ним в Доме отдыха «Голубая долина» отдыхал, — сказал Викентий Громыхалов, — стыдобушка. Приходит в столовую, клубнику со всех тарелок в свою тарелку пересыпает, я ему говорю, мол, что ты делаешь, он отвечает, что все равно повара воруют, они в пустые тарелки еще ягоды насыплют. Поваров всех и директора Дома отдыха в страх вогнал. Как-то пельмени были к обеду, тарелки по столам разнесли. Балдонин вскочил, кричит: «Граждане отдыхающие! Не трогайте ложки! Подождите, я писатель, я сейчас буду пельмени проверять, искоренять обман!..» И идет Лука с ложкой то к одному, то к другому столу, в каждой тарелке пельмени считает. «А почему в этой тарелке двадцать два пельменя, а в другой — только пятнадцать?..»

— Да, конечно, у него есть нехорошие черты, — сказал тихенький Тихеев. — Но, братцы мои, он же из семьи раскулаченных, его родители пострадали. Я, как член «Мемориала», как сам репрессированный, так понимаю, что у человека может быть боль в сердце.

Крокусов вскочил:

— Страдалец? Боль в сердце? Клевету на писорг вместе с Кряковым писать! Вот какой он страдалец. А у нас работа уже на международный уровень вышла. Я день и ночь работаю с молодыми авторами, я нашу организацию талантами пополняю, Загогулько вот приняли, на очереди еще две талантливые молодые поэтессы. Я журнал веду. А он что хорошего для писорга сделал?.. Или Осотов?.. Или этот Агатин, который даже на собрание не явился?.. Это клеветники, сутяжники, маразматика, предлагаю всех исключить немедленно!

Встал Осотов, трясущийся, последнюю пуговицу с пиджака оборвал:

— Негодяй! Я один из создателей этой организации. Отец-основатель... Ох, не могу, сердце!..

Осотов выбежал в предбанник, там Азалия стала отпаивать его валерьянкой.

Феденякин кричит:

— Голосуем, голосуем! Всех троих исключить! Мешают работать!

Я сказал:

— Но позвольте! Агатина нельзя исключать в его отсутствие. Да и вина его не так уж велика. Ну, написал фельетон и по нам шутиливо

проехался, так на то он писатель-сатирик, у него жанр такой. И за это исключать?

Крокусов махнул рукой:

— Ладно! Агатины пока исключать не будем. Понимаю, что Мамичев за своего ученика борется, а между тем этот ученик — сволочь изрядная.

Проголосовали. Исключили Осотова и Балдонина. Пусть Лука напишет Фиделю Кастро, может, Балдонину отдадут домик Хемингуэя на берегу океана.

Стали расходиться помаленьку. Крокусов пригласил меня за чайный столик.

— Мамичев, вам Вуллим нравится?

— Тихеев, что ли? Да он ведь не девица, чтобы мне нравиться. Мне за стихи о Пимске Фонд Ермака премию присудил, я сдуру Тихееву об этом сказал. Подошло время премию получать, а директор Фонда Рогнеда Давыдовна мне звонит и говорит: «Вы, надеюсь, не обидитесь, но мы премию в этом году Тихееву отдадим. Он к нам пришел такой взволнованный, такой несчастный, у него только что в трамвае барсетку с пятью тысячами украли, задумался, и вот... Он нам свои книжки принес... У нас премия как раз пять тысяч рублей, так решили ему ее присудить. Жалко человека...»

Так он у меня премию увел. Да ведь все это по сравнению с мировой революцией — сущий пустяк.

Крокусов даже боярышником поперхнулся:

— Не пустяк. Он у меня за украденную на его даче бочку деньги получил. Если каждый, у кого дырявое ведро на даче сопрут, будет от меня компенсации требовать, что получится?

— Ну не давай ему больше.

— Ага! Не давай! Он через этот «Мемориал» с важнейшими депутатами в контакте, с губернатором. Что ни премия, то ему. По телевидению во всяких видах показывают, специальные передачи посвящают. А пишет мемуары, в основном, да о прошлой трудной жизни в деревне... Я создал народным языком эпохальные произведения, и ни одна тварь не думает меня наградить или хотя бы вопрос об этом поднять. Выпейте, Мамичев, боярки.

— Да нельзя мне.

— Ну да, держитесь наособицу. Не на кого мне опереться. Все меня предают, как Христа Иуда предал. А я всем только добро и делаю...

Я вышел из писорга вслед за Авдеем Громыхаловым. Был такой молодец, и вдруг костыли? Он понял мой взгляд:

— Лечусь! В тайгу к старому Силантию ездил. Он говорит, что «мерикашки» гадят. Ихние это: жук колорадский, описторх в рыбке, и лайма, которая меня свалила. А ведь и верно! Раньше ничего этого не было. Ты, Петя, вспомни: когда мальцами были, по кустам лесным шастали, вернешься домой весь в клещах, как в бруснике. Отряхнешься — и все! А теперь клещи энцефалитом нас заражают!.. Силантий-то молитвами энцефалит и лайму заклинает. А нам, грешным, по грехам нашим дано. Дал Силантий мне бумажечку с молитвой, читаю, вдруг да поможет.

59. МНОГО ПОХОЖИХ ДЕТЕЙ

Дело было в понедельник, ближе к вечеру. Зазвонил телефон, я поднял трубку и услышал незнакомый хриплый голос:

— Мамушев?

— Ну, допустим.

— Агутин просил передать: умирает он.

— Может, Агатин? Кто это говорит?

— Кто, кто! Хрен в пальто! Больной говорит. Я в реанимацию зашел, а он просит: Мамушеву скажи! Телефон дал.

— А какая больница?

— Номер три.

Я позвонил главному врачу:

— Наш писатель Агатин у вас в реанимации умирает, в чем дело?

— Сейчас документы посмотрю. Никаких писателей у нас не числится, есть Агатин, так он электрик.

— Ну, работает он электриком, а вообще он член Союза писателей России.

— Нам о том, что он писатель, ничего неизвестно. Да все равно теперь его уж оперировать нельзя. Он поступил к нам с обширным перитонитом и такой пьяный, что ни один хирург оперировать не взялся. Да и нет у нас крови, нет плазмы.

Я тут же позвонил начальнику облздравотдела, назвался Крокусовым и грозно сказал:

— Об умерщвлении вашими врачами известного писателя Агаatina завтра заговорит вся просвещенная Россия!

Сolidным густым голосом объяснил ему все. Он мне посоветовал вновь позвонить главврачу больницы номер три минут через пятнад-

цать. Скажу прямо: такой густой и солидный голос после мне уже не удавалось изобразить никогда.

И сработало! Позвонил через пятнадцать минут. Главврач говорит:

— Кровь, плазма есть, Агатин уже на операционном столе, оперирует наш лучший хирург, но шансов мало.

— Почему?

— Он выпил не меньше литра водки и поступил к нам через сутки после прободения язвы желудка, его сложно теперь спасти.

— И все же шанс есть?

— Фифти-фифти.

Решил позвонить жене Агатина — Вере. На том конце провода сказали, что Агатины там больше не живут, и назвали номер телефона однокомнатной квартиры, в которой Гена не хотел прописывать бухгалтера Водоканала... Усталым голосом жена мне сообщила, что Агатин потерялся два дня назад, после того как их выкинули из «трешки». Приехали какие-то амбалы в форме ОМОНа, и как бы ни был здоров Агатин — что мог он один против десятерых?

Я представил себе его потрясение. Такого унижения он еще в жизни не испытывал. Жена, ребенок, и он, глава семейства, должны были смотреть, как выкидывают их мебель и прочие вещи прямо на улицу.

— Я не заметила, как он исчез, — сказала жена, — и найти его не могла. Догадывалась, конечно, что уйдет в запой... Я сейчас поеду в больницу...

После первой операции, когда был вырезан чуть не весь желудок, Агатину потребовались вторая и даже третья операции. Проходило несколько дней, его вновь разрезали, воспаление захватывало новые участки, и их приходилось удалять.

После последней операции прошло недели три. Я звонил Вере. Однажды она сообщила, что Агатин стал вставать с постели. Его можно даже навестить. Я попросил Азалию Львовну сходить со мной, мы купили крупных розовощеких яблок и отправились в больницу.

О, эти грустные заведения, где люди в застиранных халатах и растоптанных тапочках бродят по разным закоулкам, стоят в очереди у кабинетов, где будут их щупать, прослушивать грудные клетки, делать уколы в попу и в вены. Господи! Как приторно пахнет там тошнотворными щами, хлоркой и чем-то таким постылым. Ну, почему, почему нам даны эти хрупкие тела, которые могут воспалиться и так страшно болеть? Дрянные тела надо напихивать пищей, сделанной из убитых

других существ или растений, которые, если вдуматься, тоже являются существами...

Мы поднялись с Азалией по довольно крутой лестнице, нашли палату, в которой, нам сказали, обитает Агатин, но там никакого Агатина не было! Не сразу я догадался, что скрючившийся на койке длинный полускелет, с синюшным лицом, с завалившимися глазами — это и есть Агатин. В это было трудно поверить. Азалия тоже остолбенела от увиденного.

Я положил на постель Агатина пакет с яблоками, дрожащей рукой он приоткрыл пакет, увидел яблоки, жалким голосом взвизгнул:

— Ваш-шу мать! Принесли! Мне! Это! — он со стоном дотянулся до форточки и вышвырнул наш пакет на улицу.

Я молчал, пораженный. Азалия сказала:

— Это — твою мать! Чего выдрючиваться? Откуда мы знали? Сам не можешь их жрать, так у тебя жена есть, дочка есть. Скотина неблагодарная!

По правде сказать, я тоже немного обиделся.

Прошло с полгода, Агатин набрал свой прежний вес, морщины разгладились, глаза округлились, по-прежнему сияли синевой. В писорг Агатин не ходил, я слышал, что они с женой купили более комфортабельную иномарку. Торговые их дела шли на лад, значит, и покупка более просторной квартиры не за горами.

Агатин изредка звонил:

В «Вечернем Пимске» мой фельетон почитайте! Позавидуйте мастерству!

— Чего завидовать? Кто тебя писать научил?

— Никто не учил, сам.

— А зачем тогда к нам в кружок ходил?

— Чтобы посмеяться над вами!

В этом был весь Агатин. Я не обижался. Когда кого-то учишь, не жди от него особой благодарности. Ты что-то знаешь, передал другому, и твое знание, умение пойдет дальше по жизни, возможно, приумножится, просияет неслыханным успехом. Вот Агатин грубиян, а все же он стал лучше, когда научился писать. Это его от пьянки отвлекает — уже хорошо.

Но однажды он мне позвонил пьяный. Я встревожился, и не зря. Он стал звонить в нетрезвом состоянии чуть не каждый день. Я ему сказал:

— Что, опять пьешь?

— У меня после операции спайки остались, болят, а выпьешь — и легче.

Я разозлился:

— Слушай, у тебя уже отрезали все, что было можно. Больше у тебя отрезать нечего! Будешь пить — сдохнешь, тогда уж точно ничего болеть не будет!..

С той поры он больше не звонит. Больше того, встретит меня на улице, смотрит прямо в глаза и не здоровается. Я здороваюсь, он не отвечает.

И все равно мне интересно работать с моими «граммофонами», среди них порой такие способные попадают! Их учишь, и сам учишься. И это здорово!

Ближе к весне Крокусов отправился проводить в Бруклине кружок «Крылья», поглазеть на статую Свободы, попить русской водки на Манхеттене под негритянский джаз. Для этого он опять обошел Пимских главных людей, потому что добираться до альманаха «Крылья» надо было на крыльях самолета. Стоило это недешево.

Улетел наш начальник. Однажды захожу в писорг, мне Азалия Львовна сообщает:

— Осотов помер! Плохо помер. У него же четыре комнаты, у него дети просили: папа, приватизируй квартиру! А он отказывался. Они и перестали к нему ходить. А он помер и долго лежал там один в четырехкомнатной квартире. Понимаешь, ужас какой?

Я сказал, что понимаю, конечно. Жаль его было. Жаль и Бадридзе с Пастуховым, им пришлось платить большой штраф. Они его кое-как выплатили, кое-что из домашних вещей пришлось продавать, а ведь и так были почти нищими. И теперь они запили оба. А поскольку я пьяным в кружок ход закрыл, я их редко вижу, меня совесть гложет, словно и я в их пьянстве виноват.

Крокусов через два месяца вернулся от Беджа Хади-Будусы пополневший, расцветший, в американской ковбойской шляпе и щеголеватых башмаках. Привез кучу фотографий, на которых он был запечатлен на заседании американского литературного кружка.

— Слушай! — сказал я Крокусову. — Похоже, в этом кружке не только Беджа Хади-Будусы — еврей, но и все остальные члены кружка — тоже евреи, только белые.

Крокусов сказал:

— Американцы всех их называют русскими, они говорят по-русски, издают журнал на русском языке, чего же вы хотите?

Я ничего не хотел. Я знал, что Крокусов зарезервировал страницы американского журнала для своих симпатичных поэтессок и прозаичек и своих зажиточных друзей. Но меня заинтриговало фото, на котором полицейские-негры надевали на Крокусова наручники.

— Инсценировка! — догадался я.

— Ну уж нет! Это не инсценировка. Чуть руки не оторвали. Там эти упавшие башни-близнецы бывшего Торгового центра обнесены оградкой. Я хотел подойти поближе, посмотреть, они меня скрутили и оттартали в участок. Лопочут, а я английского не знаю. Дал им визитку с номером телефона Беджа Хади-Будусы. Они позвонили. Он мигом примчался. Объяснил им: русский поэт, прибыл с дружеским визитом. Они попросили у меня сувениры, подарил свои книжки. Все равно они ни хрена не поймут, но помнить меня будут, а я — их...

Крокусов вздохнул:

— Эх, были бы живы мамынька, бабынька, дедынька, вот бы удивились! Их внук по заграницам шастает! Свободно! Спокойно! Надо какой-нибудь роман в этом духе создать или повесть. Жаль, Эдька Лимонов меня опередил, но у него перо будет пожиже моего, скажу без ложной скромности.

Понятно, повесть будет создана, а может, и не одна. У Паши уже налаживается связь с каким-то журналом из Австралии...

В воскресенье проверил почтовый ящик. Он уже лет пять пустой, ну, не совсем, в него регулярно кидают квитки на уплату за свет, телефон, квартиру, отопление. И цены такие — хоть в петлю лезь. Какая от этих квитков радость? Мой ящик пустой в том смысле, что в нем теперь не бывает переводов, телеграмм, газет и писем.

И вдруг обнаружил в ящике письмо. По штампу определил — Одесса. Но у меня никого знакомых в Одессе нет. Распечатал. Оказывается, письмо прислал Никодим Столбняков. Жалобное письмо. Там было сказано между прочим:

«...Лажанулся я с этим обменом квартиры. С виду дом хороший, но жить в нем невозможно: мыши, крысы, клопы, тараканы — ничем не выведешь. И еще — сырость, плесень, никак от этого не избавишься. И от моря у меня астма получилась, а еще и чирьями покрылся весь. Как волк хожу, шею повернуть не могу. Обещали придачу за квартиру дать и зажали. А жаловаться некому. Оказывается, тут не древняя Русь, а самый настоящий синдром, или как его там называют. Тут и судьи, и прокуроры, и милиционеры — все пархатые. Вот влип, так влип! И печатать меня никто не хочет, даже и не разговаривают. У

них тут на каждой ступеньке лестницы по писателю сидит. Я таежник и охотник, в тайге я бы их всех перестрелял, а тут и спрятаться некуда. Да и черт меня сюда занес! Они тут и говорят не как люди, гакают все. И рыбу здешнюю не сравнишь с речной. Вкуса в ней рыбного нет. Жрут они какую-то пакость, которую называют синенькими. И грибы тут не пахнут. А осенью эти носатые жарят каштаны, такая гадость по сравнению с кедровым орехом!

Друг мой драгоценный! Упади Паше Крокусову от моего имени в ножки! Пусть вышлет денег на дорогу, брошу я к черту эту квартиру, может, мне какую общагу в Пимске дадут...»

Пришел я домой, задумался. Нет, не вышлет Паша Крокусов денежки на дорогу Никодиму Столбнякову. И в общаги нынче писателей не селят, и квартир им не дают. Пусть теперь Никодим читает талмуд и Шолом-Алейхема, а можно и Исаака Бабеля, хотя последнего он, наверное, не поймет.

Поел я пшенки, стал читать Марти Ларни: «Четвертый позвонок». Уж очень хорошо Америку этот финн описывает. Почитал я, почитал, уснул.

И приснилась мне Америка. И будто бы Беджа Хади-Будусы, еврейский негр или же негритянский еврей, как кому больше нравится, целует меня в губы. Целует и целует, облизывал всего! О, сколько слюны! Мокро все!

Очнулся — а по стене вода течет. Опять соседка наверху кран не закрыла. А в том месте, где моя лежанка, в панели выемка, туда вода и устремляется. Черт бы все побрал! Прежде всего надо рукописи подальше убрать, чтобы не намокли. Гореть-то они, может, не горят, а вот размокнуть могут... Пока лужи все вытер, день кончился.

Ладно, жизнь продолжается. Опять собираются мои «граммофоны». Иногда приходят новые с интересными стихами или рассказами. Радуюсь: может, настоящий писатель из кого-то получится. Я бы с ними занимался, если бы даже совсем не платили.

Важенкина приняли в Союз писателей — разве не радость? Он с Загогулько помирился, иногда сидят рядом, пьют боярышник, о поэзии спорят. Важенкин улыбается:

— Я теперь — член.

Загогулько улыбается:

— Так ведь и я, на самом деле, член!

Важенкин совсем радостно:

— Оба мы — члены!

Я думаю: да, да, члены...

Важенкин часто стал ездить на окраину города, где в кедраче стоит белокаменная клиника Вадика Дранкина. Вася однажды изрядно подпил и стал с восторгом мне рассказывать, какой там белоснежный кафель, какие вежливые, вышколенные сотрудники и сотрудницы.

— Понимаете, — говорит, — искусственное оплодотворение женщин! Это вещь! Серьезно. Как их оплодотворяют — не видел, врать не буду. Но знаю, что доноров подбирают молодых и крепких. И за разовое донорство пять тысяч рублей, как с куста, ясно? Донора прежде всего проверяют, берут анализы, это занимает полмесяца или больше. А затем в спермосдаточном кабинете прекрасная лаборантка надевает ему на орган виброприемник. Нажимает кнопку. И когда процесс сдачи завершается, устройство издает звуковой сигнал. Устройство с органа снимают, извлекают контейнер со спермой и помещают в специальный бокс. Таким образом, донор получает удовольствие и плюс не такие уж маленькие денежки.

— Постой! — сказал я. — Так это ты сам и сдавал? Пять тысяч зарабатывал? Ты — молодой крепкий мужчина, здоровый бугай... Тебе было приятно... Если пару раз в неделю сдавать, озолотиться можно!

Вася вздрогнул, как бы очнувшись от воспоминаний, облизнулся и сказал:

— Да что вы! Да чтобы я? Да никогда! Это просто мне Вадик Дранкин рассказывал...

Вот и весна пришла. И теперь я на прогулке на детских площадках всегда разглядываю малышей. Кажется, вон тот пацан похож на Важенкина. И девочка вон та — тоже. Боже мой! Ясно же, что такой заработок Вася не упустит. Или мне это только кажется?... Неужто скоро будет бегать по Пимску множество маленьких Важенкиных? Фамилии у них будут какие-то другие, но это уже не важно... А может, это только мои фантазии?

60. ЛЮБИТЕЛЬ ПИМСКОЙ СТАРИНЫ

М!Жизнь не стояла на месте. Я приобрел компьютер и вскоре осознал его великое преимущество перед пишущей машинкой. Мой роман, который вы теперь читаете, дорогой читатель, писался легко. Специалисты установили мне в компьютер модем и электронную почту,

теперь я мог переписываться со всем миром.

Прежде всего я позвонил Рафису. Мне ответила его жена и попросила, чтобы я воздействовал на него, потому что он весь «избегался» — так сказала она. Самого Рафиса дома не было. Я обещал, что я на этого негодяя воздействую, только нужен его электронный адрес, он же компьютерщик, у него должен быть и компьютер, и электронная почта.

— Конечно, — сказала она, — у нас даже два компьютера, на одном сынишка наш играет, а другим сами пользуемся, — и дала мне электронный адрес Рафиса.

Я тут же написал ему, что пить вредно, а с девицами вольного поведения гулять — тем более.

В эти дни я искал деньги, чтобы издать роман, этот самый, который вы теперь читаете. Я никак не мог заставить себя пойти к кому-то из чиновников или предпринимателей и сказать: дайте! Если мне скажут: нет — умру от стыда. А скорее всего, именно так и скажут. Я знал о горьком опыте наших писателей, ходивших просить деньги на издание. К главе администрации Пимска или к главе Пимской области было идти совершенно бесполезно. Крокусов, крича о работе с творческой молодежью, выбирал оттуда все деньги, какие могли дать. Издавая своих любовниц, поэтессок и прозаичек, половину денег Крокусов клал в свой карман — как редактор и составитель. Так что чиновники и депутаты были прочно окружены оградой из заявок и просьб руководителя областной организации Крокусова.

Если же писатели приходили к банкиру — перед ними тотчас открывали огромную книгу в хорошем кожаном переплете, где было записано: когда и сколько пожертвовано детским садам, домам престарелых, инвалидам, пострадавшим от чернобыльской аварии и т. д. и т. п. Список был длиннее, чем железная дорога от Владивостока до Москвы. И был еще другой, более длинный, список невыполненных заявок. Предприниматели отделялись от просителей примерно таким же методом: мы, мол, на детей давали, на церковь давали, на театр жертвовали, а теперь впору самим по миру идти.

Куда пойти? Как-то вечером по телику показали сюжет про академика Геня Философовича Кулебякина. Оказывается, он приватизировал один корпус ПИССУАРа. Там работает лаборатория по телепортации людей в пространстве. Пока что удается перемещать только мышей из одного корпуса в другой, но лиха беда начало. За научные достижения Кулебякин получил ученую степень и высокое звание.

В сюжете показали прекрасный загородный замок академика Гения Философовича. Там было много антиквариата. Сам он сидел на малом троне японского императора, который был захвачен, как трофей, во время последней войны с Японией и каким-то образом попал в Пимск. Гений Философович давал интервью красивой тележурналистке. По его словам выходило, что он очень любит Пимскую культуру, искусство и литературу и собирает все, что этого касается. И даже держит специалиста-краеоведа, который помогает ему собирать всякие раритеты по этой теме.

Во время просмотра этого сюжета у меня слезы выступили на глазах. Мысли неслись, как скакуны: «К Кулебякину! Непременно! Мы знакомы. Он тот, который поймет. Я же в своем романе пишу о Пимске, в том числе и о старине».

Я нашел приемную Кулебякина. Ее устройство несколько настораживало. Обычно секретарша сидит перед кабинетом начальника, и возле нее есть несколько стульев для посетителей. Здесь секретарша сидела в боковушке, из которой ей хорошо был виден вход в кабинет шефа. Ни в боковушке, ни в прихожке не было ни одного стула для посетителей. Секретарша была крупной девицей монгольского типа, ее монголоидность подчеркивалась еще и макияжем. Накладные ногти были в два раза длиннее, чем это бывает обычно, длина ресниц тоже была рекордной. Это была фурия, готовая выцарапать глаза, если вы без спроса полезете в кабинет начальника.

Я стоял на пороге боковушки, смотрел на фурию, а она и ухом не вела. Я сказал:

— Я хочу сделать Гению Философовичу важное деловое предложение.

Выдержав длинную паузу, она с брезгливой миной сказала:

— Изложите на бумаге, отдайте мне, в определенный срок вам будет дан ответ.

Но я был не лыком шит:

— Я старый знакомый академика, доложите, что его хочет видеть Петр Сергеевич Мамичев.

Она и не шевельнулась. Я стоял, опершись о косяк, и лицо мое заливал румянец гнева и стыда. Какие-то люди заходили в кабинет академика с папками, с рулонами чертежей, в кабинете был слышен гогот, ржанье. Опять кто-то входил и выходил. Меня или не замечали, или взглядывали с недоумением: что, мол, за чудаки тут ошиваются? Своих

они знали. Сердце мое готово было выскочить через горло. Неожиданно для себя, мощным пинком я отворил дверь в кабинет.

Академик беседовал с рыжеватым пижоном. Оба удивленно уставились на меня.

— Гений Философович! — сказал я решительно. — У меня к вам неотложное дело.

— Гм... неотложное? Иордан, выйди на секундочку.

Иордан вышел. Я без приглашения сел на стул, заговорил о романе. Издать хоть в мягком переплете, хоть самым маленьким тиражом — это будет не так уж дорого. Вы же любите антиквариат. Литературу о Пимске. Потомки скажут: спасибо.

Гению Философовичу это не понравилось, он сморщился, будто сжевал лимон без сахара:

— Милейший! В другое бы время... Но теперь я строю сразу три лаборатории. Незавершенка. Знаете такое грустное слово? Сам занимаю, где только смогу...

Я вышел от него мокрый от пота. Было противно, словно я искупался в луже плевков.

Вечером я написал по электронке Рафису. *«Не могу найти денег для издания романа. Помогите. Я ж тебе помогал».*

И тут же получил от него ответ в прозе и в стихах. Вот стихи:

*Брошен бизнес, а ну его к лешему,
В омут, булькнув, ушел пистолет,
Ни к чему «Мерседес» мне, — я пешим
Застучу каблуками штиблет
К трем вокзалам, стихам и кириллице,
На забытый губернский перрон,
Где засохло в убогой чернильнице
Деревенского гуся перо!
Не убит, не запил, не повесился,
Не шагнул в предрассветный проем.
Эх, бывшее, катись синим месяцем,
Вслед тебе засвищу соловьем.
В Божьем храме с калек на паперти
У иконы поставлю свечу,
Бросьте камень в меня, кто безгрешен был,
Камень вот — выпускаю из рук...
...Да не рви ты мне душу воскресную,
Из окон доносящийся Круг!*

А вот что он написал прозой:

«Петр Сергеевич, дорогой! Я больше не бизнесмен, надоели разборки с уголовниками, «стрелки». Я, может, и пил-то оттого, что в грязь погрузился. Теперь встаю на ноги. Нынче поступил в МГУ, учусь на психолога. А вот мое объявление, которое дал в газеты и на радио:

«Рафис Габрахманов. Образование высшее. Биоэнерготерапевт. Потомственный целитель. Магистр народной медицины. Лауреат конкурса «Лучший целитель последнего десятилетия XX века». Удостоен высшей награды в области комплиментарной медицины «Звезды Магистра». Член ОПМАНМЦ, ОППЛ и Союза писателей России. Автор книги стихов «Ночной разговор».

Основные направления работы: духовное целительство, ясновидение, биоэнерготерапия, экзорцизм. Успешные результаты в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, бесплодия и других заболеваний. Заинтересован в контактах с населением, с научно-исследовательскими медицинскими центрами».

Между прочим, двух жен очень важных начальников уже излечил от бесплодия, обе забеременели. Мужья счастливы. То ли еще будет, когда окончу МГУ! Да, много помочь не могу, но пошлю вам с главой фирмы «Комп» Куркиным, который часто бывает в Москве, 1000 долларов. Вышлю в самый краткий срок.

Ваш Рафис».

Я тут же отправил письмо с великой благодарностью Рафису. Не удержался и от вопроса: каким именно способом излечил он начальников жен?

Через две недели Рафис сообщил:

«1000 уже у Куркина в фирме. Идите! Берите!»

Я пошел брать. Захватил с собой паспорт. Пришел. В офисе фирмы кожаные кресла, а за столами сидят модно одетые парни и девушки. Кругом сияют чудеса компьютерной техники.

— Мне Куркина! — говорю.

— Он вас приглашал?

— Я от Рафиса из Москвы!

Позвонили Куркину. Сказали, что могу пройти к нему.

Вот он Куркин: маленький, толстенький, с жирными губами, телескопическими глазами.

— Я — Мамичев. Вам Рафис передал для меня тысячу долларов. Вот мой паспорт, пожалуйста.

Куркин полистал мой паспорт, посмотрел на просвет. Пожевал губами:

— Мне Рафис передал для вас пятьсот долларов.

— Тысячу!

— Пятьсот. Вот, возьмите!

— Я буду Рафису звонить.

— Звоните.

Я пошел домой, позвонил Рафису. Рассказал.

— Ах он сука! Значит, пятьсот зажал. Я расслабился, расписку не взял. Ну, теперь ничего не поделаешь. Не могу я на него давилу натравить. Я теперь никто, и звать меня никак. Но я на его фирму порчу напушу, вот увидите, разорится.

— Мне-то от этого не легче.

— Понимаю, Петр Сергеевич, но так вышло. Теперь ждите, пока МГУ окончу и начну в новой профессии богатеть.

Решил я свои пятьсот долларов на рубли обменять. Не нравятся мне физиономии американских президентов. Пришел в сбербанк, подал свои бумажки в окошечко. Тетка там их через какую-то машинку пропустила, говорит:

— Минуточку, минуточку!

Через минуточку явились два амбала, поволокли меня в отдельную комнату. Потом туда прибыла милиция. Увезли меня в участок. Началась для меня новая жизнь.

Заперли меня в камере предварительного заключения. Народу там — как сельдей в бочке. Стали знакомиться:

— Налетчик Федя Босый!

— Домушник Вася!

— Потихушник Володя.

Тычут в меня пальцем:

— Ты кто?

— Писатель!

— А! Писькой пакеты режешь? А звать как?

А один хмурый такой говорит:

— Вы че? Какие пакеты? Вы берите выше: он фальшивое бабло делает! Станет он с вами знакомиться...

Вызвали на допрос. Оказалось, они мою квартиру вскрыли, все обыскали, в писорге тоже обыск был. Спрашивают:

— Где двести фальшивых долларов взяли? Добровольное признание облегчает наказание, учтите!

— Нашел, — говорю, — в базарном туалете. Признаюсь добровольно!

А сам соображаю: значит, триста Куркин дал настоящих и двести фальшивых, вот гад! Но про Куркина нельзя говорить, так они и на Рафиса выйдут.

Дни идут. В предвариловке не то чтобы скучно, народ там контактный, но тесновато, грязновато, еда плохая. Опытные говорят:

— На зону попадем, там уж лучше кормят.

Вот так утешили! Ну, я им для веселья спел слышанную на вокзале песенку:

*Кто бывал в Иокогаме,
Не вернется больше к маме,
Там есть импозантные японки.
Импозантные японки,
Все они порвали шпонки,
И они того хотели сами...*

Арестованные хохочут:

— Да он веселый!

— Да че ему не веселиться, если он американское бабло умеет делать! Ему весь срок не мотать, его выкупят!

Месяц я в предвариловке провел. Оказывается, обо мне уже газеты писали. Крокусов пикеты организовал. По радио и телевидению раз двадцать выступил: репрессиям подвергнут известный писатель Мамичев! А некоторые газеты писали: дескать, вот и писатели фальшивомонетчиками стали. Сенсация!

Приятно мне было узнать о таком шуме вокруг моей фамилии. А то ведь раньше меня пресса вниманием не жаловала. В самом деле, о писателе чаще всего шум поднимают, если он удавился, утопился, зарезался, или его кто-нибудь уколошил. Поднимают шум и в случае, если писателя надолго прячут в каталажку. Но я такой дешевой славы не хотел. На допросах я твердил, как попугай, одно и то же:

— Нашел в базарном туалете!

Выпустили все-таки. Но нормальные триста долларов мне не отдали. Сказали, что их услали в Москву для более тщательной экспертизы.

А я гуляю по городу и напеваю слышанную когда-то песню:

*Доллары — разговоры,
Вольная жизнь,
Доллары — вороны,
За-ши-бись!*

Ладно! Роман я попробую в какой-нибудь журнал отправить, вдруг да напечатают. А своих «граммофонов» — как учил стихи писать, так и буду учить. Среди них попадаются чертовски талантливые! Хотя бы того же Рафиса взять: татарин, отец расписываться даже не умеет, мать асфальтировщица дорог, а он — талант! Буду учить людей, любящих поэзию. Буду! Без них все золото заржавеет.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Зимний Николай.....	3
1. Писсуар	3
2. Копченный омуль	8
3. Кто там лежал?	14
4. Не ниже подполковника	18
5. Писорг первомайский	22
6. Кусок материнской груди	31
7. Исчезающий важенкин	37
8. Знай, кто твой друг	43
9. Водяная баба.....	51
10. Три огромных чебурека	54
11. Осетрина и крабовые консервы	59
12. Весь опутан проводами	68
13. Технический глаз.....	74
14. Течет ли пиво из крана?.....	79
15. Покупка стирмашины	85
16. Истериически-историческое собрание.....	89
17. Слава — яркая заплата?.....	93
18. Праздники Важенкина.....	100
19. Култур-мултур	106
20. Громыхалов загрел.....	113
21. Время перемен.....	117
22. Если черные колготки.....	122
23. Постижение эгрегора	130
24. Перед приездом питоров	137
25. В гостях у питирима	142
26. «Крокодил» и Холодникова	147
27. Великаны тела и гиганты духа.....	155
28. Роковая яичница	165
29. Ну, змей, погоди!	174
30. Медведь с подносом.....	180
31. Длиннь-гдлян!.....	187
32. Ни молока, ни пива	192
33. Домик на Алтейской	199
34. Обмывание лесного лейтенанта	205

35. Великие возможности.....	212
36. Старые пимские дома	219
37. О, эти черные глаза... ..	223
38. Делай, ваня, обрезанье!	230
39. Девяносто девять алых роз	235
40. Сто пар съемных протезов	240
41. Мои цены, мои скакуны	245
42. Новый сезон.....	252
43. Аванпост	258
44. Ползком на пузе.....	263
45. Новоселье	268
46. Косолапая грудь и мохнатые ноги	272
47. Слуховой аппарат.....	278
48. Туман	281
50. Демократизатор, фотобумага и отсутствие собаки чары.....	296
51. Кусок вафельного полотенца	302
52. «Adidas»	307
53. Тайные агенты	312
54. Черные, косматые.....	319
55. Праздники важенчика.....	323
56. «Сократ» и блудные сыновья	327
57. В прекрасной Франции и в хмурой Сибири.....	335
58. Клеветники и сутяжники	341
59. Много похожих детей	348
60. Любитель пимской старины.....	354